



А. М. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ

ЗАПИСКИ
О ПЕРЕЖИТОМ

УДК 910:821.161.1-6
ББК 26.8г(2)
С35

Издание подготовлено

М. А. СЕМЕНОВЫМ-ТЯН-ШАНСКИМ И А. Ю. ЗАДНЕПРОВСКОЙ

С35 Анастасия Михайловна Семенова-Тян-Шанская. Записки о пережитом / [сост. М.А.Семенов-Тян-Шанский и А.Ю.Заднепровская]. — СПб.: Изд-во ООО «Ана-толия», 2013. - 340 с.: ил. — 340 с. : ил. — ISBN 978-5-7452-0048-9

И. Семенов-Тян-Шанский, М.А., сост.

А. М. Семенова-Тян-Шанская (1913–1992), геоботаник, доктор биологических наук, всю жизнь посвятила занятиям наукой. В воспоминаниях, написанных в последние годы жизни, она стремилась воскресить и сохранить благодарную память о разных людях, встреченных на жизненном пути — родных, друзьях, коллегах и сослуживцах. В «Записках о пережитом» оживают как страницы семейной истории, так и страницы истории развития отечественной ботаники и сложные, подчас трагические судьбы многих ученых. Несомненно прекрасная память и литературное дарование автора. Публикация включает четыре основных раздела: первый посвящен родителям и детству, второй — истории семьи Парландов, поколению прадедов и дедов. Два последних раздела — воспоминания о легендарных ботаниках Н. А. и Е. А. Бушах и об экспедициях 1936–1937 гг. и история Отдела геоботаники Ботанического института АН СССР в 1930-х и в начале 1940-х годов. «Записки» Анастасии Михайловны хорошо передают дух времени, они написаны мудрым и много пережившим человеком. Все это делает их важными и ценными для всех тех, кто интересуется, как складывалась и протекала жизнь людей в бурном течении XX столетия. Издание иллюстрировано фотографиями из семейного архива и снабжено подробными комментариями и аннотированным указателем имен.

Агентство СІР РГБ

- © Семенов-Тян-Шанский М.А., Заднепровская А.Ю., составление, подготовка текста, комментарии, вступительная статья, 2013
- © Дизайн обложки, ООО «Анатолия», 2013

ISBN 978-5-7452-0048-9

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ И ЕЕ «ЗАПИСКИ О ПЕРЕЖИТОМ»

Свои «Записки» А. М. Семенова-Тян-Шанская писала в последние, трудные годы жизни, когда она мужественно боролась с тяжелой сердечной болезнью. Задумывались и предназначались они, в первую очередь, детям и внукам, которых она трогательно любила и о которых всегда заботилась. Записки остались неоконченными — сама Анастасия Михайловна часто повторяла, говоря о людях, о которых ей хочется рассказать, — «если успею...»

Ею руководила настойчивая мысль о необходимости сохранения и передачи культурной памяти. Толстовский идеал семьи и семейной жизни, который исповедовало поколение ее родителей, ощутимо присутствует в тексте «Записок». Получилось так, что из всей многочисленной родни Анастасия Михайловна, единственная в своем поколении, оставила такие содержательные и яркие воспоминания о семье. Несомненны прекрасная память и литературное дарование автора. Обладая талантом рассказчика, чувством времени, она пишет образно, с тонким юмором и неизбежной горчинкой. Мысленное возвращение в прошлое, умение его воскресить украсило последние годы ее жизни.

А. М. Семенова-Тян-Шанская (1913–1992) — старшая дочь Михаила Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского, статистика, географа, педагога. Михаил Дмитриевич принадлежал к большой и богатой культурными традициями дворянской семье. Его дед Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский — знаменитый географ и государственный деятель эпохи Великих реформ. Отец, Дмитрий Петрович, долгие годы служил в Министерстве земледелия и был председателем секции статистики Русского географического общества.

На протяжении нескольких поколений семья Семеновых была связана с петербургской гимназией К. И. Мая — в ней учился сам

Дмитрий Петрович и четверо из его сыновей, а его отец Петр Петрович был в юности университетским товарищем самого Карла Ивановича Мая. Когда через неделю после октябрьского переворота Дмитрий Петрович умер от сердечного приступа, за его гробом шли ученики и учителя гимназии Мая.

В годы революции и смуты семья Дмитрия Петровича оказалась рассеянной и практически уничтоженной. Осенью 1917 года в родовом семеновском имении Гремячка Рязанской губернии был тяжело ранен Рафаил, старший брат Михаила Дмитриевича. После ранения он прожил около двух лет и умер в голодной Москве зимой 1919 года. Через несколько недель после покушения на Рафаила там же в деревне был убит второй брат, Леонид — университетский товарищ Блока, поэт-символист, позже революционер, затем толстовец, высоко ценимый в последние годы жизни самим Толстым. За десять лет до революции он ушел «в народ», решительно разорвав все прежние связи — с литературой и просто с «интеллигентной» средой. Сложная и мучительная духовная эволюция Леонида, приведшая его накануне гибели к обращению к православию, оказала глубокое влияние на его братьев. Убит он был накануне принятия священства. В те же месяцы в деревне погибли еще несколько близких родственников — двоюродный брат его деда, Павел Михайлович Семенов (через Бекетовых он приходился также двоюродным дедом А. Блоку), тетушка Наталья Яковлевна Грот. . . Любимый всеми усадебный дом в Гремячке был разграблен и сожжен.

В конце августа 1918 г. сам Михаил Дмитриевич чудом избежал гибели во время массовых казней офицеров в Кронштадте. По одной из версий, за него вступились матросы, служившие ранее под командованием его брата Николая, морского офицера. Среди погибших в это время в Кронштадте был его троюродный брат Ю. В. Десятовский (Саблер). В конце 1918 года в Петрограде в возрасте 32 лет, умирает жена Михаила Дмитриевича, в апреле 1920 года — мать, в июне того же года — младшая любимая сестра Ариадна. Два младших брата — Николай и Александр — в итоге оказываются в эмиграции. В России в живых остались двое — сам Михаил Дмитриевич и его сестра Вера.

Трагедия одной семьи была, разумеется, лишь малой толикой той катастрофы, которая постигла страну. В семье сохранились многие ключевые документы этого страшного времени — в том числе, письма самого Михаила Дмитриевича и его жены Эми Андреевны. Во время блокады Анастасия Михайловна и ее сестра Вера увезли их с

собой в эвакуацию. Много писем Михаила Дмитриевича и его братьев уцелело в огромном эпистолярном архиве выдающегося энтомолога Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского, дяди Михаила Дмитриевича. Но работая над своими записками, Анастасия Михайловна не могла и не ставила своей задачей охватить весь этот громадный массив документов, который удастся вводить в научный оборот лишь в последнее время, с появлением компьютеров и Интернета. Историю революционной катастрофы она описала так, как ее запомнила, — глазами ребенка. И часто эта детская память оказывается более точной, чем сообщения других источников.

Мать Анастасии Михайловны, Эми Андреевна родилась в семье Парландов, «русских иностранцев», выходцев из Шотландии, которые обосновались в Петербурге с конца XVIII в. и оставили заметный след в русской культуре. История семьи Парландов стала одной из главных тем «Записок» — о ней Анастасия Михайловна хотела написать в первую очередь ^[1]. Мир этой большой и дружной семьи принадлежит еще уютному XIX веку, миру толстовских и диккенсовских романов. На Диккенса несколько походил лицом и сам глава семьи Андрей Александрович Парланд, занимавший скромную должность маклера Петербургской биржи, спортсмен и охотник, «добродушный и доверчивый человек, оптимист с душой ребенка», — таким запомнил Андрея Александровича Ваня Петрашень, гимназический товарищ его сына Освальда. В семье культивировалась любовь к искусству и литературе, часто устраивались музыкальные вечера. В «Записках» приведен текст веселой театральной постановки «Китайщина», которую дети устроили к годовщине свадьбы родителей. Братья Андрея Александровича, архитектор Альфред Александрович и Федор Александрович, профессиональный скрипач, были частыми гостями в доме. Мать, Мария Николаевна, прекрасно играла на фортепьяно.

В семье Парландов было восемь детей. Старшие братья Херри, Освальд и младший — Георгий учились в знаменитой петербургской гимназии К. Мая. Молодежь из Майской гимназии и их родственники были частыми и желанными гостями в семье Парланд. Трио веселых друзей и однокашников — Эгон Гейман, Шура Семенов-Тян-Шанский и Жоржик Парланд, стали главными героями талантливой, но неоконченной повести Георгия Парланда.

Интересно, что нерушимая «майская» дружба сыграла важнейшую, можно сказать, определяющую роль не только в их жизни, но и в судьбе женской половины дома. Две сестры Парланд и несколько

их близких друзей вышли замуж за «майцев», друзей своих братьев. В гимназический период частыми гостями в доме также были младший брат художника Н. К. Рериха — Владимир, неудачливый поклонник барышень Парланд, и молодой дядюшка Михаила Дмитриевича — студент-юрист Валерий Петрович Семенов-Тян-Шанский.

Алиса, старшая дочь, закончила Школу поощрения художеств и стала художницей круга «Мира искусства», преподавала рисование в Выборгском коммерческом училище. Джесси Парланд стала женой Ивана Васильевича Петрашень, а младшая из сестер Эми Вайолетт, которую в семье звали Беби, в 1911 г. обвенчалась с Михаилом Семеновым-Тян-Шанским.

Семейная жизнь молодой пары с самого начала складывалась непросто. Свадьбу долго откладывали из-за нездоровья Беби, которая с детства страдала туберкулезом и долго лечилась в финляндских санаториях. Канун самой свадьбы был омрачен внезапной смертью ее отца Андрея Александровича Парланда, а через год покончил с собой ее младший брат Георгий Парланд, студент-филолог, один из самых близких друзей Михаила Дмитриевича.

Через полтора года после рождения старшей дочери Анастасии (Станы) началась Первая мировая война. Михаил Дмитриевич оказался на фронте, в конце августа 1914 г. он участвовал в первой — и неудачной для русской армии — операции в Восточной Пруссии. Тяжелая контузия, временная утрата памяти и повторное возвращение на фронт были мучительны и для него самого, и для семьи. Тревога, грусть и нездоровье матери, бесконечное ожидание писем, — наиболее ранние воспоминания девочки. Получала адресованные ей письма с забавными рисунками отца и маленькая Стана. В 1916 г. родился второй ребенок, младшая сестра Верочка.

Эми Андреевна умерла от туберкулеза в начале революции. Девочек — Стану и Веру — воспитала и фактически спасла ее старшая сестра, тетя Аля. Через несколько лет Алиса Андреевна стала второй женой Михаила Дмитриевича. В трудные 1920–1930-е годы она внесла в семью женскую заботу, уют и эстетическое начало. Своей матерью ее считал и усыновленный в 1919 году Михаилом Дмитриевичем осиротевший племянник Кирилл Рафаилович Семенов-Тян-Шанский. Несмотря на трагически раннюю смерть жены, совмещение работ в разных учреждениях и все тяготы советского быта, Михаил Дмитриевич постарался сохранить дух и традиции старой культурной семьи. Он много времени проводил с детьми, гулял с ними, читал вслух, много рассказывал. А рассказчик он был замечатель-

ный. Поддерживая семейную традицию, сестры Семеновы и их брат Кирилл учились в 217-й школе, которая считается правопреемницей Майской гимназии. Это был безусловный выбор их отца.

В семье Семеновых традиционным было увлечение естественными науками. Стана хотела поступить в ленинградский Университет на биолого-почвенный факультет, но из-за «непролетарского происхождения» ее не приняли; как ей объяснили в ректорате, «такие, как вы, в Университете не нужны». По ходатайству отца Стану взяли на работу препаратором в Отдел геоботаники Ботанического института АН СССР, после чего она поступила на заочное отделение биофака. С Ботаническим институтом оказалась связана вся ее дальнейшая жизнь и работа.

В 1930-е годы Анастасия Михайловна несколько полевых сезонов провела в экспедициях — в Хибинах, а затем в Южной Осетии и в Поволжье. Специализировалась на кафедре геоботаники. Окончила Университет в 1936 году с отличием, защитив дипломную работу «Луга и пастбища долины р. Свяги». Будучи еще молоденькой студенткой, работая в своих первых экспедициях, она всем интересовалась, буквально впитывала все важное и интересное. В «Записках» Анастасия Михайловна посвятила отдельную главу рассказу о своей полевой работе на Горно-луговом стационаре в горах Южной Осетии (сезоны 1936 и 1937 гг.). Очень многому и в научном, и в человеческом плане, она научилась тогда у легендарных исследователей флоры Кавказа Николая Адольфовича Буша и его жена Елизаветы Александровны Буш, с их огромным опытом исследовательской работы в горах. Как ярко описаны их внешность, привычки, сильные и слабые стороны характеров. Восхищает и теплый юмор в описании непростых ситуаций, которые нередко возникали во взаимоотношениях членов экспедиции и местных жителей-горцев. Достаточно вспомнить яркий, западающий в душу рассказ об обряде примирения кровников, положившей конец трагической вражде двух семей.

В 1939 г. Анастасия Михайловна поступила в заочную аспирантуру и 26 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде защитила кандидатскую диссертацию «Динамика растительного покрова в связи с процессами эрозии почв на примере Приволжской возвышенности». Почти одновременно с дочерью защитил докторскую диссертацию по географии и Михаил Дмитриевич — но для него эта работа, высоко оцененная специалистами, стала последней: месяц спустя он умер от голодной дистрофии. Анастасия Михайловна вместе с сестрой была эвакуирована из Ленинграда по «дороге жизни» и оказалась в

Казани, где находилась значительная часть эвакуированных институтов Академии наук. Через несколько месяцев, в середине 1942 г. ее вызвали в Москву в Институт географии АН СССР, где в составе группы ученых она принимала участие в срочной работе, связанной с нуждами фронта, — подготовке карт проходимости для наших войск для территорий Украины, Восточной Европы и Дальнего Востока.

После войны она продолжила работу в Ботаническом институте, занималась составлением геоботанических и ландшафтных карт, вела полевые работы в Ленинградской области, в Деркульском стационаре (Белгородская область) и Центрально-Черноземном заповеднике. В 1955 году она была одним из тех биологов, которые подписали знаменитое «письмо трехсот» — первый коллективный протест советских ученых против засилия «лысенковщины» [2]. В 1967 году она защитила докторскую диссертацию «Динамика степной растительности». Анастасии Михайловне принадлежит большое количество научных работ и несколько научно-популярных книг. В последние пятнадцать лет жизни она много сил и времени отдавала работе в ленинградском Обществе охраны природы, активно участвовала в подготовке и научном обосновании предложений по организации заказников и заповедных территорий в Ленинградской области.

«Записки о пережитом» А.М. Семеново́й-Тя́н-Ша́нской посвящены не только родным и семье, но и сослуживцам и коллегам по работе. В них оживают страницы довоенной истории развития отечественной ботаники и сложные, подчас трагические судьбы многих ученых. С юных лет Анастасия Михайловна имела счастливый «дар дружбы», умела быть искренним верным другом на всю жизнь. Благодарную память о своих учителях — погибших в лагерях и тюрьмах ботаниках Артемии Сергеевиче Порецком и Юрии Дмитриевиче Цинзерлинге, скончавшемся от голода Анатолии Владимировиче Прозоровском и других выдающихся биологах, ставших ее друзьями, она с нежностью пронесла через всю свою жизнь. Она вела обширную переписку, поддерживала письменную связь с коллегами из других городов и учреждений, например, с сотрудниками любимого ею Курского заповедника (где она работала и регулярно бывала в 1950-х — 1960-х гг.). Совместная работа и нерушимая дружба в течении всей жизни связывала ее с московской семьей ученых-геоморфологов — Александрой Семеновной Кесь и ее мужем Борисом Александровичем Федоровичем.

Долгие годы Анастасия Михайловна переписывалась с замечательным человеком и ученым, московским профессором, позднее академиком-секретарем Отделения общей биологии АН СССР, ос-

нователем почвенной зоологии Меркурием Сергеевичем Гиляровым, с которым она познакомилась в экспедиции в Деркуле в 1950 году. Ученики и аспиранты Анастасии Михайловны становились ее друзьями на всю жизнь. Таким верным другом была ее первая аспирантка Антонина Александровна Горшкова, ставшая крупным сибирским ботаником. Близким ее другом и отчасти учеником, которому она уделяла много внимания, был профессор-лесовод, эколог, геоботаник Станислав Алексеевич Дыренков. С обаятельной Мариной Сергеевной Боч, специалистом по экологии болот, ее связывали тесные дружеские отношения и работа в ленинградском отделении Общества охраны природы.

Но главным другом, самым родным и близким человеком для Анастасии Михайловны на протяжении всей жизни была сестра. По отношению к ней она всегда помнила и сохраняла всю серьезность и ответственность старшей, хотя Вера была моложе всего на три года. Получилось так, что своей семьи у Анастасии Михайловны не было, и дети и внуки Веры Михайловны стали и ее детьми и внуками.

Жизнь Веры Михайловны сложилась, может быть, не так ярко. В 1930-е годы, когда Стана начала работать и учиться в университете, уже твердо связав свою жизнь с наукой, на долю младшей сестры выпала забота о доме. Воспитавшая сестер Алиса Андреевна была уже тяжело больна. Чтобы проводить с нею больше времени, Вера поступила на английское отделение в Институт иностранных языков — и в последние годы жизни Алиса Андреевна была счастлива помогать Вере учить английский. Ухаживая за нею, Вера Михайловна сама заразилась туберкулезом, угроза обострения которого сопровождала ее потом долгие годы. Многие из друзей ее молодости погибли во время репрессий 1930-х годов и во время войны. Вера Михайловна вышла замуж в 1946 г. Ее муж, Арсений Владимирович Старосельский, журналист, фронтовик, вскоре тяжело заболел; он умер в 1953 г., когда их сыну было 5 лет. Последний год жизни Арсения Владимировича был особенно тяжелым — в 1952 г. за опечатку, пропущенную в газетной статье, где речь шла о Сталине, он был уволен из редакции с «волчьим билетом» и в течение всего следующего года не мог найти работу.

С конца 1940-х Вера Михайловна начала преподавать английский язык, сперва в Фармацевтическом институте, а потом в средней школе. Она была учителем «божьей милостью», и живая работа с детьми, возможность передать им «разумное, доброе, вечное» много значили в ее жизни. Более пятнадцати лет Вера Михайловна работала в 11-й английской школе, где под руководством замечательного

директора В. Н. Янсон, сложился творческий и дружный педагогический коллектив. Там Вера Михайловна преподавала спецкурс по техническому переводу и организовала языковую практику для учеников в ведущих академических институтах и музеях города. Причем сделано это было в соответствии с интересами и склонностями самих учащихся. Все это и еще кружок по западно-европейской литературе, который Вера Михайловна вела у себя дома, с удовольствием вспоминают ее ученики. Она никогда не жалела для других, ни своего времени, ни внимания, ни сил. Она не оставила воспоминаний, но так же, как Анастасия Михайловна, много и интересно рассказывала о прошлом. Ее письма, адресованные близким, полны юмора и нежности, а письма детям она украшала веселыми рисунками.

Анастасия Михайловна в семье как бы заменяла отца. Через нее Миша и внуки Кирилл и Женя приобщились к семеновской естественно-научной традиции, научились любить и знать природу.

Анастасия Михайловна считала, что человек на своем жизненном пути проживает несколько разных жизней, — «время идет, все так быстро меняется, и очень важно написать о том, что пережито, для следующих поколений». Ею руководило горячее желание сохранить и передать другим благодарную память о разных людях, встреченных на жизненном пути — родных, друзьях, соседях, коллегах и сослуживцах. Автор еще и еще раз напоминает нам о главном, о лучших людях и их как бы наивных «вечных ценностях», которые одни только и оказываются, спустя десятилетия, главным смыслом и оправданием ушедшей эпохи. «Записки» Анастасии Михайловны хорошо передают дух времени, они написаны мудрым и много пережившим человеком. Все это делает их важными и ценными для всех тех, кто интересуется, как складывалась и протекала жизнь людей в бурном течении XX столетия.

Анастасия Михайловна писала свои записки небольшими фрагментами — в больнице, на реабилитации после очередного инфаркта, иногда на даче. Название «Записки о пережитом» предложено публикаторами. Публикация включает четыре основных раздела: первый посвящен родителям и детству, второй — истории семьи Парландов, поколению прадедов и дедов, Два последних раздела — воспоминания о Н. А. и Е. А. Бушах и об экспедициях 1936–1937 гг. и история Отдела геоботаники Ботанического института в 1930-х и в начале 1940-х годов. Издание снабжено аннотированным указателем имен и дополнено уточняющими комментариями.

ДО РЕВОЛЮЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ

Красной нитью через всё мое детство проходила война или ее угроза. Я себя помню маленькой — мы живем в Петрограде на Васильевском острове, на 14 линии в доме 31, в квартире 5, на третьем этаже, куда ходит из подъезда лифт. Живем: мама, я, няня (Анисья Андреевна Трайденкова), тетя Аля — мамина сестра (Алиса Андреевна Парланд), дядя Дида — мамин брат (Андрей Андреевич Парланд), — живем в большой квартире. А папы у нас нет — папа на войне. Где война, я не знаю, — там страшно, там убивают, и мама всегда боится за папу. Она молчит и, наверное, плачет, когда долго нет от папы писем, и радуется, когда они приходят. А по вечерам она приходит ко мне в комнату, когда я ложусь спать, и садится ко мне на кроватку, слушает, как я молюсь Богу:

— За папу, за маму, за Стасю, за бабушку, за няню, за тетю Алю, за дядю Диду, еще за дедушку и бабушку, за Гулиньку и Маиньку, — за всех, Боженька, и чтобы война скорее кончилась.

— Чтобы война скорее кончилась,— шепчет мама, и няня тоже говорит, низко кланяясь иконе в углу и крестясь:

— Чтобы скорее кончилась, Господи, война.

А она не кончается... И мама ждет от папы писем и делает по вечерам мятные пряники, чтобы послать папе. Она взбивает деревянной ложкой белки на тарелке, а я стою рядом около обеденного стола, и мне кажется, что это облака и что они должны быть сладкими. Когда мама уходит на кухню, я пальцем пробую взбитый белок и, о ужас, он не сладкий, а противно соленый. И на всю жизнь у меня осталось к взбитым белкам плохое чувство — почему они не сладкие сами по себе... Мама печет мятные пряники и отправляет папе посылки. Папа сидит в окопах, и там всегда дождь. Правда, мне он пишет веселые письма с картинками: как дядя-солдат ест колбасу, как эту колбасу утащила собака и о том, какая у папы лошадь. Мама читает мне их вслух, и я люблю, когда приходят письма. А потом

папа приезжает сам — он очень красивый, у него сапоги со шпорами. И когда он ходит большими шагами по комнате, они звенят. Особенно интересно смотреть на них сидя на полу. Я люблю сидеть на ковре у мамы в спальне. Папа ходит большими шагами и что-то рассказывает маме. Она сидит на диване, а шпоры звенят, и мне это очень нравится. У папы высокие блестящие сапоги и темный френч с пуговицами. Когда он берет меня на колени, я рассматриваю пуговицы: они с грибочками, и трогаю папин крестик, белый с синим, на груди. А один раз папа рассердился на меня и запер меня в ванную. Я сидела на полу, он ходил по комнате, а я редела. Почему — не помню, но здорово громко редела и не хотела замолчать. Папа взял меня на руки и унес в ванную. Там я тоже сидела на полу и редела. А что потом — не помню.

Квартира у нас большая. Если идти с лестницы, тоходишь в переднюю — там висят пальто на вешалке с загородкой. Из передней прямо дверь в гостиную, а потом другая дверь направо в коридор. Гостиная большая, длинная и оканчивается фонариком, где стоят цветы: большие фикусы. Из окон фонарика видна улица — в одну и в другую сторону. В гостиной стоит рояль — около двери, которая ведет в мамину спальню, а по другую сторону — диван, красный, бархатный, с выгнутыми ножками, перед ним — столик овальный и такие же большие кресла и стулья, тоже бархатные. Это бабушкина мебель, и гостиная тоже ее. Бабушка по вечерам играет на рояле, а я стою рядом и слушаю; или мы с мамой сидим обнявшись на диване и тоже слушаем.

Из гостиной дверь ведет к маме. Ее комната самая лучшая, самая большая и самая светлая. Двери большие на две половинки и три больших окна. Какие занавески на окнах — не помню, но нижняя часть окон занавешена очень красивыми небольшими занавесочками с красными и желтыми цветочками. Они потом долго жили, эти занавесочки, у нас в Череповце, уже когда мамы не было. И я всегда вспоминала наш дом в Петрограде, глядя на них, мамину комнату, маму. . .

В маминной комнате три окна, между ними стоят столик и туалет — просто комодик красного дерева, а на нем небольшое зеркало. Оно всю жизнь потом стояло на этом же комодике у нас и у меня в комнате. Комод покрыт такой же скатертью, как и занавески на окнах. Перед окном около моей детской стоит столик с маминной швейной машиной. Кровати — мамина и папина — большие, с белыми, вернее, кремовыми спинками и сетками — стоят рядом

около стены в детскую. Между кроватями тумбочка, а другая тумбочка около стены. Одеяло у папы черное с белым, очень теплое, толстое, у мамы зеленое с белым, а покрывала на обеих кроватях кружевные на легких чехлах.

За кроватями, у стены в коридор — умывальный стол с большим фарфоровым тазом и красивыми кувшинами. Их два. Над умывальником зеркало и много, много всяких мыльниц, щеточек и флакончиков. Таз вставляется в дырку стола, под ним ведро, в которое сливают воду. Мне один раз подарили двух золотых рыбок. Они жили в большой банке у мамы на окне. Но вдруг одна рыбка заболела, и ее перевели в мамин таз в умывальнике. Она там плавала, плавала. . . и умерла.

За умывальником находится дверь в коридор. Я забыла сказать, что все комнаты имеют, кроме больших дверей около окон, еще двери в коридор. За дверью стоит диван — голубой, мягкий, красивый, а за ним, углом, большая кафельная печка. Вдоль стены, примыкающей к гостиной, стоит буфет. Наш буфет, в который спрятана мамина посуда и чашки. Бабушкин буфет находится в столовой. Рядом с буфетом, около двери в гостиную, стоит большое кресло, тоже серо-голубое, как диван, и мягкое. На нем всегда сидит мой большой плюшевый медведь, которого потом, уже в Череповце, Таня и Ваня Петрашень назвали Володей. . . В углу за дверью в гостиную перед окном приютилось маленькое треугольное кресло с такой же обивкой, что и диван. На полу лежит большой зеленый ковер с рисунком деревьев, озера и дорожек. На нем в Череповце мы с Верой играли бесконечно в куклы и в ракушки. Около маминой постели, у стены и между ее и папиной постелями лежат маленькие красные коврики с рисунком по бокам. Они похожи были на ковер-дорожку, который покрывал до Великой Отечественной войны лестницу в Географическом обществе в Демидовом переулке. Вдоль красного поля по бокам бордюр из треугольных листьев. Между буфетом и креслом стоит самоварный столик с нашим белым самоваром. А перед окном — черный небольшой столик с большой араукарией. Наверное, потому, что мы живем с бабушкой, мамина посуда, самовар и буфет стоят у мамы в комнате.

Моя комната маленькая, в одно окно, рядом с маминей спальней. Перед окном стол, покрытый клеенкой, на котором няня пьет чай, а я рисую. В одном углу, ближе к маминей комнате — между столом и дверью — живут мои куклы, а в другом стоит сундук. В нем няня держит свои вещи и платья. А где висят мамини и мои платья, я не

помню. Мамин сундук стоит в коридоре. Моя кровать стоит вдоль стены, примыкающей к бабушкиной комнате. Перед ней, ближе к окну, — большой комод. А в ногах кровати, рядом с печкой, — мой пеленальный столик. Маленький умывальник находится перед дверью в коридор, в ногах няниной кровати вдоль другой стены. Над умывальником висит сетка с губками. Губки большие, настоящие. Таких я после никогда не видела. На окне стоят цветы — нянины любимые герани: красные, розовые и белые.

Последняя комната, выходящая на 14-ю линию, — бабушкина, тоже в одно окно. Против двери в мою комнату стоит у задней стены большой бабушкин туалет с зеркалом. Если открыты все двери (а они открыты всегда), то из гостиной через спальню и мою детскую виден бабушкин туалет. И когда бежишь в гостиную к бабушке, то видишь даже свою голову в зеркале туалета. Кровать бабушкина за ширмой стоит вдоль моей стены, около печки. Видимо, печки — моя и бабушкина — расположены в одной стене. По задней стене расположен большой умывальный стол с дверцами, закрывающими ведро, с большим очень красивым кувшином с розовыми цветами. За туалетом небольшой диванчик, кресла и круглый столик, за которым сидят приходящие в гости к бабушке ее сёстры: тетя Нина (Шарлотта Николаевна Рюккер) и тетя Аня (Анна Николаевна Кюстер). Обе большие и толстые. Дверь в коридор у бабушки маленькая и выкрашена в коричневый цвет. За ней коридор поворачивает в столовую буквой «г», и в этом маленьком коридорчике находятся уборная и ванная. В ванной газовая колонка и горячая вода, и когда меня купают, то мою оцинкованную ванночку ставят в большую ванну.

Столовая большая и длинная, у нее одно большое окно во двор, в углу в конце комнаты, и много дверей: одна из коридора — главный вход, другая рядом с окном — в комнату тети Али, маминой сестры. А в конце две двери — в кухню и в папин кабинет. В кухню ведет маленький коридорчик и там, кроме кухни, еще помещается людская комната, где спят кухарка и горничная.

В столовой посередине большой раздвинутый овальный стол. Вдоль стены около главной двери кушетка, а рядом с ней столик с лампой. А потом — печка, конечно, углом. А вдоль длинной стены — большой бабушкин буфет с вырезанными на дверцах узорами и птицами и самоварный столик с большим самоваром и кофейником. Стулья большие с высокими спинками. Над столом большая лампа с абажуром. Перед окном два мягких кресла, наверное, родных с кушеткой, и круглый столик с лампой, на котором лежат газеты. Вдоль

тети Алиной стены два шкафа с книгами. Занавеска на окне темная и закреплена цепочками с шарами. Обои тоже темные, по-моему, зеленые. На стенах висят: чучело рыси, которую убил дедушка Андрей Александрович Парланд — мамин отец, головы лисиц, зайцев, несколько дятлов (тоже чучела). Рысь и дятлов папа передал потом в гимназию Мая, которую он кончил и где учились мы все, уже после революции, когда она называлась 217-й школой. Приятно было, войдя в кабинет естествознания, видеть рысь, которую убил дедушка, а подарил школе папа.

Папин кабинет я плохо помню. Там стоял рояль, на котором лежала шкура лисы с головой и зубами в виде ковра с темно-зеленой подкладкой, папин шкафик красного дерева с книгами, два больших кресла, таких же, как у мамы в спальне, и письменный стол с точеными ножками. На стене висела большая фотография дяди Жоржика — маминого младшего брата, которого очень любил папа. . . Обои были темно-малиновые, и еще висел майоликовый барельеф Иоанна Крестителя на голубом фоне и на нем серые четки, принадлежавшие дяде Жоржику.

Комната тети Али была по другую сторону столовой, и одна дверь у нее выходила в коридор. Комната была с одним большим окном — зеленая. Зеленые обои, зеленые темные шторы на окнах, тоже с шарами и цепочками, чтобы держались. Зелеными были занавесочки у книжного шкафа, и капот, в котором утром тетя Аля выходила в столовую, тоже был зеленый. Бледно-зеленый, мягкий-мягкий. У тети Али стоял зеркальный шкаф, в углу — кровать, а в другом углу — большой треугольный шкаф. Наверное, были кресла и столик. Но самое главное, были краски: столик с красками, кистями, мольберт и все принадлежности художника. Тетя Аля рисовала и раскрашивала деревянные игрушки: мужик с медведем пилят дрова, и еще дятлы — масса деревянных дятлов, больших и маленьких. Таких я больше никогда не видела. Мы их с ней раскрашивали вместе. Я помогала тете Але и очень любила это делать. Я красила, а тетя Аля потом доделывала, рисовала им глаза, раскрашивала носик, хохолок. Их было много, и я не знаю, для кого тетя Аля их делала. Но у меня было несколько семейств дятлов. Тетя Аля потом рассказывала, что однажды она рисовала вазу с цветами. Я стояла и смотрела, как она рисует акварельными красками, и когда ее позвали к телефону, быстро взяла большую кисть, обмакнула в красную краску и намазала через весь натюрморт красные пятна и полосы. Тетя Аля, придя назад, ахнула от ужаса и стала смы-

вать мою мазню специальной губочкой. Я стояла и молча смотрела. И когда тетю Алю позвали в другой раз, когда она тоже рисовала акварелью, я нашла среди кистей эту губочку и старательно смыла всё, что тетя Аля раскрасила. После этого случая она не любила, чтобы я смотрела, как она рисует.

Последняя комната по коридору, рядом с передней, была в одно окно и принадлежала дяде Херри (Диде), маминому старшему брату. У меня осталось впечатление, что в ней ничего не стояло, кроме шкафа и кровати, на которой лежал дядя Дида.

По утрам, после того, как няня одевала меня в красное или синее вязаное платье с полосками по подолу (финские трикотажные шерстяные платья), я бежала к маме, а потом к бабушке здороваться. Бабушка вставала поздно — у нее были больные ноги, и к ней по утрам приходила массажистка. Я помню, как бабушка сидит на кровати, еще в рубашке, а массажистка в розовой кофточке, сидя на маленькой скамеечке, трет бабушке ноги. Утром мы с мамой пили кофе в столовой одни. Днем, после моего возвращения с прогулки, бывал завтрак. Тогда уже с нами в столовой сидела бабушка. Самым любимым блюдом за завтраком для меня были яйца, особенно крутые, которые мама резала на четвертушки. При этом я предпочитала белок, а желток отдавала маме.

Обедали поздно, когда приходила с работы тетя Аля. За большим круглым (вернее, овальным) столом, в конце которого сидела мама. Мое место было на высоком стульчике между ней и бабушкой. Мама разливала суп из большой суповой миски, которую приносила горничная. Тогда не было принято подавать суп в кастрюлях — это произошло уже после революции. Обед был обязательно из трех блюд. На сладкое самым любимым моим было «голубое» — розовый мусс из клюквы. Он подавался в большой вазе и, по моим воспоминаниям, сверху был воздушно-розовый, а внизу более жидкий и красный. Я потом несколько раз спрашивала тетю Алю, но она мне говорила, что это моя фантазия, что «голубое» всегда бывало однородное. «Голубое» — это мое название, я считала, что оно похоже на небо (по фактуре, как облака). После тетя Аля мне показывала разные цвета, и я всегда правильно называла голубой цвет и отличала его от розового. Но мусс упорно называла «голубое», и это название вошло в обиход в нашей семье.

Когда приезжал папа, по утрам в столовой я здоровалась еще с папиным денщиком Степаном. Он нес в спальню начищенные папины большие сапоги. Степан был пожилой солдат с усами. А потом,

позднее, у папы был другой денщик Алексей, молодой, веселый. Он много играл со мной и сделал мне бумажный самолет (аэроплан, как тогда говорили), который висел у меня под лампой.

Папа был взят на военную службу сразу, как только была объявлена война, и отправлен в действующую армию в чине прапорщика. Военскую повинность в 1909–1910 гг. он отбывал в лейб-гвардии Егерском полку в Петербурге, а когда началась война, он попал тоже в стрелковый егерский полк (т. е. в пехоту) какой-то сибирской дивизии. И поехал сначала не на фронт (на запад), а на восток, в Сибирь. Шестого августа 1914 года он проезжал Череповец, и на вокзале его встречал дядя Ваня, Иван Васильевич Петрашень, муж маминой сестры тети Джесси. Он рассказал папе, что у него только что родился сын — Егорушка, названный Георгием в честь маминого и тети Джессиного брата — дяди Жоржика. А папа просил дядю Ваню позаботиться, если его убьют, о маме и обо мне. Дядя Ваня был мой крестный отец и всю жизнь любил меня и считал своей четвертой дочкой. . . Папа не доехал до Иркутска, где квартировал его полк, и в Канске встретил эшелоны полка, ехавшие уже на фронт. Об этом он пишет подробно в своем романе, в котором описывает первые бои и как он был контужен^[3].

Только в начале 1915 года нашли папу в госпитале в Белостоке, так как он забыл от контузии свое имя и фамилию и думал, что находится в плену, и говорил только по-немецки. Когда удалось врачам узнать его фамилию, дедушка Дмитрий Петрович получил письмо от глав. врача с просьбой, чтобы в Белосток приехали родные папы, так как он находится в тяжелом состоянии. До этого на все запросы дедушки и мамы приходили ответы: в числе убитых, попавших в плен и пропавших без вести не значится. В Белосток поехала мама со своим братом Освальдом Андреевичем Парландом (инженером путей сообщения), и они привезли папу в очень тяжелом нервном состоянии в Петроград^[4]. На время маминого отсутствия и на всё лето 1915 года я с няней Анисьей была отправлена в Череповец к Петрашням. Как мы туда ехали и как там жили, я совсем не помню.

После возвращения в Петроград папа имел по болезни какой-то отпуск. По его собственным рассказам, он был серьезно болен и время от времени терял память. Так однажды (он сам рассказывал) кто-то из знакомых нашел его сидящим на ступеньках Царскосельского вокзала, и на вопрос, что он делает, он ответил, что едет в поезде в Царское Село к родителям, которые живут там на даче. Лечил его крупный невропатолог Карпинский. По словам папы, он

ему говорил, что «когда кончится война, мы с вами займемся всерьез вашим лечением». А пока у папы одна сторона тела имела нормальную чувствительность, а другую можно было свободно колоть, и папа ничего не чувствовал. Вера вспоминает, что папа рассказывал о своем первом посещении врача Карпинского. В комнате, где ожидали приема пациенты, сидел офицер, которого принесли на руках. Он не мог ходить. Когда дошла до него очередь, Карпинский вышел из кабинета и вызвал его, но офицер не мог встать с кресла. Тогда Карпинский строго сказал ему:

— Встаньте и идите в кабинет! Вы совсем здоровы. Идите!

Офицер встал и пошел за ним, а через некоторое время вышел от него совсем здоровым. А папе он сказал:

— Вы боитесь сойти с ума?

— Да, — ответил папа.

— Это вздор, — сказал врач, — вы совсем нормальный человек.

По словам папы, он воскрес от этих слов, — как вспоминает Вера, а я это забыла.

Сколько времени у папы был отпуск после контузии, я не знаю. Но уже, видимо, осенью 1915 года он снова был взят в армию и командирован в Сибирь для сопровождения германской сестры милосердия, знакомившейся (по какому-то, видимо, договору) с положением военнопленных в лагерях Сибири^[5]. Папа был назначен ее сопровождать как офицер, знающий язык, и ему был дан денщик, тоже знающий языки. Таким денщиком был Алексей, работавший мальчиком, а потом коридорным не то в гостинице Европейской, не то в Астории. Он знал поэтому три языка — немецкий, французский и английский, а папа — немецкий и французский. Кроме немецкой сестры, в инспекции лагерей военнопленных участвовал представитель нейтральной страны — Дании. В купе на четверых находились папа, Алексей и двое иностранцев. По инструкции их нельзя было оставлять одних, и всегда или папа, или Алексей находились в купе. Ехали они по Сибирской магистрали до Благовещенска через Хабаровск и до Владивостока. Папа рассказывал, как они были во Владивостоке в китайском театре и что природа Дальнего Востока еще тогда поразила его и он мечтал потом поехать туда работать^[6]. На всех станциях их встречали жандармские чины, которым было поручено следить за их поездкой. В Хабаровске какой-то жандармский полковник, показывая папе свои донесения, среди них неожиданно показал копию собственного папиного письма, адресованного маме. И когда папа этому очень удивился, объяснил, что все па-

пины письма не только читались цензурой, но и копировались, и что это очень просто делается. . . [7]

Поездка, наверное, кончилась зимой, так как немецкая сестра милосердия после ее окончания, перед отъездом в Германию, подарила папе папаху из темно-серого каракуля (видимо, было холодно). Мама говорила мне, что когда кончится война, то из этой папахи сделают мне муфту. Эту папаху папа носил потом в Череповце и в Ленинграде до самой своей смерти.

После возвращения из Сибири папа был зачислен в свой «родной», как он говорил, лейб-гвардии Егерский полк и снова был отправлен на фронт. И зиму 1915–1916 гг. его опять не было с нами. . . [8] Видимо, я и помню более или менее ясно именно эту зиму.

После завтрака я шла гулять с няней. Гуляли по 14-й линии и по Большому проспекту вдоль заборов, которые загораживали сады около домов. Гуляли медленно до 1-й линии, так как я смутно помню очертания меньшиковского Кадетского корпуса, и до 21-й линии — до пожарной каланчи. Ее я помню очень хорошо, а главное, красивых пожарников, одетых в черные костюмы, с блестящими медными касками на головах, и открытые двери пожарных сараев, где стояли запряженные лошади.

С мамой мы гуляли редко. Один раз ездили куда-то на пароходике, в какой-то сад, где были клетки с кроликами, олень и ослик. Там я играла в песочек с каким-то мальчиком. Я потом спрашивала тетю Алю, куда мы ездили. Она сказала, что думает, что в Александровский сад, где как будто бы на детской площадке был небольшой зверинец. Еще мы с мамой ходили на набережную, где жила тетя Дези с Гуленькой и Майенькой — моими двоюродными братом и сестрой. Где точно они жили, я не знаю, где-то между 15–16-й линиями или 17–18-й. Тетя Аля не могла мне потом показать их дом, так как они жили там недолго, а потом переехали к дяде Ози (Освальду Андреевичу Парланду), на Большой проспект, дом 35, между 9-й и 10-й линиями. Дядя Ози жил в большой квартире один, потому что его жена^[9] и дети — Энчик, Персик и Ральф — жили где-то в Финляндии, и к нему-то и переехала жить тетя Дези. Почему, я не знаю. Я помню столовую в этой квартире и дядю Ози, сидящего около стола в форме инженера путей сообщения с блестящими пуговицами и зелеными кантами на воротнике и рукавах. Он был в пенсне (очки тогда не носили). Он брал меня к себе на колени и рассказывал о своих мальчиках — Энчике и Персике. Они были старше меня и жили где-то под Выборгом. Наверное, я их всё-таки видела,

так как в памяти всплывают какие-то мальчики в темных матросских костюмах и полосатых чулках. . . Дядя Ози рассказывал о них, а когда у мамы родилась дочка Верочка, а у дяди Ози четвертый сын*, он предлагал мне меняться. Он возьмет себе девочку Верочку, мою сестренку, а мне отдаст мальчика, чтобы у него была дочка, а у меня братец. Мы серьезно обсуждали с ним этот вопрос, и пока он говорил, я соглашалась, а потом отказывалась отдать сестрицу. Дяде Ози очень хотелось иметь дочку. . .

У Гули и Майи в его квартире была детская, гораздо больше моей. Вдоль стены стояла белая полка с игрушками. Разные там были звери: собака, кошка, куклы. У Гули была кукла Фриц, которого он бил, так как он был немец. А сам Гуленька считался санитаром, и у него на рукаве курточки был нашит красный крест, а у Майи на переднике тоже был красный крест, так как она играла в сестру милосердия. Эти кресты нашла им няня Нюша — веселая, с желтыми волосами. У Гуленьки и Маиньки были курчавые пышные волосы, и когда они приходили к нам, няня Нюша расчесывала эти волосы щеткой. Мама и тетя Аля называли Маиньку «кукушкой». Потому что она родилась в мае у нас в квартире на 14-й линии на папиной кровати. Тетя Дези пришла к нам в гости, и у нее родилась дочка (весной 1914 года). А папа и дядя Ози вымыли пол в маминей спальне сулемой. «Кукушкой» девочку назвала моя няня Анисья, потому что кукушата, как она мне объяснила, рождаются в гнездах других птиц. С тех пор Майю и звали «кукушкой». . .

Моя няня была карелкой — родина ее станция Максатиха Тверской губернии. Там жила ее «матка», которую няня очень боялась, и сын Ванька. Когда я родилась, маме не позволили меня кормить и взяли кормилицу. Тетя Аля рассказывала, что няня, когда увидела меня, заплакала, так как я весила всего 6 фунтов и была очень слабенькая. Няня сказала, что я непременно помру, но выходила и выкормила меня и называла «Стаська, мой дочка», по примеру «Ванька моя сын». Она пошла в кормилицы, потому что ее семья была очень бедная. Ее обманом выдали замуж за лодыря и пьяницу; когда приехали посмотреть его дом, во дворе стояла чужая корова. Тетя Аля рассказывала, что няня на другой день после рождения первого ребенка пошла уже жать рожь. Дети ее умирали, остался один Ванька, он был старше меня, и его воспитывала «матка», так как Анисья ушла от своего мужа и пошла в кормилицы. Два раза она горела — дом свекора сгорел начисто, и няня безумно боялась по-

*Герман Парланд. Он родился в январе 1917 г.

жаров. Она была неграмотная, но очень душевный человек; мама ее очень любила, и няня платила ей тоже большой любовью. Вместе они шили и вышивали. Няня учила маму знаменитой тверской вышивке и новгородскому шитью. Все мои детские бесчисленные юбочки со складочками и кружевами, платья, переднички и детское бельё шила няня. Она не знала никаких сказок и песен. Только про «Белого бычка» и одну песенку:

Елочки и палочки,
Где Сережа пропал?
Был я у Володи,
Заказал себе сюртук
Шить по новой моде.

Этот неведомый Сережа представлялся мне большим мальчиком в белой рубашке, коротких штанах, застегивающихся на пуговики ниже коленок, таким, как Сережа Верховский — сын тети Алиной подруги тети Шуры. Александра Михайловна Верховская училась с тетей Алей в гимназии и была дружна с ней и с мамой. Она часто приходила к нам в гости и сидела у мамы в комнате на диване с большой мягкой муфтой. У нее кроме Сережи были две дочки — уже взрослые девушки: Нина — веселая блондинка с распущенными волосами и Кира. Киру я очень любила, она приходила ко мне в комнату, садилась на пол, и мы с ней играли в куклы. Кроме Верховских приходили в гости еще тетя Эми Умнова, тоже подруга тети Али и мамы, с дочкой Ириной. К бабушке приходили старые тети и дяди — ее сёстры и брат. Тетя Аня (Анна Николаевна Моор) с дочерью Эльзой — высокой блондинкой в белом платье и яркоголубой кофточке; тетя Нина (Шарлотта Николаевна Рюккер) и ее дочь — Ниночка — очень веселая, с пушистыми волосами, и сын дядя Руди, Рудольф Эрнестович, — военный врач, погибший на фронте в 1919 году от сыпного тифа. Мама и я его очень любили. Он приходил вечером перед тем, как я ложилась спать; в это вечернее время я всегда была у мамы. Мы сидели с ней на диване, и она мне читала вслух «Кролю-Нолю»*, а когда приходил дядя Руди, они разговаривали. Он ходил по комнате и рассказывал про войну... Других родственников мамы — старую тетю Олю (сестру дедушки Ольгу Александровну фон Моль) и дядю Атю. (Альфреда Александровича Парланда, его брата) я плохо помню. Вернее, я дядю Атю путаю с дядей Вилли — братом бабушки (Вильгельмом Николаевичем Кюстером). Помню высокого седого господина в длинном сюртуке,

* «Приключения Кроли» П. С. Соловьевой-Allegro.

с усами и острой бородкой, разговаривающего с бабушкой в гостиной. . . Но кто он? Дядя Атя? Или дядя Вилли? Не знаю. . .

Папины родные — дедушка с бабушкой (Дмитрий Петрович и Евгения Михайловна) с тетей Арей и дядей Шурой жили в нашем же доме, этажом выше, в квартире 6. Дом наш принадлежал нашему дедушке — папинуму отцу Дмитрию Петровичу Семенову-Тян-Шанскому. Наверное, поэтому его квартира занимала весь этаж и на площадке четвертого этажа была только одна дверь. Так одна дверь на этой площадке осталась и до сих пор, то есть до 1987 года, и мне непонятно, какая же из этой квартиры получилась огромная коммунальная квартира^[10].

На нашем третьем этаже гостиная с фонарем относилась к нашей 5-й квартире, но гостиная была узкая, и одна ее стена упиралась в фонарь. У дедушки гостиная была широкая и фонарь был по ее середине. По вечерам, после обеда мы с мамой часто ходили наверх к дедушке, а иногда я ходила туда с няней. Кроме гостиной, бабушкиной комнаты, которая была над маминой спальней, и комнаты тети Ари по другую сторону гостиной, я ничего не помню, кроме длинного коридора по обе стороны от входной двери, налево от которой, в этом же коридоре, висел телефон (был ли телефон у нас, не помню, наверное, был, но где висел, не знаю). В гостиной у дедушки по правую руку от входа из передней стоял большой рояль, за которым обычно играл по вечерам дядя Шура. По другой стороне, у правой стены перед печкой стояли: диван, круглый столик, покрытый скатертью с бахромой, и кресла. Столик стоял перед диваном, на котором сидел дедушка и читал. На столе стояла лампа с большим абажуром. У дедушки были большая белая борода и усы, которые кололись, когда он меня брал на руки и целовал. Перед ним на столике лежало много-много книг.

Бабушка Евгения Михайловна выходила из своей комнаты в длинном, до полу, сером шуршащем платье, обшитом пшуром, и перед ней всегда бежала черная собачка Муська, которую бабушка очень любила. Бабушка была моей крестной, но я не помню, чтобы она меня ласкала или занималась мною. Больше всех у дедушки со мной возились дядя Шура — папин младший брат — и тетя Аря^[11].

Дядя Шура, так же как и папа, был военным, в форме, но почему-то на войне не был^[12]. У него были во рту золотые зубы, и он очень хорошо играл на рояле. Я любила стоять около него и смотреть на его руки, когда он играл. А иногда мы с ним сидели около дедушкиного столика, и он учил меня делать из пальцев слоника. У него

хобот был из среднего пальца, и слон кивал им и говорил: «Здрасьте!» А у меня это никак не получалось, и мой слоник имел хобот из указательного пальца. Только потом, когда я выросла, я научилась делать слона, как дядя Шура, и такой слоник всегда вызывал восторг у маленьких детей.

Тетя Аря, наверное, была дружна с мамой, потому что очень часто приходила к нам вниз, а когда мама бывала наверху у бабушки, то потом мы с ней долго сидели в комнате у тети Ари. Ее комната была вроде моей, в одно окно. Около окна стоял рабочий столик, за которым тетя Аря шила, а туалет с большим круглым зеркалом стоял в углу, наискось. Это был, наверное, красного дерева туалет в стиле ампир, как я себе представляю теперь. А тогда меня удивил с ним один случай. Мы играли в комнате у тети Ари в прятки — я и еще дети папиного дяди Измаила Петровича — Олег, Тава, Олечка и Юрик. Сперва я спряталась у тети Ари на кровати за ее спиной под пуховой платок, но меня быстро нашли, и мне пришлось водить. Тава спрятался за туалет и стоял там. Мне были видны очень хорошо его ноги в черных чулках и сапогах со шнурками в углу. Но я думала, что это ножки туалета, и даже щупала настоящие ножки из дерева и Тавины ноги в чулках в резинку и никак не могла понять, почему у туалета ножки такие разные. . .

Еще с бабушкой и бабушкой жила их другая дочь — тетя Вера^[13]. Она жила в другом конце квартиры со своим мужем — дядей Бобой (Борисом Алексеевичем Коноплевым). Он был офицер и ранен в руку. Рука у него была забинтована и висела на черной повязке. У тети Веры была тоже собака Ледька и няня Анна Карповна, которая меня всегда раздевала — снимала шубку, когда я приходила наверх.

Еще я смутно помню папиного старшего брата — дядю Рафу — в сером костюме с салфеткой, говорящего в бабушкином коридоре по телефону, и двух его сыновей, моих двоюродных братьев — Кирию и Васю — беленьких мальчиков в беленьких рубашечках и в высоких мягких черных сапожках^[14]. Они выходили в гостиную вместе с бабушкой Евгенией Михайловной из ее комнаты. . . Больше о бабушкиной квартире и жизни я ничего не помню.

Другие папины братья — дядя Лёля и дядя Коля (Леонид Дмитриевич и Николай Дмитриевич) — приходили к нам вниз. Особенно мне запомнился дядя Лёля. Он жил не в Петрограде, а где-то далеко в деревне и, видимо, редко приезжал в город. Но когда он бывал у нас, с ним было очень весело и он очень много играл со мной. У него была черная большая борода, и ходил он в высоких сапогах и в чер-

ной поддевке. Меня носил на плечах по всем комнатам. Помню, как он внес меня в столовую, где мама сбивала белки для мятных пряников, которые она пекла для папы. Дядя Лёля принес меня, снял с плеча, посадил на стул и начал разговаривать с мамой и утешать ее, говоря, что папа скоро придет. . . ^[15]

Дядя Коля, четвертый брат папы — моряк — тоже был на войне. Он приезжал к нам только один раз, утром, когда я с няней гуляла. Когда мы вернулись и вошли к маме, она сказала: «Подойди и поздоровайся с дядей Колей». Он сидел около окна рядом с маминым туалетом и протянул мне руки. Хотя он был моряк, мне запомнилось, что он, так же, как и папа и старый доктор Лыжин, был в мундире цвета «хаки» ^[16]. Дядя Коля подарил маме фарфоровое яичко, совсем как настоящее, с беленьким нарисованным цветочком. Оно в Череповце после маминой смерти и потом в Ленинграде всегда лежало у папы на письменном столе. И цветочек на нем был, как говорил папа, «кисличка» (*Oxalis acetosella*). А тетя Аля рассказывала, что это датский фарфор, знаменитый на весь мир. Погибло это яичко во время блокады — мы не взяли его с собой в эвакуацию.

Папа, и правда, приехал с войны, как говорил дядя Лёля, и у меня родилась сестричка Верочка (7/20 апреля 1916 г.) ^[17]. Мама утром пришла в детскую, когда няня мыла мне лицо губкой, и сказала, что уезжает купить мне братца Степу. Она поцеловала меня и велела хорошо себя вести и слушаться бабушку, няню и тетю Алю. Я не помню, когда начался пожар после того, как мама и папа ушли покупать братца. Но я сидела в столовой на окне и смотрела, как по двору ходили и бегали пожарные в золотых шлемах, как они тащили пожарные шланги через двор. Няня зажгла в детской лампаду перед иконой. Обычно лампаду зажигали в субботу вечером, а тут она ее зажгла днем и сперва молилась перед иконой, стоя на коленях и кланяясь в пол, а потом быстро, быстро начала собирать и укладывать, завязывать в одеяло все мои и свои вещи и побежала в переднюю к входной двери. В это время пришел папа. Он рассказывал потом, что няня Анисья уже вытащила на площадку мамин и свой сундуки и ревела. Тетя Аля потом объясняла страх няни перед пожаром тем, что у нее самой в деревне два раза до тла сгорел дом. Первый раз, когда все были в поле, жали рожь, а второй раз при няне выкинуло вечером искру из трубы, загорелась крыша, началась паника и дом не смогли потушить. И няня два раза с сыном, свекровью и мужем-пьяницей оказалась без ничего, погорельцами. . . Папа рассказывал, что он выругал няню, втащил обратно сундуки

и снова побежал в больницу Видемана на углу 14-й линии и Большого проспекта, где была мама. Пожар был на 13-й линии, горел строящийся там дом 30, выходящий на зады нашего дома. Пожар был страшный, были вызваны все пожарные части города, и крышу нашего дома поливали из шлангов, чтобы она не перегрелась и не загорелась. Когда мы приехали в 1924 году в Ленинград, мы ходили с папой смотреть «пожарище», вернее, так и не достроенный дом, на месте которого лежали скрученные огнем железные балки. . . Понятно, что во всем квартале была паника, и даже в роддоме Видемана. Когда папа вернулся туда, ему сказали, что родилась дочь, и разрешили пройти к маме. Мама лежала одна и истекала кровью, когда приняли девочку, про маму забыли, так как весь персонал был в панике из-за пожара. Если бы папа не пришел вовремя и не поднял бы скандал, мама бы погибла. . .

На другой день или через день мы с няней пошли к маме в больницу. Она лежала в отдельной палате, в корпусе в глубине двора больницы, выходящем на 14-ю линию. Я помню огромную очень красивую лестницу, коридор и дверь в мамину палату. В головах маминой постели стояла кроватка, и там лежала новая девочка, моя сестренка Верочка. Меня поразили ее черные волосики, лежащие на подушке. Мама подарила мне корзиночку с конфетами в виде землянички, которыми я дома угощала бабушку, няню, тетю Алю и папу. А через несколько дней мы с папой и няней привезли домой на автомобиле маму и Верочку. Во время этой поездки мне очень понравился запах бензина. . .

Верочка спала в корзинке из-под белья* на двух стульях у нас с няней в детской А днем ее уносили в этой же корзинке к маме. . . Позднее, видимо, в конце 1916 года или весной, ее перевели в мою кроватку с сеткой, а мне принесли большую кровать Кирюши, уже без сетки, с высоким пружинным матрацем. Первые дни даже задвигали стульями кровать, чтобы я не свалилась.

Я очень полюбила свою сестричку. Мама сама ее кормила. Ее пеленали на моем пеленальном столике и укладывали в конвертик. А когда она спала, ее укрывали беленьким вязаным одеяльцем, которое связала бабушка. У Верочки было два вязаных одеяльца, второе подарила, тоже беленькое, бабушка Евгения Михайловна. У меня тоже было вязаное одеяло, уже большое. Его мне подарила папина бабуш-

*Бельевые корзины, размером примерно на ширину раздвинутых рук, были или плетеные из прутьев, или из щепы. В них клали выстиранное белье, перед тем, как его катать и гладить.

ка — баба Лиза^[18]. Она была моей крестной матерью и умерла в 1915 году. Но я ее помню, правда, смутно. Мы с мамой ходили к ней в гости на 8-ю линию, дом 39. Помню круглое, вернее, полукруглое окно, заставленное цветами, и очень маленькую, тоненькую старушку, сидящую около столика, на котором стояли чашки и был мармелад. . . Одеяло, которое мне связала баба Лиза, было клетчатое: клетка белая, клетка розовая. . . Под ним я спала даже еще в Череповце, а Верочке тогда сшили два ее беленьких одеяльца в одно. . .

Летом мы поехали все на дачу на Черную речку в Тюресово в Финляндию. Дача была серая и стояла недалеко от моря, так как на пляж купаться мы ходили через сад, через маленькую калитку в еловый лес. Видимо, море было сразу за этой полосой леса. На берегу простирался песчаный пляж, усеянный большими камнями. Такие же большие камни убежали с берега далеко в море. Эти камни, море и еловый лес мне всегда представлялись Финляндией. В лесу же особенно запомнились грибы-лисички, большие, оранжево-желтые, похожие на бабочек. Когда мы шли на море, мы собирали их, и это было очень весело. Потом мне казалось, что я придумала этот лес и лисички. . . Но когда в 1953 году я попала в Тюресово, а потом в Выборг, на берег моря в пограничной полосе, где были чудесные ельники, я увидела там огромное количество оранжево-желтых больших лисичек и поняла, что впечатления детства оказались верными. . .

На даче с Верочкой в саду очень много времени проводила бабушка — Мария Николаевна. Она сидела на скамеечке перед балконом, а Верочка лежала в коляске рядом. Иногда бабушка брала ее к себе в комнату, и Верочка лежала у нее на кровати. Один раз бабушка вышла зачем-то из комнаты, а когда возвратилась, то оказалось, что Верочки нет. Пропала. Бабушка в ужасе закричала, прибежали мама и няня. Начали искать, я залезла под кровать, под стол. Нигде нет. Потом няня отодвинула почему-то бабушкину постель, и вдруг закричала Верочка. Оказалось, что она провалилась между постелью и стеной и застряла там, а когда кровать отодвинули, упала на пол и заплакала, но, к счастью, ничего не случилось.

На даче ее пеленали на постели или у няни, или у мамы, и я очень любила смотреть, как она дрыгает ножками в вязаных башмачках, которые тоже связала бабушка. Но когда она вдруг начинала икать, мама укутывала ее потеплее, и особенно укрывала головку, так как икала Верочка от холода. Иногда меня оставляли на несколько минут с ней одну и всегда говорили, что надо смотреть, чтобы она не

замерзла. И несколько раз мама позволяла держать бутылочку с соской, из которой Верочка пила водичку. . .

На даче я заболела, объелась грибами за обедом, и у меня страшно заболел живот. Ночью меня рвало, и утром приехал в коляске военный доктор Лыжин. Он всегда лечил меня в городе, а тут оказалось, что его дача тоже находится в Тюресово. Вероятно, мне здорово было нехорошо, так как долго потом, даже в Череповце, я отказывалась есть грибы, говоря: «Я их очень люблю, а они меня не любят».

Рядом с нами, но не в лесу и не у самого моря, а на зеленой полянке (по-моему, на горке) в белой даче, окруженной белыми березками, жили мамины сестры — тетя Дези (Благовещенская) с Гуленькой и Майинькой и тетя Маруся (Фидровская) с тремя детьми: Ритой, Левой и Юрочкой (Бушкой). Рита была старше меня на год, Лева и Майя младше тоже на год, а с Гулей мы считались ровесниками, и даже наши дни рождения справляли в один день — 31 января (старого стиля)*. А Бушка был совсем маленький. У него была кормилица в голубом сарафане и кокошнике, а у Риты и Левы — бонна, темноволосая эстонка Гильда, говорившая по-немецки. На пляже она уходила далеко-далеко за камни и там плавала, а мы с Ритой и Левой очень боялись, что она утонет. Тетя Маруся приехала со всем семейством из Юрьева (Тарту), думаю теперь, в связи с эвакуацией Юрьевского университета, в котором работал ее муж Василий Михайлович Фидровский (дядя Вася), в Воронеж^[19]. Остановились они, наверное, в Петрограде, тоже в квартире у дяди Ози, так как у нас они бывали только в гостях. Дядя Вася тоже жил или, может быть, приезжал на дачу. Он играл с нами всеми на лужайке перед белой дачей. Сделал нам всем луки и стрелы и учил стрелять. Он был не такой высокий, как папа, в сером костюме, с небольшой бородкой, с усами и в пенсне, но очень веселый и много возился с детьми.

Где-то недалеко от нас жили Умновы: тетя Эми, Ирина и ее братья — Юра, Алеша и Кирилл. У них на даче в саду были качели и трапедии. Мальчики Умновы были гораздо старше меня. Самая младшая из них Ирина старше меня на три года. Я помню, как Але-

*Только гораздо позднее, когда мы учились уже в Университете, выяснилось, что Гуля — Элий Николаевич — старше меня на год и что родился он не в январе, а в августе 1912 г. По словам тети Али, нас считали ровесниками из-за бабушки, которая не знала, что Гуля родился у тети Дези до ее свадьбы с Николаем Васильевичем Благовещенским в Красноярске. Брак они оформили (т. е. венчались) позднее. А крестили Гулю в 1914 г. вместе с Майей, в Петербурге, и папа говорил, что он сам ножками вошел в купель.

ша качал меня на качелях и поднимал на трапецию. Потом, когда мы взрослые с Ириной вспоминали детство, я спрашивала ее, точно ли я всё помню на даче: и море, и песок, и камни в море, и качели, и трапеции у них на даче. И она говорила мне, что всё это правильно.

Хуже я представляю себе старое кладбище, куда мы ходили гулять. Там была могила какой-то писательницы (не знаю ее фамилии), на которой стоял памятник женщины, державшей на руках медвежонка. . . Сам этот памятник я не помню, но наверное, помню разговоры об этом и своего маленького медвежонка Джонни. Мне теперь кажется, что его на руках держала эта дама. Она держала игрушечного мишку, игрушку своего умершего ребенка. . . А иногда мне кажется, что я помню ограду и черную решетку памятника. . .

Следует иметь в виду, что всё, что я помню в раннем детстве, мне потом ни с кем нельзя было проверить. Мама умерла, когда мне было 5 лет, папы в детстве почти не было, а тетя Аля не всегда могла мне объяснить потом всё, так как многое было без нее.

Папа приехал за нами в конце лета, и мы ехали на поезде домой в город вместе с ним. Наверное, в Териоках поезд стоял долго, потому что папа выходил на вокзал, и я ужасно боялась, что он опоздает и поезд уйдет без него. Я смотрела из окна вагона, как он идет вдоль перрона в темном френче с погонами, португеей, и как солдаты и другие офицеры отдают ему честь. . . Война продолжалась, и папа только ненадолго смог приезжать к нам.

Осенью 1916 года я заболела скарлатиной. Где я заразилась, никто не знал. Шесть недель мы с мамой жили в спальне одни. Двери в детскую, где остались Верочка и няня, были заклеены бумагой. Мама ухаживала за мной, сама каждый день мыла сулемой пол. Тогда сулема была самой главной дезинфицирующей жидкостью. Три раза в день она выходила кормить Верочку, мылась, переодевалась и уходила. Видимо, иногда она ходила гулять. Я оставалась одна. Тетя Аля говорила потом, что она заставляла маму выходить. Ко мне приезжал толстый, в форме полковника, доктор Лыжин. Когда мне позволили встать, я обедала за маленьким столиком с мамой вместе, и самым вкусным на всю жизнь осталось воспоминание о котлетах с макаронами. Когда настало Рождество, мама принесла маленькую елочку, и мы украсили ее игрушками, нет, мы с ней сами их сделали. Я клеила цепи из розовой, белой и оранжевой бумаги, а мама делала корзиночки. Тетя Аля рассказывала, что когда она приходила с работы, еще не раздеваясь, она открывала дверь из спальни в коридор и разговаривала со мной через порог, а я от восторга, что ее вижу,

делала реверансы, держась руками за подол платья. С няней и Верочкой я разговаривала через дверь. Из детской было слышно, как Верочка просыпается, как няня говорит с ней, как приходят бабушка и тетя Оля с Эльзой. Все они стучали в дверь и что-то говорили мне, а я тоже стучала и говорила с ними. Папа писал мне и маме с войны письма. Мои письма были с рисунками: как собака утащила у папы колбасу, как папа садится верхом на лошадь. . . Думаю, да и так же считали потом папа и тетя Аля, что моя скарлатина очень подорвала мамино здоровье. . .

Февральскую революцию в 1917 году я не помню. То есть помню, как из окон фонарика в гостиной мы с бабушкой и няней смотрели на улицу и видели толпы народа — черные толпы на белом снегу. Няня сказала, что убрал народ и матросы «батюшку царя», но что я всё равно должна по вечерам молиться за спасение его. А я не молилась — у меня была своя молитва. Каждый вечер, ложась спать, я (а потом и Верочка) молились Боженьке, который висел у нас у каждой на спинке кровати. «За папу, за маму, за бабушку, за Станочку, за Верочку, за тетю Алю, за дядю Диду, за Гулиньку и Маиньку. Еще за дедушку и другую бабушку. Чтобы папу не убили на войне». И всё. А для царя в этой молитве не было места. Мама о нем ничего не говорила. . . И я за него не молилась. Но я представляла себе этого царя в коляске в военной форме, с кучером и лошадьми, на фоне деревьев какого-то сада, наверное, Соловьевского. Видимо, я видала такую коляску, там еще были девочки. Но может быть, это мне только казалось. . .

Жизнь наша, детей, мало изменилась после революции. Но маме было трудно, судя по письмам ее к папе. В Петрограде начались затруднения с продовольствием, видимо, были введены какие-то карточки. Во всяком случае, мама ездила получать продукты как жена фронтового офицера в какой-то специальный магазин, наверное, в магазин Общества гвардейских офицеров (теперешний ДЛТ). Но я ничего этого, конечно, не понимала.

Росла Верочка — быстрая, шустрая. Мама называла ее «Кролька» за непослушный и резвый характер. Как она начала ходить, не помню. А вот появление у сестренки первого зуба вызвало у меня огромную радость. Я начала скакать по всем комнатам — из гостиной до бабушкиного туалета, в зеркале которого видела себя в голубом платье с белым передником. Я скакала и кричала: «Зубик, зубик, вырос у Верочки зубик!» Остановилась только потому, что у меня заболел бок. «Это болит у тебя под ложечкой, — сказала

мама, — потому что ты очень много и быстро бегала сразу после завтрака». Так я впервые узнала, что такое боль под ложечкой. . .

Примерно на этом кончаются мои самые ранние воспоминания о жизни в Петрограде с мамой до Революции, до нашего отъезда в Череповец.

В ЧЕРЕПОВЦЕ (1917–1924 ГОДЫ)

Город

Череповец в 1917 году, когда мы в него приехали, был уездным городом Новгородской губернии, а потом, наверное, в 1918 или в 1919 году, сам стал губернским городом — центром Череповецкой губернии. Он лежит на реке Шексне в месте впадения в неё её правого притока реки Ягорбы. Город расположен на коренном высоком правом берегу древней долины Шексны и отчасти Ягорбы, там где в месте слияния их образуется широкая общая пойма. Через неё от высокого городского берега проложена до Шексны длинная, примерно километра в полтора, дамба с высоким мостом через Ягорбу, ведущая на пристань на самой Шексне. Пристань расположена, видимо, или на останце коренного берега, или на высокой террасе. Дамба была обсажена огромными ветлами-ивами, большею частью серебристыми; по ней проходила мощенная булыжником дорога на пристань. Ниже дамбы Ягорба растекалась по своей пойме несколькими протоками, перекрытыми небольшими плузами. Эта часть её поймы на правом берегу, так же, как и пойма самой Шексны, была покрыта лугами. Но особенно обширные и красочные луга располагались на левом, противоположном городу берегу Шексны, на «том берегу», как его называли. Там, напротив города, луговая пойма была не очень широкой (около 1,5 км). Но ниже по течению, уже в 5–6 километров, она расширялась и постепенно сливалась со знаменитой Молого-Шекснинской поймой, покрытой замечательными лугами*.

Напротив города, на склоне коренного левого берега и на самом высоком месте располагались большая, богатая пригородная деревня — Матурино и усадьба богатых помещиков Гальских. Белый двух-

*После постройки Рыбинской плотины вся Молого-Шекснинская низменность и долины рек Шексны и Мологи со всеми селениями, расположенными на высоких террасах, были затоплены водами Рыбинского водохранилища.

этажный дом усадьбы стиля ампира стоял (и стоит до сих пор) среди большой березовой рощи — «Рощи Гальских» — и виден прекрасно из города и с реки.

Сам город, как я уже говорила, расположен на высоком правом берегу Ягорбы и на коренном, тоже высоком берегу древней долины Шексны. Склоны этого берега изрезаны оврагами, между которыми образуются как бы холмы. На таком самом высоком холме расположен над обрывом крутого берега-склона старый собор, окруженный частично сохранившейся монастырской стеной*. А по склону холма был разбит большой Соборный сад, спускающийся к Ягорбе. Огибая Соборный холм, к дамбе ведет очень крутой «Соборный спуск» (дамба является как бы его продолжением). По бокам этого спуска расположены сады — Соборный, о котором сказано выше, и сад дачи Марьи Ивановны Лентовской (Милотиной), находящейся на соседнем холме, против собора. Запущенный сад дачи тоже спускается вниз по склону к пойме Ягорбы. Под Соборной горкой вдоль Соборного и Милютинского садов проходила дорога, заливаемая весной во время сильного половодья, и стояла над поймой большая каменная мельница купца Костецкого**.

Нижняя дорога, огибая сад Лентовских и овраг, прорезывающий коренной берег по другую сторону Лентовской усадьбы, шла вдоль более низкого третьего холма, мимо трехэтажного красивого, как нам казалось в детстве, кирпичного здания Технического училища, и полого поднималась в гору — в город. Это была вторая дорога, по которой спускались обозы к пристани. Между оврагом и Техническим училищем на зеленом склоне холма располагались очень уютные домики, типа маленькой усадьбы, Осетровых. А выше всего этого на горах начинался сам город. Соборная дорога, поднимаясь по очень крутому спуску, выходила на самую большую Соборную площадь, а дорога от Технического училища тоже упиралась в площадь, на которой кончались улицы, была околица, за ней поле, а

* Над обрывом крутого берега-склона располагался когда-то Воскресенский монастырь, от которого к началу XX в. остался прекрасный парк «Соборная горка», часть ограды, две церкви — зимняя и летняя — и большая колокольня, венчавшая Соборную горку и далеко видная с реки. В середине текущего столетия одну из церквей и колокольню взорвали и Соборная горка оказалась обезглавленной. (*Примечание В. И. Петрашень, 1988 г.*)

** Костецкий (Павел Валентинович) не был купцом, а был энергичным, но довольно мелким предпринимателем. У него было 2–3 деревянных дома, пароход «Голубь» и моторная лодка «Андрюша» (в честь младшего сына) и небольшой механический завод (кажется, рядом с мельницей около Ягорбы). (*Примечание В. И. Петрашень, 1988 г.*)

рядом городской парк «Соляной сад», упирающийся в бульвар.

От обеих этих площадей вверх от Шексны на водораздел шли улицы: от Соборной площади — как раз напротив собора — Большая, самая главная в городе, переименованная после революции сперва в Советскую улицу, а потом в улицу Ленина*. Если стоять посередине Большой улицы, то можно было видеть на двух ее концах оба Собора, белых, пятиглавых, с зелеными маковками. Главный Собор с одной стороны площади окружала часть старой монастырской стены с сохранившимися бойницами и маленькой калиткой. Эта стена переходила затем в ограду, опоясывавшую верхний конец Соборного сада, и выходила на площадь, где были главные ворота в соборный двор. Там стояли две церкви, маленькая старая и большой новый собор и, по-моему, отдельно стояла высокая колокольня, на которую мы лазали во время Пасхальной недели звонить в колокола. Благовещенский собор на другом конце улицы был без колокольни, и его окружала простая низкая ограда, и никакого сада или деревьев около него не было.

Параллельно Большой улице примерно с севера на юг в противоположную сторону от Ягорбы шли улицы: Покровская (затем ул. Зиновьева), Петровская (ул. Труда) и бульвар, упиравшийся одним концом в Соляной сад; другим — северным — он подходил близко к железнодорожному вокзалу, упираясь в перпендикулярный ему бульвар из лиственниц. За бульваром шли еще улицы, названия которых я не помню. Эти же три названные улицы и бульвар были центральными. По другую сторону Большой улицы вниз по склону к Ягорбе проходили тоже, наверное, три или четыре улицы, и предпоследняя из них, идущая к реке, называлась до революции Дворянской, а потом — Пролетарской.

Перпендикулярно всем этим улицам шли улицы, поднимающиеся от Ягорбы в гору, более пологую, чем Соборная горка, и уходящие за бульваром далеко в поля. Первая, самая короткая, от Соборной площади до Соляного сада, называлась <пропуск в рукописи>. Затем шла Сергиевская, очень длинная улица за Соляным садом. На ней между Петровской улицей и Бульваром находилась Городская (бывшая Земская) больница. Корпуса ее были деревянные и немного напоминали детскую Гаванскую больницу на Васильевском острове, на Большом проспекте. На одном углу следующей за ней улицы,

* До революции Большая улица называлась Воскресенский проспект, так как выходила к Воскресенскому монастырю на Соборной Горке. (Примечание В. И. Петрашень, 1988 г.)

кажется, Вознесенской с Покровской, помещалось большое здание бывшей Женской Гимназии. Красное кирпичное, наверное, двухэтажное здание с большими широкими окнами, огромным рекреационным залом, похожее по архитектуре на Техническое училище. Наверное, оба эти здания строились в одно время. А на противоположном углу была городская пожарная часть с высокой деревянной каланчой, на которой висел колокол и всегда дежурил пожарник. Когда где-нибудь случался пожар, он звонил в колокол — бил набат. Это был однотонный, протяжный звон-стон, извещавший тревогу... * Рядом с каланчой помещался пожарный сарай, в котором три двери были всегда открыты настежь и стояли две пожарные машины и бочка на колесах со шлангом. А рядом были конюшни. Точно не помню, были ли лошади всегда запряжены в машины или же они стояли в стойлах, но в упряжи. Когда начинался пожар, машины, запряженные тройками, очень быстро выезжали из ворот сарая, и пожарники в медных касках, напоминающих шлемы древних римлян, выбегали из главного здания, увенчанного каланчой, на бегу вскакивали на свои места на машинах (там были специальные скамейки, даже вдоль бочки), натягивая на себя брезентовые костюмы. На передней машине бил небольшой колокол, под звон которого пожарные мчались к месту пожара или происшествия к великой радости всех мальчишек и девчонок, пытавшихся бежать за ними.

Верхний конец этой поперечной к Большой улице упирался на бульваре в здание реального училища. Оно было длинное, двухэтажное, в отличие от женской гимназии — белое, окруженное огромным садом, занимающим целый квартал и огороженным со стороны боковых улиц высоким сплошным забором, а со стороны бульвара решеткой. Следующая улица до революции называлась Крестовской (Крестовка), потому что верхним своим концом за бульваром упиралась в базарную площадь, а за ней в кладбище. Это была самая проезжая и торговая улица — в нижнем конце ее был мост через Ягорбу. Между Петровской и Покровской улицами на ней в двухэтажном деревянном доме помещалась гостиница «Россия», около нее, наверное, был трактир, лавки, а между Покровской улицей и

*При пожаре на каланче вывешивались шары, число которых определяло район пожара. А при больших пожарах вывешивался белый флаг, отменявший занятия в младших классах школ. Бывало, в летнее время вокруг города горели леса и весь город был в плотном дыму, через который солнце выглядело бледным пятном. Шаров на колокольне в этом дыму, конечно, было не видно, а набат случался и вызывал сильное беспокойство, так как неизвестно было, где и что горит. В такой дымный год сгорела половина деревянных домов в Вологде. (Примечание В. И. Петрашнев, 1988 г.)

бульваром половину квартала занимали деревянные постройки женского монастыря с деревянной церковью — Леушинское подворье, где жили монахини. Длина продольных улиц от Соборной площади вверх была, наверное, около 1.5–2 километров. А поперечные улицы были длиннее, они начинались у Ягорбы и шли далеко за бульвар в поле. Продолжался город и за Северным бульваром вдоль железной дороги и за ней, но там я никогда не была. Где-то там далеко была тюрьма, а за ней инфекционная, заразная больница-бараки. . . Они размещались где-то далеко-далеко за Благовещенским собором, от которого вниз к Ягорбе шла улица и был мост через реку, а на том берегу сперва мелколесье, а затем лес и луга. Куда-то туда гоняли городских коров на пастбище.

Кварталы между улицами, за домами, как во всех провинциальных городах, занимали сады и огороды. Почти перед всеми домами были огороженные палисадники с кустами сирени или желтой акации. Не было палисадников только на Большой улице, где размещались большие каменные дома — административные учреждения, театр, аптека, магазины. Деревянные дома на ней были двухэтажные, тротуары каменные из известковых плит (такие же, как в Петербурге). А сама проезжая часть была замощена сплошь булыжником, так же как и Соборная площадь. Через нее от главного собора через ворота на Большую улицу шла каменная дорожка, выложенная обтесанными булыжниками наподобие брусчатки. Все же остальные улицы были вымощены лишь в середине проезжей части. Поэтому весной, осенью и после сильных дождей они представляли собой сплошную грязь и переходить их было очень трудно. Тротуары всюду были деревянные и назывались «мостками», узкие — из четырех или пяти досок, прибитых к поперечным бревнам типа шпал. Зимой их надо было чистить, осенью и весной соскабливать железным скребком лед. Они, конечно, ветшали, особенно, когда после национализации домов их никто не чинил. Иногда какая-нибудь доска прыгала, и из-под нее летели брызги. Между мостками и проезжей мостовой вдоль всех улиц были прорыты канавы, по которым стекала грязь, талая и дождевая вода. (Надо помнить, что все улицы шли под гору — одни в сторону Шексны, другие — Ягорбы.) Через эти канавы против ворот каждого дома, калиток и подъездов на проезжую часть были проложены настоящие мостики. Ворота у всех домов наглухо запирались большими засовами, и около проезжих ворот была всюду небольшая калитка, запиравшаяся на щеколду. Во дворах у всех были колодцы, сараи для дров, коровники с сеновалом, в некоторых

домах конюшни и каретные сараи и, конечно, обязательно ледники, которые набивались льдом с реки (до революции), а потом снегом. В огородах стояли собственные бани. Городская каменная баня находилась на берегу Ягорбы, по-моему, в нижнем конце Крестовки.

За Ягорбой по направлению к пристани тянулись хлебные склады-лабазы, склады дров, пиломатериалов и другие. Выше пристани располагались с выходом на Шексну затоны и гавань, где зимовали пароходы и баржи*.

Череповец был большим перевалочным пунктом. Через него проходила железная дорога, соединяющая Петербург с Сибирью, а по реке шли грузы со всего Нижнего и Среднего Поволжья, тоже в Петербург по Мариинской системе и по Северо-Двинской — дальше на север, на Северную Двину и в Архангельск. Поэтому даже в первые годы после революции и во время Гражданской войны пристань была более или менее оживленной. Регулярно ходил паром на «ту сторону», и шли вверх и вниз пароходы, даже пассажирские, буксиры тащили огромные баржи, груженные дровами и другими грузами, плоты плыли вниз по реке, на них в шалашах жили плотовщики, видно было, как на маленьких кострах грелись котелки и чайники, на протянутых веревках сушилось белье.

Таким мне рисуется город, в котором мы прожили с 1917 до 1924

*Ремонтировались пароходы в доке, расположенном ниже пристанской дамбы в устьевой части поймы Ягорбы. Док занимал площадь, вероятно, 15–20 гектаров и использовался ежегодно для зимовки Милютинских или так или иначе связанных с Милотиным (в том числе и служебных, «казенных») пароходов, включая и наиболее крупные пассажирские, принадлежавшие пароходной компании, в которой Василий Иванович Милотин играл уже очень небольшую роль. Пароход заходил в устьевую часть Ягорбы, за ним закрывались ворота, пускалась вода из плотины, док заполнялся, пароход проходил в его сухую часть и после спуска воды опускался на стапель из бревенчатых насадок по сваям. Док был устроен, видимо, знаменитым Иваном Андреевичем Милотиным — Череповецким городским головой, о котором папа (дядя Ваня — Иван) говорил, что «Череповец создан Господом Богом по чертежам и планам И. А. Милотина». Один из лучших на Шексне новых пассажирских пароходов назывался «Иван Андреевич Милотин». Подолгу можно было простаивать в холодные осенние дни, наблюдая ввод пароходов в док. А весной в доке было удивительно и весело: раздавался громкий стук и пахло краской от ремонтируемых нарядных пароходов. Веселое было время. Между прочим, в концевой части дока у Шекснинской дамбы догнивало днище одного из первых Милютинских пароходов, называвшегося «Белозер». На днище возвышался в виде памятника паровой котел этого парохода. А последним Милютинским деревянным пароходом был «Фермер», арендованный Иваном Васильевичем Петрашень в интересах В. И. Милотина, которому от знаменитого отца остались в основном долги (Иван Андреевич был человек большого размаха, много заботившийся о благе общества, но без «коммерческого таланта») (*Примечание В. И. Петрашень, 1988 г.*)

года. Мы приехали туда, когда мне было 4 года, а уехали, когда мне было 11 с половиной лет. И всё это описание его я делаю по памяти. А после него постараюсь рассказать, как мы жили в нем и в усадьбе недалеко от города. Думаю, что такое описание, пусть неточное, но такое, как оно сложилось у ребенка, даст всё-таки представление о далекой до- и послереволюционной жизни в первые ее годы.

ЛЕНТОВСКОЕ

Мы выехали в Череповец весной 1917 года, видимо, в конце мая, потому что в парке у Петрашеней в это время уже отцвели фиолетовые хохлатки (*Corydalis*), и мы с мамой в первый день по приезде собирали букет белых звездочек — звездчатки (*Stellaria holostea*), которая цветет в конце мая.

Я помню, как мы: мама, няня, я и Верочка ехали в поезде в купированном жестком вагоне, и что кроме нас в купе были еще чужие мужчина и женщина. Они пили за столиком чай из голубого чайника с колбасой и булкой, и когда я дотронулась пальцем до ручки чайника, дядька сердито сказал, что отрежет мне палец. А мама строго сказала, чтобы я не приставала бы к чужим. На ночь нас с Верочкой уложили спать на нижних полках. По-моему, матрацев и белья не было, нам расстелили свои одеяльца, а мама и няня устроились и спали у нас в ногах — мама со мной, а няня с Верочкой.

В Череповец мы приехали утром, но не очень рано. Через вестибюль белого вокзала вышли на площадь, где нас должны были ожидать лошади. Но там никого не было, и площадь с небольшим сквериком посередине была пуста. Даже не было, как мне кажется, извозчиков.

Мы стояли на высоком вокзальном крыльце с вещами и ждали, смотря на площадь, не едут ли? Вдруг вдали со стороны бульвара на нее выехали две пролетки. На первой, запряженной рыжей лошадью, на козлах сидел кучер, как полагается, в синей поддевке и высокой шляпе, а на второй — лошадью правил большой, почти взрослый мальчик. Оказалось, что это дядя Ванин кучер Петр на Рыжке и двоюродный старший брат Вася Петрашень* на второй гнедой лошади, которую мы потом звали Легачкой. Они опоздали к поезду и теперь быстро уложили вещи, но как мы сели и поехали... Как и куда? Я не помню. Ехали долго, через весь город, потому что Петра-

*Василий Иванович Петрашень (1904–1994) — старший сын дяди Вани, доктор технических наук, профессор. Он сделал к моей рукописи ряд замечаний, вставленных мною от руки.

пени жили за городом, в старой помещицкой усадьбе. У дяди Вани была большая семья — пять человек детей. Он сам занимал хорошее место, был в 1917 году главным инженером всей Мариинской системы и начальником военно-срочных работ по переустройству Северо-Двинских водных путей, и жить за городом было удобно во всех отношениях, особенно из-за детей. Тем более, что «Красная дача», принадлежавшая не то Лентовской, у которой был дом-усадьба в самом городе, не то ее брату Василию Ивановичу Милютину, одному из самых богатых людей в городе, находилась недалеко от Череповца, в очаровательном месте на высоком берегу Шексны в полутора или двух километрах от города вниз по течению, за Техническим училищем и Соляным садом. Мимо сада идет среди полей большая дорога в село Рождество и затем в деревни Покровское и Паньково, расположенные на высоком берегу Шексны за Лентовской усадьбой. Сама усадьба лежит несколько в стороне от дороги, и чтобы подъехать к ней, надо было свернуть в сторону реки. Кроме того, в нее можно попасть и по тропе, ведущей тоже от Соляного сада прямо через поля мимо огромных развесистых серебристых ив, растущих посреди поля. Это самый короткий пешеходный путь в Лентовское. А еще туда ведет тоже пешеходная тропа еще левее, ближе к берегу реки через красивую рощу, расположенную на склоне за Техническим училищем. Она идет вдоль нижнего края рощи на границе с поймой, вернее, с надпойменной террасой, к лесопильному заводу, стоявшему под горой у нижнего края Лентовского парка. Мы, конечно, ехали по верхней большой дороге на Рождество и свернули с нее на повороте к усадьбе.

Господский дом усадьбы стоит на высоком пологом склоне, по которому к реке спускается старинный парк, с одной стороны отделенный от рощи ручьем, вытекающим из большого пруда, расположенного у самого въезда во двор. С другой стороны к парку примыкает большой огород, за которым вдали от дома имеется большой заросший овраг. Пруд, из которого вытекает ручей, чистый, большой, в нем живут караси, и летом, когда очень жарко, старшие сестра и брат, Муся и Вася, даже купаются в нем*. Немного выше этого пруда через дорогу находится другой почти заросший пруд, где по вечерам квакают лягушки. Оба пруда обсажены плакучими серебристыми ивами и образуют как бы въезд в усадьбу.

Дом большой, двухэтажный, с большим мезонином, выкрашен в

*В пруду мы с Мусенькой не купались. Карасей я ловил. Зимой катались на пруду по льду. (Примечание В. И. Петрашень, 1988 г.)

темно-розовый цвет, поэтому его называли иногда «Розовая», иногда «Красная дача». Он очень красиво расположен на высоком берегу среди деревьев и хорошо виден с реки даже сейчас, т. е. в семидесятые годы, когда вся пойма Шексны и ее высокие террасы затоплены водами Рыбинского водохранилища и вода в городе подходит к самой Соборной Горке, рядом с которой в конце Большой улицы сейчас сооружена пассажирская пристань. Тогда же, в 1917–1924 годах, всё было иначе. В центре главного фасада дома со стороны двора находилось крытое сверху большое парадное крыльцо с несколькими ступенями и перилами. На нем по вечерам любила сидеть мама... Фасад дома довольно длинный, и по обоим концам его имеются большие выступы-крылья (по две комнаты в каждом). Так что дворовый фасад дома образует как бы букву «П». Наверху между выступами каре расположен большой мезонин. Но вот как в него попадают, с главного крыльца или нет, я сейчас сказать не могу. А может быть, парадная лестница, о которой я уже говорила, продолжается выше? Не знаю...

Со стороны парка вдоль середины фасада, обращенного на юг, расположена большая красивая терраса-галерея. Две широкие ступени спускаются от нее в сад, вдоль всей задней стены дома в этой галерее проходит широкая скамья. Открытый северо-восточный конец галереи образован красивыми большими арками, а последняя юго-западная сторона галереи глухая, и вдоль нее на верхний балкон идет двухпролетная лестница с точеными перилами.

Балкон на втором этаже длинный, тоже большой, широкий. На него выходит большая стеклянная дверь из столовой и окна из спальни. Его простые четырехгранные не настоящие колонны, а пилястры украшены наверху красивой, но обыкновенной для Череповца резьбой*. Тетя Аля говорила позднее, что по ее мнению нижняя галерея более старая, чем перила и резьба верхнего балкона. На нем стоит большой длинный стол и плетенные из прутьев кресла и стулья. Это специальная садовая мебель, которую теперь давно уже не делают. Летом в хорошую погоду на балконе обедает вся огромная семья. И мне всегда тогда казалось, да пожалуй, кажется и теперь, что обед на балконе всегда вкуснее, и что все кушанья, особенно крутые яйца, имеют там особенный вкус...

Наверху в мезонине тоже имеется большой балкон, расположенный несколько отступая над большим балконом второго этажа. Ме-

*Наличники на окнах большинства домов в городе имели такую же или похожую резьбу.

зонин Красной дачи большой, там находится целая квартира, в которой живет помощник дяди Вани — инженер Дмитрий Иванович Успенский с горбатенькой женой Викторией Ивановной и дочкой Катюшей*. Она работает сестрой милосердия в военном госпитале и ходит в белой сестринской косынке до плеч с красным маленьким крестиком. А когда выходит на улицу, надевает сверху белой еще черную шерстяную косынку.

С северо-восточной стороны дома на втором этаже имеется еще один висячий серый некрашенный тоже большой балкон, дверь из которого идет прямо в залу. Перед главным фасадом дома со стороны галереи и большого балкона расположен сад, вернее, парк, спускающийся к Шексне. В своей примыкающей к дому парадной части он спланирован, как все помещичьи парки конца XVIII — начала XIX века. Такие, как парк в Ясной Поляне, в Петровском (Пушкинский заповедник), в имении И. С. Тургенева — Спасском-Лутовинове и как старая часть Ботанического сада в Ленинграде, начинающаяся от сгоревшего домика Отдела геоботаники^{[20]**}. Во всех них перед балконом имеется цветник; в Лентовском три клумбы, средняя большая и по бокам две поменьше, все круглые. Огибающие их дорожки позади центральной клумбы сходятся в большую липовую аллею, идущую к реке. Вокруг клумб и вдоль аллеи стоят несколько скамеек. Главную аллею в Лентовском и во всех упомянутых имениях пересекают боковые, тоже липовые аллеи. В Ботаническом саду и в Петровском параллельно главной аллее идут еще боковые, менее широкие аллеи. В Лентовском они, наверное, тоже имелись, но в 1917 году были не ухожены. В квадратах между аллеями обычно были ягодники или росли фруктовые деревья — как в Ясной Поляне. В Лентовском на таких квадратах имелось две или три одичавших яблони и много молодых берез и кленов. Зато справа от главной аллеи находился малинник, а за ним за забором большой огород. Налево от большой аллеи идут боковые перпендикулярные аллеи. Их пересекают две небольшие дорожки, идущие вниз по склону, обсаженные кустами орешника-лещины, образующими зеленый свод. Под ветвями их мы дети однажды устроили домик — положили на кирпичики дощечки, устроили, таким образом, скамеечки и столик, принесли

* Гораздо позднее, когда мы перехали в город, тетя Аля говорила, что Катюша дочь Дмитрия Ивановича «с левого боку»; так как Виктория Ивановна не могла иметь детей, она её приняла, воспитала и очень любила, считая своей дочерью.

** Я сейчас, когда пишу это, сравниваю Лентовский парк с классическими парками в старых заповедных усадьбах, которые мне приходилось видеть.

кукольную посуду и играли в «дом».

Дорожки в этой части парка извилистые, одна из них идет вниз по склону к пойме, то приближаясь к склонам заросшей балочки, по которой течет ручей, то отходя от него. Внизу, в самой нижней части парка, вдоль покосившейся его ограды (просто забора) и поблизости от лесопильного завода растут большие, высокие, очень старые березы, под которыми осенью появляются черноголовые маленькие подберезовики, а рядом в небольшой еловой рощице — рыжики. Выше по склону березы перемешаны с кленами. Кленов вообще много и в верхней части парка, примыкающей к пруду и к дому. Здесь же около дома с восточной стороны находятся густые заросли сирени, подходящие почти вплотную к дворовой ограде, а цветник и клумбы защищает от северных и северо-восточных ветров ряд густых высоких елей. Многолетних цветов немного — между клумбами и стеной елей растет несколько небольших кустиков роз, в центре большой клумбы возвышается куст розовой мальвы; на самих клумбах бордюром посажены маргаритки и высажено много однолетних цветов. Особенно много резеды и белого табака. На грядке между галереей и стеной дома растет душистый горошек, а вдоль самой стены и около основания арок галереи с этой стороны вьется настурция.

Двор с другой стороны дома большой, широкий. Напротив главного крыльца, по другую его сторону разбит довольно большой овальный сад — «верхний сад», обсаженный боярышником, удивительно красиво цветущим летом, а осенью обсыпанный вкусными, сочными ягодами. В этом саду растут несколько китайских яблонь, а главное, в середине его построена высокая, как мне казалось, деревянная гора. С неё зимой дети катались на санках*.

В глубине двора находились, по-моему, два небольших деревянных домика, где жили со своим семейством кучер Петр и еще другие рабочие и служащие. Здесь же, повидимому, были баня и колодец, хотя питьевую воду возили бочками с Шексны и накачивали наверх в бак на чердаке большого дома, так как в доме были в ванной и на кухне краны и действующая настоящая уборная (у господ). Кухня помещалась в левом крыле большого дома, и там же был кухонный «черный ход». В первом низком этаже дома тоже кто-то жил, и там был мальчик — Шурка нижний, друг и товарищ Андриюши, а Шурка верхний жил наверху в мезонине. Наверное, он был сыном кухарки Успенских.

*По словам В. И. Петрашень, с горки катались даже осенью по давленным ягодам боярышника.

Немного в стороне от двора за домами служащих шла дорога на скотный двор, где стояли милютинские лошади и коровы; были конюшни, каретные сараи, сеновал, сарай для дров, загон для поросят, хлев, где жила пеграшенская корова, и конюшня, где стояли их лошади. Между всеми этими постройками и господским домом находился оригинальный старый дом управляющего: с одной стороны у него было два этажа, а с другой — один. Это был очень старый, судя по своей архитектуре, дом, и тетя Аля его несколько раз рисовала. Мы дети очень любили ходить на скотный двор посмотреть, как доят коров, кормят поросят, и вообще «наблюдать там жизнь».

Так примерно выглядела усадьба, в которую мы приехали. Почему-то, как я вспоминаю, тети Джесси не было дома. А может быть, я просто об этом забыла. Нас встретили с шумом дети: большие девочки — Муся и Ася, в клетчатых платьях с длинными косами, завязанными бантиками. У Аси были очень черные вьющиеся на концах косы с ярко красными ленточками. И маленькие мальчики: Андрюша — старше меня на год, значит, ему было пять лет, и Егорушка — трехлетний карапуз со своей няней Натальей. Она обожала его, страшно баловала и называла «Егорушка — шеколадинька, мармеладинька»... А у моей няни Анисьи на руках была моя сестричка Верочка. Она только еще начинала ходить, была черненькая с огромными черными глазищами и невероятно густыми черными, очень непокорными волосами. Верочка сразу понравилась Мусе и Асе — они затормошили её, брали на руки (Асе было 7 лет, а Мусе, наверное, 10), ласкали, играли с ней и вдруг объявили мне, что Верочка их двоюродная сестренка ближе к ним, чем ко мне, хотя она мне и родная сестра.

— Двоюродная сестра, — говорили они, — была всегда всюду ближе, чем родная.

Я сперва опешила от неожиданности, так как до сих пор Верочка была «моя», только «моя» и еще «мамина, папина и нянина», но мне она была «родная» и, значит, самая близкая. Так мне говорили мама и няня. И вот вдруг оказывается, что она ближе этим девочкам, потому что она им «двоюродная», и они имеют на неё больше права... Когда всё это до меня дошло и я поняла, что у меня отнимают по какому-то праву Верочку, я отчаянно заревела, заплакала и бросилась искать маму. А мама в это время разбирала наши вещи вместе с няней в отведенных для нас комнатах правого крыла (если стоять на крыльце). Две комнаты этого крыла-выступа, обращенные на север и восток, где раньше помещались кабинет и приемная дяди

Вани, предоставлены были нам. А дяди Ванин кабинет переехал в залу. Мама и няня стали смеяться, когда узнали причину моих слёз, а потом мама пошла со мной к девочкам, которые возились в зале с Верочкой, взяла её от них на руки, передала няне и попросила уложить спать. А Мусе и Асе сказала, чтобы они не дразнили меня больше и не говорили бы, что Верочка им ближе, чем мне, потому что она мне родная — у нас с ней общие папа и мама. Так же, как Асенька родная сестра Муси — у них тоже общие папа и мама, дядя Ваня и тетя Джесси, — и обе они друг другу ближе, чем мне. А я им — двоюродная сестра, потому что наши мамы сёстры, и это тоже очень близкое родство, и мы все должны любить друг друга и не ссориться и все вместе смотреть за Верочкой, потому что она маленькая. Я успокоилась, и мы все пошли в детскую к мальчикам. Детская, большая, в три окна, находилась в конце коридора и выходила окнами на запад или юго-запад, на огород.

Там жили мальчики: Андрюша и Егорушка, Ася и няня Наталья. Муся и Вася — большие — жили отдельно в маленькой комнате рядом с детской, с окнами (по-моему, в два окна), выходившими в парк. В детской стоял большой широкий шкаф, нижнее отделение было занято игрушками. Егорушка сидел на полу около шкафа и играл. Игрушки были замечательные — большие мягкие звери: белый мишка, белка Бебочка, Эми, маленькая собачка и другие. Ася показывала мне их и говорила, как кого зовут. Как только я брала в руки какого-нибудь зверька, Егорушка подвигался ко мне, хватал из моих рук игрушку и моментально, не говоря ни слова, садился на неё. Ася сказала ему:

— У... жадина-говядина, как тебе не стыдно.

Но Егорушка ничего не ответил, не обратил на неё никакого внимания, выхватил из моих рук следующую игрушку и сел на неё. Так постепенно он отобрал у меня и из шкафа все игрушки и сидел на их куче, как на троне.

— Жадина-говядина, жадина-говядина, — говорила Ася.

— Жадина-говядина, — повторял за ней Андрюша. Я впервые слышала это выражение и молчала. Егорушка не обращал на нас никакого внимания, сидел на игрушках и вдруг заплакал. К нему бросилась няня Наталья, обняла его, подняла на руки и запричитала:

— Шеколадинька моя, мармеладинька, хороший мальчик, обижают тебя, моя ягодка... .

Ася хотела показать мне еще своих кукол. Их у неё было много. Но меня позвала мама, и мы пошли с ней в парк... . Обошли клумбы,

на которых еще не было цветов, спустились по главной аллее, потом по боковой. Мама показывала и называла мне деревья, травы, рассказывала о птицах, которые заливались в кустах. Она хотела найти еще цветущие фиолетовые хохлатки, но их уже не было. И вместо них мы собрали букет цветущих белых звездочек. Беленьких, нежных звездочек, чтобы поставить в вазу в наших комнатах. А на обратном пути мама молчала. Она часто молчала, и я знала, что значит она думает о папе и о войне. Война не кончалась, и папа был там далеко на ней. . .

Так прошел первый для нас день на даче в Лентовском, и я запомнила его. И началась наша жизнь на Красной даче в семье дяди Вани и тети Джесси. . . Многое я из этой жизни не помню, но кое-что осталось в моей памяти. Может быть, не так, как у более старших — Васи и Аси. Ведь теперь, в 1986 году, только мы трое и, может быть, еще Егор помним жизнь там в последние полтора года с весны 1917 до осени 1918 года. Но то, что я помню, я постараюсь рассказать.

СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА КРАСНОЙ ДАЧЕ

Все сестры Парланды очень любили друг друга и были все очень дружны. Особенно все любили маму — Эми-Бебиньку, как все её называли. Племянники звали её «тетя Беби». Папа называл «Булинька». Так же называла её и Верочка, когда начала говорить, — «моя мама Булинька». В семье Петрашенной мама и её семья — я, Верочка и папа — были свои. Может быть потому, что мама была младшей сестрой в семье Парландов: тетя Аля была старше её на 12 лет, тетя Джесси на 8. Естественно, что обе старшие сестры возились с маленькой. Очень любил её и дядя Ваня, знавший её с детства тоже, когда он — товарищ дяди Ози по школе — впервые пришел в семью Парландов. А потом девушкой мама была уже больна и единственная из всех сестер не получила высшего образования. Вместо курсов она долгие месяцы и годы лежала, болела и жила в туберкулезных санаториях в Финляндии, на Карельском перешейке. А потом, после её свадьбы и гибели дяди Жоржика, которого все очень любили, самого младшего брата в семье, — мама осталась единственной младшей и по-прежнему больной. Кроме того, у неё, у единственной во всей семье, муж был на фронте с самого первого дня войны. Когда он, тяжело контуженный, лежал в госпитале в Белостоке и мама поехала туда с дядей Ози^[21], меня с няней взяли Петрашени. И мы прожили у них почти весь 1915 год, я и моя няня

Анисья. Только я не помню, как мы жили у них не на Красной, а на Серой, тоже милютинской даче (к которой мы потом ходили гулять по ту сторону оврага за огородом).

Дядя Ваня был моим крестным отцом и любил меня как дочку. Няню любили и уважали все — господа, дети, кухарка Саша и горничная Дуня; не любила её только няня Наталья. И всем нам — маме, няне и мне — было хорошо в семье Петрашеней. Все об этом старались, хотя мама часто бывала всё-таки грустна и оставшись одна или только со мной иногда плакала. Плакала оттого, что нет папы, что идет война, что несмотря на всё хорошее, у неё нет своего дома, и даже иногда просто по пустякам. Иногда няня Анисья, решившая купать в такой-то день и час Верочку и меня и сговорившаяся об этом с Сашей и Дуней, вдруг обнаруживала, что няня Наталья выпустила всю горячую воду — просто так, назло няне Анисье. . . Но всё это были только эпизоды, а в целом все жили очень дружно, и мама и няня старались всем, чем могли, помогать тете Джесси. Особенно с детьми.

Старшие Вася и Муся уже учились, училась и Ася, начинал учиться читать и писать Андрюша. У них была бонна — Хильда Ивановна. С ней дети должны были говорить по-немецки. Кто-то обучал их всех троих музыке — игре на рояле. К Васе и Мусе тоже ездили учителя, то ли их возили в город — Васю в реальное училище.

Помню, как один раз меня взяли посмотреть, как Муся, Ася (а может быть, и Вася) занимаются в гимнастическом зале реального училища — гимнастикой. Преподавателем её была Ольга Сергеевне Чечулина, дочь знаменитого в Череповце и Вологде земского, а потом железнодорожного врача — Сергея Дмитриевича Чечулина, большого потом друга папы и всей нашей семьи. Ольга Сергеевна, его средняя дочь, умерла от чахотки так же, как и мама, наверное, в 1920 или 1921 году, тоже в Петрограде, и спасти её не смогли. У неё остались тоже две маленькие девочки. Разговоры о её болезни и смерти я слышала гораздо позднее, но её — высокую, красивую, ведущую урок гимнастики, — запомнила на всю жизнь. Я впервые видела гимнастический зал, шведские стенки, трапедии, кобылу, на которую взбиралась Ася, и весь урок произвел на меня, так же как и Ольга Сергеевна, впечатление, оставшееся на всю жизнь. . .

Меня редко брали в город. Помню один раз тетя Джесси взяла с собой меня и Асю, когда ехала в город на Большую улицу за покупками. Она заходила в магазины, где торговали тканями, и я впервые видела на прилавках огромные рулоны — «штуки», как их

тогда называли, разных материй и смотрела, как приказчики предлагали тете Джесси то это, то другое. Отмерили еще ленты нам всем в косы, и мы выбирали пуговицы. На обратном пути через угол Соборной площади мимо нас прошла колонна пленных австрийцев, одетых в сине-серые куртки, шапки вроде пилотов, непохожие на фуражки наших солдат, короткие штаны, а на ногах у них были огромные сапоги-бутсы и обмотки. Они шли долгой вереницей мимо нашей пролетки, и мы все рассматривали их, а впереди и сзади шли с винтовками солдаты.

Это была опять война. . . Она еще была в песне, которую пела иногда няня и часто распевал со своим приятелем Шуркой нижним Андриюша. Слова этой песни были такие:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши матки?

Наши матки — белые палатки,
Вот где наши матки!

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши отцы?

Наши отцы на войну ушодцы,
Вот где наши отцы.

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?

Наши жены — ружья заряжены,
Вот где наши жены.

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши сестры?

Наши сестры — сабли-пики востры,
Вот где наши сестры.

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши детки?

Наши детки — это пули метки,
Вот где наши детки.

Мама не любила этой песни. Она ведь всё время думала о войне и тосковала. . .

Но в доме, полном народу, мы дети войну не замечали. Жизнь, полная, как теперь понимаешь, забот, текла своим чередом. Семья была очень большая: дядя Ваня, тетя Джесси, пять человек детей, Хильда Ивановна, нас четверо (считая няню), кухарка, горничная,

няня Наталья жили постоянно. Но почти каждый день к обеду бывали гости и сослуживцы дяди Вани. Обеденный стол в зале, большой и длинный, всегда был полон народу. По-видимому, в связи с нашим приездом дяди Ванин кабинет — с большим письменным столом, кожаным большим диваном и тоже большими глубокими креслами — перевели в столовую. А сама столовая как таковая, с огромным столом, буфетом, самоварным столиком и большим количеством стульев, переехала в большую залу, в которой, как теперь говорит Ася, было семь окон, но, по-моему, часть их была замурована.

По утрам после завтрака за этим столом мы с Асей должны были мыть чашки — мыли мы их в полоскательнице, теплую воду наливали из самовара. И мама учила нас сливать сперва мутную воду, а потом полоскать чашки в чистой воде в другой полоскательнице. Мыть и вытирать чашки и ставить их в буфет была наша обязанность. Детям к завтраку давали кашу с молоком или маслом и кофе, иногда какао. Оно было в большом ходу в те годы, считалось очень полезным, и его давали больным обязательно, и обязательно по утрам его пила мама. Обожала какао Верочка. Они с Егорушкой сидели за большим столом на высоких детских стульчиках, и няня Наталья, и няня Анисья смотрели, чтобы они не мазались и ели аккуратно. А вот обедала ли Верочка за общим столом, я не помню. Дядя Ваня к завтраку иногда привозил кого-нибудь из своих сослуживцев. И я помню, как старалась Дуня красиво накрыть на стол, как подавала в рюмочках вареные в мешочек яйца, которые очень любил дядя Ваня, и редиску — красивую, красную, круглую или белую длинную, обязательно с зелеными хвостиками.

За обедом суп подавали (приносили из кухни) в специальной суповой миске. А если бывали кислые щи с гречневой кашей, то на глиняный горшок с ней надевался специальный вышитый узором чехольчик, передничек. У всех приборов лежали салфетки, вдетые в специальные кольца. У каждого свое кольцо, чтобы не путать. Это были салфетки взрослых, не такие, с завязочками, которые надевали малышам — Егорушке, Верочке и мне в Петербурге. Теперь я была большая и у меня была взрослая салфетка. Но как я с ней мучилась! Сложить её аккуратно, чтобы углы сходились с углами, было мучение. Ася и Андрюша и, конечно, Вася с Мусей их складывали как большие, а я не умела. Я выходила из-за стола, брала салфетку и шла с ней в другой конец зала на ковер, садилась на него, раскладывала на нем салфетку, потом складывала уголок к уголку, сворачивала и вдевала в кольцо. Но делать это надо было

так, чтобы не видали мама или няня, они сердились, что я кладу салфетку на пол. Долго я так мучилась. И научил меня её складывать инженер Владимир Алексеевич Гамалей, с моей тогдашней точки зрения именно поэтому замечательный человек. Он работал где-то на Шексне, в Судбицах, жил там со своей семьей и приезжал по делам к дяде Ване. Все Петрашени любили его и его молоденькую красивую жену Надежду Несторовну. Она была румяная, с вьющимися волосами, очень веселая и сразу шла к нам, детям, рассказывая о своих дочках: Оле, Наташе и маленькой Катеньке. По-моему, старшие девочки даже приезжали как-то с родителями в Лентовское и играли с нами в саду. А в тот замечательный для меня день, когда я научилась складывать салфетку, Гамалеи (Владимир Алексеевич и Надежда Несторовна) обедали у нас. И я сидела примерно напротив них за столом, и когда кончился обед, вдруг увидела, что инженер Гамалей берет салфетку в обе руки, расправляет её и середину чуть-чуть прижимает к груди подбородком, а потом очень ловко складывает уголок к уголку. И у него всё получилось ровно и аккуратно. Я смотрела не отрывая глаз и попробовала тихонечко сделать то же самое. И вдруг — о радость! Уголки сошлись и салфетка аккуратно сложилась. Я отошла от стола и попробовала сложить её таким образом еще раз стоя, а не на полу или на ковре, как раньше, вложила в кольцо и почувствовала себя невероятно счастливой. Я научилась сама складывать салфетку! И всё благодаря инженеру Гамалею! Таким я и запомнила его — красивого и ловкого — на всю жизнь. Он умер тоже от чахотки в 1920 году, а дочь его Наташа Гамалей стала моей школьной подругой, а все остальные «Гамалешки» — друзьями на всю жизнь. Но об этом я расскажу дальше*.

Бывали в гостях, по-моему, чаще днем, к завтраку, еще Комаровские. Он был тоже инженер, но его я не помню, а вот жена его Вера Васильевна — высокая, черноволосая, очень живая, в белом платье с зонтиком, очень разговорчивая, — запомнилась. Но главное, у них был сын Шура Комаровский — товарищ Васи и Муси. Они его почему-то называли «Сушкой». Он ходил в коротких штанишках, застегивающихся под коленками, в кожаной или клеенчатой кепке и в плаще-пелерине, а не в куртке или летнем пальто, как мы все. Он довольно часто бывал в Лентовском у Васи и Муси, так как Комаровские жили в Череповце^[22]. Приезжал из Петербурга какой-

*По словам Васи, Владимир Алексеевич умер «в далекой Тотье (на реке Сухоне), куда был направлен в связи с намечавшимися работами по шлюзованию Сухоны (Шекснинско-Беломорский водный путь)».

то важный инженер Валуев, и тоже, видимо, из Петербурга кто-то приезжал с женой Дунечкой. Она удивительно пела вечером в зале, а дядя Ваня ей аккомпанировал на рояле. Из наших комнат сквозь закрытую наглухо дверь было слышно это пение, когда мы уже лежали в кроватках, и мне оно очень нравилось*.

Очень часто (как мне кажется) приезжали из города Милютинны — некрасивый, с бородкой и усами, угрюмый Василий Иванович и его красавица-жена Елизавета Васильевна. Всегда очень нарядно одетая, пахнущая духами, с серьгами в ушах, с ожерельем на шее и кольцами на пальцах. Она очень любила детей и даже заходила в детскую, где мы играли, — своих детей у неё не было. Они приезжали играть в винт. Была в то время такая карточная игра. В зале ставился раздвижной карточный столик с зеленым сукном, доставался мел, ставилась на стол настольная лампа, и садились «винтить» четыре человека: дядя Ваня, Елизавета Васильевна, Василий Иванович и Дмитрий Иванович Успенский, приходивший сверху. Детей гнали из кабинета и уводили спать. А тетя Джесси и мама устраивали чай. Утром же после завтрака Ася, Андрюша и я бежали посмотреть на карточный столик, если он не был еще закрыт, проводили ладошками по зеленому сукну и искали вокруг и под столом кусочки мела.

Еще приезжали на своих серых в яблоках лошадях — парой, а может быть, и тройкой, в большом экипаже с поднятым верхом, с той стороны Шексны — Гальские. Он сам был весь какой-то серый — серые волосы, серая борода, серый костюм. А она — Марья Николаевна — была очень эффектная дама — высокая, тонкая, в черной шляпке с вуалью впереди, в черной кружевной накидке на плечах, величественно входила в залу. С ними приезжали две дочери: старшая — Настенька с пепельными пышными волосами, уже немного подобранными в прическу (она была старше Васи), и Муся — моя ровесница, живая востроносая, черненькая девочка в белом платье с большим бантом сзади. Такие платья в те времена были в моде, и их надевали девочкам в праздничные дни. Широкие, полосатые яркие ленты завязывались на спине бантом, как у бабочки. У нас с Верочкой были одинаковые ленты с голубой, розовой, белой и

*Валуев Александр Михайлович — действительный статский советник, жил в Череповце и был начальником работ по шлюзованию Шексны. Дядя Ваня числился его помощником с 1912 по 1916 гг. С 1916 г. у дяди Вани производителем работ по гидроузлу на переустройстве Северо-Двинской системы был сын А. М. Валуева Павел Александрович. А «Дунечка» была женой работавшего у дяди Вани инженера Бориса Юлиановича Калиновича, впоследствии профессора Ленинградского института путей сообщения. (Примечание В. И. Петрашень)

желтой полосами. А у Аси лента была клетчатая с ярко-зелеными, красными и темными клетками. У Муси Гальской лента-пояс была с ярко-красными и темными полосами. Встречать Гальских обязательно выходили Дуня и Саша, служившие у них в имении до Петрашеней. Они очень любили и уважали Марью Николаевну, и она любила их и здоровалась с ними за руку, что в то время было большой редкостью — здороваться за руку с прислугой.

Но самое, конечно, интересное и важное для нас, детей, это были приезды наших настоящих бабушек, приезжавших летом из Петербурга в Череповец — в Лентовское — погостить.

Бабушек было две: мама дяди Вани — Анна Осиповна и мама тети Джесси и нашей мамы — Марья Николаевна.

Анна Осиповна приехала не одна, а со своей компаньонкой Оттилией Губертовной^[23]. Для них была приготовлена специальная комната в два окна, выходящих во двор по правую сторону коридора, если идти на кухню. Анна Осиповна была большая, очень грузная, тяжелая в походке дама с черными, почти сросшимися бровями и маленькими узкими глазками. Она тяжело ходила, у неё был густой громкий голос. Носила она длинные широкие шелковые серые или темные платья с небольшим шлейфом, волочившимся по полу сзади, с седыми волосами, поднятыми вверх в узел прически, с серьгами и с кольцами на толстых пальцах. И я, откровенно говоря, её боялась. Оттилия Губертовна носила корсет и ходила в черной юбке и белой блузке, с часиками с длиной цепочкой на шее. Волосы у неё были черные, как воронье крыло. Ася потихоньку сказала мне и Андриюше, что это не её волосы, а парик.

Когда они приехали, мы дети потом пошли к Анне Осиповне в комнату здороваться. Ася-то туда бегала раньше. Она была крестница и любимица Анны Осиповны, названная в честь её дочери Ани — сестры дяди Вани, давно умершей совсем молоденькой. Она умерла, как потом рассказывала тетя Аля, от очень страшной болезни — саркомы ноги. И бабушка Анна Осиповна никак не могла забыть Аню. В комнате она повесила большой Анин портрет (тогда были в моде увеличенные фотографии), и на столике около её постели стояла в рамочке маленькая фотография тоже Ани.

Когда я вошла в комнату, бабушка Анна Осиповна сидела в большом кресле, а Оттилия Губертовна распаковывала их вещи. На стульях лежали открытые чемоданы с вещами и бельем, а на полу большой деревянный ящик, из которого Ася осторожно вынимала и пе-

редавала Оттилии Губертовне сложенные полотенца и салфетки. В ящичке лежала упакованная в постельное бельё большая фарфоровая кукла, принадлежавшая раньше покойной Ане. Бабушка Анна Осиповна привезла её в подарок Асе. . . Когда все полотенца и салфетки, закрывавшие её, были сняты, мы увидели в ящичке настоящую принцессу — Спящую красавицу. Большая, больше Верочки, красивая кукла с фарфоровой головкой, улыбающимся ротиком и закрытыми глазками с длинными ресницами лежала и спала в ящичке. На ней было голубое шелковое платье, настоящие кожаные светло-коричневые туфельки, и темные, тоже, наверное, настоящие волосы обрамляли её личико и спускались на плечи. Я не помню, была ли с нами в комнате Муся, но мы — Ася, Андрюша и я — ахнули от восторга, увидев такую красавицу. Ася стала на колени (мы тоже, конечно, стояли на коленях рядом) и осторожно приподняла её. Кукла была очень тяжелая, но когда её подняли, она подняла ресницы и посмотрела на всех большими синими глазами. На ней, кроме платья, была рубашечка, обшитая кружевами, штанишки, юбочка, носочки — всё точь-в-точь, как у настоящей девочки. Из штанишек торчали под платьем две маленькие веревочки. Когда дергали за одну из них, кукла говорила «мама», а если за другую, то она говорила «папа» . . . У меня было много кукол, но они почти все остались в Петербурге, у Аси была замечательная красивая небольшая кукла Верочка, тоже с фарфоровым личиком и закрывающимися глазками, и целлулоидный младенец Боря, которого можно было купать. Все они были очень красивые и хорошие, и мы любили их всех. Но такую огромную красивую куклу — мне её было почти не поднять — мы все видели впервые. И, конечно, оцепенели от восторга. Ася подняла её, сказала бабушке какие-то слова благодарности и медленно вышла с ней из комнаты — показать своей маме, то есть тете Джесси. Мы побежали за ней. . .

Первые дни Ася никого не подпускала к новой кукле, особенно мальчиков. Её называли, конечно, Анечкой в честь её первой хозяйки, умершей Ани. Мы подходили к ней, осторожно дотрагивались до неё, гладили по фарфоровым, но каким-то мягким щекам и отходили. Ася пробовала с ней играть, но Аня была такая тяжелая, носить её было трудно и тяжело, страшно было разбить. И мы по-настоящему не играли с ней, а только любовались. Она сидела и смотрела на нас огромными глазами. Я не понимаю, как её не разбили мальчики, и этому удивляюсь до сих пор. . . Когда Анна Осиповна её подарила

Асе, мне стало, конечно, немного завидно, захотелось тоже иметь такую же куклу, и я сказала об этом маме.

— Не огорчайся, — ответила мама, — у меня для тебя лежит такая же, нет, пожалуй, более маленькая, но всё же большая кукла. Её мне подарила моя крестная тетя Аня. Помнишь её — она приходила часто к нам в гости в Петербурге. Когда ты подрастешь и сможешь поднять эту куклу и мы вернемся в Петербург, — я подарю её тебе. А ты подаришь Верочке своего большого черного медведя, которого тебе подарил папа. Он тоже остался там, в нашей квартире и ждет, когда мы приедем туда обратно.

Обратно в свою квартиру в Петрограде мы никогда не приехали. А к нам в Лентовское приехали из неё на лето тетя Аля с нашей общей бабушкой — Марией Николаевной, с которыми мы жили там в доме 31 в квартире 5 (Я твердо знала свой адрес!). Они приехали не так пышно, как Анна Осиповна, и тихо поселились в одной из наших комнат в правом крыле дома. Бабушка была уже больна, у неё начиналось какое-то психическое расстройство. Ей нужен был покой. Поэтому мама и няня (мы жили теперь вчетвером в передней комнате) постоянно говорили нам с Верочкой, чтобы мы не шумели. Было лето, рядом был огромный сад, другие комнаты, и я постоянно была с другими детьми. А Верочку бабушка обожала. Она говорила и маме, и тете Але, что никогда не могла подумать раньше, что так можно привязаться к маленькому ребенку. Хотя у неё у самой было восемь человек детей, она, по её словам, только в Верочке оценила маленького ребенка.

С приездом бабушек еще больше человек садилось за большой стол в зале, а в жаркую погоду на балконе. И конечно, тете Джесси, Саше, да и маме прибавилось хлопот. По-прежнему по вечерам «винтили», но бабушка Анна Осиповна не признавала винт, а любила играть в другую карточную игру — «стуколку». В чем заключалась эта игра, я не знаю, так же как не знаю, как играть в винт. Но и в той, и в другой игре должно быть по четыре партнера, и значит, надо было кого-то приглашать играть в «стуколку» с Анной Осиповной и Оттилией Губертовной, в игру, которую не любил дядя Ваня. . .

А у тети Джесси, кроме того, были заботы и в саду, и в огороде. Она любила это дело. Хотя тогда садом и огородом занимались не так, как теперь, когда всё делают сами. Кто копал и сажал всё на огороде, я не знаю. На милютинской части огорода работала какая-то Матильда, видимо, не очень приятная особа; кроме того, был какой-то человек вроде садовника. Но тетя Джесси сама полола

и клумбы в саду, и грядки в огороде и считала необходимым, чтобы мы дети ей помогали. Каждому из нас была дана в огороде маленькая грядочка, и на ней мы могли посадить то, что каждый хотел, но с условием, чтобы мы сами поливали свои грядки, пололи, ухаживали за ними. Андрюша, по-моему, выбрал огурцы и шефствовал над половиной парника, Ася посеяла на своей грядке морковку и с гордостью потом её выдергивала и грызла. Мне очень понравились листики свекольной рассады, такие гладенькие, темно-красные, и я выбрала свеклу, которую очень любила. Но мне кто-то, не то Муся, не то Ася сказали, что я не дождусь, когда она вырастет, что это будет уже поздно осенью, и что свеклу нельзя есть сырую, и т. д. Я заплакала, так как ничего не знала об этом. Но добрая Саша посадила мне на грядку два огурца и велела выполоть часть свеклы, чтобы они могли расти. Таким образом, и у меня появились овощи, которые можно было есть сырыми.

Кроме заботы о своих грядках, мы помогали полоть клумбы в саду, пытались чистить скребком дорожки, и кроме того, мы с Асей собирали малину, чистили ягоды, лущили зеленый горошек. Это мы делали обычно в тени на нижней террасе. Там же маленькие дети играли в кубики, а мама и няня много шили. Мама старалась, чтобы мы с Верочкой закалялись; она раздевала нас в саду в самое жаркое время, снимала платица, носочки и туфельки и заставляла бегать в одних штанишках и лифчиках босиком по дорожкам. А потом обливала водой, нагретой на солнышке, или делала соленые ванны. Тут же в саду, в ванночке с нагретой на солнце водой с разведенной в ней морской солью. Старшие — Муся и Вася в жаркие дни купались в пруду или обливались водой на боковом сером балконе. Иногда тетя Джесси и мама, забрав всех детей, ходили с ними купаться на Шексну. Но я почему-то это плохо помню.

Большим событием для меня — городской девочки — было рождение в начале лета цыплят и, вообще, знакомство со всеми животными на скотном дворе. Цыплятки вывелись из яиц рано утром в кухне под печкой, куда Саша еще раньше посадила курицу на яйца. Когда мы прибежали смотреть их, Саша показала на корзиночку, где под куриными перьями копошились еще мокренькие маленькие цыплята. Она по очереди вынимала из-под курицы вылупившихся птенчиков и сажала их в отдельную корзиночку, чтобы они обсохли. А потом уже сухих, желтеньких, хорошеньких цыпляточек кормила на кухонном столе мелко-мелко нарезанным крутым яйцом. И надо было легонько стучать по столу пальцем, как курица клювом, чтобы

цыплята научились клевать. К вечеру, наконец, вывелись все цыплята, и курица встала со своего места, но оказалось, что под ней лежат еще два яйца. Саша пустила к ней всех вылупившихся цыплят, а эти оставшиеся два яичка взяла и осторожно положила себе под мышку, сказав, что она «сама их выведет», раз курица-мама не хочет. И действительно, на другое утро у неё под рукой вылупился еще один маленький черненький цыпленок. А второе яйцо оказалось болтуном, и из него ничего не вышло. Курица сначала не хотела принимать в свое цыплячье стадо нового малыша и гнала его. И Саше стоило большого труда приучить её к новому сыну. Два-три дня курица с цыплятами жила на кухне и ходила по полу, а потом их переселили в курятник, недалеко от кухни, и они стали гулять по двору. Но тут появилась новая забота охранять их от ястребов и кошек. Поэтому для них сделали большой загон, отгороженный со всех сторон и сверху проволочной сеткой. Туда поставили небольшой домик с соломкой внутри, где они ночевали и спасались от дождя. Я могла часами стоять около сетки и смотреть на цыплят. Очень любила их также Верочка. Она приходила к ним с няней после завтрака и обязательно несла в ручке кусочек булки или хлеба, чтобы кормить цыпок.

Родились у кошки, по-моему, у Дуни под кроватью в корзинке еще и котят. Я смутно помню, как мы смотрели на них, брали на руки. Но потом в комнатах котят как будто бы не было. Не имел права входить в комнаты и Бобка — белая с черным небольшая дворняжка, собственность Васи. Это был хороший сторожевой пес, он жил на дворе, спал, по-моему, в сенях у крыльца, всегда всюду старался сопровождать Васю, Сашу и тетю Джесси. За ней он бежал, даже когда она ехала в экипаже в город.

Бобка прожил долгую и хорошую жизнь. Он поехал в город, когда осенью 1918 года всем пришлось уехать из Лентовского, переезжал с квартиры на квартиру в Череповце, на пароходе по Мариинской системе приплыл в 1924 году в Ленинград и жил на набережной, сохраняя свои привычки — т. е. приходил и уходил, когда хотел и куда хотел. Вскоре по приезду в Ленинград он пропал, и 23 сентября 1924 года, когда было наводнение, его дома не было. Все думали, что он погиб, но на другой день после наводнения он пришел домой, как ни в чем не бывало. . . Но вскоре потом исчез совсем и, наверное, умер.

На скотный двор, где были другие животные, мы ходили гулять по вечерам со взрослыми. А так целые дни проводили около дома в саду, то есть в парке. Там мы играли в прятки, в горелки, в оглядки; выносили своих кукол и игрушки на галерею и в сад, на песок. И

очень много играли под кустами лещины (орешника) на боковых аллеях, где у нас был устроен дом. Устраивала его в основном Ася со своей подругой девочкой не то Варей, не то Валей, жившей в нижнем этаже у кого-то из служащих. Они делали скамейки из маленьких досок. В кукольной посуде из листьев и семян подорожника и щавеля варили суп и кашу. Подметали пол, устраивали в разных уголках под ветками для каждого комнаты. Я запомнила, как Варя, особенно тщательно подметая, как она называла, «комнату мужчин», — Андрюши и Шурки верхнего, говорила, что они «накурили, и там много окурков». Меня это поразило: во-первых, они не курили, и во-вторых, я никогда не видела, чтобы папа или дядя Ваня бросали бы окурки на пол. Для этого ведь были пепельницы! Помню, как однажды к нам к орешнику пришли мама с Верочкой и бабушка Марья Николаевна. Стал накрапывать мелкий дождик. Ася и Андрюша быстро побежали вверх домой. Бабушка раскрыла зонтик и укрыла им Верочку. Мы с Егорушкой сказали, что спрячемся под длинную бабушкину юбку. Но мама строго сказала, что этого делать нельзя и лучше было бы, чтобы мы переждали дождик под ветками орешника, где спряталась Варя.

Тетя Аля вскоре после приезда уехала на несколько дней на пароходе вверх по Шексне в Кириллов — рисовать Ферапонтов монастырь. С ней вместе поехала гостившая в Лентовском её приятельница Клара Цейдлер^[24]. Тоже художница. Она, кроме того, была сестрой товарища дяди Вани и дяди Ози по гимназии К. Мая — Густы, известного в Петербурге терапевта*. Все дети Петрашени очень любили её и называли тетей Кларой, а я её помнила еще по Петербургу. Она была высокая, крупная, розовощекая немка (или эстонка?); у неё было очень много ящичков с красками, кистями и т. д. Мы распевали, когда её не было, сочиненную про неё песенку: «Тетя Клара в рот пихала — голубое. . . », но так, чтобы она не слышала.

Сейчас думаю, что с отъездом тети Али, наверное, на полторы-две недели, уход за бабушкой ложился в основном на маму. Мы ведь жили с ней и с тетей Алей в смежных комнатах (мы в первой, проходной), и наверное, мама от всего взятого вместе уставала. В это же лето уехала в отпуск к своей матке на станцию Максатиха и няня Анисья. Только поехала она не по железной дороге, а на пароходе вниз по реке до Рыбинска. Пароход этот должен был проходить по Шексне мимо нашего сада. Няня уехала со своими вещами на пристань — а мы потом бежали вниз смотреть, как идет пароход. И мне

*Его старший брат Герман Цейдлер был очень крупным хирургом.

казалось, что няня машет мне с палубы рукой. . .

Вместо няни Анисьи к Верочке была взята из Сашиной деревни её родственница — очень молоденькая девушка Зоя, няня Зоя. У неё была огромная золотистая, почти рыжая коса, она весело смеялась, носила Верочку на руках. Что она делала еще, не помню. Наверное, она не могла заменить няню Анисью по-настоящему, и маме было трудно.

Иногда в хорошую погоду мы с мамой, пока Верочка спала днем, шли в сад и тоже отдыхали на траве на большом одеяле. Мама лежала на спине, смотрела на бегущие по небу облака и говорила, что они могут отнести от нас поклон на войну, к папе. Она всегда думала о войне и о папе, и ей было очень трудно.

Вообще всем, наверное, было трудно и тревожно, ведь это было лето 1917 года, когда в стране назревали большие события. Мы дети ничего, конечно, не знали и не понимали. Но из разговоров взрослых к нам долетало слово «большевики» . . .

Приезжал папа. Я точно не могу сейчас сказать, когда он приезжал. Думаю, что все-таки это было в 1917 году летом, на мамино рождение. А может быть, это было на следующий год? Точно не знаю, и теперь некого спросить. Мамино рождение 20 июня по новому стилю (7 июня по старому). Бабушки и тети Али еще не было, потому что мама спала в задней комнате. Утром рано, когда она еще спала, мы с папой и другими детьми пошли в сад — нарвать и нарезать маме цветов. Я помню, что мы торжественно шли, каждый с веткой сирени, с которой еще капала роса, а у папы был огромный букет из сирени и розовой жимолости. Мы вошли в переднюю комнату в тот момент, когда мама выходила из задней и nastежь открыла обе половины двери. И стояла в дверях, раскрыв руки, веселая, смеющаяся, в моей любимой сине-серой блузке, заправленной в юбку, с бархатным маленьким черным галстучком. Мы бросились к ней с цветами. Она, казалось, обняла нас всех сразу и смеялась. А позади нас стоял папа и тоже смеялся. . . А потом папа бегал с нами по саду наперегонки, учил меня ловить кольцо, когда играли в серсо, купался с Мусей и Васей в Шексне. И рисовал мне картинки к рассказу о том, как «Старая утка пошла по базару». Эти картинки чудом пережили блокаду, их не украли и не сожгли, и на «Старой утке» выросли не только мы с Верочкой, но потом Миша, Кирилл и Женечка. Папа вообще очень любил рисовать и каждую свободную минуту брал краски, кисти и рисовал — Красную дачу со всех

сторон, клены в парке и т. д.

Точно так же сейчас не могу сказать, в 1917-м или в 1918-м году папа ездил со всеми нами за грибами на ту сторону Шексны в лес Гальских. Я помню, как мы ехали в коляске на пристань через дамбу — тетя Джесси, дети и, наверное, мама — и видели, как большие — Вася, Муся, Шура Комаровский и папа шли на пристань коротким путем, через пойму реки Ягорбы, через плотину. Как переезжали реку на пароме, не помню, но хорошо запомнила лес, а главное, сеновал, где мы все, укрывшись от дождя, завтракали.

Лето кончалось, в саду начали осыпаться желтые листья, и среди опавших березовых листочков очень интересно было искать маленькие подберезовички. . . Я плохо еще собирала грибы, а Андрюша и Ася их собирали очень много и быстро.

Наступил конец лета. Уехали в Петербург тетя Аля и бабушка. У тети Али начиналась работа — она ведь преподавала рисование в Выборгском коммерческом училище около Финляндского вокзала и в школе живописи при Императорском фарфоровом заводе. Наверное, тоже скоро уехали Анна Осиповна с Оттилией Губертовной. А к нам от своей матки вернулась няня Анисья.

Наверное, в конце лета, когда на полях жали рожь, а потом овес — и я видела это впервые, — мы, я и Ася, ездили с тетей Джесси и мамой в Паньково заказывать сапоги. Это было большое село с церковью, расположенное вниз по Шексне за пригородным селом Рождеством. Дорога туда шла полями, и тогда-то мы и видели, как убирали хлеб. Не доезжая села Паньково в деревне Покровская показалось странным, что два первые дома стоят к проезжей дороге наоборот, то есть фасадом с окошками, повернутым вглубь, в огороды. Мы с Асей спросили, почему эти дома стоят «наоборот»? Тетя Джесси объяснила, что в них живут староверы. Они не любят общаться с соседями, у них полагается не есть и не пить из чужой посуды, они не любят продавать чужим молоко и крестятся не так, как все, и не ходят в церковь.

В Паньково мы остановились около большой избы и вошли в неё. Там около лавок, вдоль окон на низеньких скамеечках сидело много дяденек в передниках. Они держали в руках недошитые сапоги и стучали по ним молотками. Нас усадили, и один из дядек, став на колени, снял с наших ног мерки. Не помню, заказывали ли что-нибудь тетя Джесси и мама и что заказали Асе. А мне заказали сапоги (то есть ботинки) на пуговицах. До этого у меня было две пары

коричневых сапожек на шнурках: тупоносики и длинноносики. Их мне купили еще в Петербурге в магазине «Скороход». Потому-то я так быстро в них и бегала — они ведь были скороходики. Но я из них выросла, то есть мои ножки выросли, а в Череповце скороходиков не было, вот и нужно было ехать в Паньково, где жили сапожники, просить, чтобы мне сделали новые сапожки из кожи. И мне их сшили. — Но что это было за мучение застегивать пуговицы — пальчики болели, я плакала, няня тоже была недовольна. У мамы нашелся крючок, специально чтобы застегивать такие сапожки. Надо было вдеть его в дырочку-петельку, потом протянуть вперед, поймать пуговицу и тянуть назад в петельку. Это было страшно, мучительно трудно. Сапоги сшили «на вырост». Сначала они мне были велики и в носки запикивали вату. . . Только потом, когда мамы уже не было, я в них вросла, но всё время мучилась, обувая их. А тетя Аля говорила, что всё-таки хорошо, что они у меня есть. . . Наверное, когда их заказывали в конце лета 1917 года, уже было плохо с детской обувью и со всем вообще.

ТРЕВОЖНЫЕ ОСЕНЬ 1917 И ЗИМА 1918 ГОДА

Осенью в Череповец то ли из Петрограда, то ли из Юрьева (теперешний Тарту) перебралась семья тети Маруси Фидровской, тоже маминой и тети Джессиной сестры — а муж её дядя Вася, Василий Михайлович, уехал на юг, в Херсон. Куда, как я теперь знаю, был эвакуирован Юрьевский пединститут, в котором он работал. Тетя Маруся поселилась в самом Череповце на Дворянской улице, в другом от Лентовского конце города недалеко от Ягорбы. Как они там устроились и приезжали ли дети (Рита, Лева и Юра) в Лентовское, я не знаю. Но хорошо помню, как тетя Маруся приходила или приезжала на елку.

Осень и зима были трудные для всех. В стране совершилась Великая Октябрьская революция, но что происходило в Череповце, я просто не знаю — ведь мне не было еще пяти лет! Знаю только, что папа был еще на фронте, а потом в Петрограде. Осенью, вероятно, в конце сентября мама получила посылку от папиного старшего брата дяди Рафы из деревни в Рязанской губернии. Он прислал нам с Верочкой на платья два куса домотканой рязанской, знаменитой клетчатой материи, из которой крестьянки шили себе панёвы*. Ма-

*В 1940 году, возвращаясь на машине из экспедиции из Сталинграда в Москву мы с А.С. Кесь закупили на границе Рязанской и Тамбовской областей такие до-

терия была красная, в большую клетку, как шотландка. Из одного куска мама и няня успели в эту последнюю зиму еще в Лентовском сшить нам с Верочкой платица. А из более маленького куска уже гораздо позднее сшили Верочке сарафан, в котором она нарисована на портрете. Платья были теплые, но очень кусались, и под них приходилось надевать кофточки.

Вскоре после этого пришли известия о том, что в деревне, в имении прадедушки Петра Петровича в Рязанской губернии сильно и тяжело ранен дядя Рафа (Рафаил Дмитриевич), убит папин брат — дядя Лёля (Леонид Дмитриевич), а в Петрограде умер дедушка — папин отец Дмитрий Петрович^[25].

Мама, все взрослые Петрашени и няня были ошарашены этими известиями. Я не буду обо всём этом писать, потому что об этом (о смерти дедушки и ранении Рафаила) хорошо написано в дневнике Леонида, чудом сохранившемся у его невесты Сони, потом передавшей его папе^[26]. Няня зажгла перед иконой лампаду и заставила меня включить в мою вечернюю молитву слова: «Упокой, Боженька, дедушку, дядю Лёлю и помоги дяде Рафе». . . О смерти Леонида я помню разговоры, что его не было дома, когда туда пришли грабители. Он жил в лесу на небольшом хуторе один с Соней (деревенской девушкой, на которой собирался жениться и стать священником) и мальчиком — её братом. Соня как-то предупредила его, что в доме его ждут, и он, поставив лошадь в конюшню, пошел или побежал вниз по склону к пруду. А ему выстрелили в затылок. . . Рассказ об этом врзался в мою память, и я хорошо представляю себе пруд, к которому бежал дядя Лёля, и березовую рощу вокруг, и его самого, бегущего в толстовке и высоких сапогах вниз по склону. . .

А потом из зимних впечатлений у меня сохранилось в памяти только несколько событий. Первым было Асино рождение и Андриюшины именины 12 декабря, которые праздновались вместе. Помню большой крендель на столе и много гостей, детей, и общие подвижные игры, которыми дирижировали мама и Муся. Играли в «короли», в носы, в «море волнуется» и, конечно, в «телефон». Было очень весело. Но Ася испортила мне этот праздник и очень меня обидела. Это я не забыла до сих пор. На мне было белое шерстяное, из очень тонкой материи, вышитое платье на шелковом чехле. Но так как у него были не рукава, а только маленькие крылышки, мне надевали под него еще батистовое белое платье с длинными рукава-

мотканые ткани — синие в тонкую клетку. Из неё Александра Семеновна сшила костюм, а я Вере юбку, а себе платье, в которых все мы ходили во время войны.

ми. И конечно, еще была надета нижняя юбочка, без которой няня меня никуда не пускала. Так вот, Ася позвала приглашенных своих и Мусиных подруг Зину и Иру Дамперовых в спальню и сказала: «Смотрите, сколько у неё надето юбок», подняла подол моего платья и пересчитала: «Два платья, чехол, юбочка». Те девочки засмеялись, а я заплакала и убежала к себе в комнату, где было темно, и залезла в угол. . . Там меня потом с трудом нашла няня. . . Но на всю жизнь у меня сохранилось настороженное отношение к девочкам Дамперовым — дочерям директора череповецкого реального училища. Они приезжали в Лентовское на своей лошади, с матерью — высокой, черноволосой, очень строгой и суровой Ольгой Андреевной. Её боялись все дети и особенно я. Совсем другими — приветливыми и веселыми — были дамы Иогансон (жена какого-то инженера и ее сестра). Они были тоже высокие, с пепельными волосами, очень говорливые, смеющиеся — наверное, эстонки или латышки. У старшей была веселая кудрявая дочка Валя, а у второй — маленькая, черненькая девочка Ирочка. С ними мне всегда было хорошо и весело. . . С Валей Иогансон мы встретились и обнялись во время войны в 1943 году в Москве в Институте географии Академии Наук. Я работала в бригаде спец. картирования у проф. И. П. Герасимова, Валя была уже сотрудником института, кандидатом географических наук и работала в отделе гидрологии. И потом всегда, приезжая в Москву, я заходила к ней в отдел гидрологии. Мы вспоминали Череповец и свое детство.

Вторым веселым событием была елка. Какая елка! Большая, высокая, вся увешанная игрушками со свечами елка стояла в зале. Пока в зале были закрыты двери и там украшали елку, Ася, Андрюша, Егорушка и, конечно, я очень волновались. Бегали по коридору, подсматривали в щелку двери и гадали: «Будет, не будет». Я, увидев её, обалдела, потому что такую большую елку видела впервые. Ведь в прошлом 1916 году у меня была только маленькая елочка с самодельными игрушками, которые мы клеили с мамой для меня одной в маминной спальне — во время скарлатины. . . А такой большой елки я еще ни разу не видела.

И подарки всем были замечательные: мама сшила мне и Асе тряпичные куклы, Асе — японку Такэ — героиню любимой книги «Маленькие японцы», а мне двух маленьких голландцев — Кита и Кэт, тоже героев такой же книги. Это были наши любимые книги: рассказы о жизни маленьких близнецов-голландцев, которых звали Кит и Кэт, маленьких японцев Таро и Такэ и маленьких эскимосов Мини и Мони. Автором их была какая-то писательница^[27]. У нас «Маленькие голландцы и эскимосы» пропали во время блокады.

Асина Такэ была в шелковом лиловом кимоно с высокой прической, с цветами, с веером, с косыми глазами, как настоящая. Моя Кэт носила пышную клетчатую юбку, белую с длинными рукавами рубашку, штанишки, безрукавку и передник. Светлые её волосы, заплетенные в косы, были подколоты около ушей «котлетками», а на голове был надет белый чепчик с загнутыми боковыми краешками. На ногах настоящие сапожки из замши. Кит имел длинные широкие штаны, такие же сапожки, рубашечку и безрукавку. Белые волосики его были подстрижены в кружок, а на голове надета большая кепка с козырьком. Личики у них были раскрашены, а глаза, носик и ротик вышиты. Сделано всё было удивительно аккуратно и красиво, с огромной любовью. Верочка получила такую же куклу в русском сарафане. Когда только мама успела всё это сшить, не представляю себе.

Няня подарила мне маленького фарфорового мальчика верхом на рыбе, а Верочке — тоже фарфорового зайчика. Я была так занята своими подарками, что не знаю, что получили мальчики. Ася еще получила от своей мамы большую белую с рыжими пятнами корову. Я смотрела на неё с завистью: ведь у Кита и Кэт была в книжке корова. . . Приехала тетя Маруся, у неё в руках было несколько таких же из папье-маше лошадей и корова. Не такая большая, как у Аси, но тоже с рогами, ушами и хвостом. Я замерла: кому тетя Маруся подарит эту корову? Мальчикам она подарила лошадей, а корова предназначалась Верочке. Я бросилась к маме и просила, чтобы эту корову подарили бы мне — она так нужна моим голландцам! И тетя Маруся решила подарить Верочке оставшуюся у неё в запасе очень страшную лошадь, а мне отдала к моей радости корову. Верочка очень любила лошадей, и ей эта страшная лошадь очень понравилась. На другой день утром мы все играли под елкой в зале на ковре со своими новыми игрушками. Эта елка была самым ярким воспоминанием зимы.

Мы много гуляли на дворе, катались с горы в верхнем саду на санках. Все дети Петрашени отлично ходили на лыжах. Муся и Вася после своих уроков уходили далеко в рощу, в поле и даже на ту сторону Шексны. Я встала на лыжи в первый раз, конечно, падала и ковыляла на них только по двору и в верхней части сада, тогда как Ася и Андриуша бегали на лыжах по всему саду и съезжали вниз по главной липовой аллее. По вечерам (электричества ведь не было) около большой лампы в зале у круглого небольшого столика взрослые читали нам вслух. Любимыми книжками были истории маленьких близнецов, сказки Андерсена, «Кроля-Ноля», которого я

знала наизусть, и две повести: «Нептун» — про собаку — и «Верочка и её друзья». Первую из этих историй очень любили Андрюша и Ася. Начиналась она словами:

— Друг мой Коля, дарю тебе Нептуна, — сказал Николай Александрович, войдя в комнату с большой собакой.

Дальше шла история этой собаки. Я еще любила книжку про маленького медвежонка Джонни Сеттона-Томсона и горько плакала, когда он умер, так же горько, как и над маленькой Русалочкой. Когда нам читали, мы что-нибудь делали. Перед Рождеством клеили цепи на елку и разные коробочки или вышивали нарисованные на толстой бумаге картинки. Один раз мама ушла из зала, а потом принесла Асе нарисованную для вышивания удивительно красивую девочку. На мое рождение она мне подарила «Радужную книгу», в которой была нарисована эта же девочка. Значит, мама уходила к нам в комнату и там нарисовала её... В эту зиму, вероятно, когда мне исполнилось уже пять лет, мама начала меня учить читать и писать — сперва палочки, а потом прописи.

Днем после завтрака, пока Верочка и я спали, мама тоже отдыхала на воздухе на нижней галерее. Она надевала шубу, а потом няня еще закутывала её в одеяло и большую дяди Ванину медвежью полость. Так лечили маму раньше в санаториях, и теперь ей тоже надо было подправиться. Она сильно кашляла и худела, принимала какие-то порошки и никогда нас не целовала, стараясь даже реже брать на руки. В один такой день, когда она лежала на галерее, я после спанья пришла к ней. Няня, чем-то взволнованная очень, одела меня и вытолкнула во двор:

— Беги к маме и погуляй около неё и на вот, возьми эту коробочку и спрячь её, зарой в снег. Только не забудь, где!

И няня дала мне свою заветную копилку, где она копила новенькие гривенники, которые ей давал папа, — «Стаське — то есть мне — на приданое»... Когда я вышла из нашей комнаты и пошла в переднюю, чтобы выйти во двор, там стоял солдат в длинной шинели, папахе и с ружьем. Няня подошла к нему и попросила выпустить погулять «девчонку». В доме был обыск. Я прошла кругом дома к маме. Она не спала и спросила меня, что делается дома. Я ответила, что няня велела зарыть в снег её копилку и что в передней стоит солдат с ружьем. Мама сказала, чтобы я никуда не ходила, не отходила далеко от балкона; я зарыла копилку в снег, поставила над ней веточку от елки и стала рыть в снегу пещеры... Сколько вре-

мени прошло, я не знаю, но уже стало почти темно, когда пришла няня помочь маме идти домой. Она рассказала, что солдаты уехали, к нам в комнату не заходили, и что Ася принесла ей какую-то свою шкатулку с просьбой спрятать, и что она — няня — положила её под бельё в комод. Мама ничего не говорила и молчала. . .

Когда стало светлее и дни длиннее, как-то раз утром в солнечный день тетя Джесси пошла гулять со мной и с Егорушкой в сад. Звали Андриюшу, но они с Шуркой верхним убежали вниз в парк на Милютинский завод. Мы пошли их искать и не нашли, но идти по снегу было легко. Мы спустились вниз, вышли за пределы парка, перешли дорогу и спустились в пойму, а потом к Шексне и перешли на лед. Было яркое солнце, снег блестел и искрился под его лучами, наст был крепкий, и мы незаметно перешли реку и поднялись на тот берег. Мне казалось, что мы дошли до леса Гальских. Но теперь я думаю, что этого не могло быть. Ведь мы с Егорушкой были еще очень маленькие: мне только что исполнилось пять лет, а ему еще не было четырех. . . Но во всяком случае мы дошли до каких-то кустов, и тетя Джесси показала, какие бывают почки у ивы. Если чуть-чуть отковырять пальцем тоненькую кожурку на почке, внутри будет виден белый пушистый комочек — цветок вербы.

Вербу с красными или коричневыми веточками и белыми шариками-цветочками ставили в вазы и прицепляли за образа и иконы на Вербной неделе. После неё скоро наступила Пасха. Пекли куличи, делали пасху, красили яйца, и все целовались, христосовались друг с другом и дарили друг другу крашенные яички. Мы же дети на большом ковре в зале катали со специального длинного деревянного лотка деревянные разноцветные яйца. Если пущенное тобой яйцо ударится в какое-нибудь другое, лежащее перед лотком на некотором расстоянии — «на кону», то ты берешь себе оба эти яйца и можешь еще раз вне очереди катить снова яйцо. Если же оно не стукнулось об какое-нибудь яйцо, то оставалось лежать на кону и ты терял его. Выигрывал тот, кто набирал больше яиц. Мы девочки держали свои яйца в подолах платьев, а мальчики — Андриюша и Егор — складывали их в кучу и садились на неё, как курица на яйцах. Катали яйца с таким же интересом и старшие — Муся и Вася.

Где-то около Пасхи 15 апреля были мои именины. Их не праздновали, и я не представляю себе, как я узнала о них. Наверное, сказала няня. Но я сообщила о своих именинах на кухне, и Саша подарила мне деревянное яблоко, а Дуня — зеркальце. Я побежала показать

их маме. А мама меня очень строго выругала и сказала, чтобы я запомнила раз и навсегда, что нельзя выпрашивать подарки (а я и не выпрашивала!), нельзя говорить о своих именинах. Всё это очень нехорошо. Я запомнила слова мамы, и с тех пор никогда, ни разу в жизни мои именины не отмечались. . .

А потом в конце весны — 11 мая 1918 года по новому стилю у тети Джесси родилась девочка — Танечка. Дело было вечером, Ася болела чем-то и лежала на диване в зале, покрытая пледом. Мы — Андрюша, Егорушка и я сидели рядом и скучали. Ася таинственно сказала нам, что она знает, что у её мамы в спальне рождается сейчас ребеночек. Неизвестно только, мальчик или девочка, и мы должны пойти узнать всё. Мы пошли, в коридоре было темно, только в передней на стене горела лампа. В маленьком предбанничке перед спальней тоже было темно, и дверь в неё была закрыта. Мы постучались и поцарапались у двери — оттуда вышла какая-то незнакомая тетенька и прогнала нас. Мы вернулись в залу и доложили о своей неудаче Асе. Она рассердилась, сказала, что мы никогда ничего не можем узнать, взяла свой плед, накинула его на плечи и пошла сама, волоча концы по полу. И тоже вернулась ни с чем. Никто к нам не приходил, и мы сидели одни и говорили шепотом. Потом, когда уже и в зале совсем стемнело, пришел дядя Ваня и сказал, что родилась у него маленькая дочка — Танечка и что мы её увидим, наверное, только завтра — и погнал нас всех спать. . .

Когда мы её увидели на другой день, она был совсем красненькая и спала. А потом нам позволяли смотреть, как её купают, пеленают, следить за ней, когда она «гуляла» голенькая. Нас с Андрюшей даже оставляли иногда «дежурить» около неё и говорили, что если она начнет икать, то нужно её покрыть скорее одеяльцем и положить что-нибудь тепленькое к голове, так как, значит, Танечка замерзла. Иногда позволяли попить её из рожка водичкой.

Хорошо помню крестины Танечки. В переднем углу залы, между дверью на серый балкон и окнами в сад, мы — Ася, я и Андрюша — сидели на ступеньках лестницы на балкон и смотрели. Священник и дьячок кадили, читали молитвы, ходили вокруг купели. Перед ней стояли: Елизавета Васильевна Милютина в нарядном шелковом лиловом платье, державшая завернутую в одеяло Танечку, — крестная мать и Дмитрий Иванович Успенский в парадной форме инженера путей сообщения с серебряными пуговицами, темнозелеными кантами и эмблемой в петлицах — крестный отец. Когда священник поднял Танечку, совсем голенькую, и окунул её в купель, мы очень испугались, а вдруг она захлебнется! Но он быстро вынул её и поло-

жил в пеленки и одеяло, которое держала Елизавета Васильевна. . . Это были единственные крестины, которые я видела в жизни. Правда в 1934 году мне пришлось крестить одну девочку и держать её. Но это прошло как-то мимоходом, и потому они запомнились мне.

Пришла настоящая весна; Верочке исполнилось два года, и она уже самостоятельно бегала и играла и очень много болтала. Но теперь её уже можно было понимать. Заметно вырос и всюду носился по комнатам как юла Егорушка. Его стали иногда звать Егорка, и няня Наталья уже не поспевала за ним всюду. Да и Танечка требовала внимания. В саду и огороде таял снег, появились на пригорках черные пятна земли, и мама показала мне грачей. Я знала, что бывают такие птицы. У Андрюши была большая растрепанная книжка со стихами. В одном из них фигурировал грач:

Лягушонок под тиной
Заболел скарлатиной.

Прилетел к нему грач.
Говорит: «Я врач.

Полезай ко мне в рот —
Всё сейчас же пройдет».

Ам — и съел. . .

Мы все знали эти стишки наизусть и распевали их, а теперь прилетели настоящие грачи, черные с белым клювом.

У коровы на скотном дворе родился теленок, маленький, пестрый — белый с черным, и Саша принесла его на кухню, отгородив для него угол около печки. Там теленок жил первые дни, Саша поила его теплым молоком. Он лизал ей и нам руки шершавым розовым языком. А мы глядели на него и гладили. Муся напевала песенку:

Я теленочка любила,
Был он маленький,
Свежей травкою кормила
У завалинки.

Пусть большие все коровы,
Ты будь маленьким.
Травки дам тебе я новой
У завалинки.

И рассказывала, как на Серой даче, где они раньше жили, теленок (уже большой) съел мою куклу. Я не помню этого, потому что была тогда совсем маленькой. Это было во время войны, когда мама ездила к папе в Белосток, где он лежал в госпитале. Муся и Ася

рассказывали о той телке, что она очень любила есть материю, срывала с веревки чистое белье и жевала его, а потом съела мою куклу. Об этом они говорили так часто, что я начала представлять себе эту телку, и подходя теперь к маленькому теленочку, никогда не брала с собой игрушек. Очень боялась, а вдруг тоже съест!

Наша жизнь на Красной даче в это время напоминала жизнь девочки Верочки в книжке «Верочка и её друзья», начинавшейся словами: «Верочка жил со своей мамой в усадьбе. (Как мы!) Папа был инженер и всегда находился в разъездах». Я могла слушать эту историю без конца и завидовала Асе, что у неё есть эта книжка.

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В ЛЕНТОВСКОМ

Новое лето было не такое спокойное, как предыдущее. У Милютиных отобрали имение, и Петрашени доживали в нем последние месяцы. Огородом и скотным двором распорядилась Матильда — это был всё уже государственным хозяйством. Для нашего огорода пришлось копать новые грядки в парке, в квадратах между главной и боковой аллеями. Копали их Саша и Вася. По словам Васи Петрашень, дядя Ваня тоже копал грядки и говорил, что «копает до pupa земли», а все остальные дети помогали разрыхлять землю граблями. У нас уже не было своих грядок, как в прошлом году, но мы помогали взрослым, чем могли. На клумбах перед балконом вместо резеды, табака, левкоев и анютиных глазок посеяли редиску и салат. А перед самым домом у галереи вместо душистого горошка рос в это лето настоящий горох.

Среди взрослых начались разговоры о том, что надо уезжать и из Череповца куда-нибудь. Семья Гамалеев переехала в Тотьму — небольшой городок на реке Сухоне. Мы слышали разговоры о том, что, может быть, придется переехать туда же. Приехавшая с бабушкой Марией Николаевной тетя Аля рассказывала, что в Ферапонтовом монастыре большевики расстреляли матушку-игуменью. Откуда тетя Аля это узнала, я не знаю, так как вряд ли она сама ездила в это лето туда.

Бабушка Анна Осиповна не приехала этим летом из Петрограда. Мама тоже говорила о том, что мы не поедem в Петроград, а как только приедет папа, будем жить или в Череповце отдельно от Петрашени, или поедem в Тотьму.

А мы все дети заболели — сначала, в начале лета, коклюшем, а потом корью. Первыми заболели корью Андрюша и Муся. Они оба лежали в большой детской рядом друг с другом. У Муси была очень

тяжелая корь. Она лежала с высокой температурой, вся красная, в сыпи. У неё очень болели глаза, и занавески в детской весь день были опущены. Андрюша заболел первый, он заразился от Шурки нижнего. Нас всех остальных детей не изолировали от больных, а наоборот, пускали к ним. Тетя Джесси и мама решили, что раз корью должны болеть все дети, так уж пусть болеют все вместе.

Изолировали только маленькую Танечку и самого дядю Ваню. Он, оказывается, в детстве не болел корью, и за него очень боялись, так как у взрослых корь проходит очень тяжело. Поэтому спальню перевели в наши комнаты, на другой конец дома. А мы, Семеновы, переехали в спальню, поближе к детской, где лежали больные Муся и Андрюша. И конечно, мы с Верочкой тоже заболели. Заболели и Вася, Ася и Егорушка. В трех комнатах — детской, спальне и комнате Васи и Муси — почти сразу болело корью семь человек детей. Лечил всех молодой доктор Звездкин, брат того священника из главного собора, который крестил Танечку. Ухаживали за больными мама, тетя Аля, две няни — Анисья и Наталья. Когда Андрюше позволили встать и ходить, он тоже стал ухаживать, приходил к нам, приносил пить, убирал тарелки после еды — был настоящим санитаром. Помогала также и начавшая поправляться Муся. Но всё же у неё и у Андрюши корь была самая сильная. Все остальные переболели почти легко. Но тоже, конечно, ослабли. Главное, лето для всех оказалось испорченным — половину его все дети проболели.

Наверное, вскоре как мы поправились, однажды днем после завтрака Вася с очень серьезным видом сообщил нам, что Земля вертится вокруг себя самой и вокруг Солнца и что небо имеет не голубой, а черный цвет. Ася, Андрюша и я сперва опешили от таких новостей, а потом, поговорив между собой, решили всему этому не верить. Однако спустя какое-то время Ася сказала, что нужно проверить, вертится ли Земля или нет. Провести как бы эксперимент. Для этого мы втроем уселись на большом балконе и стали смотреть на ряд елей перед ним. Но так, чтобы в поле зрения кроме елей попадал бы столб, балясина балкона, державшая его крышу. Мы сидели тихо-тихо и смотрели упорно и внимательно на старые ели, и вдруг... они стали медленно, тихо как бы отходить, отклоняться от балконного столба. Они по-настоящему двигались — это мы видели все трое, медленно, но двигались. Конечно, потому только, что с ними вместе медленно двигалась, вертелась Земля... Ура! Она вертится! Теперь в этом не было сомнения. А насчет черноты неба, посмотрев внимательно на него и убедившись, что оно голубое, мы раз и навсегда просто не поверили Васе — хотя он был самый старший и большой.

В конце лета, наверное, в начале августа, приехал в Череповец окончательно устраиваться папа^[28]. Война с немцами кончилась, и он был демобилизован и провел зиму 1917–1918 годов в Петрограде. Там после смерти бабушки он оказался, как оставшийся в живых старший сын, хозяином большого дома на 14-й линии, где мы жили. Старший брат Рафаил (дядя Рафа) еще не оправился от тяжелого ранения и жил не то в Данкове, не то в Москве; второй брат папы — Леонид (дядя Лёля) был убит, третий брат Николай (моряк) был где-то далеко, не то на Дальнем Востоке, не то в Англии, а младший Шура был мобилизован в Красную армию. Папа, как рассказывала потом тетя Аля, когда в ноябре 1917 года было первое общее собрание жильцов дома, сразу объявил, что он как домовладелец еще накануне собрания одним из первых на Васильевском острове передал дом государству, не дожидаясь его национализации^[29]. И, таким образом, освободился от всяких хлопот и обязанностей. Не знаю, как относилась к этому факту тетя Вера, но потом при разговорах о доме она всегда поджимала кисло губы.

В нашу квартиру, в которой после нашего отъезда в Череповец оставалась бабушка, тетя Аля и дядя Херри, переселились Благовещенские — мамина сестра тетя Дези с мужем Николаем Васильевичем, Гуленькой, Майенькой и маленькой девочкой Дезинькой, которая родилась зимой. А дядя Ози, у которого они до этого жили, остался в своей квартире один. Его семья осталась где-то под Выборгом в Финляндии.

Николай Васильевич был химиком и работал на каком-то заводе. Летом или в конце мая, точно не знаю, папу арестовали как бывшего гвардейского офицера царской армии. Он сам рассказывал, что рано утром в квартире раздался резкий звонок, все еще спали, а он сам в одной ночной рубашке готовил завтрак, так как ни кухарки, ни горничной уже не было. Быстро одевшись, он пошел открывать дверь и увидел вооруженных матросов и рабочих (несколько человек), показавших ему ордер на арест офицера и обыск квартиры. Пока обыскивали папин кабинет, где он жил, столовую, комнаты тети Али, дяди Херри и бабушки, папа постучал в свою бывшую спальню, где спали тетя Дези и Николай Васильевич, и сказал, чтобы они вставали, так как пришли с обыском. Искали оружие — но папино личное оружие (наган и пашку) он сдал, когда демобилизовался, и у него ничего не нашли. Николай Васильевич выглянул, как говорил папа, в дверь, улыбнулся близорукими глазами, сказал «хорошо» и закрыл дверь. Когда вошли в спальню, он был уже одет, а тетя Дези

кормила грудью ребенка. Наряд рабочих вошел в спальню, и вдруг один из них, увидав Николая Васильевича, обратился к нему: «Этот ты?», и махнув рукой своим товарищам, сказал: «Это наш человек, пошли!» Оказалось, это был рабочий с того завода, где работал Николай Васильевич, и они узнали друг друга. . . Папе велели одеться, и его увели. . . Тетя Дези же, оказывается, сидела на трех винтовках, спрятанных в кровати, а под ребенком у неё на коленях лежал наган. Это было оружие, которое хранилось у Николая Васильевича, так как он был членом какой-то рабочей дружины. Но у него в тот момент не было на него никаких документов, и если бы оно было обнаружено, то его и папу могли бы расстрелять на месте. . . Папу же взяли как офицера и привели сразу на Николаевскую набережную, где стояли баржи с арестованными офицерами. Их повезли в Кронштадт на расстрел. . . Освободили папу только благодаря тому же Николаю Васильевичу. Он добился для себя и для бабушки Евгении Михайловны свидания с Урицким — начальником Петроградского ЧК. И тот принял их, так как вспомнил бабушку, потому что покойный дедушка Дмитрий Петрович не выдал в свое время Урицкого, проживавшего в дедушкином доме и скрывавшегося от полиции.

Урицкий выслушал просьбу бабушки и приказал срочно доставить бывшего прапорщика М. Д. Семенова-Тян-Шанского к нему на Дворцовую площадь на допрос. . . Каким-то чудом это распоряжение вовремя дошло до Кронштадта, и папу и еще одного офицера привезли в Петроград прямо к Урицкому. После разговора с ним папу отпустили вчистую, и больше никогда не было никаких попыток его взять. Сам папа считал, что, может быть, этот факт связан именно с его разговором с Урицким, которого вскоре, в конце лета 1918 года убили контрреволюционеры. Папа всегда говорил об Урицком только хорошее и считал, что он был очень умным человеком. Всех же других офицеров утопили на барже [30].

. . . Наверное, я так думаю сейчас, мама ездила летом, когда мы поправились от кори, тоже в Петроград. Надо было отобрать вещи, нужные для окончательной жизни в Череповце или в Вологде. А потом, я не могу себе представить, чтобы она после всего случившегося не поехала к папе. Но такая поездка, если она была, должна была очень отрицательно сказаться на её здоровье.

Но тогда мы дети ничего этого не понимали. Дядя Ваня ездил на своем пароходе по делам в Кириллов и привез оттуда огромный красный арбуз. Я впервые сознательно видела и ела этот фрукт, и в сознании надолго осталось, что арбузы растут в Кириллове и

их оттуда привозят на пароходах и баржах. То, что их привозят по воде, это факт, но в Череповец они попадают не из Кириллова, а из Астрахани. Это я узнала гораздо позднее. . .

Приезжал не то поздним летом, не то уже в сентябре в Лентовское дядя Ози; он был в сером костюме с короткими брюками-бриджами, застегивающимися под коленками. А потом, поставив на стул ногу в большом желтом ботинке, бинтовал икры черными обмотками так, как это было на картинках в журналах «Огонек» и «Нива» у английских и итальянских солдат.

Союзники Антанты входили с картинок в этих журналах в наше детское сознание. На переплетенных огромных томах годовых комплектов «Нивы» дети сидели за столом во время обеда вместо подушек, а потом тащили эти фолианты на ковер и рассматривали картинки. Там было всё: и портреты царя, царевича и царских дочерей, и фотографии с полей военных действий, и итальянский принц Умберто в костюме бой-скаута (в широкой шляпе с полями и в костюме вроде ковбоя). Отряд бой-скаутов, наподобие современных пионеров, был организован и в Череповце. И конечно, Муся и Вася были скаутами, а мы завидовали им. Скаут должен всегда говорить правду, помогать всем, особенно бедным и старым людям, быть вежливым и храбрым, ничего не бояться — запомнились слова из устава скаутов. Скауты ходили в походы с рюкзаками за спиной. И один раз со своим руководителем пришли в парк Лентовского, поставили палатку внизу около еловой рощи, зажгли костер и пекли в нем картошку. Мы с Андрюшей, Асей и Егоркой наблюдали за ними издали, а когда они ушли, потушив костер, мы в его золе нашли остатки картошки, рядом на траве — щепотку соли и всё это, разделив по-братски, съели с огромным удовольствием.

Дядя Ози много времени проводил с нами, ходил по парку, собирал грибы и рассказывал о своих мальчиках — Энчике, Персике, Ральфе и маленьком Германе, которые жили со своей мамой тетей Тибо в Финляндии. Но Финляндия больше не принадлежала России, а стала самостоятельной страной — за границей. Он говорил, что это очень грустно. В Лентовском он был недолго и опять уехал в Петроград, а потом в Финляндию — ведь он был финским подданным и ехал на «свою родину», и больше никогда в жизни мы его не видели. . . *

* Дядя Ози привез нам всем замечательные книжки (как я теперь узнала от Васи Петрашень, это были книги из серии «Знания для всех» издательства Сытина) с изумительными красочными иллюстрациями. Ася получила книгу о грибах, я — «Чудеса растительного мира», Андрюша — книгу о землетрясениях,

Примерно в это же время начали рубить большие березы в нижней части парка, сняли там около лесопильного завода забор и вкапывали в парк бочки не то с варом, не то со смолой. Некоторые бочки разбились, и черный вар вытек на траву. На солнце он блестел, и в нем отражалось небо, и можно было принять эти подтеки вара за лужи. . . Так, наверное, казалось птичкам — синицам, зябликам и другим, потому что очень много этих птичек, видимо, молодых, прилипли к лужам вара и не могли выбраться из этой липкой и густой жидкости. Мы обнаружили их, попробовали вытаскивать, но бедные птички не могли летать, так как у них слиплись все крылышки и перышки. Мама, тетя Аля, Муся пробовали их осторожно отмыть теплой водой, но птички умирали в их и наших руках. . . Мы все дети плакали от отчаяния. . . Это была первая смерть, которую мы видели, ощущали руками. . . Потом Андрюша и Ася вырыли сравнительно большую яму, и мы похоронили мертвых птичек. Но много их осталось лежать мертвыми в больших густых лужах вара. . . рядом со спиленными березами. Ходить в эту часть парка после этого не хотелось.

Наконец приехал папа. Но приехал совсем больной, с высокой температурой, и через день лежал и бредил — у него оказалась испанка. Страшная эпидемия, которая разразилась не только в Петрограде, но по всей нашей стране и в Западной Европе. Через несколько дней заболели мама, Андрюша, Ася, я и почти все в доме. После коклюша и кори испанка была совсем некстати. Особенно нехорошо, что заболела мама, плохо поправившаяся за лето, и Андрюша. У него была самая тяжелая корь, и очень тяжело он перенес испанку. Не болела ею только Верочка. А у меня так сильно после болезни лезли волосы, что мама хотела меня наголо обрить, но этому воспротивился папа. Не хотел видеть дочку бритой. . .

Испанка задержала окончательный отъезд всех из Лентовского. . . Все переезжали в город. Петрашени получили квартиру в далеком верхнем конце Большой улицы, недалеко от Благовещенского собора, во втором этаже двухэтажного дома, в первом этаже которого помещалось учреждение, где работал («служил», как тогда говорили) дядя Ваня. Успенским дали квартиру в маленьком светло-зеленом домике на Соборной площади в конце Петровской улицы, совсем в другом конце города. А мы получили отдельную квартиру из трех

а сам Вася — «Завоевание воздуха». Он говорит, что эта книга сохранилась у него до сих пор. Я тоже берегла свои «Чудеса растительного мира» — до самой войны. . . Но они пропали в блокаду.

комнат в одноэтажном доме на углу Петровской и Крестовской улиц. Один раз, когда мы с мамой поправились, мы пошли с папой втроем в город посмотреть квартиру. Была тихая солнечная погода. Мы медленно шли втроем по тропинке через поле мимо огромных ив, рядом с которыми лежало уже давно несколько штабелей длинных бревен. Иногда в летние вечера после обеда все любили ходить «до бревнышек» и посидеть на них... У папы был с собой маленький пленочный аппарат «Кодак», и папа снял на Соборной площади меня с мамой, а потом мама сфотографировала нас с ним. Это был предпоследний снимок мамы. Квартира ей понравилась, и на обратном пути она говорила, что очень рада тому, что мы будем жить, наконец, своей семьей, только с няней. Папа получил место преподавателя географии в новом педтехникуме, организованном на базе реального училища, а потом стал его директором.

Сам переезд из Лентовского и прощания с ним я не помню. Запомнился лишь один момент старой жизни. Идет моросящий дождик, а мы — Ася, мама и я и Верочка на коленях у мамы — сидим на парадном крыльце на дворе и едим спелые ягоды боярышника из верхнего сада. Он очень вкусный, сладкий, но у него много косточек, и мы плюем их вниз. Мама тоже ест его вместе с нами и позволяет его есть. Но только просит, чтобы мы не бегали сейчас на двор мимо кухни, где находится няня, потому что няня не позволяет нам рвать и есть боярышник. Не надо, чтобы она видела, как мы его едим. Мама считает, что вреда от него нет, что он вкусный и есть его можно. Папа сфотографировал нас на крыльце. И это была последняя мамина фотография и последний снимок в Лентовском... Занавес над старой жизнью в нем опустился, и началась совсем другая жизнь.

БЕЗ МАМЫ

Как мы переезжали в Череповец и как уехали из Лентовского осенью 1918 года, я не помню. Вообще, этот самый тяжелый период жизни нашей семьи представляется мне в виде отрывков, отдельных картин. Главной нитью, их соединяющей, является болезнь и смерть мамы. Считается, что маленькие дети переживают потерю близких менее остро, чем взрослые, и в этом заключается как бы их внутренняя самооборона. Наверное, это так. Но вместе с тем смерть матери накладывает на них определенный отпечаток, и забыть мать, я сужу по себе, они не могут никогда в жизни. И может быть, характер ребенка, потерявшего мать в раннем детстве, был бы другой, если бы она осталась жива. То есть, конечно, не в самом раннем детстве, а

когда ребенок пяти-шести лет уже стал определенной личностью. В этом возрасте потеря матери становится горем на всю жизнь.

Все говорят, что папа тоже сильно, то есть очень изменился. Муся и Ася вспоминают, что он до этого был очень веселый, жизнерадостный, а мы знали его всегда озабоченным, серьезным, грустным. Это естественно. Папа и мама были женаты всего 8 лет, три года из этого срока, как говорил сам папа, он был на фронте. А из оставшихся пяти лет последний год мама уже безнадежно болела. Спокойными были только три года до моего рождения, омраченные нелепой гибелью любимого маминого брата и папиного друга — дяди Жоржика. И один только год, вернее, полтора, моей жизни до августа 1914 года — когда началась война и папу мобилизовали, единственного из всех больших семей Парландов и Семеновых^[31]. Только один брат дяди Вани — Николай Васильевич Петрашень — тоже был мобилизован и очень скоро попал на фронт и в плен. А кроме него на фронте был только папа, не считая дяди Коли — его брата-моряка. Папа говорил, что если бы не война и голод в первые годы после Революции, то мама была бы жива и поправилась бы. Правда, её очень подорвала потеря крови при рождении Верочки, когда рядом с родильным домом Видемана 7 апреля 1916 г. был страшный пожар, в больнице началась паника и про маму забыли. Но позднее врачи говорили, что для её легких рождение второго ребенка было благоприятно и что она даже окрепла после этого. И ей разрешили самой кормить Верочку... Однако болезни детей: моя скарлатина, коклюш и корь, а самое главное, испанка — подорвали её здоровье. На это накладывались нервные потрясения: смерть дедушки, убийство Леонида и рана Рафаила, душевная болезнь бабушки Марии Николаевны, нервное напряжение всех в дни революции, папин арест и т. д., а потом появившийся еще летом в Лентовском нехватка продуктов и, наконец, настоящий голод с осени 1918 года, когда мы стали самостоятельно жить в Череповце. Всё это сказалось на мамином здоровье.

Я не помню, чтобы она была здоровой, веселой хозяйкой новой квартиры, о которой так мечтала. По-моему, почти сразу после переезда на Крестовку она слегла и лежала в постели.

Квартира в одноэтажном доме оказалась холодная и сырая. Две комнаты: небольшая спальня и большая, но проходная столовая выходили на север — на Крестовскую, шумную по тем временам улицу, и в них никогда не было солнца. Третья комната с большим двухстворчатым окном выходила на юг — на двор. Рядом с ней, тоже с окном на юг, помещалась кухня. Это была самая теплая, светлая и

веселая комната, и в ней по желанию мамы устроили детскую. То есть поселились мы — девочки и няня. Папа и мама первое время жили в спальне. Она и столовая отапливалась одной печкой, но всё-таки спальня была самой холодной комнатой, одна её стена выходила на холодную парадную лестницу, ведущую на улицу, а другая в коридор. Самой теплой оказалась наша детская, и очень скоро маму перевели в неё. Там она лежала, а мы с няней жили в спальне.

Самым приятным в нашей новой квартире была наша собственная мебель, привезенная из Петрограда^[32]. Две — папина и мамина — большие кровати со светлыми эмалированными спинками и сетками, диван и кресла в столовой, обитые серо-голубой материей; папин письменный стол, его низенький шкаф из красного дерева с книгами; комоды — маленький в спальне с маминым зеркалом (её туалет) и большой пузатый в детской; буфет в столовой и большой черный шкаф для пальто и платьев в коридоре. И конечно, наши с Верочкой кровати: моя старая с сеткой — для неё и другая, моя, более большая, полученная от Кирюши — сына дяди Рафы, на которой я спала еще в Петрограде.

Самым главным для нас с Верочкой было, что приехали игрушки: большой бурый медведь (теперь его зовут Володей, а тогда звали Брюзга в честь матери медвежонка Джонни), сам Джонни — маленький медвежонок, собака-такса, правда, уже без ушей, какие-то куклы. И та большая кукла, которую мама мне обещала подарить, но она еще была не в порядке: у неё всё было отдельно — ноги, руки и голова. Но личико было еще красивее, чем у Асиной Ани. Я назвала её Ириной, хотя у мамы она называлась Стеллой. Не привез папа, по моим понятиям, только две вещи: свой рояль и мою большую кукольную коляску. Рояль он отдал на хранение своей сестре — тете Вере, и его перенесли в квартиру бабушки Евгением Михайловны. А кукольную коляску потеряли где-то Благовещенские.

Благовещенские этой осенью тоже переехали в Череповец и поселились в том же доме на Дворянской, где жили Фидровские. Белый каменный дом, который они занимали, был двухэтажным. Благовещенские жили внизу, а Фидровские наверху. Но кроме них кто-то чужой еще жил в этом же доме. Они жили далеко от нас, и мы редко виделись. Петрашени тоже были далеко. Дойти до них одна я не могла, а водить нас к ним было некому. Папа «служил», то есть работал, мама была больна и лежала, а весь дом, всё хозяйство и мы с Верочкой были на руках у няни. Ей, конечно, было очень трудно со всем справляться. Надо было носить воду из колодца, а он был не на

дворе, а в огороде, далеко, и ходить туда надо было через подворота в сарае. Нужно было колоть и пилить дрова. Правда, колол дрова также и папа. Но самое главное, что дров было мало, и их надо было экономить. Каждый день, чтобы готовить, надо было топить плиту в кухне или русскую печку. Примусов и керосинок в Череповце в то время не было и их негде было достать. Да и с керосином была проблема. Ведь не было электричества в большинстве домов. В Лентовском каждый вечер, вернее, перед вечером Дуня заправляла лампы — наливала в них керосин, чистила ежиком стекла, вставляла их в лампы и разносила лампы по всем комнатам. А теперь керосина было почти не достать и его очень экономили. Лампа горела маленькая на кухне и только в той комнате, где были люди, в других комнатах и в коридоре было темно. А самое главное, надо было доставать еду — а её не было.

Хлеб, паек выдавали по карточкам. А остальное? Молоко, часто замерзшее, и яйца приносили иногда бабы — крестьянки, но они не хотели и не желали брать денег, а меняли свои продукты на вещи. К каждой вещи, которую им предлагала няня, они придирались, рассматривали, нет ли дырок, торговались, а иногда не брали вовсе. Особенно просили детских вещей. Но мои сапожки и платья шли Верочке, а я получала кое-что от Аси. Лишних детских шмоток не было. Охотно, вернее, даже очень охотно принимали столовые салфетки и полотенца. Они шли как платки и косынки на голову. И няня вынимала из комода или из маминого сундука эти вещи — её приданое. На головные платки даже разрезали несколько больших скатертей, чтобы выменять молоко и яйца для мамы и картошку для всех. А мама тихо лежала в своей кровати, почти не вставала и только смотрела большими глазами, как мы с Верочкой играли у неё в комнате на полу. Она очень любила, чтобы мы были бы рядом. . .

Папа соорудил, а вернее, где-то достал маленькую печурку-буржуйку, и её поставили в мамину комнату. Топили буржуйку щепочками, и она хорошо нагревала мамину комнату. Таким образом сэкономили дрова. Кроме того, на буржуйке можно было варить. По утрам няня варила на ней кашу-затируху из ржаной муки, которую ели на завтрак, кипятила чайник и варила суррогатный кофе. Маме давали какао. А когда доставали мясо, то на этой печурке папа сам жарил маме бифштексы. А мясо доставали так: прибежала петрашенская Саша и говорила няне: «Бежим, Анисья, бежим скорее, на горе у собора лошадь пала, бери мешок и топор. Бежим!» Даже Вера до сих пор помнит этот призыв. И обе они — няня и Саша бежали,

чтобы получить, самим отрезать какой-то кусок конины. Картошка была мороженая, из неё делали в глиняной латке запеканку. Но это позднее, когда маму увезли в Петроград и мы остались одни.

А пока к ней приходили разные доктора — слушали её, разговаривали, молчали. Чаще всего приходил, сам по себе, Сергей Дмитриевич Чечулин. Удивительный, добрый, душевный человек и замечательный врач. Он приходил не как врач, а как друг, добрый товарищ папы. Они были знакомы давно — когда папа еще ездил на Дальний Восток во время войны с немецкой сестрой милосердия. Там, где-то в Хабаровском крае папа встретился с Сергеем Дмитриевичем и они заметили в душе друг друга и поэтому уже в Череповце обнялись как друзья — «на всю оставшуюся жизнь».

Сергей Дмитриевич был коренной черепанин — его родовое имение — Ирма лежит на Шексне между Череповцем и пристанью Горницами. Там сейчас еще останавливаются пассажирские и туристские теплоходы. Подпертая плотинами Шексна подходит к самой верхней части парка. Туристы смотрят с этого высокого берега на удивительно красивый вид и видят рядом почти развалившийся бывший помещичий дом и красную кирпичную тоже развалившуюся церковь, старое кладбище. Среди могил, заросших крапивой, в 1972 году была видна плита на могиле брата Сергея Дмитриевича — Николая Дмитриевича Чечулина — члена-корреспондента Академии Наук, историка, в основном занимавшегося историей Смутного времени. Он умер где-то в середине двадцатых годов, бывал вместе с Сергеем Дмитриевичем у нас в Ленинграде и был дружен, оказывается, в молодости с Андреем Петровичем — папиным дядей и тоже бывал у него.

Мы с Верой были в Ирме в 1972 году, когда ездили на теплоходе по Волго-Балту по маршруту Ленинград — Москва — Ленинград. Проходя через деревню, мы встретили двух пожилых женщин и сидящего на заваленке старика и спросили, помнят ли они Чечулиных. Старик встал с завалинки, женщины подошли ближе, и начались рассказы. Не только о том, каким замечательным человеком был сам доктор, но и об его «строгой, но справедливой» жене Марье Ивановне, как сказал старик. О том, какая красавица была Оленька — их вторая дочка, и как старшая Лида вышла замуж за парня «с той стороны Шексны, вон из той деревни, что теперича наполовину подтопла». Как приезжал лет пять тому назад в Ирму их сын Александр Сергеевич — тоже врач, ныне уже покойный, уже в годах, но с молодой женой и с Машенькой, дочкой Лидии Сергеевны. Всё показывал ей, водил всюду, и вокруг дома, и на кладбище, и всё рас-

сказывал... «Уж такие люди были Чечулины все, такие люди! Разве можно таких забыть!» — сказал старик. Нам было приятно и грустно от этой встречи. Могли бы череповецкие и вологодские краеведы восстановить усадьбу своих земляков, врачебной семьи Чечулиных.

Сергей Дмитриевич окончил Военно-Медицинскую академию и женился на Марье Ивановне Спасокупоцкой, сестре Сергея Ивановича Спасокупоцкого — известного хирурга, действительного члена Академии Наук, всегда жившего в Москве. Сестра Марьи Ивановны — Елена Ивановна тоже была врачом-терапевтом и работала в клинике Цейдлера при Медицинском институте в Петрограде. А знаменитый онколог Николай Николаевич Петров — один из основателей Института усовершенствования врачей в Ленинграде — приходился Сергею и Николаю Дмитриевичам двоюродным братом. Все они были черепанами и вологодцами. Вологда, где Сергей Дмитриевич работал земским врачом до Череповца, была тоже их родным городом.

Сергей Дмитриевич — высокий, красивый, с голубыми глазами и черными бровями, с седой бородой, всегда ходил дома в вязаной шерстяной темно-бордовой шапочке. Он надевал её сразу, как только снимал меховую шапку. На шее у него болтался длинный вязаный шерстяной шарф, на ногах были огромные валенки, а на плечах черный бараний полушубок. Когда он приходил, мы с Верой бежали смотреть в переднюю, как он разматывает шарф, надевает шапочку; любили держать его большую палку и шли с ним потом к маме. Из глубоких карманов своего полушубка, снимая его, он всегда что-нибудь доставал, то два крутых яичка, то маленький узелочек с творогом, обернутый в непромокаемую бумагу, то кусок деревенского хлеба... Это всё он приносил маме в подарок, как он говорил, рассказывая при этом со смехом, что этот кусок хлеба подали ему как нищему крестьянка. Он проходил мимо обоза, стоящего на улице, шел с палочкой, седой, с обмерзшими усами и бородой. Какой-то бабе его стало жалко, и она подала ему горбушку хлеба со словами: «На, божий старичок, кушай». Он взял, а потом смеялся. И никогда не брал от папы денег, да папа даже и не предлагал их ему. Это было просто невозможно, так как кровно обидело бы Сергея Дмитриевича.

Не брал никогда денег и доктор Маршлакович, военный врач — маленький, быстрый еврейчик в длинной красноармейской шинели и красноармейской форме. Он не обращал на нас внимания, быстро проходил к маме, слушал её, что-то быстро говорил и исчезал,

взмахнув полами своей шинели. Иногда оставлял какие-то порошки, чтобы мама не так кашляла. Мама любила его и всегда ласково с ним разговаривала. А папа... папа потом всегда говорил, что Маршлакович был удивительно добрым человеком и что его никак нельзя забывать. Гораздо позднее, наверное, весной или летом 1919 года, когда мама уже умерла, а папа был директором педтехникума, его призвали в Красную армию как бывшего военного командира. В составе медицинской комиссии, которую проходили мобилизованные, был доктор Маршлакович. Он узнал, конечно, папу, знал уже, что мама умерла, что остались после нее две маленькие девочки... И он сделал всё от него зависящее, чтобы папу не взяли в армию. На комиссии он, по рассказам папы, говорил другим врачам:

— Посмотрите на него, он вернулся с германского фронта совсем больным, у него туберкулез легких, левого легкого почти нет. Он кашляет и заразил туберкулезом жену, страшно заразил, и она умерла всего два месяца тому назад. Посмотрите на него, видите, я вам говорю, у него нет легкого. Брать его в армию с таким процессом нельзя. А здесь он все-таки директор педтехникума. Он педагог — пусть лучше он больной здесь в тылу служит Советской власти. Я вам это говорю, я — врач*.

После таких слов медицинская комиссия нашла, что папа непригоден по состоянию здоровья (активный туберкулез) для службы в рядах Красной армии... Сам же Маршлакович ушел на фронт и очень скоро был где-то на Волге убит.

Тетя Маруся, приходившая к нам, не могла понять, почему врачи не берут денег, и говорила папе, что он просто не умеет их давать, и учила их давать, как это делать. Она показывала, как надо брать в руку деньги и, прощаясь с доктором, держа их в руке, передать их ему. Так, по-видимому, брал деньги доктор Звездкин. Я не помню, чтобы все тети часто приходили к нам. Все они были заняты своими заботами, и жизнь у всех была тоже очень трудная. У тети Джесси и тети Дези на руках были грудные дети: Таня Петрашень родилась в мае 1918 года, а Дезинька Благовещенская — в феврале того же года.

К Петрашням на Большую улицу окончательно переехала из Петрограда бабушка Анна Осиповна с Оттилией Губертовной и поселилась в комнате рядом со столовой. Всю осень у них болел Андрию-

* Дядя Миша рассказывал, что на медкомиссии доктор Маршлакович сказал про него: «Он одной ногой в гробу стоит!» — редкий случай, когда такой диагноз мог обрадовать. (*Примечание В. И. Петрашень*)

ша; он лежал в большой комнате, где была столовая, на диване, — грустный, бледный. Когда я бывала у них, мы с Асей садились около него и играли в лото или в «Тихе едешь — дальше будешь». Но Андрюше всё было трудно делать. . . Но хотя я очень любила его и Асю, мы виделись редко. Дома мы с Верочкой мало гуляли в эту осень. По вечерам папа читал нам вслух свою повесть «Детство Шурочки», которую очень любила мама, и моего любимого «Царя Салтана». Не помню, кто и когда мне подарил его — большую, в темно-синем переплете книжку с картинками. Картинки я безжалостно раскрашивала и карандашами, и красками (их привез из Петрограда папа). Читали, конечно, и «Маленьких голландцев» и «Маленьких эскимосов».

Однажды вечером, когда за окном было уже темно, и папа читал нам, и мы скоро должны были укладываться спать, раздался стук в дверь. Няня была на кухне и боялась открывать, и папа сам пошел узнать, кто стучится. Мы с Верочкой побежали за ним. Когда папа открыл дверь — там стоял Вася Петрашень, весь мокрый от дождя.

— Дядя Миша, — тихо сказал он, — у нас Андрюша умер. . .

Папа сразу оделся и ушел с ним. . . Андрюша умер от менингита, так по существу и не оправившись после испанки. . . И это была первая настоящая смерть, которую я узнала. Похоронили его на кладбище за Базарной площадью (рядом с могилой его брата Алеши, который был старше Аси на год и умер от заражения крови, не прожив и двух месяцев).

А потом у мамы был консилиум, когда пришли сразу все три доктора: Сергей Дмитриевич, Маршлакович, Звездкин и еще какой-то врач в военной форме (я забыла его фамилию) — друг Сергея Дмитриевича, приехавший из Вологды. Они все смотрели и слушали маму, говорили с папой и решили, что её надо везти в Петроград и поместить в клинику Густава Цейдлера, где работал он сам — товарищ дяди Ози и дяди Вани и свояченица Сергея Дмитриевича — Елена Ивановна Спасокукоцкая. . .

Папе дали отпуск, каким-то образом выхлопотали возможность поместить маму в санитарном вагоне. И очень скоро после смерти Андрюши её увезли, и мы остались одни с няней.

В последний вечер мама всё просила, чтобы мы подольше были бы у неё и чтобы пришли еще раз проститься перед самым сном уже в ночных рубашках. Нам это очень понравилось, и мы обе несколько раз прибежали к ней и смеялись. Нам было очень весело перебежать из комнаты в комнату босиком. Мама тихо лежала, и наконец папа

строго сказал нам, что «хватит», мы должны лечь и спать...

Я слышала, как подъехала к дому лошадь (наверное, это всё же была дяди Ванина казенная лошадь и кучер Петр) и остановилась у ворот. Маму выносили на стуле, одетую в пальто и закутанную в платок. Ходить она уже не могла. Когда её пронесли мимо дверей бывшей спальни, где мы жили, она тихо сказала: «Прощайте, детки»... Верочка крепко спала, за окном шел дождь, слышно было, как захлопнулась дверь, тронулся экипаж... И тихо заплакала няня.

Мама умерла 2 января 1919 года, примерно через полтора месяца после того, как её увезли из Череповца. Её почти сразу поместили в клинику Цейдлера*. Но там было очень холодно и голодно, и её взяли домой, то есть в квартиру дяди Ози на Большом проспекте между 9-й и 10-й линиями, второй дом от 10-й линии. Там, на четвертом этаже, в комнате с последним к 10-й линии окном — она умерла. Ухаживали за ней папа, дядя Ози и тетя Аля, переехавшая вскоре с дядей Херри к Ози после окончательной ликвидации нашей квартиры на 14-й линии. Бабушка находилась в это время уже на Удельной в доме умалишенных и не знала и потом так и не узнала о смерти мамы. Кажется, что ухаживать за мамой помогала еще какая-то наемная медсестра. Тетя Аля потом рассказывала, что во время болезни мамы очень помогали ей её бывшие ученики из Выборгского училища и школы при Фарфоровом заводе — еврейки. Она говорила, что до этого никогда не знала, какой это дружный и хороший народ, и что она никогда не забудет помощи, которую оказали ей девочки и мальчики — её ученики — в это тяжелое время.

Уход за мамой, по словам тети Али, был трудный: задеты процессом были не только легкие, но и кишечник, желудок. Она всё время кашляла, было много мокроты, а потом начался понос. Но сама смерть была легкая — мама тихо заснула, а братья, папа и тетя Аля сидели рядом. Одну руку она положила под голову... Так мне рассказывал папа. Он снял с её руки обручальное кольцо и надел себе на палец сверх своего кольца. Так полагалось делать вдовцам и вдовам. В гроб к маме он положил маленькое золотое яичко. У них было два таких яичка: у папы и у мамы. Он положил маме в гроб свое, а себе взял её яичко и носил его всегда на цепочке с часами в виде брелочка.

Когда выносили гроб, то дядя Ози сел за рояль и заиграл траурный марш Шопена... Похоронили маму на Смоленском лютеранском кладбище на острове Голодае, на огороженном месте Парлан-

*В современном 1-м Медицинском институте — в больнице Эрисмана.

дов, рядом с могилой дяди Жоржика — немного впереди её. Место рядом с могилой дедушки Андрея Александровича берегли для бабушки. Все мамины вещи — одеяло, подушки, белье — сожгли, а серый оренбургский платок, который я очень любила, пропал в клинике. Папа один или два раза за эти месяцы приезжал к нам в Череповец. Мама очень беспокоилась за нас. Он приезжал на один-два дня и каждый раз фотографировал нас, проявлял, быстро печатал фотографии и вез их маме. Они стояли около неё, и она на них смотрела. Видимо, в один из приездов он починил мне Ирину, потому что на одной фотографии я снята с ней, а Верочка с медведем. Сразу после похорон он уехал в Череповец — наступило Рождество, а может быть, уже и прошли его первые дни (я не знаю). Но ему хотелось скорее приехать к детям.

Как мы жили без папы и мамы сразу после их отъезда, я помню плохо. Только помню, как папа сказал мне, когда приехал без мамы: «Ну вот, теперь ты должна беречь и смотреть за Верочкой — вместо мамы». . . И эти его слова я запомнила на всю жизнь. Вероятно, предполагалось на семейном совете тетюшек, что пока нет папы, с нами будет жить Хильда Ивановна, бывшая бонна Петрашеней. Но я не помню, чтобы она постоянно жила у нас. По-моему, только приходила. Я просила её вынимать из верхнего ящика комода голову куклы Ирины, целовала её, и мне казалось, что я целую маму.

Приходили тети — но тоже не часто. Зато к няне, еще при маме, приехал из деревни её сын Ванька — мальчик лет 14-ти, и жил у нас. Он спал на кухне на печке, носил няне воду, дрова, помогал топить печки. Мы снова переехали в большую южную теплую комнату, где последний месяц лежала мама. Там стояла буржуйка — няня по утрам варила на ней затируху, и от печурки шло тепло. Мы ходили дома в валенках, рейтузах и в бесконечном количестве кофточек. У Верочки стали болеть и пухнуть на руках пальчики, а у меня на шее началась экзема. Она, как ошейник из коросты, гноилась, сочилась и чесалась. Мне завязывали шею и мазали цинковой мазью. Гуляли мы мало. Ванька иногда катал нас на санках-салазках по двору. Он играл с нами и даже читал нам. Но иногда он дразнил меня и подговаривал дразнить и Верочку. Они вместе черными карандашами чиркали лицо куклы Ирины. Я плакала и жаловалась няне. Няня сердилась и обещалась высечь Ваньку ремнем. А я со слезами отмывала Ирину. Трудно это было — горячей воды не было и мыло няня берегла. Но все-таки с Ванькой было веселее и нам, и легче няне. Правда, к ней еще то приезжал, то уезжал брат Арсений. Он

тоже спал на печке с Ваней, но вообще «скрывался». Одет он был в солдатскую гимнастерку, но настоящим солдатом не был; был он ни белым, ни красным, а — зеленым. А зеленые жили в лесах. Арсений жил у нас без папы. А когда приехал папа, он ушел к своим зеленым. А Ваня остался до весны. Папа не отпустил его обратно в деревню.

Без папы и мамы мы, конечно, в холодной квартире простужались. И у Верочки заболели уши. Ей еще не было трех лет, и она не могла толком объяснить, где и что у неё болит. Особенной ушной боли не было, но из ушка что-то текло. Тетя Джесси решила показать её и меня заодно ушному доктору. В Череповце в то время отоларингологом и окулистом был врач Александр Георгиевич Стрелков. Два его младших брата — Павел Георгиевич и Петр Георгиевич — преподавали в педтехникуме. Жили Стрелковы на Большой улице недалеко от собора, значит, в нашем конце и не очень далеко от нас, в первом этаже двухэтажного дома.

Доктор Стрелков принимал дома по вечерам, и тетя Джесси повезла к нему на санках Верочку, а я шла рядом. Петрашени, конечно, были знакомы со Стрелковыми, как почти со всеми в городе. Нас приветливо встретила его жена, маленькая, кругленькая, и провела не в ту комнату, где обычно ждали приема пациенты, а в маленькую комнатку дочки Маруси. Там на полу, на ковре было невероятно большое количество кукол. Самых разнообразных. Особенно много было маленьких фарфоровых, целлулоидных, тряпичных. Маруся позволила мне немного поиграть с ними. Сама она была рябая — всё лицо у неё было испорчено черной оспой. Наверное, она была ровесницей Муси, а может быть, немного младше её. Кроме неё, у Стрелковых еще был сын — Санька*. Он вместе с Васей Петрашень и Мусей учился у папы в педтехникуме.

Сам доктор Стрелков был большой, рыжий, с длинной рыжей бородой и абсолютно плешивой гладкой головой. Он был совсем не страшный и ничего не нашел у меня в ушах. А Верочку начал лечить и сказал, что у неё был нарыв в ухе и воспаление среднего и внутреннего ушка и что вряд ли удастся восстановить у неё слух, она оглохла, а обратились к нему слишком поздно. Её несколько раз после этого возили и водили к Стрелкову — но вернуть ей слух он так и не смог. И одно ухо у неё навсегда перестало слышать. . .

Папа после смерти мамы вернулся к нам не один, а привез с собой

* Александр Александрович Стрелков затем кончил Ленинградский университет, стал зоологом, доктором биологических наук, и работал в Зоологическом институте Академии Наук. Мы часто встречались с ним в 1970-е годы в издательстве «Наука» и на заседаниях в ЗИНе и даже вспоминали Череповец.

какую-то тетеньку — гувернантку или бонну. Кто она была и как её звали, я не помню и потом никогда не спрашивала о ней ни у папы, ни у тети Али. По моим понятиям, она была очень противная — её возненавидели няня и я. Мне кажется, что она ничего не делала, а только съела одна всё сливочное масло, которое один раз вдруг появилось у нас на столе. Я её абсолютно не слушалась, не хотела и не могла. После того, как я узнала, что мама умерла, я стала невероятно капризной и никого не слушалась, много плакала и ревела и плохо спала. Верочка, глядя на меня, тоже не шла к этой даме. Она пряталась от неё за Ваньку, цеплялась за нянину юбку и убегала за ней на кухню. Папе тоже, наверное, не нравилась эта неприятная чужая дама. Пробывла она у нас, судя по всему, недолго. И, слава Богу, скоро уехала — навсегда.

Была ли у нас елка в 1919 году — Рождество ведь еще справляли по старому стилю, 6–7 января, — не знаю. Но папа привез нам подарки: во-первых, деревянные бабы — одна в другой, то есть матрешки, но не такие, как сейчас, а настоящие игрушки, целиком раскрашенные и лакированные, и во-вторых, книжки. Верочке сказку про семейство дятлов с очень забавными картинками. Эта книжка сохранилась после блокады, и Миша и даже Кирилл её знают. А мне, мне — «Верочку и её друзей», о которой я даже и мечтать боялась. На обеих книжках папиной рукой было написано, что они от мамы. Папа говорил, что перед смертью мама просила его купить детям подарки; он купил бабы-матрешки. А она сказала:

— Зачем бабы — они уже большие, купи им книжки.

И он купил, и мы получили последний подарок от мамы уже после её смерти. Мы очень берегли обе эти книжки, но моя «Верочка» пропала вместе с «Кит и Кэт», «Мини и Мони» и многими другими, в основном, детскими книгами во время блокады в Ленинграде... А книжка про дятлов сохранилась.

Если нам было трудно без мамы, то еще труднее и тяжелее было папе. Он работал, много работал; старался, как мог, заниматься и возиться с нами. Укладывал по вечерам спать, мыл в ванне. Нас сажали на кухне в одну ванну, стоящую на табуретках, — валетом, — и папа мыл Верочку, а няня меня, и обе мы плакали, когда мыло попадало нам в глаза. Потом нам надевали рубашечки, завязывали головы полотенцами, «делали туреньку», как говорила Верочка, обвязывали платками и несли в постели. Носил по очереди папа. Платки — павловские, шерстяные, с розами — у нас были замечательные. Их привез папа еще с войны. Маме — большой белый с розами, мне красный, тоже с розами, а Верочке темно-оранжевый. Кроме того,

папа с нами, когда было не так холодно, гулял, а по вечерам перед тем, как укладываться спать, читал нам вслух свою замечательную повесть «Детство Шурочки».

Мы обе часто капризничали, меня ставили в угол, а Верочку один раз папа попробовал нашлепать. А потом рассказывал, что она обернулась к нему, не заплакала, но просто посмотрела на него и сказала: «Папа, как ты мог!»... Забыть этого папа, по его словам, никогда не мог и больше ни разу не шлепнул нас. А няня шлепала постоянно, но мы не обращали на это внимания и не обижались на неё.

Невероятно трудно было папе — по вечерам; и ночами у него в комнате горела лампа. Он писал стихи, наверное, именно тогда он начал цикл стихов, посвященных маме — «Венок любви»... Переводил Гёте и еще какого-то немецкого писателя. Пьесу о Наполеоне и его Ста днях. Мы уже знали наизусть «Воздушный корабль», и Наполеон входил в нашу жизнь как герой. Мне сейчас кажется, что папа даже пробовал читать нам вслух свои переводы. Иначе откуда же я знаю почти наизусть стихотворение Гёте «Свидание и разлука»?

Забилось сердце. На коня,
И мчатся вдаль, как в бой герои.
Уж вечер спорил с мощью дня,
В полях безмолвие ночное...

Двурогий месяц, серебрясь,
Дремал на облачном престоле,
И ветерок ночной, резвясь,
Перебирал колосья в поле...

Тут я видела поле ржи за Лентовским. А «облачный престол» представляла себе очень мягким и много раз спрашивала папу, что значит «двурогий».

... И вот настал тяжелый миг разлуки.
Твой поцелуй нежнее стал,
В твоём лице уж больше муки.

И ты ушла... (тут не помню!)
Стоял я долго недвижимым.
Какое счастье полюбить!
Но что за счастье быть любимым!

Папе надо было читать кому-нибудь то, что он написал. А няня — не могла же она понять, что папа пишет! Он еще рисовал. Дорисовывал картинки к сказке о Старой утке, которая «пошла по базару купить своим деткам товару». Рисовал еще какую-то большую картину или плакат, может быть. На высоком берегу реки стоят люди в длинных одеждах, как бы плащах; одна женщина стоит на коленях. Они стоят вполоборота к зрителю и смотрят вдаль, вглубь

картины, и протягивают руки туда, где на другом берегу, за рекой восходит большое солнце. Тут папе не то что помогала, а критиковала тетя Маруся. Она приходила и говорила ему, что у него неверно нарисована женщина, стоящая на коленях. И сама становилась на колени и говорила, чтобы он посмотрел внимательнее, как это выглядит на самом деле. Наверное, приходили и другие тети: Джесси и Дези. Но я не помню. . .

И еще я помню, что часто по вечерам, после того как мы уже легли и казалось, что уже заснули, папа уходил из дому играть в карты. . . К кому? Наверное, к Востросаблину, был такой человек, и жил сравнительно недалеко, кажется, на Покровской улице. Во что они играли, не знаю. . . Но иногда папа приходил очень поздно, почти на рассвете. И это очень расстраивало и беспокоило няню. Я помню это. Только теперь иногда думаю — а как же это происходило? Ведь в городе было осадное положение, то есть был комендантский час, после которого нельзя было выходить на улицу. Или это было позднее? И я забыла. . . Не знаю.

Знаю только, что всем нам и особенно папе очень было плохо и трудно жить без мамы. . . Его сломала смерть мамы, а перед тем страшно травмировала война. Ведь по существу он так и не оправился всю жизнь от контузии. Ему же говорили невропатологи — вот кончится война, и мы вас начнем по-настоящему лечить. Но это не вышло. Война прервала и оборвала и научную работу по статистике, которую он начал в Департаменте земледелия параллельно с преподаванием в гимназии. Но самое главное, что он мечтал о литературной деятельности и не успел и не смог твердо стать на этот путь ни до, ни после войны. В 1918 году после демобилизации, когда надо было решать вопрос о том, как быть дальше, папа пытался стать на литературный путь.

Будучи один в Петрограде, он написал «Детство Шурочки», вероятно, очень быстро, взахлеб^[33]. Потому что мама читала эту повесть — успела прочесть. Максим Горький и А. М. Ремизов очень её одобрили и писали папе об этом. Папа пытался в это время завести литературные связи. Он встречался с Зинаидой Гиппиус, с Анной Ахматовой и другими поэтами. Вероятно, в это время началось знакомство, а потом продолжалась переписка и дружба с Максимилианом Волошиным. Но отдаться литературе целиком он не мог, как все они. Нужно было думать о семье, о твердом устройстве в жизни. И единственным местом для этого в то время был Череповец и педагогическая работа, которую он очень любил, потому что очень любил

детей и молодежь. Но начать сразу активную деятельность он не смог из-за болезни и смерти мамы. А потом, папа всегда, всю жизнь раздваивался: с одной стороны, хорошо, с увлечением работал, сперва как педагог, потом как организатор статистического дела, и не просто как экономист, но и как ученый, и только с начала тридцатых годов уже целиком как научный работник, исследователь и ученый. А параллельно этой его деятельности — дома, по вечерам, он занимался литературой — писал стихи, поэмы, драмы и начал писать большой автобиографический роман. Внимательно изучал творчество А. С. Пушкина, которого очень любил. Написал даже статью «Духовный образ Пушкина». На всё это уходили силы. . .

Он всегда считал, что на творческом жизненном пути мужчины огромную или даже ведущую роль играет женщина. Мама дала ему молодое, радостно-земное счастье и детей. . . Тетя Аля помогла выбраться из страшного тупика и отчаяния после смерти мамы. Великим благом и тоже счастьем, но другим несколько, была для него встреча с ней. Она вдохновляла его творческие силы и вела их к поэзии, литературе, искусству в целом. . . А под конец жизни, когда она уже была больна, какую-то роль для его научной деятельности, как ни странно, играла и я, так как была первым слушателем и даже иногда критиком его научных идей. Ему надо было с кем-нибудь дома поделиться своими мыслями. . .

Он погиб во время блокады Ленинграда в расцвете своей научной деятельности, 59-ти лет. По теперешним меркам еще молодым. . . И сейчас, оглядываясь назад, видишь — какая трудная была у него жизнь и как высоко, с каким достоинством он прошел ее путь.

ПРИЕЗД ТЕТИ АЛИ

Если бы весной 1919 года к нам не приехала насовсем тетя Аля, я не представляю себе, как бы сложилась наша жизнь, сохранилась бы у нас семья, что бы стало с папой и с нами. С её приездом ожил дом, в нем стало тепло и уютно, папа перестал уходить играть в карты, мы с Верочкой были не только ухожены, но и согреты её теплой душой, которую она целиком отдала нам, заменив маму — Верочке совершенно, так как она маму не помнила. И мне тоже. Хотя я не переставала тосковать и часто плакала от того, что у всех детей есть мамы, а у меня её нет. И эта тоска по маме осталась на всю жизнь, несмотря на то, что тетя Аля не только для Верочки, но и для меня была — всё. Только с годами боль первой утраты притушилась.

Тетя Аля приехала к нам весной, довольно поздней, наверное, в

мае, очень холодном в 1919 году. Мы обе с Верочкой помним, как до 1-го мая — в апреле — мы ходили без пальто, в одних платьях, а когда приехала тетья Аля, то нам снова надели теплые пальто. И мы долго приписывали это не изменению погоды, а самой тете Але.

Она так долго задержалась в Петрограде из-за болезни бабушки Марии Николаевны, которая умерла 19 марта (по новому стилю) 1919 года. Кроме того, сама тетья Аля после смерти мамы была больна и лежала в больнице, в английском госпитале в здании бывшего Английского посольства. Там работала сестрой милосердия с самого начала войны Ниночка Рюккер*. У тети Али, насколько я понимаю, начался фурункулёз. Ведь в Петрограде был настоящий голод, и как и чем она там питалась, не знаю. У неё на спине был огромный фурункул, который пришлось резать, и когда она приехала к нам, на правой лопатке у неё был огромный страшный шрам. Мы обе им очень интересовались, спрашивали, что это и почему. Тетья Аля объясняла, что был большой нарыв, что его разрезали.

— А как? — спрашивала Верочка, а я думала про себя, каким ножом режут такие штуки?

Пока тетья Аля лежала в госпитале, умер от сыпного тифа брат Ниночки — Рудольф Рюккер, любимый мамин двоюродный брат, военный врач. Тетья Аля писала папе об этом, он, наверное, читал вслух её письмо при мне кому-нибудь из тетей, и я запомнила фразу о том, что когда тетья Аля в палате об этом узнала, «в соседней комнате раздавался не то смех, не то рыдания Ниночки». Я запомнила эту фразу и, когда уже после войны разбирала письма, увидела её в письме к папе точь-в-точь и подивилась памяти ребенка. . .

Кроме того, тете Але надо было ликвидировать в Петрограде еще и остатки квартиры. Наши вещи уехали в Череповец, а свою и бабушкину мебель она рассовала по друзьям и знакомым. Большую часть: бабушкин туалет, треугольный красный шкаф, бабушкин рояль**, ноты, какие-то кресла и т. д. тетья Аля отдала на хранение своей гимназической подруге — Зинаиде Дмитриевне Масловской. Она еще до революции организовала, как я понимаю, на свои средства, приют для осиротевших детей. Она была дочь генерала и, видимо, очень обеспечена; своей семьи у неё никогда не было. После революции этот приют был превращен в детский дом и Зинаида Дмитриевна

*Мать Эдит Оскаровна Яковкиной — Нина Эрнестовна; в 1922 г. она вышла замуж за профессора Оскара Фердинандовича Вальдгауэра, искусствоведа в Эрмитаже.

**Считалось, что этот рояль должен перейти во владение тети Дези Благовещенской, так как она, выходя замуж, не получила никакого приданого.

стала его директором. Где он помещался, я точно не знаю, где-то на Васильевском острове. А сама Зинаида Дмитриевна жила на углу 11-й линии и Большого проспекта. Часть альбомов тетя Аля снесла к своей тетке Прасковье Михайловне Парланд — вдове дедушкиного брата Федора Александровича, жившей на углу Среднего проспекта и Тучковой набережной. С Прасковьей Михайловной жила тогда её дочь Ниночка с мужем Н. Н. Пехтеревым, молодым железнодорожным инженером, и сын Федор Федорович.

В Петрограде от голода многие родные и знакомые постепенно умирали. Не знаю точно, когда умерла сестра дедушки Андрея Александровича — «тетя Оля старшая» — Ольга Александровна фон Моль. Она жила вместе со своим братом Альфредом Александровичем Парландом (дядей Атей) — архитектором, академиком Академии Художеств, на пятом этаже дома на углу Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. В разных справочниках по истории архитектуры Ленинграда написано, что архитектор А. А. Парланд умер в 1920 году. Я не совсем уверена в этом. Мне кажется, что оба они, и тетя Оля и дядя Атя — умерли раньше, очень скоро друг за другом в 1919 году. ...^[34] Тетя Аля очень любила их обоих, и их кончина вслед за смертью мамы и бабушки была для неё тяжелой утратой. Примерно в это же время скончался и другой дядя мамы и тети Али — брат бабушки Марии Николаевны дядя Вилли — Вильгельм (или Василий) Николаевич Кюстер*, живший в доме своей сестры Шарлотты Николаевны Рюккер (тети Нины старшей) на 7-й линии Васильевского Острова в доме 6. На верхней площадке лестницы была с одной стороны квартира Рюккеров, с другой Кюстеров.

Сыновья дяди Вилли каким-то образом очутились в Германии. Не знаю, как. Во всяком случае, они, видимо, не были на фронте и не служили потом в Красной Армии — как доктор Рудольф Эрнстович Рюккер (Руди). Старшая дочь дяди Вилли — Вера — жила в Японии. Она еще до войны совсем молоденькой вышла замуж за советника Японского посольства и уехала с ним к его родным в Июогаму, а вторая дочь — Тамара — была замужем с начала 1920-х годов за моряком — командиром Красного флота Борисом Петровым и стала Тамарой Васильевной Петровой. Из двоюродных сестер Парландов пока что были живы дочери Ольги Александровны Моль: Мари — «не совсем умная», как тогда говорили, тихая, скромная дама со своей приемной дочкой Лизой и Ольга Львовна (наша любимая потом тетя Оля) — певица, преподаватель консерватории*.

*По словам моей сестры Веры, тетя Аля говорила, что он умер позднее, в 1920 г.

*По воспоминаниям Васи Петрашень, Ольга Львовна училась петь у фран-

Очень энергичная и волевая. Она была старше тети Али на 14 лет. И две младшие сестры — Элен и Беби-Эми (не знаю, как их звали на самом деле), тоже преподаватели пения и рояля в консерватории. Но особенно близка тетя Аля была с Ольгой Львовной, любимой племянницей Альфреда Александровича. По существу он воспитывал их всех — дочерей своей сестры, после того как муж Ольги Александровны — Лео фон Моль, родом из Штутгарта, застрелился в Неаполе в конце 60-х годов того века.

Редел также вокруг тети Али в 1918–1919 годах и круг её друзей. Сразу почти после Великой Октябрьской революции уехали за границу Цейдлеры: Клара Федоровна, Густав Федорович и их брат Герман — знаменитый хирург, которого Юденич прочил главным хирургом своей армии ^[35].

Уехала на юг, а потом за границу, тетина Алина гимназическая подруга Шура Верховская (не помню её отчества) со своим мужем, бывшим адмиралом. Другая их подруга Вера Михайловна Ельчанинова сразу после 25 октября выбросилась в ужасе из окна 3-го этажа и, хотя осталась жива, но сломала обе ноги и осталась на всю жизнь калекой.

Сразу же после революции официально уехали как английские подданные близкие друзья Парландов — Макферсоны: два брата — крупные коммерсанты и их сестра Нора Давыдовна. С семьей Макферсонов были дружны еще родители — Андрей Александрович Парланд с бабушкой и родители Норы и её братьев. Тетя Аля рассказывала, что старшая мадам Макферсон, прожив всю жизнь в России, так и не смогла научиться говорить по-русски. Братья Норы учились, конечно, в гимназии К. И. Мая, в одном классе с Ози Парландом и Ваней Петрашень, а их младшая сестра Эмми вышла замуж еще за одного их майского товарища — Николая Ивановича Умнова (о семье которого я расскажу потом). Всё это были очень близкие друзья Парландов. А сейчас, после революции их круг распался и редел.

В свое время дедушка Андрей Александрович перешел из английского подданства не в русское, а в финское. Из расчета, что граждане Великого Княжества Финляндского, входящего в состав Российской империи, не подлежали мобилизации в русскую армию. Все дочери Андрея Александровича, то есть тети, выходя замуж за русских, механически переходили в русское подданство. А братья — Освальд Андреевич и Андрей Андреевич (дяди Ози и Херри) — и тетя Аля

цузской певицы Маркези и много рассказывала о ней. А насчет консерватории — Вася не знает.

остались финскими подданными. Причем у тети Али в паспорте стояло её первое имя Шарлотта (её звали Шарлотта Эмили Алиса), но все её называли Алиса Андреевна.

И вот, когда в 1919 году, она решила окончательно ехать к нам в Череповец, она в Петрограде переменяла подданство и приехала к нам уже русской Алисой Андреевной. Она говорила, что не могла себе представить, что вдруг ей как иностранке (после отделения Финляндии) будут какие-нибудь неприятности. . .

Таким образом у неё в 45 лет (она родилась в 1874 году) началась совершенно новая во всех отношениях жизнь, и при этом не легкая — ведь она до этого никогда не была хозяйкой дома. А была барышней в семье родителей — а потом на 14-й линии хозяйкой, «барыней» была мама. И эту градацию не забыла няня. . . А тете Але надо было приспособиться не только к папе и к нам, но и к няне. Кроме того, ей пришлось забыть, по её словам, что она Алиса Андреевна, и стать для всех «тетей Алей».

Она приехала в яркий солнечный день, утром или днем, — веселая, красивая, как нам показалось с Верочкой, а главное, своя. На ней было шерстяное полосатое (черное с зеленым), нарядное платье с белой кружевной грудкой и тоненькая серебряная цепочка с хрустальными камушками. Помню, что я сама звонила по телефону Петрашням, что приехала тетя Аля.

Телефон, видимо, появился у нас недавно, большой, деревянный. Надо было снять трубку, вертеть ручку и когда ответит голос «телефонной барышни», сказать: «Дайте, пожалуйста, квартиру Петрашень», а иногда и просто «квартиру Ивана Васильевича».

Я плохо помню, как поначалу стала складываться наша жизнь с приездом тети Али. Но мы начали больше гулять. Она всюду брала нас с собой, и мы ходили втроем: впереди тетя Аля ведет за ручку Верочку, а за её другую ручку держусь я. Для того, чтобы «помочь Верочке», а на самом деле тетя Аля ведет нас обеих — мы отстаем и получается вроде паровоза. С появлением солнца мы чаще стали выходить на двор, где уже начинала зеленеть травка, и в огород — пока ничейный. Бывшие хозяева дома куда-то смотались, и никто не занимался огородом. В другой половине дома было много жильцов, и жила девочка Женя Рекис — старше меня, — она стала возиться с Верочкой, и теперь нас отпускали в огород играть с Женей.

Когда было очень тепло, тетя Аля развязывала мою шею, чтобы солнечные лучи лечили мою экзему. А по вечерам она ставила на Верочкины отмороженные пальчики на ручках компрессы и мазала

их какой-то мазью. Мы обе с Верочкой любили эти процедуры и, вообще, любили лечиться. . . Верочка гораздо быстрее меня привыкла к тете Але и всюду бегала за ней. А я очень много капризничала, плакала, садилась на пол, редела и никого не слушалась. Со мной было, я думаю, очень трудно. Обидевшись на что-то, я бежала к няне. А няня, конечно, очень ревновала нас к «барышне Алисе Андреевне». Папу няня по-прежнему называла «барин», говорить тете Але «барышня» было как-то не так, называть её «барыня» нельзя, а называть Алисой Андреевной няня поначалу еще не привыкла. Но потом она стала всех тетей называть по имени и отчеству: Жисси Андреевна (тетя Джесси), Зизи Андреевна и Зизинька (тетя Дези и Дезинька). Алиса и Марья Андреевны — это было проще. Но папу она всегда называла по-прежнему «баринном» . . .

Очень трудный и голодный был этот год. Хлеб выдавали по карточкам 1/4 фунта на взрослого человека в день — это значит по 100 грамм. А сколько получали дети, не знаю. Летом стали выдавать на маленьких детей молоко. Его получала Верочка, а я уже считалась большой — мне было шесть лет, а ей три года. За этим молоком, почти всегда кислым, иногда посылали меня. Я ходила за ним очень гордая с эмалированным кувшином, который мы называли «кусачкой», на Большую улицу. Один квартал от нас.

В огороде няня научила нас собирать для зеленых щей не только крапиву (о ней давно знали Парланды), но еще и сныть, и лебеду. Огородов казенных в это лето 1919 года у нас не было еще. Но всё-таки что-то няня и тетя Аля пытались сажать в огороде при доме. Но что, я не помню.

С приходом тети Али мы стали больше видеться с родственниками. Ходили на Дворянскую улицу к Благовещенским и Фидровским. Они жили в белом каменном доме с большим двором, мощеным булыжниками, между которыми пробивалась трава. Двор был большой, солнечный, и мы выносили туда все игрушки — плюшевых зверей и кубики. Игрушек у Благовещенских было очень много. Видимо, как-то у них, то ли, я потеряла Кита или подарила его им, и они его потеряли. Одним словом, он пропал. Почему-то я лучше помню детей Благовещенских и совсем не помню Фидровских.

Элка Благовещенский уже умел читать и хорошо рисовал. Он очень любил читать про рыцарей и рисовал только замки, на которые нападали рыцари с копьями. У него не было цветных карандашей, и он всё рисовал черными карандашами. Масса стрел летела от строя рыцарей в башни замка, наверху которых стояли часовые.

Элка очень интересно рассказывал, что происходит на его картинах.

Мы с Верочкой тоже начали рисовать с приездом тети Али. Она привезла очень много красок, бумагу и роскошные (по-настоящему) кисти. Нам она дала каждой по кисточке и палитру с красками. Таких кистей и таких красок у нас никогда в жизни больше не было. Таких прекрасных! Тетя Аля учила, как надо красить — осторожно сверху вниз, как надо смешивать краски: синюю с желтой — чтобы получить зеленую, красную с синей для лиловой. Говорила названия красок — синих, например, было несколько: ультрамарин, кобальт, берлинская лазурь (самая ядовитая, по мнению тети Али), желтых тоже было много: охра (ею в Череповце были выкрашены заборы), цинковая, а самая лучшая — индийская желтая — удивительно прозрачная и легкая. Примесь её к зелени давала впечатление света, и тетя Аля очень любила её. Несмотря на все трудности, она всё-таки пыталась рисовать, надевала передник, брала краски и ставила какой-нибудь натюрморт — горшочек с одуванчиками, а сзади красивая яркая тряпочка. Наливала воду в медный котелок, брала бумагу, прицепляла её кнопками на специальную доску и сперва рисовала карандашом, а потом красками. Мы стояли и замороженные смотрели. . . Иногда тетя Аля брала альбом и рисовала в нем карандашом, черным, иногда угольным, как мы играем в огороде, сарай, через который надо было проходить в огород, яблоки. . . Папа тоже рисовал, раскрашивал картинки в английской азбуке, которую привезла тетя Аля. Он очень хорошо и аккуратно раскрашивал детей, собак и показывал нам, как это делать: не мазать, а стараться сделать всё аккуратно, чтобы не залезла краска за линию.

Папа по вечерам читал нам вслух — моего любимого «Царя Салтана», другие сказки Пушкина и, конечно своего «Шурочку». Тетя Аля в это время штопала наши чулки и белье. Даже из кухни няня приходила послушать.

По субботам на кухне нас с Верочкой мыли: сажали влетом в ванну, папа попрежнему мыл меня, а Верочку няня. Тетя Аля делала воду для окачивания. А потом папа нес нас на руках в детскую, и вечерний чай мы пили в постелях.

Еще зимой, при маме, я начала учиться писать и читать. Писала палочки, потом прописи с буквой ять, потом просто списывала. Читать училась по букварю, а потом по «Царю Салтану», которого знала наизусть. Но всё-таки как-то одолела процесс чтения и начала читать «Верочку и её друзей».

Из событий жизни на Крестовке летом 1919 года запомнились два события: 1) обыск и 2) как Верочка камень в нос зажала.

Обыск был днем. Папа был дома, пришел из своего реального училища, то есть педтехникума, обедать. Было жарко. На папе был белый военный френч, без погон, конечно. Мы кончили обедать, когда няня пришла из кухни со словами:

— Пришли. . .

За её спиной стоял солдат с винтовкой и какие-то два мужчины, один в штатском — низенький, серый, другой — военный. . . Папа встал и пошел к ним навстречу.

— Подождите, подождите, — закричала тетя Аля и бросилась к своему комоду. . . Они все прошли по коридору в большую комнату, где стоял папин письменный стол и спал папа (тетя Аля спала в столовой, бывшей маминой спальне).

— С чего начнем? — спросил папа, — там детская, в маленькой комнате живет моя свояченица, а я тут.

Маленький серый велел всем войти в папину комнату, сесть и никуда не уходить. Пришли тетя Аля, няня, мы двое. Солдат пошел в сени и запер входную дверь, а сам стал с винтовкой около дверей большой комнаты, где были мы все. Мне было очень страшно, а Верочка залезла к няне на колени и прижалась к ней. Серый и военный стали смотреть папин книжный шкаф, потом начали выдвигать ящики стола. Папа сидел на своем стуле и смотрел. Выдвигали ящики по очереди, вынимали из них бумаги, письма. Молчали все. . . Вдруг из верхнего ящика из маленькая коробочки они вынули патрон. . .

— А где оружие, где револьвер? — закричал маленький. — Почему у вас патрон?

— Я бывший военный, наверное, так же как и вы, — сказал папа, — был на фронте. . . Револьвер сдал при демобилизации; вот документ!

Папа протянул какую-то бумажку.

— А патрон пустой — я оставил на память.

— Хороша память, — сказал военный.

— Да, — согласился папа, — мы все это хорошо знаем. . .

Больше к папе они не придирались. . . Мне как-то стало легче — я очень боялась. Мне кажется, что еще какой-то револьвер папа бросил завернутый в тряпку в пруд, в Лентовском. Не знаю. . . Так мне казалось. . . Обыск кончился — оружия у папы не нашли. Но в последний момент маленький серый подошел к тете Але:

— А ну-ка, гражданка, проведите рукой по своей груди и покажите, что вы там спрятали? . .

Тетя Аля растерялась и вынула из разреза платья, из-под лифчика, небольшую коробку, в которой хранились её драгоценные вещи. Там оказались: мамины золотые часики, золотой тегин Алин крестик, бабушкино обручальное кольцо, две сережки и медальон в виде совы с маленькими жемчужинами, который бабушка Евгения Михайловна (папина мама) подарила маме. Серый всё это просмотрел, потрогал и вернул тете Але:

— В следующий раз прячьте получше, — сказал он. . .

Они ушли. Тогда няня из-под своего передника и из-под Верочки, сидящей у неё на коленях, вытащила свою заветную копилку «со Стаськиным приданым» . . .

— Слава Богу, что ушли, — сказали все ^[36].

ЧК помещалось напротив нашего дома — на другом углу Крестовской и Зиновьевской улиц. . . *

Второе событие этого лета — камень в Верочкином носу, который она себе зачихала, когда мы играли в огороде с Егорушкой. Он за-

*Интересно записать, как проходили в Череповце первые годы революции. Перестрелок на улице не было, но комиссар Башмаков, живший в первом этаже, кажется, на Дворянской улице, установил на своем столе у окна пулемет, и вероятно, он иногда строчил из пулемета. Обысков было много. После одного из них, на Большой улице около Благовещенья, папу сначала посадили на стул в передней, а потом увели, но очень скоро освободили. У меня тогда забрали висевшую на стене дяди Мишину походную фляжку. Обыск производил какой-то комиссар с рыжими усами, который на случайный вопрос, где он учился, отвечал, что нигде, что он просто «талантливый самородок». В тот день у нас оказался В. М. Козлянинов, страдавший тиком головы. Комиссар сказал другому: «Следи за ним, он какие-то знаки головой подает». Вообще, время было тревожное, в городе было объявлено «осадное положение», ходить по улицам чуть ли не с 7 часов вечера было нельзя. Все тогда занимались огородами, приходилось дежурить по очереди ночью. Для дежуривших были сделаны небольшие навески от дождя. Границы огородов разных организаций не были четко определены, и в связи с этим я как-то прогнал ночью с соседнего огорода двух дежуривших там парнишек. Как-то на огороде нас застала стрельба в городе, нужно было переждать, и В. М. Козлянинов говорил: «Положение для нас досадное, а позднее будет и осадное». Был в то время обыск у Валуевых. О чем-то спросили Зинаиду Антоновну, а она ответила: «Не знаю, надо спросить генерала». — «Ах, у вас генерал есть! Вон из квартиры в 24 часа!» В те годы я часто ходил босой по соседним садам с кузовом и косой косил траву для коровы. А вечером часто ходил её встечать с пастбища, к железнодорожному мосту через Ягорбу. Один раз ходил босой купаться на Шексну, на обратном пути меня арестовали, приняв за какого-то дезертира. Повели куда следует, и там был разговор: «Кажется, он!» — «Он, он!» Я объяснил, кто я, позвонили по телефону маме, спрашивали, есть ли у неё сын Вася и куда он пошел. Напугали маму, которая подумала, что со мной что-то случилось, но потом отпустили. (Примечание В. И. Петрашень.)

пихивал в нос красные ягоды смородины и потом давил их пальцем. Из носу тек сок смородины, и это было интересно. Верочка тоже запихивала ягоду, а потом запихала маленький камешек. Ягода раздавилась, а камешек застрял. Она заплакала, закричала, так как ей стало больно. Я побежала к дому звать на помощь няню и тетю Алю. С большим трудом тетя Аля как-то вытащила этот камушек, Верочка кричала, плакала, и из носа у неё полилась кровь. Нас с Егором няня выругала и как следует шлепнула. Оба мы запомнили этот случай на всю жизнь...

В конце лета нас стали выселять из квартиры. Дом весь потребовался ЧК. Сперва выселили жильцов из большей части дома, где жила Женя Рекис. Она со своими родителями уехали первыми. У нас была трехкомнатная отдельная квартира, и нам дали вместо неё три комнаты в коммунальной квартире — в доме 21 по улице Зиновьева, через два квартала от Крестовки, ближе к Соборной горке, то есть ближе к реке, почти на углу бывшей Сергиевской улицы.

Дом этот был двухэтажный и выделялся на всей улице как скворешник — так называла его тетя Аля. Наша квартира была на втором этаже. Мы переехали туда в конце лета. Как перевозили вещи, я не помню. А помню, как вечером нас с Верочкой вела туда тетя Джесси. Она вела за руку Верочку и несла куклу Ирину — самую большую. А я шла и несла Верочкину куклу Ниночку — маленькую, с закрывающимися глазами. Очень красивую. Вероятно, перед тем был дождь, мостки были мокрые и скользкие — я подскользнулась, упала и разбила головку куклы. Обе мы с Верочкой страшно заплакали... Купить новую куклу было невозможно, и потом мы какое-то время играли с Ниночкой без головы, только с осколком, пока тетя Аля не сделала Ниночке новую голову и личико из марли.

Когда мы пришли в новую квартиру, оттуда еще выезжали на вокзал предыдущие жильцы. В квартире было темно — горела в проходной комнате одна керосиновая лампа. Няня и тетя Аля в задней комнате почти в темноте стелили наши кровати...

Только утром мы рассмотрели новую квартиру, дом и двор, где прожили потом почти пять лет. Это была новая интересная жизнь, овеванная теплом тети Али. Помимо повседневной заботы о нас, о папе и о доме, она познакомила нас с жизнью своей и маминой семьи, семьи Парландов. И все мамыны и тети Алины сестры и братья — наши дяди и тети стали нам как-то ближе и понятнее.

НА НОВОЙ КВАРТИРЕ

Новая квартира была гораздо лучше старой, но она была коммунальная. Из пяти комнат нам дали три. Так с осени 1919 года на всю жизнь нам с Верочкой выпала судьба не иметь отдельной квартиры, а жить всегда с другими людьми, в «коммуналке», как стали говорить в 1980-е годы. . . Но несмотря на это, жили мы всегда хорошо. Дом, в который мы переехали, был, видимо, не совсем достроен до революции. Снаружи он был обшит вагонкой и выкрашен в желтый цвет, а внутри стены и потолки не были оштукатурены, потолки не были побелены, стены не оклеены обоями. А всё было бревенчатое, как в деревенских избах. Потолки обтесанные и выструганные, а стены бревенчатые и тоже обтесанные (бревна не были круглые), проконопаченные паклей или куделью. Может быть поэтому зимой дом очень выдувался и в комнатах было холодно. Но вместе с тем деревянные бревенчатые стены всем нравились. Особенно интересно было по утрам проснувшись лежа в кровати смотреть на потолок, где на разных досках на месте сучков были как бы узоры и можно было различать сказочные фигурки женщин в длинных платьях, бегущих ребятишек и разных животных. Я очень любила их всех рассматривать и рассказывала Верочке, что я там на потолке вижу. И паклю можно было иногда поковырять пальцем, так чтобы не видела няня. Это тоже было интересно. На улицу на восток выходили две большие комнаты — смежные. Одна поменьше в два окна, а другая побольше — в три, причем одно из них было боковое и выходило на южную сторону — во двор. Перед этим окном на дворе за колодцем росла береза, и её ветви достигали окна; это было очень красиво. Длина и ширина комнат определялась длиной бревен — больших, толстых. В углах бревна были немного закруглены, что придавало какой-то красивый вид комнатам. Печка — большая, побеленная — была одна на все три комнаты. Она топилась из первой комнаты, из которой вела дверь в большую комнату на фасад и в обеих этих комнатах была вровень со стеной, а в задней, самой маленькой комнате выступала углом. Первая проходная комната была самая холодная: она выходила окнами на север, во двор, задняя стена у неё тоже была холодная, так как граничила с лестничной площадкой и с коридором в переднюю и на кухню. А южная её стена граничила с маленькой боковой комнатой, выходившей на юг. Дверь из этой маленькой комнатки выходила в большую проходную. В маленькой комнате жила «жиличка» — девушка с длинной рыжей косой Аня, работавшая сторожихой в школе (бывшей женской гим-

нази). Её комната была очень теплая, так как в ней была большая печка, выходящая одной стороной в первую большую комнату, где у нас была столовая. Но так как её загородили буфетом и большим шкафом, чтобы сделать иллюзию непроходной комнаты, — тепло от Аниной печки мало грело нашу столовую. Но зато получился как бы коридор, соединявший наши комнаты с передней и с ходом из неё на кухню. Передняя была очень маленькая и узенькая. В ней напротив входной парадной двери была еще дверь из пятой маленькой комнаты, выходящей, как и комната Ани, на юг (во двор), а затем в коридор и на кухню. В этот коридор выходила еще дверь из теплой уборной. В кухне была огромная русская печь, рядом с ней плита; над плитой и углом перед коридором возвышались полати. Окна выходили на задний двор, на запад. Вдоль оконной стены через всю кухню углом к входной двери были вделаны широкие лавки и в их углу стоял большой стол со струганой доской. В красном углу над этим столом няня повесила икону и зажгла лампадку. Между плитой и стеной в коридор стояла большая широкая деревянная бадья на высоких ножках и над ней висел глиняный рукомойник, под которым утром умывались папа, няня и жильцы. (У нас же в комнате стоял небольшой столик с тазами, где мылись мы с Верочкой и тетя Аля.) Перед печкой, вернее, между топкой и окном помещались большой ушат с чистой водой и малосенький столик со шкафчиком. Быт был полудеревенский, полугородской. Огромным плюсом квартиры были теплая уборная и две кладовки, помещавшиеся на черной кухонной лестнице. Одна на площадке, сразу против кухонной двери (в ней хранились продукты и крынки с молоком), другая на пол-пролета лестницы ниже, на небольшой площадке. В ней стояли ненужные вещи, главным образом нераспакованные, даже посуда. А напротив неё была еще холодная уборная для «людей». Но так как «людей» у нас не было, то в этом помещении хранились дрова, ведра, грабли, лопаты, топоры и т. д. Но на все эти помещения необходимо было вешать замки, так как днем входная дверь кухонной лестницы не запиралась. Из передней дверь выходила на большую лестничную площадку, из которой вели две лестницы: на чердак и вниз, в нижнюю квартиру и к парадному выходу. Была еще дверь на балкон, расположенный на северной дворовой стороне дома рядом с нашей столовой. Эта площадка соединялась с кухонной площадкой, и из неё можно было пройти и на кухонную (черную) лестницу. Парадной лестницей мы никогда не пользовались. Она вела в нижнюю квартиру, где жила бывшая хозяйка дома Наталья Васильевна

Старко — женщина с твердым характером (кажется, учительница). Она категорически запретила нам пользоваться огородом, разрешила вскопать лишь небольшой кусочек земли во дворе, за колодцем. Запрещала топить и мыться в бане, стоящей в огороде. Но не знаю как, всё-таки стирать в бане 1–2 раза в месяц и топить её в этот день нам было позволено. Вероятно, запретить это она была бессильна. Поэтому в дни большой стирки к нам, как и на Крестовке, приходила из далекого Гридина кривая на один глаз Татьяна, которую мы с Верочкой очень любили. И они с няней топили баню, носили в неё воду и целый день стирали бельё. А тетя Аля готовила и старалась как можно лучше их накормить, говоря при этом, что это самое главное — хорошенько кормить, когда люди делают тяжелую работу. Выстиранное бельё в больших специальных корзинах из лучины несли на чердак. И мы дети бежали туда помогать вешать бельё и одновременно посмотреть на гнездо голубей около дымовой трубы. Вешки на чердаке, конечно, тоже были разные: наши, которые повесил папа, и хозяйкины. Вечером, когда было уже темно, и в баню за бельём, и на чердак надо было идти с маленькой керосиновой лампой. Электричества, когда мы переехали, в доме еще не было. Как не было его и по всей улице. Провели его при нас, не помню точно, в каком году. В каждой комнате появились висючие лампочки — угольные в коридоре и в кухне и более яркие в комнатах. У папы на столе была настольная лампа с зеленым абажуром, а ко всем другим лампам тетя Аля сделала бумажные абажуры из ватмана. Первое время в столовой спала тетя Аля, папа — в средней проходной комнате, а мы с Верой и с няней в самой дальней. Потом же несколько раз переезжали. Папа любил перетаскивать мебель из комнаты в комнату, перевешивать картины и переделывать обстановку в комнатах.

Я после смерти мамы очень плохо засыпала, плакала, звала няню, боялась темноты. Вообще, была нервная, капризная (наверное, очень избалованная). И тетя Аля, и няня, конечно, мучились со мной. Верочка была спокойнее, хорошо засыпала, крепко спала под мой плач и крик, хорошо с аппетитом всё кушала.

Однажды поздней осенью 1919 года папа и тетя Аля ушли к Петрашням. Они тоже переехали с Большой улицы в конце города ближе к реке и жили теперь в двух кварталах от нас в большом одноэтажном доме на углу площади около Соляного сада и улицы, где стоял дом Милотиных, названия которой сейчас ни я, ни Вася Петрашень вспомнить не можем.

В этот вечер няня, уложив нас, ушла на кухню. Я не спала, сначала просто лежала, потом начала плакать, звать няню, кричать.

Наконец она пришла, шлепнула меня и сказала: «Чего кричишь, я не могу сидеть с тобой. Там мальчонку привезли из Москвы всего вшивого. Я печку затопила в кухне, воду греть в корчагах поставила. Его вымыть надо, бельё прожарить. Он ест пока. Очень голодный. Ты молчи и спи». И ушла. . .

Так к нам привезли Кирилла. Сына умершего папиного брата дяди Рафы. Утром это оказался беленький худенький мальчик, наголо остриженный, молчаливый, испуганный, весь в нарывах. Он сидел на табуретке, и тетя Аля промывала ему гноящуюся коленку и бинтовала её. Привез его из Москвы папин сотрудник по Губстатбюро Ступишин Петр Петрович. Я забыла раньше сказать, что папу назначили заведующим Губернским статистическим бюро, так как он был статистик. Но он по совместительству остался преподавать географию в педтехникуме. А основная его работа была теперь в Бюро, которое помещалось недалеко от нас в бывшем доме Милютиных, напротив Петрашеней.

О том, что дядя Рафа умер в Москве, написал дядя Ози, который по каким-то делам был там и помог хоронить дядю Рафу^[37]. Он еще написал папе, что тетя Зина — жена дяди Рафы — очень бедствует, что младший их сын Вася тоже умер с голоду. А старший Кирилл почти стал беспризорником, так как Зинаида Васильевна не обращает на него внимания. Папа сразу же написал ей, чтобы она приезжала с Кириллом в Череповец, что он устроит её на работу и она будет жить или с нами, или где-нибудь рядом. Но Зинаида Васильевна отказалась от этого предложения. Тогда папа и тетя Аля решили взять в Череповец Кирилла — на воспитание. Вот его и привез к нам Ступишин. Я плохо помню первое время его пребывания у нас — была осень, темно, мокро, холодно и голодно. Мы еще не обжились на новой квартире. Но в конце декабря, в день тети Алиного рождения — 24 декабря — Кирилл заболел — через несколько дней после приезда. (А может быть, через неделю или две? Не помню.) У него оказался сыпной тиф. Его сразу же отвезли в заразные тифозные бараки, где-то за вокзалом, за Северным бульваром. У него была высокая очень температура, он бредил и был без памяти. Каждый день папа или тетя Аля ходили в ту больницу, чтобы принести Кириллу немного еды. А дома сразу же сделали дезинфекцию. Два дня жгли в двух комнатах в тазу, стоящем на полу, серу. Двери туда заклеили бумагой, а мы жили эти дни в столовой. Бельё, которое было на Кирилле, в котором он приехал и потом носил, всё прожарили в русской печке. Первую обработку всего произвела еще в тот вечер самостоятельно няня. И у нас в семье больше никто не заболел. Зато

у Ступишиных заболел очень тяжело сам Петр Петрович, а потом его жена. Он рассказывал папе, что когда они ехали с Кириллом в поезде, то на верхней полке лежали солдаты и с них сыпались на сидящих внизу вши.

Кирилл был очень тяжело болен, и его надо было усиленно кормить. А настоящей еды не было. Носили ему молоко или молочную затируху из ржаной муки, которую удавалось выменять на что-нибудь из носильных вещей. За салфетку давали бабы десяток яиц, и это было очень хорошо. Бабы, уже многие знакомые няни, через прачку Татьяну или через Петрашенскую Сашу, приезжали к нам. Входила закутанная платком, в тулупе и в валенках в кухню тетка. Когда открывалась наружная дверь, в кухню валил пар. Тетка входила, искала глазами икону, крестилась на неё и начинала развязывать свои платки и шали. Затем расстегивала и скидывала тулуп, садилась на скамью и из кармана вынимала белый платок или тряпочку, в которую был завернут овсяный блин. Мы с Верочкой с замиранием следили, когда он появится. Блин, тонкий, как бумага, был сложен, как носовой платок. Баба бережно развязывала тряпочку, вынимала сложенный блин и расстилала его на столе, как салфетку, приговаривая: «Это сироткам подарок». Няня бережно расправляла блин, резала его на кусочки, клала на каждый кусочек немного пареной брусники, свертывала в трубочку и давала нам... А иногда баба вынимала еще из кармана крутое яйцо, брала у няни ножик и крошила облупленное яйцо мелко-мелко тут же на столе, посыпала им блин и, свернув его, тоже давала нам. Как пекли эти блины, я не знаю. Даже у няни это не выходило. Зато она из овсяной муки варила кисель. В него клали листья черемухи, и тетя Аля говорила, что после этого кисель имеет вкус миндаля. Сахара не было. Но всё-таки этот кисель с молоком был как лакомство. И тетя Аля носила всё это понемногу в больницу Кириллу^[38].

Бабы сидели, разговаривали, пили чай, горячий из сухой морковки, которым угощала их няня, и рассматривали вещи, которые предлагала менять тетя Аля... Таким образом, кроме молока, приобреталась картошка, ржаная мука, овсяная или ячневая крупа (своего, домашнего помола). По карточкам в городе давали хлеб из суррогата, вяленую воблу или селедку и мороженую картошку. Её получали у папы в Губстатбюро. Из такой картошки делали в глиняных латках в печке запеканку. Или прибавляли немного муки и пекли лепешки. Они были сладковатые, и я долго считала, что это самое вкусное,

что есть на свете. Кроме воблы, конечно! Воблу сперва постукивали об стол, чтобы легче сдиралась кожа с чешуей, затем отламывали голову и ели к завтраку с хлебом или картошкой (если они были). А из голов и скелетов варили суп. Внутренности давали котенку. Тетя Аля всю жизнь потом мучилась от того, что у нас погиб первый маленький котенок, которого кормили остатками воблы и селедки, так как ничего другого не было. Спасала положение также и конина, если её удавалось достать. . .

Когда Кирилл худенький, бледненький, наголо обритый приехал домой из больницы, он как-то съезжившись, всего стеснялся. И мы стеснялись и присматривались к нему. Но папа сказал, что теперь это наш родной брат и что мы должны любить его и стараться, чтобы ему было у нас хорошо. И мы старались. . . Уже потом, когда мы были взрослыми, тетя Аля как-то сказала, что по существу надо радоваться, что у Кирилла был сыпной тиф, так как он забыл после него все ужасы, которые пришлось ему видеть и пережить во время революции в Гремячке. Когда там убили дядю Лёлю и ранили его отца — дядю Рафу. . . Она больше всех нас старалась приголубить Кирилла. Так же, как и нас, крестила и целовала его на ночь, бесконечно перевязывала все его нарывы. И сдержанный, на вид угрюмый Кирилл полюбил её всем сердцем на всю жизнь. Перед самой Отечественной войной, наверное, в 1939 году, после смерти тети Али он приехал домой из Череповца, где работал агрономом. Накануне его отъезда я сказала ему, что ему следует заехать на обратном пути в Москву, к своей матери — тете Зине. Он встал с дивана, где мы сидели, прошелся по комнате, остановился передо мной и сказал: «У меня только одна мать — и она умерла. . . Пойдем сейчас перед моим отъездом к ней на кладбище». И мы пошли пешком на о. Голодай на Смоленское лютеранское кладбище на могилу тети Али. Где она лежала рядом с мамой. Я запомнила это на всю жизнь; и во время войны, когда Кирилл уже был убит на фронте под Киришами, не могла, мне в Москве было очень тяжело идти к тете Зине. Казалось, что она очень равнодушно относилась к нему, к его памяти; и меня очень резнуло, когда она очень грубо сказала о молодой вдове Кирилла — «эта женщина».

За все годы — начиная с конца 1919 года, когда его привезли к нам, и до самой войны — тетя Зина один раз приезжала в Череповец и один или два раза к нам в Ленинград. Она была очень колочая, грубоватая, совершенно во всем неумелая и скрытная. С ней всем

было очень трудно. Когда Кирилл кончил сельскохозяйственный институт и уехал работать на периферию — в Киргизию, затем в Новгородскую область — домом его всегда был наш дом на 8-й линии.

Работалось ему везде тяжело; одно время он решил бросить агрономию и уволился, вернее, завербовался простым рабочим на московский метрострой. Работал там под землей и жил у тети Зины. Но не выдержал; думаю, не тяжелой работы, а совместного житья с ней. Тетя Аля уже лежала безнадежно больная. Он приезжал домой, к нам и всё время почти проводил у неё в комнате. Спрашивал, что ей нужно, и рассказывал ей о своей жизни. Хотя папе и нам, сестрам, почти ничего не говорил.

Он писал стихи и никому их не показывал. В этом плане он больше всего был близок к Асе Петрашень. Она тоже писала стихи. Она нравилась Кириллу, и он даже просил её быть его женой. Но она не мыслила себе жизни вне Ленинграда, а его работа в деревне и, вообще, жизнь за городом и природа её совершенно не интересовали. А он очень нравился Вареньке Вельцыной, родственнице Мясоедовых. Они с матерью жили в нашей квартире после уплотнения, а родом были из Луги. Кирилл одно время работал где-то под Лугой и бывал у них там. Он из-за своего упрямого и скрытного характера плохо сходился с людьми и не умел разговаривать с ними. Поэтому работа агронома в колхозе и в совхозе у него не ладилась.

Зато когда он попал заведующим на агрономический пункт под Череповцем и смог творчески работать сам, он ожил. Этому способствовала и обстановка вокруг: к нему приходили за советом, его уважали. . . И был в Череповце теплый радушный дом папиных друзей Чечулиных, на железнодорожной станции около вокзала. Марья Ивановна и Сергей Дмитриевич знали и любили его с детства и он отдыхал у них. А рядом работала у него лаборантом тоненькая, маленькая женщина, ставшая в 1940 году его женой. Он привел её к Чечулиным и весной 1941 года привез в Ленинград показать папе и нам, сестрам. . . Тогда впервые папа сказал, что теперь успокоился за Кирилла и надеется, что скоро появится у него внук. Но началась война. . . Кирилла мобилизовали, он попал сперва в Вологду, где формировалась его часть. Оттуда он каким-то образом прислал нам в декабре 1941 года в блокированный Ленинград вызов «для эвакуации в Вологду отца и сестер командира такой-то части Кирилла Михайловича Семенова-Тян-Шанского». Это было последнее, что мы получили от него. А когда 12 или 13 февраля 1942 г. во время эвакуации на вокзале в Череповце зашли к Марье Ивановне Чечу-

линой, узнали от неё, что утром к ней забежал Кирилл по дороге на фронт. Марья Ивановна успела ему показать полученную из Тихвина нашу с Верой телеграмму о том, что папа умер в Ленинграде, а мы эвакуируемся. Это известие о папиной смерти поразило его, по словам Марьи Ивановны. И с этой вестью он со своим эшеленом поехал на фронт к осажденному Ленинграду. 12 марта 1942 года он был убит где-то под Киришами, уничтожен со всей своей батареей (он был артиллерист)*. Об этом в конце 1942 года тоже, видимо, через М. И. Чечулину Вера в Казани узнала от вдовы Кирилла — тоже Веры (Веры Васильевны). А я была в Москве. . .

СЕМЬЯ ГАМАЛЕЙ

Инженер путей сообщения Владимир Алексеевич Гамалей и его жена Надежда Несторовна были близкие друзья Петрашени — моего дяди Вани (Ивана Васильевича) и тети Джесси (Джесси Андреевны), маминой сестры. Дядя Ваня тоже был инженер путей сообщения — строитель знаменитых деревянных шлюзов на Мариинской и Северо-Двинской водных системах и главный инженер (начальник) этих водных путей. Переделка и строительство новых деревянных шлюзов на Мариинской системе (теперешний Волго-Балт) были удостоены медали на парижской Всемирной выставке, а в городе Вытегре и сейчас сохранен — как образец деревянного шлюза — шлюз, построенный по проекту и под руководством инженера Петрашень. А на Северо-Двинской системе — на реке Тотьме — деревянные шлюзы действуют еще и сейчас. Монография Ивана Васильевича по деревянным гидротехническим сооружениям вышла из печати в конце 1920-х годов и уже до войны была библиографической редкостью.

Управление этими водными путями находилось в городе Череповце — перевалочном пункте для части грузов, шедших водным путем с Волги, на железную дорогу. Во главе Управления обеими водными системами стоял Иван Васильевич, а на отдельных участках начальниками были подчиненные ему инженеры. Инженер Гамалей в 1917 году жил в Судбицах, в верховьях реки Шексны, где был, видимо, первый и самый большой шлюз на этой реке.

А Петрашени жили не в самом Череповце, а в 2–3 км от него вниз по течению Шексны, в имении самого богатого гражданина Череповца — В. И. Милютина. У них была большая семья (в 1917 г. было 5

*По данным сайта Министерства Обороны мл. лейтенант К. Р. Семенов-Тянь-Шанский командовал взводом 1045 стрелкового полка; убит в бою 12 марта 1942 г.

человек детей), и, видимо, из-за них родители решили поселиться за городом в старинном большом помещичьем доме с огромным парком, спускающимся по крутому берегу к Шексне.

Весной 1917 года, видимо, во второй половине мая, моя мама с двумя девочками (мне было 4 года, а Верочке год) и с няней Анисьей приехала из Петрограда в Череповец, как потом оказалось, надолго. Папа, Михаил Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский был на фронте. . .

Так мы с Верочкой попали из большой квартиры в доме бабушки (отца папы) на 14-й линии Васильевского острова в огромную семью и огромный дом со своим укладом, с огромным парком и с огородом, где все дети имели свои грядки, за которыми должны были ухаживать. Быт был полупомещичий: свои лошади (одна казенная, другая дяди Ванина), поездки в город на них, корова своя, куры, а рядом скотный двор Милютиных, сад с цветами и запущенный парк, спланированный по образцу классических усадебных парков.

Старшему из детей Васе было в 1917 году 12 лет, Мусе было 11. Они были почти взрослые, их возили в город в реальное училище и в гимназию, и они смотрели на остальных детей свысока. Затем шла Ася — она тянулась за старшими, но училась дома. У неё была бонна и приезжали учителя. Андрюша был старше меня на год — ему было 5 лет, но он был очень самостоятельный и постоянно куда-то залезал или убегал. Но мы оба с ним тянулись за Асей и всегда играли вместе. Егорушка трех лет и моя Верочка были маленькими. У них у обоих были няни, враждовавшие между собой.

Когда мы переехали, нам выделили в одном крыле дома две комнаты — дяди Ванин кабинет и приемную. Кабинет перевели в бывшую столовую, а столовую — в огромную залу — большую, угловую, с семью окнами, выходившими в парк. В одном конце зала была вроде гостиной с роялем, фисгармонией, диваном и креслами, а в передней части стоял длинный обеденный стол, за который садилось обедать человек пятнадцать: два семейства с детьми, две бабушки, бонна, компаньонка бабушки Петрашень. Тетя Аля и две бабушки — мамина мама и мама Ивана Васильевича — приезжали на лето. И обязательно бывали гости — сослуживцы дяди Вани и инженеры, приезжавшие с участков.

Вот однажды, наверное, летом 1917 года я увидела за столом инженера Гамалея. Красивого, высокого, веселого, с белым крахмальным воротничком, в форме черного цвета с темно-зелеными петлицами с эмблемой инженеров водного транспорта, и, кажется, даже с погонами. Какая у них была эмблема, я не помню. А у мамино-

го брата, инженера железнодорожного транспорта, на петлицах и на фуражке был гаечный ключ и топорик. Рядом с Гамалеем сидела его жена — Надежда Нестеровна — небольшого роста, слегка полная, румяная, с ямочками на щеках и очаровательной улыбкой. Очень веселая, с вьющимися светлыми волосами. Перед обедом она подошла к нам, детям — Асе, Андрюше и мне — и расспрашивала, как и во что мы играем, и рассказала о своих дочерях: Оле, Наташе и маленькой Катеньке. Наверное, я потому и запомнила её, а инженер Гамалей. . . О, благодаря ему я научилась складывать салфетку! Маленьким детям — Егорушке и Верочке завязывали салфетки няни, Ася и Андрюша складывали их сами, а я вылезала из-за стола, шла на ковер, там раскладывала салфетку на ковре или на полу, за что мне попадало от мамы и няни. И затем складывала её уголок к уголку, сворачивала в трубочку и вставляла в кольцо. Инженер Гамалей взял салфетку, прижал подбородком её середину к груди и ловко обеими руками соединил уголок к уголку, потом еще раз сложил и вдел в кольцо. Я смотрела на него во все глаза, потом попробовала сделать так же — вышло. Я повторила всё сначала и поняла, что раз и навсегда научилась складывать салфетку. И научил меня этому инженер Гамалей! Видела я его один единственный раз, но запомнила на всю жизнь. А других инженеров, которые обедали часто, абсолютно не помню.

Видимо, летом 1917 года Гамалеи приезжали в Лентовское еще один раз и привозили своих старших дочек — Олю и Наташу. Помню, мы в саду показываем девочкам цветы на клумбах, я и Андрюша. Девочки в белых платьях и темных жакетах, в больших белых пикейных шляпах, в черных чулках и сапожках на пуговках. Я смотрю на эти сапожки и завидую пуговкам, у меня скороходовские ботинки на шнурках и я думаю, что пуговики, наверно, легче застегивать, чем шнуровать ботинки. Девочки стесняются, мы тоже смотрим исподлобья, и о чем мы говорили, как играли, не помню. Так в 1917 году я впервые увидела Наташу.

Осенью 1917 года на нашу семью свалилось много тяжелого. . . Правда, радостью было то, что сразу после революции, наконец, кончилась война и папа вернулся с фронта в Петроград. Ему надо было начинать новую жизнь. До войны он был преподавателем географии в гимназии, а сейчас мечтал стать писателем. . . [39]

Но в конце лета 1918 года его как бывшего офицера царской армии арестовали и увезли в Кронштадт, откуда никто не возвращался. После того как он чудом уцелел и его освободили, он решил ехать

в Череповец и налаживать жизнь там. А в Лентовском мы дети всё лето болели — сперва коклюшем, а потом корью. И в трех отдельных комнатах большого дома болело корью почти сразу семь человек детей. Ухаживали за нами мама, приехавшая из Петрограда с бабушкой тетя Аля и моя няня.

В другом конце дома помещались дядя Ваня (не болевший корью в детстве), тетя Джесси с только что родившейся девочкой Танечкой и бабушка, у которой обнаружилось серьезное психическое заболевание. . . Таким образом, лето для всех было очень трудным.

Трудным оно было, видимо, и для дяди Вани — после революции менялась вся структура управления водными путями, менялась и вся привычная жизнь. Инженера Гамалея с семьей перевели из Судбиц в Тотьму на Северо-Двинскую систему. Мы дети слышали это из разговоров взрослых. Говорили о том, что туда, может быть, переедут и Петрашени, а значит, и мы, когда придет папа. Папа приехал, видимо, в августе, с твердым намерением обосноваться в Череповце и сразу заболел испанкой, заразив ею всех детей и маму. И эта третья за лето болезнь всех и её самой страшно подорвала её силы и силы маленького Андрюши, который всё лежал на диване и не мог от слабости ходить. К осени выяснилось, что дядя Ваня остался по-прежнему главным инженером, что его Управление будет называться иначе и что надо переезжать в город, где ему дают большую квартиру. Одновременно папе предложили или его просто назначили, не знаю, заведовать Первым педагогическим училищем, организованным на базе реального училища. Жизнь в Лентовском кончилась, и осенью все переехали в город.

Мама умерла от обострившегося туберкулеза легких 2 января 1919 года. Ей было 32 года, папе 35, мне еще не было шести, а Верочке трех лет. Была гражданская война и голод.

Неизвестно, как бы сложилась жизнь нашей семьи, если бы весной 1919 года к нам не переехала навсегда, похоронив в Петрограде бабушку, старшая сестра мамы художница Алиса Андреевна Парланд, тетя Аля. Она заменила нам мать, стала потом папиной женой и умерла в 1938 году тоже от туберкулеза. Он висел над нашей семьей как дамоклов меч.

Тетя Аля работала в школе, преподавала рисование, папа читал лекции в педучилище и скоро был назначен начальником Губстатбюро. Череповец с 1918 года стал губернским городом.

Гамалеи по-прежнему жили в Тотьме. В 1920 году у них случилось страшное несчастье — умер от скоротечной чахотки Владимир Алексеевич. Надежда Нестеровна осталась одна с четырьмя девоч-

ками, самая младшая Надюшка родилась или незадолго до кончины отца, или уже после его смерти. Точно не знаю. Петрашени и папа с тетей Алей считали, что Надежда Нестеровна должна во что бы то ни стало перебраться в Череповец. Когда началась навигация летом 1921 года или ранней осенью, дядя Ваня сам вместе со старшим сыном Васей поехал по водному пути в Тотьму за Гамалеями. А в Череповце тетя Джесси и тетя Аля нашли им подходящую квартиру: две комнаты в первом этаже во флигеле в глубине двора на бывшей Сергиевской улице против Соляного сада, в двух с половиной кварталах от нас, недалеко также и от Петрашени.

И вот у них появилась однажды Надежда Нестеровна — такая же милая, улыбающаяся, в черной жакетке и белой блузке, и к ней, как цыплятки, жались четыре маленьких девочки с косичками. Точно я не помню, в каком году они приехали, вероятно, всё же в 1921, так как Надюша уже бегала, а родилась она в 1920. Оле было лет девять, Наташе семь, Кате пять. С ними приехал бабушка — Ольга Александровна, мать Владимира Алексеевича, высокая, довольно полная, с черными волосами и густыми черными бровями украинка. Папа говорил, что Гамалеи происходят от гетмана Гамалея, о котором писал Пушкин в «Полтаве»:

... Когда с Забелой, с Гамалеем
И с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Я запомнила это на всю жизнь. У Гамалешек, как стали называть девочек у нас дома, бабушка была строгая, деловая, она вела всё хозяйство, воспитывала и обшивала их. Надежде Несторовне надо было работать. Дядя Ваня устроил её у себя в Управлении своим делопроизводителем, как тогда говорили, т. е. попросту секретаршей. Она сидела у его кабинета, вела всю переписку и все дела, печатала на машинке. А по вечерам работала сверхурочно, еще что-то печатала. Точно я не помню, где — в учреждении или дома? Наверное, дома, так как папа давал ей печатать все свои стихи и пьесы, над которыми он работал по вечерам. Надежде Несторовне было очень трудно, ей был всего 31 год, когда она овдовела, и до этого она никогда не работала. Это просто не было принято. А после смерти Владимира Алексеевича у неё ничего не было. По-моему, даже пенсию осиротевшим детям тогда не давали. Точно не знаю.

А если и давали, то ничтожную.

Отец Надежды Несторовны — Нестор Платонович Пузыревский, профессор Института инженеров водного транспорта — жил в Петрограде, никуда из него не выезжал во время революции и, по моим

понятиям, совсем не помогал дочери. . . Мать Надежды Нестеровны, урожденная Советова (моя сестра Вера уверяет, что её звали Елизавета Сергеевна), давно умерла, и у дедушки Пузыревского была другая жена и дочь Нина. А у Надежды Несторовны была только одна настоящая сестра — тетя Таня. Высокая, голенастая (тогда только-только начинали носить короткие юбки), очень смешливая. Она приезжала гостить в Череповец и всегда возилась со всеми детьми, не только с Гамалешками, но и с нами. Она жила, по-моему, отдельно от дедушки Пузыревского и где-то работала. Гораздо позднее, в 1926 году она поступила учиться в Институт инженеров водного транспорта, окончила его и стала хорошим инженером. Дедушка Советов Сергей Александрович, как я уже потом выяснила из литературы, был ученый агроном в Департаменте земледелия, близкий к работам В. В. Докучаева, во многом его последователь, член Географического и Вольного Экономического общества. В одном из протоколов заседаний последнего общества мне попала фамилия Пузыревского Платона (отчества не помню). Он и С. А. Советов выступали в дискуссии на каком-то заседании Вольного Экономического общества. Значит, они были знакомы, а может быть и дружны, раз сын Пузыревского и дочь Советова поженились.

Надежде Несторовне было в 1931 году 42 года — значит, родилась она в 1889 г. Татьяна Несторовна была намного её моложе. Когда и отчего умерла их мать, я не знаю. Также не знаю, на ком женился второй раз после её смерти Нестор Платонович. Он был видный гидротехник, преподаватель Института инженеров водного транспорта, который окончили Иван и Владимир Алексеевич Гамалей. Последний был намного младше дяди Вани, и они, вероятно, подружились позднее, уже на работе. У Надежды Несторовны были двоюродные братья и сестры Советовы. Они жили в Петрограде, и девочки познакомились с ними, когда все мы осенью 1924 года переехали в Ленинград.

Я видела Нестора Платоновича только два раза: в 1929 году в Институте инженеров водного транспорта, в чертежном зале для дипломных работ его имени («зал им. Н. П. Пузыревского»). Там я раскрашивала два дня чертежи к дипломной работе Васи Петрашень (даже школу пропускала). И в 1931 году на похоронах Надежды Несторовны. Он был высокий, грузный, полуседой, с немного косящим глазом. Дочери Надежда и Татьяна совсем не были на него похожи, зато младшая Нина, хотя и считалась приемной дочерью Нестора Платоновича, была очень на него похожа. И тетя Джесси,

и тетя Аля говорили, что она на самом деле его дочь, удочеренная его второй женой, у которой не было детей.

В Череповце, а потом в Ленинграде Нестор Платонович, по моему, мало помогал Надежде Нестровне, и она билась за жизнь своей семьи одна. Только Олю отправила, наверное, осенью 1922 года в Петроград к бабушке учиться вместе с Ниной. Несмотря на все трудности, Надежда Несторовна всегда была веселая, бодрая, по-прежнему весело смеялась, и все, в том числе, и мы дети очень любили её. Петрашени — дядя Ваня и тетя Джесси очень хотели, чтобы папа и она поженились. Они не знали, что тетя Аля уже стала папиной женой. (К сожалению, ради нас, детей они долго скрывали свой брак, боясь поколебать этим память мамы.) Но, кроме того, я думаю, что и сама Надежда Несторовна, и папа боялись объединить в одну семью семь человек детей, бабушку, тетю Алю. И папа и Надежда Несторовна остались на всю жизнь друзьями.

Каждое воскресенье папа обязательно ходил с нами троими — Кириллом, Верой и мной — гулять за город — смотреть, как идет лед по реке, как течет на полях вода и растут овраги, как пробивается первая трава и зеленеют кусты ивы и деревья. Теперь, когда приехали Гамалеи, мы обязательно заходили за ними и обычно двое из них, Оля и Наташа, шли гулять с нами. А потом обедали у нас. Катенька чаще всего оставалась с Надюшкой. Та была очень маленькая еще, и бабушке одной с ней и с хозяйством было трудно. Но когда дома утром была Надежда Несторовна, то с нами шли гулять все три Гамалешки, двое старших и Катя. Иногда мы ходили так гулять с папой и по субботам, и даже на неделе. Ведь тогда работали до 4 часов (шесть часов), и около 5 папа бывал уже дома (если не было вечерних лекций и заседаний). Летом часто он водил нас на пристань, брал лодку и перевозил на ту сторону Шексны смотреть роскошные заливные луга. Это можно было делать, когда кончалось половодье.

В конце лета ездили на ту сторону в лес за грибами, но тогда брали только больших детей. Часто по вечерам ходили гулять в Лентовское, имение, где Петрашени жили до революции. Там всё было разорено и запущено — в доме помещалось какое-то учреждение Судострой, парк запустел. У Петрашени было большое хозяйство: корова, телка Ботька, коза Марья Ивановна, куры. Всем этим ведала Саша, их старая домработница. У Гамалеев были только куры. Их дом стоял в глубине двора, где росли деревья, была одна небольшая грядка с луком и где девочки играли и бегали целый день. Комнаты — одна большая, другая маленькая — были темные из-за тени

деревьев и, наверное, сырые. В большой комнате стоял обеденный стол и за шкафом вдоль стен четыре детские кроватки и большая кровать бабушки. Надежда Несторовна жила в маленькой комнате, где стояла пишущая машинка, на которой она печатала по вечерам, а перед окном в большой комнате — бабушкина швейная машина. Игрушек у девочек Гамалей было очень мало по сравнению с нами. Но и у нас их было немного. Куклы были тряпичные, их шила тетя Аля, и я берегла очень последнюю сшитую еще мамой куклу. Мячики были из тряпок тоже. Они не прыгали и не отскакивали от стенок, их можно было только бросать вверх. Один-единственный годный арабский мячик был у Егора. Мы все играли в гвоздик или ножичек, бросая его в землю, или чертили на земле «дом» и прыгали на одной ноге, толкая ногой «битку». Конечно, все с ранней весны до осени ходили босиком, так как обуви просто не было. И всегда у кого-нибудь был завязан на ноге разбитый палец. Играли в прятки, в «палочку-выручалочку», в казаки-разбойники. Играли на дворах и особенно на большом дворе Гамалеев.

Неизменным товарищем и заводилой этих игр был Егор Петрашень, выросший и окрепший. Он стал страшно самостоятельным, всюду ходил один, дружил со всеми соседскими мальчишками, всюду лазал. За ним теперь никто не смотрел, так как младше его были Таня и Ваня. (Таня родилась в 1918 году, а Ванечка был совсем маленький, с 20-го годика, как говорила его няня. Потом он стал военным врачом и погиб на другой день после 9 мая, Великой Победы, в 1945 году в Будапеште.)

Егор очень дружил с Гамалешками, в основном с Наташей, они были ровесники и родились к тому же в один день. И рождения их поэтому справлялись вместе. Обычно у Петрашени. Начиная с 1922 года, в эпоху НЭПа, жить стало легче и на все наши рождения обязательно пекли крендель или пирог. Собирались все дети: Петрашени, Семеновы, Гамалей и Благовещенские, дети еще одной маминой сестры, тоже приехавшей осенью 1918 года в Череповец. Компания была большая и веселая. Когда праздник был у Гамалеев, самым интересным было не угощение, которым интересовались все дети, не игры на большом дворе, а заводной заяц. Его бабушка позволяла Наташе доставать только по праздникам. Белый мохнатенький заяц (довольно крупный) сидел в большом зеленом кочне капусты, и его не было видно. Кочан лежал в специальной коробке, из которой его осторожно доставали и ставили на стол. Потом Наташа брала ключик и заводила кочан, и из него поднимался до

половины зайчик, грыз морковку и медленно вращался — танцевал внутри кочна, из которого играла при этом музыка. Все дети стояли вокруг стола замороженные. Малыши — Катя, Надя, Вера, Дези Благовещенская и Таня-Ваня — прижимались носами к столу, а мы большие — Егор, я, Майя и Елка Благовещенский — стояли позади. Наташе разрешалось не больше трех раз заводить зайчика, после чего он уже не выскакивал из кочна, а сам кочан убирали в коробку и ставили в шкаф до следующего дня рождения.

Иногда летом взрослые — тетя Джесси, тетя Аля и папа, устраивали для нас пикник. Все дети, даже Ася, иногда Муся, наш Кирилл и мы все, включая Гамалешек, вместе с козами, которых вел на веревке Кирилл, и с собакой Тарзаном шли за город через реку Ягорбу (приток Шексны), за хлебные лабазы, через железнодорожную ветку и частично по ней, по шпалам, на «яму» — большой песчаный карьер в 3-4 верстах от города вверх по Шексне. Взрослые несли корзинки с едой и питьем, с «поносами», как говорила Таня. Маленьких — Таню, Ваню, Надюшу — вели за руки. Даже Верочка цеплялась за тети Алину руку. На «яме» корзинки с едой ставились под кусты, взрослые тоже устраивались в тенечке с книгами или питьем. С детей снимали платья и все мы оставались в одних штанишках и лифчиках (трусов и маек еще не изобрели), и мы мчались вниз по песчаному откосу в огромную «яму», где лазали, играли в песок, строили замки, крепости. Потом разбивали их, катались в песке. А затем с удовольствием ели всё, что было взято с собой, и пили воду, или чай, или молоко. Козы наши паслись рядом, а Тарзан или лежал около папы и тети Али, или играл и бегал внизу с нами. Перед уходом собирали цветы, а я с Кириллом должны были наломать веток ивы и ольхи на ночной корм козам. Иногда в этих пикниках принимала участие и Надежда Несторовна. Но редко, она не любила далеко и много ходить.

Зимой мы начали учиться. Егор, Наташа, Майка и я начали ходить в детский сад. Не такой, как теперь, не государственный (их, по-моему, в 21-м году еще не было). А какая-то дама Дарья Акинфовна обучала у себя дома человек 10–12 детей читать и писать по букварю, по-моему, еще старому, и писать по линейкам палочки, буквы и отдельные слова. Кроме того, мы клеили из белой бумаги коробочки и плели бумажные коврики. Уроки продолжались до часу или двух. Жила она на той же улице, что и Гамалеи, ближе к нам, и ходили к ней мы все самостоятельно. Вместе с нами в этой же группе учился Женька Ляпин, сын преподавателя математики в

педучилище, будущий профессор математики в Пед. институте им. Герцена. Точно не помню, в зиму 1921–1922 или 1922–1923 гг. мы учились у этой дамы и до конца ли зимы?

Какое-то время мы вчетвером занимались и у учительницы на квартире у Петрашеней. С ней мы уже много читали, писали диктовки и учили таблицу умножения. Даже по географии она нам что-то рассказывала.

Зимой 1923–1924 годов мы пошли все вчетвером в школу первой ступени в Б класс. Школа делилась тогда на две ступени. И в Череповце школы эти помещались в разных зданиях и управлялись раздельно не директором, а заведующими. В I-й ступени было пять классов. Кончавшим I-ю ступень совсем не обязательно было идти учиться дальше, но работать было обязательно.

Во II-й ступени было 4 класса, после её окончания можно было идти в ВУЗ. В 1923 году Вася и Муся Петрашень закончили педучилище и уехали учиться в Петроград: Вася выдержал экзамен в Институт инженеров водного транспорта, а Муся в Университет. (Кажется, тогда еще были вступительные экзамены. А может быть и нет?) Ася и Кирилл учились дома — к ним приходили учителя. Оля Гамалей 1922-й и 1923-й годы жила в Петрограде у дедушки Пузыревского и училась вместе с Ниной.

Мы пошли в школу I ступени сперва в В класс. Но через несколько дней Егора, Наташу и Майку перевели в Б класс, пониже. Я оставалась в В классе с неделю, а потом тоже съехала в Б класс, так как не умела делить углом, а только двумя точками. В Б классе было много народа и длинные парты, за которыми сидело тесно-тесно по 5 человек. Мы все сидели в ряд: Егор, я, Наташа, Майка и какой-то мальчик Юрка, который очень толкался. Писали чернилами лиловыми и бутылочки с ними носили с собой из дому. Отчего варежки и пальто были в чернильных пятнах. Учительница была строгая, но хорошая — мы её в общем любили. Обучение шло комплексным методом — на всех уроках изучали какой-нибудь один предмет. Этот метод хорошо описан В. Кавериным в «Двух капитанах», где Саня Григорьев в школе изучал на всех уроках утку. Мы в книжке читали рассказы о кошке и котятках, на письме — писали про кошку, склоняли её во всех падежах, на арифметике считали, сколько у кошки ног и ушей. Правда, к концу года стали решать задачи про двух купцов, у которых были штуки черного и синего сукна (учебники-то все были дореволюционные). На природоведении смотрели, как набухают почки у сирени, поставленной в банку с водой, вели наблюдения за

таянием снега, докладывали, у кого и когда родились дома котятка, козлята, телята. Это были очень интересные уроки. Ходили в школу с удовольствием.

Весной и осенью на дворе играли в пятнашки. А зимой по дороге в школу и обратно катили ногой в валенке замерзший кусочек конского навоза круглой формы. Катили, около школы прятали в сугроб и обратно катили домой и тоже прятали во дворе. Смысл игры был в том, чтобы такой замерзший комок жил как можно дольше. Наташа и Майка жили от школы близко, Егор дальше, а я дальше всех. И часто мне навстречу выходил Кирилл и очень ругал меня за такую игру с конским навозом.

Каникулы были и на Рождество, и на Пасху. Зимой у всех бывали елки и мы все ходили всем гамузом друг к другу в гости. Елка была у Петрашеней, у нас, у Гамалеев, у Благовещенских, в Управлении у дяди Вани, в папином Губстатбюро. В бывшей женской гимназии, в школе II ступени, где тетя Аля преподавала рисование, была не только елка, но и спектакли. Их, особенно, на пасхальные каникулы, устраивала тетя Аля. И всегда мы все ходили на них со своими скамеечками и стульчиками, на которых перед первым рядом сидели: Вера, Катя, Таня-Ваня, Дезька Благовещенская и Надюшка. Но самое главное на рождественских каникулах были: санки и лыжи. Днем нас отпускали кататься с крутой Соборной горы на санках. Или я, Егор, Ася и Наташа ходили на лыжах по Соляному саду, против Гамалеев.

ПЕРЕЕЗД В ЛЕНИНГРАД. 217 ШКОЛА

Осенью 1924 года все мы переехали в Ленинград. Туда перевели И. В. Петрашень на должность главного инженера Северо-Западного Управления Внутренних Водных Путей (СЗУВВП). И он взял с собой свою секретаршу и делопроизводителя Надежду Несторовну. Папе предложили должность старшего статистика в Лен. Гос. Земельном Управлении, и кроме того он стал работать научным сотрудником в Географическом музее.

Перед тем папа и дядя Ваня ездили в Ленинград искать квартиру. Петрашени поселились на набережной лейтенанта Шмидта, где их квартира в доме 23 занимала весь третий этаж. Мы — на 8-й линии, 39 в квартире папиного дядюшки Измаила Петровича, который жил еще в деревне. А Гамалеи на 9-й линии, 44, квартира 4. У них была огромная коммунальная квартира, в которой они имели две комнаты: одну очень большую, в три окна и рядом с ней маленькую

с балконом. Первую комнату разгородили шкафами, отгородив одно окно. Но и эта часть комнаты была очень большая, и в ней помещались все девочки и бабушка. В передней части в два окна стоял большой обеденный стол, буфет, огромная кафельная печка и перед окнами столик для занятий и бабушкина швейная машина. Книжная полка была у окна в другой половине комнаты, между окон было трюмо. А в комнате Надежды Несторовны — диван, гардероб и столик с пишущей машинкой. Неудобство было в том, что вешалка для пальто находилась в большой комнате у дверей. Квартира была огромная, с темным коридором и огромной пустой передней. До кухни было далеко, и там на огромной плите все жильцы готовили еду на примусах. Примусы были достижением техники и очень нравились всем нам, детям.

Нам еще всем повезло, что приехав в Ленинград в конце августа 1924 года мы видели знаменитое наводнение 23 сентября — по своей силе почти такое же, как описал Пушкин в «Медном Всаднике». Взрослые говорили, что такое наводнение бывает один раз в 100 лет, и действительно, это было и очень страшно, и интересно. Радио ведь тогда еще не было, и о подъеме воды в Неве извещали только выстрелы пушки, стоявшей на бастионе Петропавловской крепости. Но при западном ветре эти выстрелы не долетали до Васильевского острова, и мы по существу ничего не знали об угрозе наводнения. Ну, был с утра ветер, когда мы шли в школу. Ну, и что же... Ветер ведь почти всегда дует на острове: то по линиям, то по проспектам.

Днем после школы мы с Верой мирно играли, когда приехала с работы, часа в 4, наверное, тетя Аля. И сразу стала нас торопить одеваться и идти на набережную смотреть, как высоко поднялась в Неве вода. Тетя Аля преподавала рисование в школе на Петроградской стороне на углу Большого проспекта и бывшей Введенской улицы. (Многие улицы были переименованы до Великой Отечественной войны: Большой проспект назывался проспект К. Либкнехта, Введенская — улицей Розы Люксембург, Каменноостровский, теперешний Кировский, — улицей Красных Зорь; Большой проспект Васильевского острова — проспектом Пролетарской победы; Невский — пр. 25-го Октября; Садовая — ул. 3-го Июля; Литейный — пр. Володарского, Владимирский — пр. Комсомола, Дворцовая площадь — пл. Урицкого, а Дворцовый мост — Республиканский и т. д. Были в связи с этим смешные сочетания: например, угол 25-го октября и 3-го июля или угол Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Даже 14-я линия между Большим и Средним, в том квартале, где была наша школа, называлась улица Веры Слуцкой.) Возвращаясь на трамвае

через Тучков мост, тетя Аля видела, как поднялась и бушевала Нева. Мы оделись и пошли на набережную к мосту лейтенанта Шмидта по 8-й линии. Ветер был отчаянный и шел мелкий дождь, хотя по небу всё время неслись серые рваные облака. Спуск около моста был весь залит, и вода уже переливалась на мостовую набережной. По другую сторону моста около Сфинксов было еще страшнее: вода залила всю лестницу спуска и захлестывала парапет набережной.

Нам с Верой стало ужасно страшно, и мы стали проситься домой. Шли назад по 6-й линии мимо рынка. Стеклоанный корпус Андреевского рынка был в то время окружен со всех сторон целым лесом самодельных ларьков, крытых легкими фанерными и брезентовыми крышами. Ветер ломал и крушил не только их крыши, но и сами ларьки. Торговцы пытались удержать ларьки и спешно куда-то унести и спрятать товары. Ржали и рвались лошади ломовых извозчиков, которых всегда было много у рынка (ведь машин, по существу, еще почти не было), бежали от набережной к Большому проспекту люди. Во всем чувствовались страх и паника. Мы тоже побежали скорее по 8-й линии к дому. У всех домов в то время были запирающиеся на ночь ворота — они были теперь распахнуты и около них стояли и метались в белых передниках дворники.

Мы добежали до дома, и оказалось, что папа, тоже пришедший недавно с работы, пошел с Кириллом и Тарзаном на набережную. Мне кажется, что я моментально выскочила на двор снова посмотреть, не идут ли они. Под воротами толпились люди, и на улице уже была вода: она шла большой рекой от Большого проспекта, по воде бежали почти по колено люди, в том числе и папа с Кириллом. Тарзана Кирилл нес на руках. Папа схватил меня и потащил во двор. Мы поднялись по парадной лестнице и видели в окна, как вода уже ворвалась во двор. Через несколько минут она хлынула во двор потоком. Это уже было видно из окон кухни. По улице еще прошел по пояс в воде последний трамвай, а на той стороне по 9-й линии через несколько минут проехали верхом два милиционера. Вода уже была по брюхо их лошадям. Погасло электричество, перестал работать телефон. И тетя Аля напрасно билась с ним, чтобы дозвониться до Петрашеней и узнать, что и как у них на набережной и вернулись ли все домой.

Довольно скоро на кухне позвонил колокольчик и пришел милиционер с дворником и привел трех безногих инвалидов: три старика на трех ногах и трех деревяшках. Их усадили поближе к топящейся плите и дали горячего чая. Мы с Верой с любопытством рассматривали их деревяшки. Папа сказал, что, наверное, это бывшие солда-

ты, потерявшие ноги на войне. А с улицы доносились крики и было страшно смотреть, как мутная вода неслась теперь уже и со Среднего проспекта. Папа зажег свечку, и мы все пошли с ним смотреть, насколько поднимается вода по ступенькам парадной лестницы. Вода на 8-й линии появилась около 5 часов, и подъем её продолжался примерно до 8 часов вечера. Она дошла до восьмой ступеньки первого пролета лестницы и медленно начала спадать. В 10 часов папа с Кириллом уже вышли из дома на набережную к Петрашеням узнать, как у них дела. Спасавшиеся у нас на кухне инвалиды тоже, попрощавшись, ушли восвояси.

У Петрашенной на набережной с третьего этажа вид на разбушевавшуюся Неву был, конечно, поразительный. Но они волновались за Васю и Мусю, которые застряли — Вася в Институте инженеров водного транспорта, а Муся в Университете. Когда начался подъем воды, студентов попросту не выпустили из зданий. Они добрались домой уже поздно вечером. У Гамалеев Надежда Несторовна успела доехать на пятом трамвае только до угла Большого и 1-й линии и добралась до квартиры дедушки Нестора Платоновича на углу 2-й линии и Большого. Кто-то из папиных сослуживцев, как потом оказалось, спасался под колоннами Исаакиевского собора.

Водой были залиты полностью не только все острова, но и значительная часть центра города. Погибли, конечно, при этом люди и лошади, масса товаров и т. д. Помню, что самым страшным, как говорили, было попасть в открывшиеся люки. Уже к вечеру ветер стих, исчезли облака и появилась луна. Папа говорил, что когда он возвращался от Петрашенной, Нева уже почти успокоилась и только «тяжело дышала»...

А утром 24 сентября был роскошный солнечный день. Солнце сияло на безоблачном голубом небе и смотрело улыбаясь на все разрушения, которые сделала накануне Нева. Не помню, пошли ли мы сперва в школу и вернулись, потому что она была закрыта, но только знаю, что мы все трое с тетей Алей (она работала в своей школе не каждый день) пошли смотреть, что же сделала Нева. Первое, что мы увидели, — открытые люки, в которые дворники метлами сгоняли оставшуюся на мостовых воду, развороченную во многих местах мостовую, стоящие на рельсах трамваи и дрова, валяющиеся врассыпную на мостовой. Все подвалы, где хранились дрова, были полны водой вровень с тротуаром. Из них ручными помпами начинали качать воду.

На углу 11-й линии и Большого проспекта посредине мостовой стояла большая широкая баржа с бревнами. Перед домом Петраше-

ней со времен революции лежало килем кверху огромное полупотопленное транспортное судно «Народоволец». Егор рассказывал, что во время наводнения его мотало как щепку, но на парашет так и не выбросило. По всей набережной валялись бревна, лодки, дрова, ящики, бульжники во многих местах размытой мостовой. А Нева улыбалась под ярким солнцем, была светлоголубая, над ней кружились белые чайки и плыли врассыпную бревна, ящики, остатки плотов.

Университетская набережная, покрытая от 1-й линии до Дворцового моста торцами, представляла собой разрушительное зрелище: торцы всплыли, их унесло, но часть лежала тут же около размывов. Ни пройти, ни проехать! Около Университета и на 5-й линии рядом с Академией Художеств на набережной застряли небольшие баржи. Но самым замечательным был небольшой буксирчик, застрявший за Университетом на площади против Библиотеки Академии Наук. Нашему восторгу не было конца — можно было подойти и потрогать его руками.

На Тучковой набережной, где было много дровяных складов, картина разрушений была еще страшней. В подвалах Кунсткамеры стояла вода и через окна было видно, как там плавали ящики, стулья, какие-то вещи. То же было видно и в подвале Академии Художеств — ведь там, кроме всего прочего, так же как и в подвалах многих домов, жили люди. . .

Половина лотков и ларьков рынка была унесена просто в море — всюду валялись их остатки: брезенты, фанера, бочки. Люди копошились среди всего этого хлама, — из подвалов, где были склады продуктов и овощей, спешно выкачивали воду помпами и ведрами. В нашем доме в одном из дворовых флигелей залило несколько квартир, и управхоз переселял жильцов в верхние этажи. Нам в гостиную и в кабинет поселили целое семейство. Даже папиному дядюшке Андрею Петровичу Семенову-Тян-Шанскому (АПСу, как мы его называли за глаза) пришлось уступить две комнаты, хотя его квартира считалась мемориальной, полумузейной — сохранялась после смерти Петра Петровича неприкосновенной и находилась под охраной государства.

В школе нашей пострадали гимнастический зал, где надо было менять пол, и весь нижний этаж главного здания, где помещались раздевалка, квартиры швейцара и уборщицы, канцелярия, кабинет директора, библиотека, кабинет врача.

Я уже говорил, что здание школы было построено на средства бывших учеников гимназии К. Мая к пятидесятилетию школы. Все окончившие гимназию Мая и 217 школу называли себя «майскими

жуками» и могли говорить друг другу «ты». Поэтому папа, например, говорил «ты» многим нашим учителям.

Здание было прекрасное, в четыре этажа. На улицу выходили классы, и на каждом этаже был большой рекреационный зал. На верхнем и нижнем этажах окна классов были полукруглые. Над парадной дверью, выходящей на 14-ю линию, красовалась эмблема школы — барельеф майского жука на дубовом листе. Выше четвертого этажа была большая надпись: «217 единая трудовая школа».

Широкая парадная лестница вела из вестибюля наверх. В боковом флигеле, выходящем на двор, размещались лаборатории, то есть кабинеты. На втором этаже находился кабинет физики. Он состоял, так же как и кабинет химии на четвертом этаже, из трех больших помещений: во-первых, аудитория с амфитеатром, доской и большим столом, на котором можно было демонстрировать опыты. Здесь же стоял проектор (волшебный фонарь, как его тогда называли). На больших окнах были фрамуги и черные шторы. Во втором помещении и у физиков, и у химиков была лаборатория для практических занятий. У химиков — с газовыми горелками, вытяжными шкапами и т. д. (как в настоящих лабораториях). Третья комната одновременно была преподавательской и хранилищем приборов, реактивов, посуды и т. д. Там занимался преподаватель, и входить туда имел право только дежурный. На третьем этаже через всю длину флигеля шел длинный коридор, упирающийся в последнюю, третью лестницу. Вдоль коридора располагались классы — рисования с подвижными попугаями, расположенными полукругом по амфитеатру, класс пения и музыки с роялем и большая столярная мастерская.

Вниз по задней лестнице спускались в «равелин» — так назывались еще два класса на втором этаже, в которых занимались малыши: два класса А, «А грамотный», в котором учились Вера и КатяГамалей, и «А неграмотный». В «А грамотном» классе ученики умели уже читать и писать, в «А неграмотном» — начинали только учить буквы и писать палочки. А еще ниже, на первом этаже находился вход в гимнастический зал с двумя раздевалками и комнатой преподавателя, а также туалетами.

Вверх по лестнице на 4-м этаже позади химического кабинета был кабинет естествознания, тоже из двух больших помещений. В первом — аудитория с амфитеатром, во втором — препараторская. По стенкам в первой аудитории размещались чучела животных и птиц, банки с пресмыкающимися и т. д. Это был своего рода музей, зоологический и анатомический. Среди чучел животных выделялась прекрасно сделанная рысь, сидящая на большой ветке дерева — по-

дарок гимназии К. Мая от нашего дедушки — отца мамы и тети Али А. А. Парланда, страстного охотника. Он же подарил школе еще чучела пестрого и черного дятлов, голову лисицы и еще что-то. Мы с Егором всегда смотрели на всё это с особым чувством. А еще выше над кабинетом естествознания была на 5-м этаже мансарда с большой стеклянной высокой крышей, где размещался «живой уголок». Там были аквариумы с рыбами, террариумы, где жили тритоны, лягушки, ящерицы, несколько клеток с птицами — щеглы, чижики — и масса комнатных растений. Все эти кабинеты запирались на французский замок, ученики ходили в них с преподавателем на специальные уроки.

Классы же размещались, как я уже говорила, в основном здании, окнами на 14-ю линию, т. е. на солнечную сторону. На верхнем 4-м этаже находились младшие классы I ступени — 2-й, 3-й и 4-й классы (Б, В и Г, как они тогда назывались), каждый по две параллели. Во время перемен в зале 4-го этажа стоял невыразимый шум, так как мальчишки бегали, носились, догоняли друг друга. Девочки ходили парами, лавируя между бегающими мальчишками, или — самые робкие (в том числе и я) — жались к стенам.

Пятые классы I ступени — два класса «Д» — помещались на втором этаже, более темном. Здесь же находились младшие классы II ступени: 1-й (по современному, 6-й) и 2-й (значит, 7-й) классы. В зале этого этажа на переменах было спокойнее и тише — все ученики спокойно ходили по залу. На третьем этаже помещались старшие классы II ступени: 3-й (теперь 8-й) и 4-й (9-й). В зале этого этажа была сцена (эстрада с занавесом). Здесь проходили все собрания, спектакли и другие мероприятия. Поэтому здесь стояли скамейки. На всех этажах лестницы упирались в площадки, замыкающие с двух концов залы, и по два класса выходили на них, а четыре класса были в залы. Двери всюду были стеклянные, поэтому дежурным преподавателям было хорошо видно, как ведет себя класс после звонка, но еще до прихода преподавателя. Туалеты помещались на каждом этаже на задней площадке недалеко от выхода на вторую лестницу.

Вся школа отапливалась дровами, во всех классах и на площадках были большие круглые железные, а в кабинетах, в учительской, канцелярии и во всех помещениях дирекции на первом этаже — большие кафельные печи. Когда начинали топить печи утром, точно не знаю, наверное, часов в 5–6 утра. На первых уроках еще уборщица-истопница с кочергой приходила в классы, мешала в печках угли, а потом закрывала их. Всем ребятам было строго-настрого запрещено подходить к печкам, и этот запрет исполнялся неукоснительно.

Помимо педагогического совета и директора к управлению школой был привлечен школьно-ученический совет (ШУС). В него входили выборные ученики из старших классов и комсомольцы. Однако комсомольцев и пионеров в то время в школе было еще немного. ШУС отвечал, между прочим, и за дисциплину в школе. Члены его наравне с дежурным преподавателем дежурили во время перемен на всех этажах, в раздевалке и столовой, входили на равных правах в педагогический совет и принимали участие в обсуждении всех вопросов, касающихся дисциплины, успеваемости и программ. Когда на педсовете обсуждались вопросы дисциплины и успеваемости того или иного класса, обязательно присутствовал председатель совета класса и имел <по этим вопросам> право голоса. В «Г» классе одно время я была председателем класса и присутствовала на заседаниях педагогического совета. Председателем ШУСа в 1924-25 и 1925-26 гг. была Женя Данилова (сперва из 3-го, потом из 4-го класса). Высокая, с вьющимися волосами, собранными сзади двумя заколками, с живыми черными глазами, в синем сатиновом халате, Женя строго следила за всем в школе, и её боялись не меньше, чем директора Венямина Аполлоновича, а все взрослые парни из старших классов II ступени казались покорными рыцарями Жени, исполняя все её поручения и требования. Особенно большую роль ШУС играл при проведении всех массовых мероприятий — демонстраций, общих собраний, торжественных сборов, спектаклей, живых газет и т. д. Комната ШУСа помещалась в классе на 3-ем этаже на задней площадке. Там хранились знамена школы и разные награды, происходили заседания ШУСа и комсомольские сборы. Конечно, мы из нашего «В» класса смотрели на членов ШУСа и на всю его организационную работу почтительно и большими глазами.

Состав учителей в 1924 году в школе был прекрасный. В старших классах II ступени историю еще преподавал самый старший из учителей Александр Лаврентьевич Липовский. У него еще учился папа, и со дня 50-летия школы до Великой Октябрьской революции он был директором гимназии и реального училища им. К. И. Мая. Он был старенький, с седой бородкой, сгорбленный, ходил с палочкой. Но пользовался любовью и уважением среди учеников. Даже мальчишки из классов В, Г и Д, сбегая с лестницы, замедляли бег, когда по ней шел Липовский, и останавливались, пропуская его.

Какое-то время в эти же годы историю преподавал также и молодой Насонов. Директор школы Венямин Аполлонович Краснов, бывший ученик гимназии Мая, преподавал литературу. Небольшого

роста, коренастый, с острой бородкой и усами, он ходил в форме морского офицера: темно-синий китель с золотыми пуговицами и нашивками на рукавах (капитан, наверное, 3-го ранга?), потому что преподавал литературу в Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. Также капитаном в морском мундире был еще один бывший маец, математик Борис Иванович Умнов. «Дядя Боба» — так его называли в школе, потому что в школе во 2-м классе II ступени училась его племянница Ирина Умнова, дочь старых наших друзей. Бориса Ивановича вся школа боялась: когда он дежурил и ходил в огромных ботинках, заложив руки за спину, большими, огромными шагами, самые шумные ребята затихали. К счастью, на нашем 4-м этаже он не дежурил, так как преподавал в старших классах. Про него пели песенку: «Очень строго смотрит в оба — это значит, дядя Боба». Другую песенку пели про химика старших классов Бориса Александровича Муромского: «Длинный, тощий, словно глист — это химик наш Борис». Он был, видимо, хороший химик, но когда мы доросли до этого предмета, его в школе уже не было — он окончательно ушел в какой-то институт Академии Наук, где до того был совместителем. У нас химию преподавал Иван Николаевич Артемьев, небольшого роста, с большими усами, очень скромный, на вид тихий, но строгий, а главное, справедливый — прекрасный педагог. Его все ребята уважали и любили.

Кумиром школы у всех поколений и в старших, и в младших классах был Ростя, физкультурник, преподаватель гимнастики, конечно, тоже бывший маец — Ростислав Васильевич Озоль. Он начинал преподавать гимнастику с Г класса и вел её до конца II ступени. А кроме того, руководил «Спартаком» — кружком физкультуры, о котором мечтали все ученики школы.

Географию начиная с Д класса вел Николай Сергеевич Кобозев, именно вел, потому что его уроки походили на интересные лекции. Учебников географии, кроме дореволюционного учебника (для разных классов) «Физическая география» Иванова, не было. Лишь кое у кого из учеников случайно они имелись. Правда, были для младших классов очень хорошие «Географические тетради» с немymi картами, картами рельефа и т. д., которые надо было раскрашивать. А знать географическую карту Николай Сергеевич требовал неукоснительно. Вешая на доску физическую карту какого-нибудь региона, он требовал показать, например, бассейн реки со всеми её притоками, перечислить все горные хребты и т. д. Навсегда запомнила, как он два урока подряд читал лекцию об Индии, вернее, об

Индийском полуострове Азии, или как задал писать в классе работу о климате Европы, глядя на карту. Носились в школе слухи, что он пил и что у него бывают запои. Не знаю. Только потом уже, работая над составлением карты растительности Европейской части СССР, я наткнулась на ряд работ по геоморфологии и географии Северо-Запада Н. С. Кобозева. И узнала, таким образом, что преподавательскую работу в нашей школе он совмещал с работой в Географо-Экономическом институте Университета.

Физику вел молодой, прихорашивавшийся, слегка хромавший Венямин Александрович Виноградов — «Венька». В наше время он был не очень хорошим преподавателем. Но после войны и блокады это был один из лучших учителей города, директор школы.

Завучем школы и одновременно классным руководителем и педагогом одного из «Б» классов была Вера Петровна Фандерфлит, мать девочки Аленушки из нашего 1-го В класса. Она была внучка декабриста В. П. Ивашева и так же, как и Аленушка, чем-то напоминала свою бабушку Камиллу Ле Дантю, поехавшую в Сибирь к своему любимому В. П. Ивашеву. Такие же густые черные брови, серые огромные глаза. У Аленушки были две толстые длинные косы, а у Веры Петровны почти седая толстая коса была уложена короной на голове. Вера Петровна говорила тихим голосом, никогда не повышая его, была прекрасным организатором и верным помощником Венямина Аполлоновича и радушной милой хозяйкой деревянного домика на 6-й линии — мамой нашей Аленушки.

Преподавательниц немецкого языка было две — Анна Васильевна Петровская и Эрика Николаевна Габлер — просто Эрика. Она была типичная петербургская немка, прекрасно, наверное, знала немецкий язык, но не обладала никакими педагогическими навыками и методами. Все ученики школы её в грош не ставили, изводили, на уроках бузили, не слушались. Например, Егор Петрашень не то в Д классе, то есть в 5-м, не то в 6-м просидел весь её урок в шкафу и оттуда пускал в класс реплики. И Эрика ничего не могла с ним поделать. Кроме того, она была безнадежно влюблена в Ростю — вся школа это знала и дразнила её. На уроке вдруг раздавался громкий шопот: «Ростя прошел мимо нашего класса. . . Еще прошел. . .» Бедная Эрика краснела, совсем теряла дар речи. А класс хихикал. Но в общем-то её любили за доброжелательство. Беда её и нас была еще в том, что в наше время не было никаких учебников немецкого языка, никаких пособий. Кроме двух старых учебников на старом готическом шрифте. А мы должны были осваивать новый латинский

шиффт. И вообще, отношение в то время к языкам было очень неважное, и, в результате, мы совершенно не выучили немецкий язык. Хотя многие из нас, в том числе и мы с Егором и Наташей, занимались им еще дома, частным образом. У таких же беспомощных немок.

Зато наша классная воспитательница Марья Александровна Гульбина — биолог по образованию — имела на нас и на весь класс огромное влияние и все её очень любили. Ей мы обязаны по существу всем: любовью к школе, дружбой между собой, которая сохранилась на всю жизнь и до сих пор помогает жить, и, конечно, добросовестным отношением ко всему — к учебе, к знаниям, к работе. Недаром из учеников 7^а класса, в котором мы провели последний год в стенах 217-й школы, получилось девять докторов наук, один член-корреспондент, около пяти кандидатов, один хирург, два очень крупных геолога. Из тех, кто в 1924 году впервые встретился в 1-м В классе на 4-м этаже бывшей майской школы.

Наш класс помещался на задней площадке этажа. В нем мы проучились два года в В и Г классах. Когда мы втроем — Егор, Наташа и я — пришли 1 сентября 1924 года в школу, основное ядро класса уже проучилось вместе два года. Помещение класса было большое, светлое — на большом полукруглом окне стояло много комнатных растений, а перед окном на специальном столике — аквариум с простыми колюшками и террариум, в котором жили тритоны, лягушки и ручейники. Ухаживали за всеми этими растениями и животными сперва дежурные, а потом члены кружка любителей природы, организованного в классе по инициативе Марьи Александровны. В него вошли не все ученики, а самые любознательные и активные. Ведь кроме них в классе еще была и группа «болота», т. е. по существу, шпаны. Около пяти великовозрастных парней сидели на двух последних партах, значительно старше нас, с прическами «бобочкой», в длинных брюках клеш, и ничего, по существу, не делали. Недавно на одном из последних сборов наиболее дружной группы 7^а класса (11 человек) один из нас — полковник в отставке, кандидат технических наук Лева Степанов — объяснил, что эта шпана с 1-го класса так и оставалась на одном уровне школьного развития. Они оставались на второй или даже на третий год в одной и той же позиции, на тех же партах и являлись как бы наследством, переходившим от одного класса другому. Особенного вреда они не делали, и в основном остальные мальчишки к ним не примыкали, кроме одного Алексева, ходившего с костылем на одной ноге. Другая нога у него была отрезана трамваем. У него была одинокая несчастная мать, ходившая в

старинной шляпе с черным флёром (траур). Она приходила к Марье Александровне и горько плакала и жаловалась на своего сына. Но по-моему, уже в Г классе он куда-то исчез.

Мы с Наташей сидели на одной парте во второй колонке. Впереди нас сидели две очень благовоспитанные девочки с огромными длинными косами — Нина Барсукова с одной большой косой и с бантом наверху косы и Алёнушка Фандерфлит с двумя толстыми косами до пояса. Я тоже ходила с двумя косами, а Наташа с одной. Все девочки и мальчики (кроме великовозрастной шпаны) и большинство преподавательниц ходили в школе в халатах. Формы ведь тогда не было. А обязательно были серые или синие халатики, которые мы снимали дома, потому что у всех нас было по одному платью и переодеваться было по существу не во что. У девочек халатики были с белыми воротничками. Все, даже старшеклассницы II ступени, одевались очень скромно. Никаких украшений — колец, подвесок, бус — в школе просто не допускалось. Когда на уроках гимнастики Ростислав Васильевич видел на руке у какой-нибудь девочки колечко, он строго говорил, чтобы этого больше никогда не было.

Самыми интересными уроками в В и Г классах были уроки природоведения, которые вела Марья Александровна. Мы вели дневник наблюдений за природными явлениями, ходили на экскурсии — на остров Голодай. Это было совсем недалеко от школы, и туда можно было пойти пешком, а обратно доехать на трамвае номер 4 от его кольца у Смоленского кладбища. Остров Голодай был заселен только в своей восточной части, вдоль Железноводской улицы. А на западной части острова, там, где сейчас развернулось строительство нового района, за армянским и лютеранским кладбищами тянулись огороды, одно какое-то цветочное хозяйство и пустыри, где паслись коровы. Через эти пустыри мы доходили до взморья.

Ездили на острова: почти пустынный в своей западной части Крестовский и замечательный Елагин остров. В прудах на этих островах ловили колошек, головастиков, тритонов, ручейников. Собирали ранние цветущие растения, ветки деревьев. Потом всё это разбирали в классе, а начиная с Д класса — на мансарде. Растения пересаживали в горшки, животных сажали в террариум или в банки. А головастиков держали отдельно и наблюдали, как они растут и превращаются в лягушек. Эти работы велись в основном членами «Кружка любителей природы». А всем классом еще ездили в Саблино смотреть водопад, в Дудергоф и в Тайцы. Там жили родители Марьи Александровны. У них в доме мы оставили наши пожит-

ки и завтраки и пошли смотреть старые каменоломни. На обратном пути нас напоили чаем и Марья Александровна показала свой маленький садик, где она разводила цветы.

В городе запомнились три экскурсии, тоже с Марьей Александровной: на писчебумажную фабрику им. Зиновьева в начале Железноводской улицы, сразу за речкой Смоленкой, в Василеостровскую пожарную часть и в шахты Горного института. В пожарной части нас приняли пожарные очень радушно. Показали свои спальни, комнаты отдыха, столовую, конюшни, где стояли лошади и сарай, где находились пожарные машины. Лошади стояли со всей сбруей, их надо было только ввести в сарай и быстро запрячь во время тревоги. Выведя нас на плац перед каланчой, брандмейстер велел дать тревогу. Зазвенели сигналы, забил колокол и пожарные со всего здания бросились бегом к машинам и лошадям. Моментально впрягли коней, машины в один момент выехали из сараев, пожарные на своих местах на ходу надевали рабочие костюмы и каски — почти золотые, как у древних римлян. На всё это от начала тревоги до выезда машин из сараев потребовалось три минуты. Мы были потрясены. И я на всю жизнь запомнила эту экскурсию.

Но еще интереснее был поход в Горный институт, в его музей и шахты. Эту экскурсию вел отец одного из наших товарищей Васьки Наливкина — геолог Дмитрий Васильевич Наливкин (будущий академик). Веселый, красивый, с черной бородой — он встретил нас под колоннами Горного института, кратко рассказал об этом замечательном здании и повел наверх по лестнице в музей. Там больше всего поразили скелеты и отпечатки ископаемых животных и красивые минералы. Но самое большое впечатление произвели шахты. Мало кто из ленинградцев знает и знал даже тогда о том, что во дворе Горного института и, частично, под самим его зданием, построен под землей учебный макет шахт. Чтобы провести нас туда, Дмитрий Васильевич надел шахтерский брезентовый костюм, взял молоток, фонарь «летучую мышь» (кроме того, у него был маленький карманный фонарик), предупредил нас, чтобы мы не шумели, не баловались и были бы очень осторожны. «В шахтах всякое бывает» — сказал он и начал осторожно спускаться вниз. Мы, держась за перила вдоль стен лестницы, шли осторожно за ним. Он показал нам расположение горных пород, освещая стены фонариком и «летучей мышью». Особенно поразили кварцевые жилы с вкраплениями самородного золота, залежи железной руды и, конечно, угольные пласты. Коридоры были узкие и темные, и идти было трудно и страшно. Там,

где находились залежи пластов, они расширялись, образуя небольшие залы. Казалось, что мы идем очень долго и очень глубоко под землей. Дмитрий Васильевич рассказывал, а ребята переговаривались шопотом. Мы с Наташей для верности крепко держались за руки. Вдруг у Дмитрия Васильевича погасла «летучая мышь». Стало абсолютно темно. Он попросил не беспокоиться, сейчас он зажжет фонарик и будет им светить. Но фонарик тоже испортился и никак не зажигался. Дмитрий Васильевич спросил в темноте, нет ли у кого-нибудь спичек? Может быть, кто-нибудь из нас курит? Нет, спичек ни у кого не было, никто из нас не курил. Дмитрий Васильевич просил не волноваться, он плохо знает этот конец шахты, но где-то ведь должен быть выход, сейчас он ошупью попытается его найти, а мы должны стоять тихо, не шуметь и не волноваться. Стало тихо; было темно и страшно, и мы все закричали: «Дмитрий Васильевич! Дмитрий Васильевич!... — Дмитрий Васильевич, что случилось?» — послышались голоса, и вдруг в конце коридора зажегся электрический свет. Несколько студентов бежали к нам. Из бокового отсека показался Дмитрий Васильевич. «Как, — сказал он, — провели, оказывается, здесь электричество! А я и не знал. Видите, как получается-то, ребятки». При свете электричества шахты выглядели еще интереснее... Студенты пересмеивались, Дмитрий Васильевич был серьезен. И большинство из нас были уверены, что он действительно ничего не знал.

В конце 1940-х годов в Горном институте было какое-то комплексное совещание, после которого Д. В. Наливкин, уже академик, вел экскурсию по музею. Я подошла к нему и напомнила об экскурсии школьников из 1-го В класса 217-й школы в шахты. — «Знаете, к сожалению, их уже нет; они все разрушились во время блокады и их не восстановили. Да и вряд ли восстановят», — ответил он.

Кроме этих экскурсий, запомнившихся на всю жизнь, Марья Александровна водила нас, конечно, в Зоологический и Этнографический музеи Академии Наук. Её муж был сотрудник музея Этнографии, и он показал нам музей и очень подробно обо всем рассказывал. Особенно интересно о путешествии Миклухо-Маклая в Новую Гвинею. Потом мы сделали в классе стенд, посвященный ему: хижины, пальмы, фигурки жителей из пластилина, а еще я перерисовала на отдельный плакат рисунки папуасов из книги «Человек с Луны».

Всем классом мы постоянно ходили с Марьей Александровной в ТЮЗ, который помещался тоже в здании бывшей школы — Тенишевской гимназии на Моховой. Мы смотрели там «Тимошкин рудник»,

«Хижину дяди Тома», «Тома Сойера», а в 5-м или 6-м классе — «Разбойников» Шиллера и многое другое.

Бывали спектакли и вечера самодеятельности в школе. Особенно запомнилась почему-то «Живая газета», посвященная Владимиру Маяковскому и, кажется, А. Блоку, потому что там были эпизоды из «Двенадцати». Буржуев изображали старшеклассники в пальто и в шляпах Ростислава Васильевича и физика Венямина Александровича. Рабочие со знаменами и винтовками входили на сцену по проходу между скамейками. Ведущие были в полосатых футболках, белых с черным. Всё вместе производило впечатление.

Помню еще сцены из произведений Гоголя: «Разговор двух дам — дамы, приятной во всех отношениях и просто приятной дамы». Живые картины: прикованного к скале Прометея изображал самый красивый парень школы Миша Шретер — внук архитектора Л. Н. Бенуа. На суд над Раскольниковым в постановке старших классов нас — учеников В и Г классов — не пустили, и об этом интересном спектакле под руководством Венямина Аполлоновича я знаю только по рассказам брата Кирилла.

Но конечно, самыми замечательными вечерами и утренниками (для малышей) были выступления «Спартака» — физкультурного кружка под руководством Р. В. Озоля. «Спартак» 217-й школы славился на весь город. Членами его были ребята начиная с Г класса, т. е. с того момента, когда начинались занятия гимнастикой под руководством Ростислава Васильевича. Из нашего класса в нем занимались многие ребята, в том числе Егор Петрашень и Наташа.

Я почти всегда была освобождена от гимнастики, так как примерно с 8 до 17 лет всё время температурила, кашляла и вообще кисла. А так как дома был постоянный страх, чтобы мы не заболели туберкулёзом, то я много лежала, пропускала школу, постоянно мне ставили компрессы на оба легких. И при таких условиях о дополнительных занятиях физкультурой в «Спартаке» не было и речи. Только позднее я помогала в оформлении праздников «Спартака»: рисовала плакаты, значки. Это я делала даже после окончания школы — когда праздновалось 10-летие «Спартака». А Наташа и потом Катенька были его активными членами, несмотря на то, что у Наташи и тогда, в школе, находили порок сердца.

Выступление «Спартака» начиналось с общего парада. Первыми шли самые высокие старшие ученики — юноши в белых брюках, девушки в синих юбках и все в белых футболках с короткими рукавами. Среди девушек выделялись лидеры: Наташа Ивашева (пле-

мянница Веры Петровны, так же, как и наша Аленушка, правнучка декабриста), Женья Данилова (председатель ШУСа), Ирина. Замыкала всю шеренгу спартаковцев самая маленькая по росту Катюшка Гамалей. Затем были отдельные выступления: старших — взрослых юношей и девушек, учеников средних и младших классов. Коронным номером был в последние годы нашего пребывания в школе «Бой гладиаторов». В нем участвовали наиболее сильные мальчишки. Выходили они полуобнаженные, с повязками на голове, щитами и короткими мечами. По ходу дела несколько человек ранили и убивали — они падали на пол, их потом поднимали и на щитах высоко над головами выносили из зала.

Все выступления сопровождалось музыкой — на рояле играл ученик II ступени Мор. Когда же несли на щитах убитых гладиаторов, то раздавались аккорды «Траурного марша» Шопена. Зрители, сидящие на скамейках, расставленных вдоль стен самого большого зала на 4-м этаже, хлопали и топали от восторга. Ростя в белом костюме, со свистком на губе, сиял. Заканчивалось выступление опять общим парадом и общей пирамидой, на вершину которой на вытянутых руках и плечах поднимали самую маленькую спартаковку — Катюшку Гамалей.

Успех выступлений «Спартака был так велик, что их приходилось повторять несколько раз подряд: один вечер для старших классов, утренник в воскресенье для младших классов и обязательно вечернее выступление для родителей. При этом все спартаковцы, так же как и все ученики школы, не то что просто любили, а обожали Ростю — Ростислава Васильевича. И он любил своих учеников. Он был, как он сам выражался, «на 16 лет старше Егорушки», т. е. ему было 26–28 лет. Половина девчонок была влюблена в Ростю. Когда на вечерах он приглашал какую-нибудь девочку потанцевать, она вся сияла от восторга. Слово его было закон не только для спартаковцев, но и для всех учеников школы. Но бывали случаи, когда кто-нибудь делал или поступал не так, как хотел Ростя. Наташа Гамалей, например, в 1926 или 1927 году обстриглась, потому что ей передали слова Ростя, что уж кто-кто, а Наташа Гамалей никогда не обрежет свою косу. И Наташа, услышав это, пошла в парикмахерскую и обстриглась. Пожалуй, ей хорошо была стрижка, хотя волосы у неё и не вились.

К этому времени мы уже не сидели с ней рядом на одной парте. Она очень подружилась с позже пришедшей к нам в класс Таней Никифоровской (теперь Т. В. Кириллова), и просила меня пересесть к другой девочке — Вале Малышевой, с которой сидела Таня. И мы

поменялись местами с разрешения Марьи Александровны. И хотя у Наташи с Таней завязалась, может быть, более теплая дружба, какая бывает у девочек в этом возрасте, мы с Наташей остались дружны. То есть попросту мы были «свои», почти родные. И она у нас, и мы с Егором у них были как дома. Жили почти рядом, ходили в школу и из школы одной дорогой, постоянно бывали друг у друга. А главное, нас в семье было много.

Таня другое дело. Она была единственная в семье. Отец её Василий Митрофанович преподавал литературу в нашей же школе, но не старших, а в средних классах. Он даже был классным руководителем одного из классов Г и дежурил на нашем 4-м этаже. Мать Тани — Наталья Яковлевна, очень суровая и на вид строгая дама, была стенографисткой, очень знаменитой в городе, и постоянно по вечерам была на работе, на разных ответственных заседаниях. А дома всегда торопилась расшифровывать стенограммы. Василий Митрофанович тоже по вечерам после школы где-то работал сверхурочно, и Таня практически бывала дома одна — в отдельной двухкомнатной квартире (что было по тем временам редкостью), правда, с бабушкой. Но как-то у них, когда устраивались детские сборища, было не очень, как мне казалось, уютно. Не просто.

Зато всегда весело и просто было у Фандерфлитов, несмотря на то, что мать Аленушки Вера Петровна была завучем нашей школы. Они жили в маленьком (когда-то собственном) одноэтажном деревянном домике с мезонином на 6-й линии недалеко от Среднего. Дом был развалюга страшная, с высоким крыльцом и большой столовой, где висели в золоченых рамах портреты декабриста В. П. Ивашева и его жены француженки Камиллы Петровны Ивашевой (Ле Дантю). У неё были большие темно-серые глаза и черные густые брови, и общий облик её повторился и в Вере Петровне, и в нашей Аленушке.

Рядом с домом был огромный двор, а за домом маленький узенький садик с березками, где Вера Петровна и Аленка разводили цветы. На дворе мы после уроков, а весной по вечерам играли в лапту, прятки и другие игры. Мы — это Наташа, Аленка, я, потом Таня и мальчишки нашего класса: Егор (конечно), Левка Степанов, Миша Медведев, Борис Цуханов и Аленушкина двоюродная сестра Катюшка Александрова (на класс младше нас по школе) и её подруги. Иногда приходили также — не на двор, а на елку к Флитам и на Аленкины именины весной и на рождение осенью — самые благовоспитанные девочки из нашего класса Нина Барсукова и Вероника Шевелева. Последняя очень хорошо играла на рояле и всегда на ве-

черах более младших классов выступала. Но основной пианисткой не только нашего класса, но и всей школы была Вера Якубова.

Начиная с Д класса, то есть с 5-го, наша жизнь стала сложнее. Пришли новые преподаватели. Литературу вел сам Венямин Аполлонович Краснов, математику — Т. Н. Костылева) и обществоведенье — Марья Иринарховна Половинкина.

.....*

* На этом рукопись обрывается.

СЕМЬЯ ПАРЛАНДОВ

Тетя Аля рассказывала нам понемногу о своей и маминой семье. Семье Парландов. Отец мамы и тети Али — наш дедушка Андрей (Генрих) Александрович Парланд — по происхождению англичанин — родился 16 ноября 1845 г. в Петербурге, на Васильевском острове. Его отец Александр Иванович Парланд был сыном Джона (Ивана Ивановича) Парланда, приехавшего в Россию в конце XVIII в. из Англии. Джон Парланд родился 24 июня 1758 г. в графстве Честер, а умер в Петербурге 15 ноября 1842 г. Эти даты были написаны на его гробнице на лютеранском Смоленском кладбище на о. Голодай, где его могильная плита сохранялась до самой блокады, а после войны оказалась сломанной. Кем был первый Парланд, тетя Аля точно не знала, так как он умер до рождения своего внука, но говорила, что он был не то камердинером, не то воспитателем императора Александра. По долгу службы ему приходилось очень много стоять. Поэтому в старости он жаловался, что у него болят очень ноги.

В 1989 году его пра-пра-правнук Миша, М. А. Семенов-Тян-Шанский, работая в городском Историческом архиве Ленинграда, выяснил, что Иван Иванович Парланд действительно служил при Дворе. В 1810 г. он был придворным камердинером, о чем свидетельствует его собственноручная записка, хранящаяся в архиве, копия которой прилагается:*

1810 года июня 13-го

Камердинеръ Парландъ вновь построить деревянные сараи и выкрасить свѣтло сѣрою краскою.

и далее рукой Парланда:

Строинія полагаю кончить сего года съ темъ что оно производить буду точно по данному фасаду. Противном случаѣ

*Предпринимая строительные работы, домовладельцы должны были представлять в Городскую управу планы фасадов предполагаемых строений. Вместе с этим планом сохранилась и записка Джона Парланда.

предоставляю право поллиции все на противу здѣланное как сломать такъ и построить на щеть мой въ домъ 2 кварталъ подъ № 492 бывшимъ Свинобоѣва и № 2 бывшимъ Мошковъ

Юня дня 1810 года Камир диниръ Иванъ Парландъ

Далее в архиве (фонд 781, оп. 4, д. 86) в С.-Петербургской Городской обывательской книге, I части, том под литерой 386, указывается, что камердинер 6-го класса Иван Иванович Парланд имеет «дома в Петербургской части под номерами 500 и 511. О чем дано объявление 17 декабря 1829 г».

В 1837 году Иван Иванович уже камерфурьер 6-го класса, о чем указывается в той же книге, и имеет дом в Василеостровской части (опись 636, 22 ноября 1837 г.).

Далее выясняется, что 9 июня 1841 г. (опись 767 в той же книге) у чиновника 6-го класса Ивана Ивановича Парланда имеется дом под номером 71 в Василеостровской части*.

Таким образом, можно говорить, что первый Парланд, приехавший в Россию, сделал в Петербурге удачную карьеру и к концу жизни стал богатым человеком^[40].

У Джона Парланда было два сына^[41] — Александр Иванович, чиновник 6-го класса, и Иван Иванович, штабс-капитан. Оба они, по данным «Атласа 13 частей С.-Петербурга», составленного Н. Цыловым в 1849 г., имели в 1845 г. в разных частях города дома и земельные участки.

Александр Иванович имел дом на Петербургской стороне на углу Мытненского переуллка и набережной реки Ждановки и другие два дома с участком на Васильевском острове между 5-й и 6-й линиями под номером 57 по Рыночному переулку** и 51 на набережной (второй дом на набережной лейтенанта Шмидта от 6-й линии).

Иван Иванович владел на Васильевском острове банями на 8-й линии (второй дом от угла Академического переуллка — с выходом и на Глухой переуллок)***. И еще большими земельными участками с домами — на Фонтанке у Египетского моста и другой на Фонтанке же рядом с госпиталем лейб-гвардии Семеновского полка. По-видимому, он рано умер, так как тетья Аля о нем ничего не рассказывала. И что стало с его домами, неясно^[42].

*В это время существовала единая нумерация домов в пределах одной части; современная нумерация в порядке домов на каждой улице была введена в конце 1840-х гг.

**В настоящее время Бугский пер.

***На плане они названы «Парланда бани».

Александр Иванович — дедушка тети Али и мамы — был, так же, как и отец, богатым человеком. Помимо домов на Васильевском острове и на Петербургской стороне, он владел парусным торговым флотом. На портрете (который находится у Георгия Ивановича Петрашень — дяди Егора^[43]) Александр Иванович изображен на фоне своего парусно-парового флота. Однако во время Крымской войны 1854–1856 гг. весь этот флот был потоплен и Александр Иванович, по словам тети Али, разорился.

Он был дважды женат^[44]. Первая его жена Мария Каролина Хельман умерла в конце сороковых годов, оставив ему троих детей — Ольгу (родилась, видимо, в 1840 или в 1839 г.), Альфреда (р. 1842) и Генриха (Андрея) — нашего дедушку (р. 1845 г.).

Когда точно умерла Мария Каролина, неясно, так как на Смоленском лютеранском кладбище могила её не сохранилась, и в книге «Санкт-Петербургский Некрополь» о ней нет сведений (т. е. уже в начале XX века не было памятника на её могиле). Но уже в 1850 г. Александр Иванович женился второй раз.

Мария Каролина была родом из Штутгарта, где у её отца имелась укусовая фабрика^[45]. Её портрет в кружевной накидке с перчаткой в руке находится у нас и висит в комнате Саши и детей. А парные портреты её родителей («укусные дедушка и бабушка») находятся у Георгия Ивановича Петрашень. Они, по словам тети Али, очень тосковали после смерти своей дочери и очень любили своих внуков. «Укусная бабушка» часто приезжала в Петербург, а старшие внуки Ольга и Альфред какое-то время жили в Штутгарте. Младший же Henry (Генрих или по-русски, Андрей), которому было около пяти лет, когда отец Александр Иванович женился второй раз, находился у молодой мачехи Эрнестины фон Шольвин.

Из биографии Альфреда Александровича Парланда, архитектора, профессора Академии художеств, известно, что он учился в 4-й мужской гимназии, помещавшейся на 9-й линии Васильевского острова, а потом в штутгартской Политехнической школе; в 1862 году он поступил в Академию Художеств в Петербурге. Указания о том, что Альфред Александрович учился в 4-й гимназии, подтверждают, что Парланды жили в то время на Васильевском острове, вероятно, в своем доме в Бугском переулке, между 5-й и 6-й линиями.

Ольга Александровна тоже часто бывала у бабушки и дедушки в Штутгарте. У тети Али долго хранились её письма к младшему брату Henry (Андрею Александровичу), описывающие её путешествие с отцом в карете через Ригу и Кенигсберг, описание которых особенно запомнилось тете Але. Но письма были написаны

по-немецки старым готическим курсивом, и читать их было очень трудно. Они погибли у нас во время блокады.

Можно предположить, что именно там в Штутгарте бабушка Хельман выдала свою очень молоденькую внучку Ольгу Парланд за блестящего дипломата, консула в Неаполе Лео фон Моля. По словам их дочери Ольги Львовны Моль, род их происходил от французских графов де ла Моль, бывших гугенотами. Предок Лео фон Моля каким-то образом уцелел во время Варфоломеевской ночи и бежал в Германию, потеряв свое графское достоинство и став просто фон Молям. Во время блокады Ленинграда, в ноябре 1941 года Ольга Львовна передала нам большую родовую восковую печать с гербом фон Молей, которая уцелела у нас. И в 1945 году мы её продали в Эрмитаж^[46].

Это событие, т. е. свадьба Ольги Александровны Парланд и Лео фон Моля, произошло в конце 1850-х гг. Потому что точно известно, что вторая дочь Ольги — тоже Ольга — родилась 23 сентября 1860 г. А где-то в конце 1860-х гг. Лео фон Моль, проигравший все свое состояние в карты, застрелился, оставив без всяких средств в Неаполе молодую жену (ей еще не было 30 лет) с шестью детьми (пять дочерей и маленький сын, вскоре умерший).

К этому времени Александр Иванович потерял все свое богатство и был разорен. Кроме того, у него была вторая семья и трое детей: два сына — Фридрих-Вильям* (р. 1851 г.), Джон, умерший в 1889 г. и дочь Ида (ум. в 1890 г.). Их мать Эрнестина Элеонора фон Шольвин скончалась в 1869 г., к своему счастью, раньше своих детей^[47]. Её могила с мраморным надгробием сохранилась на Смоленском лютеранском кладбище. И рядом с ней потом похоронили Федора и Андрея Александровичей — её старшего сына и пасынка. Когда же скончался и где был похоронен сам Александр Иванович, неясно. Тетя Аля никогда не рассказывала о нем, своем дедушке^[48].

Когда овдовела его дочь в Неаполе, ему, видимо, было трудно ей помочь. И поэтому его сыновья — Альфред и Генрих (Андрей) — взяли на себя заботу об овдовевшей сестре. Ольга Александровна Моль поселилась со всеми своими детьми у своего брата Альфреда Александровича, только что окончившего Академию художеств и взявшего на себя заботу о ней и её детях. «Дядя Атя», как его стали называть малыши, был замечательно добрым, отзывчивым и

*Федор Александрович Парланд, скрипач оркестра С.-Петербургских Императорских театров. Дед Т. Н. Заднепровской

благородным человеком. Он всю свою любовь и жизнь отдал своей сестре и её дочерям, заменив им отца и поставив их на ноги.

Сам Альфред Александрович в 1871 году, после окончания Академии, за проект собора на православном кладбище получил большую золотую медаль и право поездки за границу. Но не поехал, так как его задержала постройка церкви Воскресения Христова в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом*. Сооружение её по его собственному проекту было поручено ему.

Я же думаю, что кроме постройки собора, Альфред Александрович не поехал за границу еще и потому, что надо было устраивать дела Ольги Александровны.

Он поехал в Италию, Грецию и Францию позднее, после окончания строительства собора. За привезенные им рисунки и чертежи, сделанные во время путешествия, в 1880 году ему было присвоено звание академика. И он начал преподавать в Академии художеств, читая лекции по архитектуре Древней Греции и Рима. В 1892 году он получил звание профессора, продолжая, наряду с чтением лекций, проектировать и строить в основном православные церкви и храмы по заказам разных помещиков — в Новгородской губернии в имении Н. И. Бобрикова, в Смоленской губернии в имении Ракеевых и т. д. ^[49], церковь Успения в Опочке, перестроил заново Знаменскую церковь в Старом Петергофе.

С 1881 по 1907 гг. Альфред Александрович был занят строительством храма Воскресения на месте убийства Александра II на набережной Екатерининского канала (собор «Спаса-на-Крови»). Его конкурсный проект был одобрен и принят правительственной комиссией. Это вызвало неудовольствие и недоброжелательность к Альфреду Александровичу со стороны семейства Бенуа. Так как на конкурс подавали проекты сам старый архитектор Николай Леонтьевич Бенуа и его сын Леонтий Николаевич**.

Думаю, что А. Н. Бенуа прав в том, что проект Альфреда Александровича имел успех потому, что был оформлен в русском стиле, так как «при повторном конкурсе, в котором принимал участие и Л. Н. Бенуа, было оговорено требование строить храм в чисто русском вкусе». Но обвинение А. Н. Бенуа в том, что «к Государю проники со своим проектом (пользуясь своими связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд», считаю необоснован-

*Это поселок Сергиево на берегу Финского залива между Лиговым и Стрельной, после революции переименован в пос. Володарский.

**См. «Мои воспоминания» А. Н. Бенуа, М., «Наука», 1980 г., т. I, с. 101, 563, т. II, с. 638.

ным. Альфред Александрович был в то время уже академиком Академии художеств (так же, как и Л. Н. Бенуа), уже известным зодчим, строившим в русском стиле. И имел в этом отношении уже имя. Судя по воспоминаниям его племянниц — тети Али и тети Оли — Альфред Александрович был не только исключительно добрым, но и очень скромным человеком и жил только на им самим заработанные деньги. Не имел, как некоторые члены семьи Бенуа, ни собственных домов, ни земельных участков с дачами.

В этом отношении семейство Парландов отличалось от богатых петербургских иностранцев — Бенуа, Кириштейнов, Кенигов, Эбертов, Макферсонов и других, а также от придворных архитекторов, фабрикантов и промышленников, с которыми Парланды были знакомы. Видимо, пока Александр Иванович был богат, положение семьи было иное. Но после его разорения братья Парланды — Альфред и Генрих содержали свои семьи только своим трудом и всю жизнь работали.

Помимо преподавательской деятельности в Академии художеств, где с 1905 года Альфред Александрович был уже действительным членом (т. е. полным академиком), он читал курс «Истории греческой архитектуры» в Московском археологическом институте (с 1907 по 1916 гг.)*.

Большой заслугой Альфреда Александровича при строительстве Храма Воскресения надо признать привлечение к работе таких больших художников, как В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и др. Интересно и то, что вместо росписи на стенах внутри и снаружи храма была применена мозаика. Она играет основную роль как во внешнем, так и во внутреннем убранстве храма. Над эскизами мозаик, кроме Нестерова и Васнецова, в мозаичной мастерской профессора В. А. Фролова при Академии художеств работали А. П. Рябушкин, Н. А. Бруни и другие.

Сооружение храма на берегу канала с сохранением внутри него того места, где на набережной был убит Александр II, потребовало специальных устройств, особенно, сплошного фундамента под всей площадью здания из бутовой плиты на бетонной подушке. Закладка храма состоялась 6 ноября 1883 года. Работы продолжались более 20 лет и закончились в 1907 году. Одновременно Альфред Александрович проектировал здание ризницы Храма Воскресенья (1906-1907 гг.) и решетку Михайловского сада на Екатерининском канале (1903–

*Памятные книжки для слушателей московского Археологического института. М., 1907, 1914, 1916 гг.

1907 гг.). А также особняк Н. Г. Глушковой, тоже в русском стиле, на Большой Дворянской улице (теперь ул. Куйбышева, 25), переданный затем архитектором А. А. Олем для врача Белозерского*.

Несмотря на то, что современники (А. Н. Бенуа, В. Я. Курбатов и др.) считали храм Воскресения неудачным, псевдорусским, копирующим храм Василия Блаженного в Москве, надо отдать должное этой постройке и оценить объективно труд А. А. Парланда, создавшего собор, без которого не мыслится теперь облик города.

Сам А. А. Парланд умер от голода в Петрограде в 1919 году семидесяти семи лет. Почти одновременно с ним, также от голода, скончалась и его любимая сестра Ольга Александровна фон Моль. Похоронили их на Смоленском лютеранском кладбище на острове Голодай, на втором месте Парландов, видимо, рядом с могилой их матери. Во время наводнения 23 сентября 1924 года водой унесло оба деревянных креста и после этого ни у нашего папы Михаила Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского, ни у дочери Ольги Александровны — Ольги Львовны не хватило сил и средств восстановить могилы. Академия же художеств в то время совсем не интересовалась памятью о своих членах**.

Папа восстанавливал после наводнения могилы своих родителей на Смоленском православном кладбище и могилы Андрея Александровича, Марии Николаевны, Жоржика Парланда и своей жены на лютеранском кладбище; их кресты тоже унесло водой, но их удалось найти.

Из всех пяти дочерей Ольги Александровны после Октябрьской революции в Петрограде осталось в живых двое: старшая Марья Львовна и вторая, родившаяся также в Неаполе в 1860 году, Ольга Львовна — наша любимая тетя Оля.

Третья дочь Марта в конце XIX века вышла замуж за крупного немецкого коммерсанта Шписа и уехала с ним в Москву, а потом в 1914 году в Германию, куда после объявления войны, выслали всех немецких подданных. Ольга Львовна даже после революции (до прихода к власти Гитлера) переписывалась с ней и её детьми. Их было пять человек.

Старший, Бруно Шпис был коммерсантом и жил в Хельсинки; дочь Дези была балериной-босоножкой, последовательницей Айседоры Дункан; Ирина стала певицей. Сын Лео был выдающимся

*Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1975, с. 402, 463.

** Собственно говоря, Академия художеств после революции была полностью упразднена и восстановлена только перед войной.

музыкантом-дирижером и после Великой Отечественной войны приехал в СССР и выступал в Ленинградской филармонии. Самый младший, любимый племянник Ольги Львовны, Вальтер был художником и жил в Индонезии на островах Ява и Суматра. Он присылал тете Оле фотографии своих картин и собирался организовать их выставку в Европе. Но во время перехода в Европу пароход, на котором он ехал, затонул и Вальтер погиб со всеми своими картинами. . . Для тети Оли это был удар^[50].

Младшие её сестры — Елена и Александра (Элен и Беби) были певицами, окончили Петербургскую консерваторию и преподавали в ней. В начале революции они решили уехать из голодного Петрограда в Грузию, в Тифлис; доехали до Владикавказа и оттуда по Военно-Грузинской дороге дальше, но до Тифлиса не доехали. Как и где они погибли, никто никогда не узнал. . . Гибель их не только для Ольги Львовны, но и для нашей тети Али была большим горем.

Оставшиеся в живых Марья и Ольга Львовны дожили в Ленинграде до Великой Отечественной войны. Марья Львовна умерла от дистрофии осенью 1941 г. Ольга Львовна была еще жива в конце января 1942 года. Ей 23 сентября 1941 г. исполнился 81 год. Марья Львовна была, наверное, на один-два года её старше.

Она была, когда мы с ней познакомились в 1924 году, маленькой худенькой старушкой — с белыми волосами, сутулая, позднее сгорбленная, очень тихая, неразговорчивая. Всегда пристально следившая за разговором тети Оли и повторявшая за ней последнюю фразу. По словам тети Али, она была «глупенькая» — по современным понятиям, вроде дебила. И всегда в семье за ней пристально смотрели и опекали её. Её приучили дома к домашней работе.

Не знаю, когда и на какие средства (Маяя Благовещенская считает, что это были деньги из какого-то наследства фон Моля, их отца, для Марьи Львовны где-то в Удельной организовали какой-то пансион, в котором она была как бы хозяйкой. Ездить туда надо было на трамвае, и однажды Марья Львовна уже в пустом вагоне на последней остановке нашла сверток, в котором оказался грудной ребенок. Она взяла его себе на воспитание, привязалась к нему, но ребенок скоро умер, и Марья Львовна по нему страшно тосковала. Тогда нашли и дали ей на воспитание девочку Лизу Рейман (от которой отказалась мать). Я помню эту Лизу в 1916 году девочкой лет 9–10. Её, конечно, Марья Львовна удочерила, но воспитывали и содержали её Альфред Александрович и Ольга Львовна. Позднее, уже будучи взрослой, эта Лиза причинила много горя Ольге

Львовне и оказалась по отношению к ней и к Марье Львовне очень черствой и неблагодарной. После революции, уже взрослой, она нигде не училась и не работала толком, жила, собственно, за счет тети Оли. Как-то она узнала, что она не родная дочь Марьи Львовны, начала искать своих родных, нашла своего сводного брата Юстуса и вышла за него замуж. К большому огорчению тети Оли. И постоянно устраивала ей скандалы. Во время одного такого скандала она в ярости большим кухонным ножом изрезала портрет Джона Парланда, висевший у тети Оли над диваном*. Перед самой войной она была выслана вместе с Юстусом из Ленинграда и вернулась обратно уже в середине 1950-х годов. Получила комнату, жила уроками и опекалась Марией Ивановной Петрашень (Мусей)... Но в нашей (особенно, в моей) памяти она осталась человеком, принесшим много горя нашей любимой тете Оле.

Не любить Ольгу Львовну было невозможно. Мы познакомились с ней сознательно в 1924 году, осенью, когда ей было 64 года, а мы с Верой были девочки 9 и 12 лет. Но, тем не менее, мы сразу почувствовали, что она не только «тетя», но и друг, который вполне понимает маленьких девочек. Сразу начали называть её на ты и полюбили её. Так же горячо её любили тетя Аля и папа. Высокая, сдержанная, некрасивая лицом, но с прекрасной фигурой, она как бы олицетворяла образ знатной дамы — аристократки, с безукоризненными манерами, но, вместе с тем, всегда была приветливой и доброй. Всегда подтянутая, прекрасно, как нам казалось, одетая. В большой черной шляпе с полями и черной бархоткой на шее, обязательно с зонтиком и в перчатках она приезжала к нам и Петрашням на дачу в 1929 году в Малую Ижору под Ораниенбаумом. В любой момент и в любую погоду приходила к больной тете Але в 1930-е годы к нам на Васильевский. У нее было только одно темное шерстяное платье и несколько блузок, перекрашенных, переделанных и даже перештопанных. Но всегда накрахмаленных, выглаженных. Жилось ей очень трудно. В большой, бывшей дяди Атиной квартире на углу Кронверкского и Зверинской улицы, на пятом высоком этаже без лифта, у нее с Марьей Львовной было сперва две комнаты. А потом её «уплотнили» и оставили только одну. Правда, комната была большая, светлая, но и мебели в ней было много, собранной из всей старой большой квартиры.

*Впоследствии Ольга Львовна отреставрировала этот портрет. Осенью 1941 года, уже во время блокады, она принесла его нам и вместе с папой повесила его в моей теперешней комнате. Туда, где он висит с тех пор. В 1966 г. его вновь реставрировал реставратор Эрмитажа Евгений Герасимов.

Сейчас трудно представить себе, как жили после революции в больших коммунальных квартирах их бывшие хозяева. Комнаты были разделены шкафами, буфетами на закутки, в которых стояли кровати. Один из закутков изображал столовую с обеденным столом. У тети Оли, кроме того, был рояль, который она обещала завещать после своей смерти нашему папе. Она же была преподавателем пения и до, и после революции. Я не знаю, получала ли она пенсию? Если да, то очень маленькую и зарабатывала на жизнь себе и Марье Львовне уроками пения, английского и немецкого языков. Ученики приходили к ней и занимались днем. Тут же в той же комнате Марья Львовна — старенькая, очень тихая — сидела смиренно в своем закутке за шкафом.

Тетя Оля же не только преподавала, вела группу немецкого языка с какими-то детьми, но и вела хозяйство: мыла, стирала, готовила — все сама. У нее всегда был идеальный порядок в комнате и чистота. Она очень берегла остатки вещей и книги Альфреда Александровича. На стенах висели большие ящики-витрины с его помпейскими коллекциями и осколками, найденными им, черепков древнегреческих ваз, а также подлинные резные двери церковных царских врат. У окна на специальной мраморной тумбочке стояла уменьшенная копия (модель) куполов храма Воскресения (Спаса-на-Крови). На окнах и в вазе на столе всегда были цветы. В комнатах были большие кафельные печи, которые Ольга Львовна топила сама. (Не знаю, кто и за какие деньги таскал ей на 5-й этаж дрова!) Но так как дрова были дорогие и их надо было экономить, то у нее в комнатах всегда было прохладно. Но тетя Оля никогда на это не жаловалась, а Марья Львовна носила ватную кацавейку и куталась в платок. Помимо уроков, тетя Оля в одну из комнат (пока их было две, примерно до 1928–1929 гг.) пускала к себе жить одну или двух «барышень»-студенток. Они спали на диване и на кушетке, помогали как-то убирать комнаты и топить печи, что-то очень немного платили и вносили какую-то долю в хозяйство, т. е. утром и вечером питались вместе с тетей Олей и Марьей Львовной. Жили они без прописки (тогда это еще не было обязательно). Бывали среди них симпатичные и, наоборот, неуживчивые. Но тетя Оля всегда была с ними вежлива и приветлива.

Майя Благовещенская после окончания школы, поступив в Университет в 1933 году, прописалась у тети Оли и жила с ней до самой войны и уехала в 1941 году от нее в эвакуацию. В квартире было много жильцов, но заправляла всем бывшая горничная Ольги Алек-

сандровны — Маша. Она работала на каком-то заводе и являлась типичной для первых лет революции активисткой — членом партии, ненавидящим «буржуев». Но несмотря на это все-таки с почтением относилась к Ольге Львовне. Тем не менее, иногда на общей кухне, где все готовили на примусах, было напряженно. Но опять-таки тетья Оля никогда ни на кого не жаловалась — занималась с детьми своих соседей музыкой и языками.

Раз в год — 23 сентября праздновалось очень торжественно её рождение. И она очень любила, чтобы в этот день у нее были бы все родственники — Петрашени, наша семья: папа, тетья Аля и мы трое, кто-нибудь из Благовещенских. И очень редко кто-нибудь из «других Парландских» (как говорила тетья Оля), т. е. дети младшего брата Альфреда Александровича — дяди Феди (Федора Александровича). Его сын Федор Федорович (Федя) и дочери Нина Федоровна Пехтерева и Мария Федоровна Вагнер со своими мужьями. Но они бывали у тети Оли очень редко. И я даже не помню, чтобы у нее на рождении была вдова Федора Александровича — Прасковья Михайловна. Зато обязательно присутствовали старые друзья тети Оли и Марьи Львовны — «барышни Локенберг» — три седые, небольшого роста, очень скромные пожилые дамы.

Угощение у тети Оли всегда было очень скромное — но поражала необыкновенно красивая сервировка стола: чудесные чашки завода Веджвуд, хрустальные бокалы, рюмки, тарелки, хрустящая белая скатерть на большом раздвинутом столе и положенный на нее вышитый «лейфер» — дорожка через весь стол. И, конечно, цветы. Все мы старались принести в этот день цветы. Хотя доставать их в те годы было трудно. В 1930-е годы я приносила какие-нибудь растения в горшочках из оранжерей Ботанического института.

Гвоздем угощения у тети Оли были маленькие тартинки (бутербродики) — с помидорами, яйцами, луком и иногда со шпротами, которые Ольга Львовна делала сама, так же как и пирог с капустой, который она сама пекла. Часто после чая тетья Оля играла на рояле, иногда с папой в четыре руки, иногда аккомпанировала Васе Петрашень, бравшему у нее уроки пения. Но помимо этого торжественного дня все мы любили уже взрослыми забежать просто так к тете Оле. Посидеть с ней рядом в мягком кресле и просто поговорить. Я, будучи студенткой, иногда вырывалась к ней между работой и занятиями в Университете. Мне было удобно доехать до нее на восьмом номере трамвая, ходившего от больницы Эрисмана по Кронверкскому проспекту через Биржевой и Дворцовый мосты. Я

забегала к тете Оле, а потом бежала через Биржевой мост в Университет. Очень ценила тетя Оля, когда её приглашали в филармонию или в театр. Помню, в 1940 или 1939 году я позвонила ей, что у меня есть два билета на галерку в Народный дом, где после войны помещался кинотеатр «Великан», на «Евгения Онегина» с участием двух лучших певцов — В. Р. Сливинского и С. Я. Лемешева. Первый считался лучшим Онегиным благодаря удивительному голосу и очень красивой, благородной внешности. А второй, знаменитый Лемешев, приехал из Москвы в Ленинград специально для этого спектакля. Татьяну пела Кузнецова, тоже очень хорошая певица. В Народном доме был организован филиал Мариинского театра. Там была хорошая акустика, большая сцена; художественным руководителем его был Н. К. Печковский (первый тенор театра). Он и Сливинский были кумирами ленинградских театралов. Еще школьницами мы делились на «печковисток» и «сливинисток». Мне очень нравился Сливинский, и папа подарил мне его портрет, который стоял у меня на столе и восхищал домработницу Соню. Сочетание в «Евгении Онегине» двух замечательных певцов Ленинграда и Москвы было событием, и, конечно, тетя Оля с радостью согласилась пойти на спектакль. То, что это галерка, её несколько не смутило. «Надо взять газеты, — сказала она мне, — и мы будем сидеть не на своих местах, а на ступеньках гораздо ниже, в ярусах». Так мы и сделали, и сидели на ступеньках: я — недавно кончившая Университет — и почтенная дама 78 лет. Спектакль, конечно, был замечательный. Но постановка была новая — бал в Петербурге происходил не в парадном зале, как обычно, а декорация изображала парадную лестницу (вроде, как в филармонии), по которой поднимался Онегин, в то время, как наверху по бокам лестницы танцевали полонез и экосез. Тете Оле очень не понравились танцующие дамы и, вообще, дамы. «Посмотри, — говорила она, — они без нижних юбок. Никогда бальные платья не надевали без нижних юбок»... Но Онегин — Сливинский и Ленский — Лемешев ей очень понравились. Мне же казалось, что лучшего исполнения этой оперы я никогда не видала. Да так оно и было, на самом деле! А она ведь слушала самых лучших певцов мира, не только в Петербурге, но и в Париже, и в театре Ла Скала в Милане. Дядя Атя дал своей любимой племяннице возможность путешествовать по Европе. Она очень много рассказывала о своих путешествиях. В основном, в конце лета 1938 года — после смерти тети Али...

Она первая приехала к Вере, когда узнала о её кончине... А потом, когда я уже вернулась из командировки, мы с папой поехали в Павловск на дачу, — в деревню Этюпа, в конце Павловского парка.

Там мы жили одно время с папой, и к нам погостить на несколько дней, когда папа уже уехал в город, приехала тетя Оля. Чтобы не оставлять нас одних, как она сказала (мне дали отпуск без сохранения содержания на две недели), так как очередной месячный отпуск в июне я провела с тетей Алей в Елизаветино. Вот за эти дни мы очень сблизились и еще больше полюбили тетю Олю. Мы гуляли с ней по парку, часто ходили во дворец, читали вслух, и она рассказывала о своей молодости, о своих путешествиях.

Меня больше всего поразили её рассказы о пребывании в Бретани, о высоких берегах океана, об отливах. Когда вода отступала, можно было спускаться вниз и ходить по освободившемуся от воды дну и наблюдать жизнь оставшихся на земле крабов, морских звезд, водорослей и так далее. В этих рассказах оживала картина морского дна после отступления воды. И странно, и интересно было слушать эти рассказы такой почтенной, казалось, далекой от природы дамы. Говорила она и том, что не вышла замуж, потому что ждала «принца» и отказывала многим претендентам. И, по-видимому, немного сожалела об этом, так как не раз повторяла, что ждать «принца», наверное, не стоит. Когда читала вслух одна из нас, она учила другую штопать особым способом чулки. Стараясь как-то скрасить и нам, и папе, когда он приезжал, наше горе. . . Не только к нам, но и ко всем Петрашеням она относилась удивительно тепло. Вася и Таня учились у нее пению. А когда она бывала у них на набережной на каком-нибудь празднике или «просто так», то всегда играла на рояле танцы, чтобы мы немножко потанцевали. Особенно любила она вальс из оперы Гуно «Фауст», и танцевать под него было очень приятно. . .

Осенью 1941 года, уже во время блокады, она пришла к нам (помоему, на папины именины 21 ноября) — пришла, конечно, уже с трудом. Принесла портрет Джона Парланда. «Хочу, чтобы он был всегда у вас, — сказала она. — Я думала, что когда-нибудь передам его Ози (Освальду Андреевичу — брату мамы и тети Али, жившему в Финляндии). А теперь хочу, чтобы он всегда был бы у вас. . . » Папа поцеловал её и её руку, и они оба повесили этот портрет над маской Пушкина, над книжным шкафом у окна. Еще принесла она нам с Верой по чашке Веджвуда и несколько хрустальных тарелок. Как она все дотащила, уму непостижимо! И еще сказала папе, что теперь он может взять и перевезти к себе её рояль. . . Папа поблагодарил её, но сказал, что сейчас это сделать невозможно, что это можно будет осуществить уже после войны. . . Больше она к нам не приходила. . . Во время её последнего пребывания у нас она обедала с нами около горячей печурки-буржуйки: был суп из хряпы (полумороженных листьев

свеклы и капусты, которые я как-то собирала за Серафимовским кладбищем) и котлеты из дуранды, которую нам принес какой-то папин ученик из института им. Покровского (вернее, я ходила за ней куда-то, на какой-то завод в конце Малого проспекта). А потом был настоящий кофе, который тетя Оля пила с удовольствием... Зерна кофе перед началом блокады купила еще не по карточкам Вера.

Потом, в декабре 1941 года, не то я, не то Вера заходили к тете Оле и приносили ей немного хряпового супа и котлетки из дуранды. С баночкой такого супа Вера собиралась пойти к ней 19 января 1942 года. Но в этот день Вера и Нина Панаева отвозили папу в стационар, в гостиницу «Астория» на Исаакиевской площади. Я же должна была идти в свой и папин институты регистрировать хлебные и продовольственные карточки. А вечером папа там в «Астории» умер...

Попала к тете Оле Вера уже в конце января, после папиной смерти, когда мы готовились к эвакуации с моим Ботаническим институтом. Марья Львовна к тому времени уже умерла. А тетя Оля лежала, так как уже не было силы ходить и что-нибудь делать — от слабости. Лежала она не в своей большой комнате, а в маленькой комнате Маши — своей бывшей горничной, которая во время блокады как-то теплее и человечнее стала относиться к Ольге Львовне. В комнате было тепло, обогревалась она буржуйкой, и тетя Оля лежала ухоженная на чистых простынях в постели. Она обрадовалась Вере, обрадовалась принесенному супу-бурде. И опечалилась, узнав о смерти папы. Снова жалела о том, что не удалось ей подарить ему рояль. А когда узнала, что мы уезжаем, заволновалась — что-нибудь послать Дези Благовещенской (тете Дези), еще летом эвакуированной с Майей на барже Геологического института (ВСЕГЕИ). Она попросила Машу сходить в её комнату и принести из буфета серебряные ложки и вилки — для того, чтобы мы взяли их с собой и потом переправили бы их тете Дези (не то в Уфу к Майе, не то в Репетек, где жил и работал сын тети Дези — Элий Николаевич). Не соображая, что нам будет страшно трудно это сделать, так как мы могли взять с собой только по 20 килограммов вещей. А ложки и вилки тяжелые. Маша пошла в её комнату и вернулась с тем, что в буфете их нет. Пусто! Тетя Оля отвернулась к стене и ничего не сказала. Действительно ли их там не было, т. е. значит, их украли соседи, или Маша нарочно так сказала, чтобы присвоить их потом после смерти Ольги Львовны, — никто никогда не узнает.

Умерла она, видимо, в марте 1942 года. . . Когда после эвакуации Майя Благовещенская, которая была прописана у тети Оли, пришла в её квартиру, из вещей Ольги Львовны ничего не осталось: ни мебели, ни картин, ни посуды, ни коллекций Альфреда Александровича и копий куполов собора Спаса-на-Крови. По словам оставшихся в живых соседей, весной 1942 года приехали какие-то люди на машине и забрали, якобы для охраны, все оставшиеся после смерти Ольги Львовны вещи. . .

Похоронили её, так же как и большинство умерших в блокаду людей, в братской могиле. Но где? Когда? На каком кладбище? Неизвестно. Да, может быть, и не надо об этом думать. . . Столько людей — близких, друзей, родных — не имеют могил. И мы не знаем, где они лежат. . . В братских ли могилах Ленинграда? На дне Ладожского озера? Или где-то в общих могилах (надо надеяться!) на станциях вдоль «Дороги жизни» по эту и по ту сторону Ладоги? Или в общих могилах на Севере в лагерях. . . Ведь восстановить даты рождения и кончины Александра Ивановича Парланда и его первой жены Марии Каролины Хельман — наших прадедушки и прабабушки — скончавшихся в мирное, доброе, старое время XIX века — не удалось. Так что же горевать о том, что мы не знаем, где покоится Ольга Львовна! Но сейчас, оглядываясь назад в конце своей жизни и вспоминая тетю Олю, думаешь, какой большой душевности и мудрости она была. И жалеешь, что по молодости лет и занятости мало общалась с ней. . .

Третий сын Александра Ивановича Федор Александрович был музыкантом, скрипачом Императорских театров. Он был женат на Прасковье Михайловне, и у них было трое детей.

Старшая Мария Федоровна была замужем за Николаем Петровичем Вагнером, морским офицером, гидрографом. Он был арестован и расстрелян в 1938 году. Их дочь Татьяна Николаевна замужем за Юрием Александровичем Заднепровским, профессором-археологом. Их дочь Александра (Саша), тоже историк-этнограф — замужем за внуком Эми Андреевны Парланд, сыном Веры — Михаилом Арсеньевичем Семеновым-Тян-Шанским. У них двое детей, Кирилл и Женя.

Вторая дочь Федора Александровича — Нина Федоровна (умерла в 1942 году во время блокады) была замужем за Николаем Николаевичем Пехтеревым и у них был сын Лева. Младший сын Федора Александровича — Федор Федорович — умер во время блокады в Ленинграде в 1942 году. Обо всем этом подробно должна написать Татьяна Николаевна Заднепровская или её дочь Саша.

НАШИ (МАМИНЫ И ТЕТИ АЛИНЫ) ПАРЛАНДЫ

Второй сын Александра Ивановича Парланда — Андрей Александрович, наш дедушка, не получил высшего образования, как его брат Альфред Александрович, потому что отец его разорился и материальное положение семьи резко изменилось. О его молодости и юности сведений очень мало. Тетя Аля не рассказывала. Можно предположить, что он так же, как и Альфред Александрович, учился в 4-й мужской гимназии на 9-й линии Васильевского острова, окончив её, сразу стал работать и зарабатывать себе на жизнь. Видимо, у него были определенные коммерческие способности, и он скоро стал маклером на торговой хлебной бирже, т. е. посредником между русскими купцами-хлеботорговцами и иностранными купцами. При заключении сделок между ними ему помогало прекрасное знание английского и немецкого языков, а также энергия. Судя по портретам, он был очень подвижный, энергичный, сильный человек. Спортсмен. Прекрасно катался на коньках и увлекался академической греблей, состоя членом английского гребного клуба на Крестовском острове. Об этом его увлечении свидетельствуют призовые серебряные кубки, полученные членами команды четырехвесельных шлюпок на гонках на Неве 12 июля 1873 г. и 18 июля 1874 г., т. е. когда Андрей Александрович был уже женатым человеком.

А о том, что он прекрасно катался на коньках и был одним из первых конькобежцев в Петербурге, рассказывала тетя Аля. В конце 1860-х гг. он, будучи еще холостым, свободным молодым человеком, ездил в Неаполь к своей овдовевшей сестре Ольге Александровне Моль. И затем, если не материально, как Альфред Александрович, то во всем, чем мог, помогал сестре, с которой также был дружен. Эта большая дружба братьев и сестер и взаимная помощь друг другу были характерной чертой семьи Парландов и проявились затем во всех поколениях детей и внуков Андрея Александровича.

В 1872 году Андрей Александрович женился на Марии Николаевне Кюстер. Ему было 27, а ей 20 лет. Она родилась 15 февраля 1852 г. тоже в Петербурге. Кто был отец Марии Николаевны, я не знаю, тетя Аля об этом не говорила. У нас была до войны его маленькая фотография — пожилого, плешивого, довольно полного господина. Видимо, он был состоятельный человек. Мария Николаевна училась и окончила Petrischule, прекрасно играла на рояле. Таня Петрашень говорила, что она училась у Николая Рубинштейна. Я из разговоров тети Али этого не помню. Мать бабушки Марии Николаевны умерла рано (наверное, тоже от родов). И отец её же-

нился вторично. Мачеха была, по словам тети Али, венецианская еврейка. От второго брака отца у бабушки было три сестры и брат, которых она очень любила.

Старшая дочь от этого брака Шарлотта Николаевна Рюккер родилась в Италии, и её с детства называли «Нина» (по-испански *niña* — ребенок). Это тетья Нина старшая, мать Нины Эрнестовны Вальдгауэр, бабушка Диты Яковкиной. Кроме дочери Ниночки (тети Нины младшей), у Шарлотты Николаевны был еще сын Рудольф — дядя Руди, военный врач, умерший в начале 1919 года от сыпного тифа под Петроградом. Сама Шарлотта Николаевна умерла в 1932 году 72-х лет от рака.

Затем шла тетья Аня — Анна Николаевна Моор. Она была на четыре года моложе Шарлотты Николаевны. У нее никогда не было детей. И она вместе со своим мужем, дядей Андрюшей, как его называла тетья Аля, усыновила девочку Эльзу. Дело усыновления было обставлено сложно. Знакомый тети Анин врач сказал ей, что в Петербург приехала какая-то знатная дама-датчанка и родила девочку, которую просила отдать «насовсем» в хорошую семью — маленькую, еще грудную. Так у тети Ани появилась дочь Эльза. Все было обставлено очень здорово: у девочки была кормилица, родители Моор сияли. И обожали дочку. Она тоже их очень любила, но когда ей было лет 15–16, кто-то из прислуги сказал ей, что она «приемыш», и это очень поразило Эльзу. И с тех пор она стала гораздо хуже относиться к родителям. И когда отец умер, после революции, почти перестала заботиться о тете Ане. В 1924 году, когда Петрашени приехали из Череповца в Ленинград, они предложили тете Ане переехать насовсем к ним на набережную. Она прожила в их семье всего два года и внезапно умерла в 1926 году от инсульта. Что стало в дальнейшем с Эльзой, не знаю, так как ни у нас, т. е. у тети Али, ни у Петрашени она после смерти тети Ани не появлялась.

Третья сестра бабушки — тетья Лили — вышла замуж за какого-то очень богатого господина, видимо, шведа или финна, и прожила всю жизнь в Финляндии в Гельсингфорсе. И умерла там в 1930-х гг. тоже от рака.

Младшим в семье Кюстеров был сын Вильгельм — дядя Вилли, Василий Николаевич. Он жил в одном доме с Шарлоттой Николаевной — в доме номер 6 по 7-й линии Васильевского острова. Это был их общий собственный до революции дом, доставшийся от дедушки Кюстера. Жили они на 3-м этаже (последнем) этого дома, занимая весь этаж. По одну сторону лестницы жили Рюккеры-Вальдгауэры,

по другую — Кюстеры. Дядя Вилли (кем он был, я не знаю) умер в 1922 или 1923 году. Когда мы приехали в Ленинград в 1924 году, то застали его вдову, совсем глухую даму, ходившую всегда в трауре (в черном), тетю Адю. (Как её звали по-настоящему, я не знаю.) Она жила с дочерью Тамарой — женой военного моряка — и у нее была девочка Ляля, умершая восьми или семи лет очень трагично от скарлатины в 1928 году. (Дети тогда часто умирали от скарлатины.) Почти одновременно мужа Тамары Бориса Петрова, капитана II ранга, перевели в Кронштадт, и Тамара уехала к нему с маленькой, только что родившейся девочкой Таней. После войны она один раз приходила к Петрашеням. А тете Аде пришлось покинуть Россию и поехать в Германию, в Берлин, к сыну. У нее и у дяди Вилли было два сына — Вася и Коля, и оба они после революции очутились в Германии, кто-то из них работал шофером. Как и где они потом жили, никто не знает. А вторая (старшая) дочь Кюстеров — Вера вышла замуж за японца — советника посольства в Петербурге и уехала с ним еще до Первой Мировой войны — в 1911–1912 гг. в Японию. Жила там в Иокогаме. (Познакомились они на катке Кадетского корпуса в остатках парка Меншиковского дворца.) Тетя Аля рассказывала нам в Череповце, что у нее есть двоюродная сестра Вера в Японии и что у нее родились два мальчика-япончика. И когда в 1922 году в Японии было страшное землетрясение и часть Иокогамы оказалась смыта гигантской волной, тетя Аля очень волновалась за семью Веры. Но потом пришло известие, что они все благополучно пережили землетрясение и не погибли. Но больше о них сведений не было.

Вот и все, что рассказывала тетя Аля о семье своей матери. Кто был её отец — дедушка Кюстер, она не говорила, и кто были его жены, тоже неизвестно. Умер он (судя по данным Петербургского некрополя) 11 марта 1870 г., т. е. еще до бабушкиной свадьбы. А родился, по данным того же некрополя, 3 декабря 1826 г. Похоронен он на Волковом лютеранском кладбище рядом со своим дедом Иосифом фон Кюстером (дед этот родился 19 марта 1765 г. и умер 22 ноября 1826 г.) и бабушкой Шарлоттой фон Кюстер, скончавшейся 20 января 1856 г. Самого же отца нашей бабушки звали Николай Васильевич. Так как он умер в 1870 году, то понятно, что тетя Аля его не знала. Старшей дочери его Марии Николаевне было в то время 18 лет, тете Нине (Шарлотте Николаевне) — 13 лет (она родилась в 1857 году), а тетя Аня, тетя Лили и дядя Вилли были совсем маленькие. Кто была их мать и кто их воспитывал после смерти отца, тетя Аля не рассказывала, и вряд ли теперь кто это восстановит.

Из всех бабушкиных сестер мы больше всего знали тетю Нину (старшую), Шарлотту Николаевну, названную так, видимо, в честь её бабушки Шарлотты фон Кюстер, умершей в 1856 году, за год до её рождения. И тетя Аля, и папа очень любили Шарлотту Николаевну. По рассказам тети Али, она была очень умная, много читала, хорошо знала русскую литературу, любила музыку и искусство. Её всегда окружали интересные люди. И дом Шарлотты Николаевны не был похож на буржуазно-мещанские, по своим запросам, дома многих петербургских немцев. Основным качеством Шарлотты Николаевны было «умение слушать», подавать реплики в разговорах, быть внимательной и тактичной. Поэтому люди как-то раскрывались в разговорах с ней, и всегда у нее бывали интересные, разносторонние люди. Кто был её муж Эрнест Рюккер, я как-то не понимала. Он умер, видимо еще до Первой мировой войны. Но он был состоятельный человек. Своим детям они дали прекрасное образование. Сын Рудольф окончил Военно-Медицинскую академию и был военным врачом. (Значит, Рюккеры были русские подданные.) Дочь Шарлотты Николаевны Нина Эрнестовна работала во время Первой мировой войны медицинской сестрой в госпитале при Английском посольстве. В начале 1920-х гг. была секретарем в Институте истории искусств и в 1922 году вышла замуж за профессора Эрмитажа Оскара Фердинандовича Вальдгауэра. В 1923 г. 8 мая у них родилась дочь Эдит, наша тетя Дита, окончившая Педиатрический институт и вышедшая замуж за Ю. А. Яковкина, крупного химика. И у них родились дети — Нина и Андрей.

Такова история, очень неполная, семьи Кюстеров, семьи нашей бабушки Марии Николаевны Парланд.

Больше о семействе Кюстеров и их потомках, кроме Эдит Яковкиной (урожденной Вальдгауэр), мне ничего не известно. Мать Диты Нина Эрнестовна — очень веселая, остроумная, красивая и образованная, погибла во время сталинских репрессий в 1937 г. в Астрахани, куда она была выслана из Ленинграда весной 1935 года, когда начался после убийства Кирова — 1 декабря 1934 г. — погром старой ленинградской интеллигенции. А перед тем в ноябре 1934 г. нарком просвещения А. С. Бубнов распинался на похоронах Оскара Фердинандовича Вальдгауэра в Эрмитаже о том, что «его дочь получит самое лучшее в СССР образование». Вместо этого весной 1935 года его вдову Нину Эрнестовну и дочь Эдит сослали в Астрахань, где Нина Эрнестовна погибла, а Дита попала в детский концлагерь и была вытащена оттуда только благодаря хлопотам дочери ака-

демика И. П. Павлова — Веры Ивановны, школьной подруги Нины Эрнестовны^[51]. Вера Ивановна хлопотала о Дите, говоря, что хочет усыновить дочь профессора Вальдгауэра, мать которой была её подругой. . . Хлопоты эти в 1938 г. кончились успешно. Эдит вернулась в Ленинград, и Вера Ивановна официально стала её опекуном. Но жила Дита не у нее, а у других друзей Нины Эрнестовны — в семье профессора А. А. Брока, дочь которого была подругой и Нины Эрнестовны, и Веры Ивановны. А сам Брок был учителем и другом Оскара Фердинандовича^[52].

Ну вот теперь, рассказав о родственниках Андрея Александровича и Марии Николаевны Парланд — наших дедушки и бабушки, я могу, наконец, перейти к истории их семьи — семьи «наших Парландов». Где и как познакомились дедушка и бабушка, не знаю. Женились они, как я уже говорила, в 1872 году, их свадьба была 12 декабря. Жили они, конечно, на Васильевском острове. Но где именно была их первая квартира, не знаю. Впоследствии они много раз переезжали — увеличивалась семья и нужна была более просторная квартира или почему-либо домохозяева отказывали. Они жили очень долго на 13-й линии в доме 20, где был большой сад, в котором играли младшие дети. Переезды с квартиры на квартиру были очень сложны: на нескольких подводах перевозились вещи, мебель и так далее. Тетя Аля всегда при этом вспоминала поговорку о том, что «переезд подобен пожару». Они всегда жили скромно, но весело.

Дедушка — высокий, стройный, спортивный, видимо, в молодости любил танцевать и веселиться. У нас до сих пор сохранилась одна лайковая перчатка с крагой, оставшаяся от дедушкиного маскарадного костюма. Вторую перчатку он потерял. До войны была его фотография в костюме Фердинанда из пьесы Шиллера «Коварство и любовь». В белом парике, с черными усами, с треуголкой и шпагой он был очень красив. Бабушка была небольшого роста, очень хорошенькая, с огромной косой, лежавшей короной на голове. Больше всего на нее похожа Нелли Благовещенская — её внучка. Она была великолепной музыкантшей. И музыка в доме Парландов звучала постоянно. Бабушка тоже, наверное, была веселой и в первые годы замужества любила «выезжать» и танцевать. Её розовое шелковое платье до сих пор хранится у нас в мамином сундуке. И не раз мы все её внучки и даже правнучка Маша Петрашень (Самсонова) надевали его на домашних маскарадах. До блокады у нас была маленькая фотография бабушки Марии Николаевны с первым ребенком — сыном Андреем. Она в темном платье с короной-косой на голове сидит около стола и держит обеими руками стоящего на сто-

ле ребенка в одной рубашонке, вероятно, 10-11 месяцев, прижимаясь лицом к его головенке... Более поздних фотографий её не было; не было почему-то и её портретов, нарисованных тетей Алей*, так же, как и её сестры. Бабушка Мария Николаевна в старости была полной и широкой в бедрах. Правда, она родила восемь человек детей и еще у нее были одни неудачные роды, когда ребенок погиб. И всех детей, кроме младшего Жоржика, бабушка кормила сама.

Старший из детей Андрей (Генрих, Гарри, или Херри, как его называли на английский манер) был старше своего младшего брата Жоржика на 17 лет. Всех детей крестили в англиканской церкви, которая помещалась на Английской набережной. Конечно, все дети рождались дома. А девочки — Маруся, Дези и Беби (Эми) родились летом в Парголово, где Парланды много лет жили на даче и куда дедушка приезжал каждый вечер после работы («службы», как тогда говорили). Принимал детей на даче замечательный, по словам тети Али, врач Парголовской (по существу, сельской) больницы Андрей Викторович Сочава**.

Не знаю, когда точно, но во всяком случае, уже после женитьбы дедушка Андрей Андреевич перешел в русское подданство. Но для того, чтобы его сыновья не были бы военнообязанными, он предпочел стать финским подданным Российской империи. Потому что Финляндия имела статус Великого Княжества, входящего в Российскую империю, и её подданные не были военнообязанными и не подлежали мобилизации в случае войны. Гарнизонную службу на территории Финляндии несли русские войска. По социальному положению Андрей Александрович считался мещанином. Это не имело в общем никакого значения. (Но когда папа М. Д. Семенов-Тянь-Шанский женился на маме — Эми Парланд, то его дядюшки — сыновья Петра Петровича — Андрей, Валерий и Измаил (насчет Вениамина, не знаю) возражали против папиной свадьбы, мотивируя эти возражения тем, что мама слабого здоровья и мещанка. Хотя, казалось бы, какое это имело для них значение?)

Домашним языком в семье Парландов был русский. Думаю, что русским языком хорошо владели еще все члены семьи Александра Ивановича. А по приведенным в начале моего рассказа

* Сохранился только один её масляный портрет в овальной раме, на котором она изображена, вероятно, тоже в первый год замужества. Он после 1924 г. висел у нас и пострадал во время блокады. После войны мы отдали его Благовещенским, так как Нелли очень похожа на бабушку.

** Дед папиного спутника в Буреинской экспедиции 1931 г., а потом друга, Виктора Борисовича Сочавы, моего сослуживца по Отделу геоботаники Ботанического института, академика и тоже старшего учителя и друга.

документам даже первый русский Парланд — Джон, приехавший из Честера, тоже уже владел русским языком. Но одновременно в ходу были английский и немецкий. Поскольку жены Александра Ивановича и Андрея Александровича были немки.

Тетя Аля, естественно, больше рассказывала о своем детстве и своей юности — т. е., о детстве и юности старших детей дедушки и бабушки — Херри, Алисы, Ози и Джесси. В их детстве в доме чаще, чем в последующие годы, бывали иностранцы, главным образом, англичане: товарищи дедушки по спорт-клубу, приезжие коммерсанты и так далее. За обедом в присутствии детей разговор шел в основном по-английски. И тетя Аля говорила, что все они, вернее, трое старших — Херри, Алиса и Ози — выучили английский и немецкий языки дома — «играючи», без всяких специальных занятий. Это мнение так укоренилось в ней, что даже после революции, в Череповце, она считала, что мы так же выучим без особого труда хотя бы один иностранный язык. Забывая при этом и не понимая, что мы-то никаких разговоров ни по-английски, ни по-немецки в Череповце дома не слышали... Даже младшие Парланды — Маруся, Дези, мама и Жоржик — в детстве почти не знали английского, так как семья все больше русифицировалась, чисто английских друзей и гостей становилось все меньше и меньше. В доме все говорили по-русски, и к дедушке чаще стали приезжать русские купцы и зерноторговцы, особенно из Поволжья, куда выезжал по коммерческим делам и сам Андрей Александрович. В доме хранился подаренный ему каким-то саратовским крупным купцом серебряный прибор — круглый поднос, графин и четыре серебряные чарки с надписями: «Самъ выпей и друга угости Парлондъ». Дедушку очень ценили за его коммерческие и деловые способности на Торговой бирже*, куда дедушка ездил каждый день на «своем извозчике», наняваемом обычно на год. Извозчики с пролетками и частные экипажи стояли днем на полукруглом выступе Васильевского острова между Ростральными колоннами, где теперь разбит сквер, ожидая своих хозяев, которым часто приходилось разъезжать по городу в разные места. Тогда швейцар Биржи выходил из парадной двери и сверху лестницы кричал: «Извозчик Парланда!» (или какого-нибудь другого маклера). И дедушка бегом сбегал с лестницы Биржи и сразу садился в подъехавшую уже «свою» пролетку, чтобы куда-то ехать

*Русская Торговая биржа принадлежала Торговому обществу. При ней был штат посредников по торговым сделкам — биржевых маклеров. Таким маклером и был А. А. Парланд.

со своим клиентом или к клиенту. Семья была большая, дети росли и требовалось все больше расходов. Восемь детей и родители, няня, кухарка, горничная, домашняя швея (детское белье и платья шили, а потом перешивали дома)... Словом, кормить и содержать нужно было около 12–15 человек. А работал-то только один дедушка! Тетя Аля считала, что он получал примерно около 17 000 рублей в год. Совсем немного на такую большую семью! И Парланды жили, в общем-то, очень скромно, без всякой роскоши. Когда однажды друг дедушки очень богатый коммерсант Давыд Артурович Макферсон сказал дедушке, что он ежегодно дарит своим двум дочерям и жене по два новых зонтика — один от солнца, а второй от дождя — и спросил Андрея Александровича, как у него обстоят дела с такой проблемой, дедушка ответил ему, что он окончательно разорился бы на зонтиках, так как у него кроме жены пять дочерей. И покупать ежегодно по двенадцать зонтиков он не в состоянии.

Иван Васильевич Петрашень — муж Джесси Парланд в своих воспоминаниях в письмах, написанных в середине 1920-х годов, так писал о семействе Парландов:

Глава этого семейства Андрей Александрович — сухой, несколько выше среднего роста, хорошо сложенный англичанин, уже в достаточной степени обруселый, был хлебным маклером и сотрудником торговой газеты. Его узкое лицо напоминало мне лицо Диккенса — высокий лоб, нешироко поставленные карие глаза, тонкий с легкой горбинкой нос, седеющие усы, такая же небольшая французская бородка и всегда надлежаче подстриженные волосы с пробором посередине. Его малоподвижное и несколько чопорное выражение лица, его «умение носить костюм», его выдержанные манеры и немногословная речь с запинками в первое время не располагали меня к его особе. Мне представлялось, что он холоден и горд, как англичанин. Его отношение к своим детям как бы подтверждало мое представление о нем: отсутствие шуточно-ласкового обращения и частые замечания по поводу неподходящего сидения или стояния, способа есть или пить. Все это не походило на обращение со мной моего отца и поэтому меня не привлекало. Только впоследствии я узнал, насколько Андрей Александрович не походил на то, чем он казался, и насколько его работа не соответствовала его внутреннему содержанию. Он на самом деле оказался добродушным и доверчивым человеком с большими запросами, человеком непрактичным, оптимистом с душой ребенка. Ему бы очень подошло быть богатым меценатом искусств, проводить время в путешествиях на собственной яхте, охотиться (чего он был большой любитель) на серн, а при

случае и на львов, и быть щедрым благотворителем.

Жизнь устроила его иначе. Богатства она ему не дала, а снабдила его большим семейством, которое нужно было кормить, одевать, воспитывать и учить. При таких обстоятельствах и без высшего образования ему пришлось быть при коммерции, но в ней по своим свойствам он преуспевать не мог и перебивался со дня на день. Расходы были большие, а доходы только-только, и притом не всегда, дорастали до расходов. Бывали у него тяжелые моменты безденежья, которые он, надо сказать, переносил довольно легко, благодаря своему оптимизму.

Гораздо труднее в этом отношении жилось его супруге Марии Николаевне. Она была во многом противоположна своему мужу, как по внешности, так и по внутреннему содержанию: маленького роста, полная, седеющая брюнетка с неправильными чертами лица, лучистыми голубыми, несколько печальными глазами и маленькими сильными ручками. По её рукопожатию сразу можно было угадать пианистку. Она и действительно прекрасно играла на рояле, Она была хорошо образована, окончила педагогические курсы, знала четыре языка, была начитана и была большим мастером по светскому обращению. . . Мария Николаевна была пессимистка и жизнь несла тяжело. Редко бывала она не озабочена. Упомянутые периоды денежных затруднений, необеспеченность семьи, отсутствие каких-либо запасов угнетали её ^[53].

И все-таки, по словам Ивана Васильевича, в семействе Парландов интеллектуально преобладала мать и, вообще, женское начало. Дело отца — материальная сторона, а вся внутренняя политика дома и воспитание детей — матери. И несмотря на все трудности, Парланды дали своим детям не только среднее, но и высшее образование. И это Андрей Александрович считал своей обязанностью.

Учились мальчики в частной гимназии К. И. Мая, помещавшейся на 10-й линии и считавшейся одной из лучших в Петербурге. Девочки учились в 8-й женской казенной гимназии на 9-й линии, дом 6 — в том здании, где, когда оно пришло в угрожающее состояние, помещался в 1980-х гг. Дом пионеров.

Дома все занимались музыкой. Обязательно игрой на рояле, и кроме того, старший Херри учился играть на виолончели, а Освальд — на скрипке. Думаю, что, может быть, в организации этих уроков для мальчиков дедушке помогал советами его младший брат скрипач Федор Александрович — дядя Федя. Алиса занималась рисованием. Но был ли у нее специальный учитель рисования, тетя Аля не рассказывала.

В дальнейшем все дети, кроме нашей мамы, получили высшее образование: старший Генрих (дядя Наггу) кончил юридический факультет петербургского Университета, Ози (Освальд) — Институт инженеров путей сообщения и был специалистом по строительству железнодорожных мостов. Алиса (тетя Аля) стала художницей и окончила х удожественную школу при Обществе поощрения художеств; Джесси и Маруся — Высшие бестужевские курсы и получили дипломы преподавателей истории и литературы; Дези — Высшие стебутовские курсы, готовившие специалистов-агрономов; Жоржик — Филологический факультет университета. Только Эми (Беби), вместо того, чтобы продолжать учиться после окончания гимназии, заболела туберкулезом легких и несколько раз ездила в санаторий Халила на Карельском перешейке (на станции Уси-Кирка)*. У нее была очень сильная корь, когда ей было лет 8–9, после чего она стала температурить и у нее обнаружился туберкулезный процесс в легких.

Вообще, в семье Парландов легкие оказались самым слабым местом в организме. И туберкулез обнаружился не только у мамы. От него скончалась в 1938 году тетя Аля; считалось, что она заразилась, ухаживая за мамой. Но и у тети Джесси перед самой блокадой также обнаружили старческий, тихий туберкулезный процесс. Тетя Маруся и тетя Дези скончались от воспаления легких, так же как и сам дедушка Андрей Александрович; от старческого туберкулеза или воспаления легких умерли в Финляндии дядя Херри и дядя Ози. В следующем поколении — у внуков Андрея Александровича — также у многих оказались слабые легкие, а настоящий туберкулез был обнаружен у Веры Семеновой, Риты Фидровской, Нелли Благовещенской. Но все это было потом.

А пока дом Парландов на Васильевском острове, несмотря на болезнь маленькой Беби, был веселым и гостеприимным. Всегда в доме были маленькие и грудные дети, с которыми возились старшие. Через 10 лет после свадьбы у Андрея Александровича и Марии Николаевны было пять детей: Херри — 9 лет, Алиса — 8 лет, Ози — 6 лет, Джесси — 4 года и Маруся — около года. Грудные младенцы в доме были почти всегда — с 1874 по 1891 год.

По теперешним временам это кажется невероятным. Столько детей! Не было газа, горячей воды, ползунков, колготок... И всех вырастили — купали каждый день, нагревали воду на плите, стирали, сушили пеленки, подгузники, штопали, перешивали... Для такой многодетной семьи требовалась и большая квартира — не

*Ныне ст. Каннельярви.

меньше 10–11 комнат. Столовая, гостиная, спальня, кабинет, комната старших братьев, комната Алисы, комната Джесси и Маруси, затем Дези и Беби, комната Жоржика, комната няни, людская — для кухарки и горничной. И еще какая-нибудь проходная комната между столовой и кухней — «буфетная», где кроме того стояла большая гладильная доска, где гладили белье и стояли шкафы и дополнительный буфет. . .

Управляла всем домом и детьми бабушка Мария Николаевна с помощью няни. Няня (не знаю, как её звали) прожила в доме Парландов с момента появления на свет Херри в 1873 году до того, как он кончил Университет и дольше, т. е. почти всю жизнь. У тети Али хранилась большая выцветшая фотография няни, сидевшей на скамейке в саду при доме 20 на 13-й линии между двумя старшими братьями — Херри и Ози — в студенческих тужурках, обнимавших няню за плечи. Другой воспитательницы детей и помощницы у бабушки, кроме няни, не было. Всех детей, кроме Жоржика, бабушка кормила сама. К Жоржику была взята кормилица. Его первое имя было Steven, и его называли Стива. Но кормилица называла его «Стивулька», что очень не нравилось дедушке и бабушке, и потому его стали называть Жоржиком, по его третьему имени — Джордж. Возились со всеми маленькими детьми старшие сестры — Алиса и Джесси. Вероятно, благодаря этому они как-то всегда умели не только ухаживать за детьми, но и подходить к ним. Всегда знали, как и чем занять ребенка, как его успокоить, без сюсюканья приголубить. Обучать всем навыкам, приучать к самостоятельной работе, смотреть, чтобы ребята не болтались без дела. . . Повидимому, такой же «педагогический Божий дар» был и у Беби — мамы. Помогали старшим сестрам, вернее, играли и забавляли младших и старшие братья — Херри и Ози. Тетя Аля рассказывала, что когда Беби была совсем маленькая и только начинала ползать по полу (никаких манежей не было — ребенка спускали на пол, и он ползал по ковру и просто по полу), старшие братья, приходя из гимназии, любили брать её к себе в комнату. На полу расстилали большую карту Европейской части Российской империи, наклеенную на коленкор (с двумя палками, чтобы вешать карту — как в школе). И пускали Беби ползать от северных широт на юг и обратно. При этом все — и большие мальчики, и маленькая черненькая девочка — весело смеялись и получали большое удовольствие.

Старшие сестры, кроме того, помогали бабушке по хозяйству — шили, штопали чулки братьям, дедушке и малышам. Это само собой

входило в их обязанности. А вот Маруся и Дези были в хозяйственных делах избалованы. Маруся с детства считалась самой красивой и была страшно близорука. Интересно заметить, что близорукой была бабушка — Мария Николаевна (хотя сама она считала, что испортила себе зрение чтением в детстве в постели при свече). Близорукими были Ози, Маруся, Дези и Жоржик — причем сильно близорукими, но очки (пенсне) они надели, только когда кончили школу. Дедушка Андрей Александрович обладал великолепным зрением и был даль-нозорким. Это его качество унаследовали Херри, Алиса и Джесси. Насчет мамы — просто не знаю.

Но Маруся, по-видимому, плохо видела с детства. Это повлекло какую-то пассивность и медлительность. Кроме того, когда ей было 12–15 лет, она была чем-то больна и её посадили летом на интересную диету — в день надо было съесть несколько фунтов лесной земляники и больше ничего. Естественно, что её больше баловали и меньше было у нее домашних обязанностей. Она не возилась с детьми, не умела и плохо шила. Много читала, несмотря на близорукость и советы врачей беречь глаза. Стала более эгоистичной, иногда капризной и мало приспособленной к домашним занятиям. Она всегда была очень хорошенькая, даже красивая, и её все баловали.

А с Дези случилась трагедия. Когда ей было 6 лет, у бабушки, открывавшей к завтраку бутылку лимонада, эта бутылка взорвалась, и оторвавшееся бутылочное горло попало в глаз Дези. Она в этот день была простужена, и ей велели сидеть покрытой пледом на диване в столовой. Пока старшие были в школе, а няня гуляла с Беби, девочке стало скучно и она, завернувшись в плед, сползла с дивана и пошла через столовую у дверям буфетной, где бабушка возилась с лимонадом. Как это случилось? Как попало стекло в глаз ребенку? Как это вынесла не только сама Дези, но и бабушка? Трудно себе представить! В результате — хорошенькая, живая, кудрявая девочка в 6 лет оказалась без одного глаза... Это была трагедия для всей семьи, и конечно, все: родители, братья, сестры — старались всячески баловать и утешать Дези. Почти сразу же ей сделали искусственный стеклянный глаз, который вставлялся по утрам и вынимался на ночь. Поэтому на всех сохранившихся её детских фотографиях незаметно, что у нее один глаз не видит. В дальнейшем, когда она уставала, приходилось вынимать глаз на более долгие сроки, и тогда она носила марлевую повязку. С такой повязкой мы знали тетю Дези до конца её жизни, так как после революции доставать и менять стеклянный глаз было невозможно.

Эта катастрофа сказалась и на характере Дези — она совсем не умела шить, еще меньше, чем Маруся, помогала по хозяйству. Зато много играла на рояле, пела и с восторгом бегала на кухню помогать бабушке, когда та пекла что-нибудь «вкусненькое» и сладкое. В этом отношении у Дези был кулинарный талант. Все, что она приготавливала из еды, и, особенно, все выпечные изделия у нее выходили сногшибательно вкусно. Мы, будучи взрослыми, не раз говорили ей, что она «зарыла свой талант», что «ей надо было руководить кондитерской фабрикой» и так далее. Тетя Дези смеялась, пекла замечательные вещи, но никогда не помнила по-настоящему рецептов, всякий раз делала все «на глазок». И всегда все выходило необычайно вкусно. . .

В детстве Дези была очень дружна с Беби ; они спали в одной комнате, вместе играли, учились. Но мама была слабенькая и многого, видимо, не могла делать даже в детстве. Когда подросток Жоржик, то, естественно, он стал их товарищем, особенно для мамы, так как она была его старше на четыре года, а Дези — на шесть лет. Все дети Парландов были очень дружны и сохранили эту дружбу на всю жизнь. В доме всегда было весело, несмотря на то, что самой бабушке часто нездоровилось — то она ждала ребенка, то кормила, то ребенок болел и так далее.

Но жизнь дома была с самого начала четко налажена. Утром, перед тем, как идти в школу, дети завтракали вместе с дедушкой, уезжавшим на свою биржу. Обязательно к завтраку по английскому обычаю полагалась овсяная каша и кофе. И дополнительно: сыр, колбаса, яйца и т. д. А к часу или двум дедушка приезжал завтракать. К этому времени старшие дети возвращались из гимназий. И всегда дополнительно бывали к завтраку кто-нибудь из товарищей братьев, подруг сестер, а часто Андрей Александрович привозил кого-нибудь из своих клиентов или друзей. Обедали в шесть часов. Видимо, дедушка приезжал раньше и отдыхал перед обедом, потому что после обеда он много времени уделял детям: читал вслух, разговаривал. Бабушка или кто-нибудь из старших детей играл на рояле, и тогда все начинали танцевать. Приходили гости. Днем было принято приходить с визитами между завтраком и обедом, заходили бабушкины сестры, дядя Атя, дядя Вилли. . . Иногда двоюродные сестры фон Моль. Но они были старше всех наших Парландов, и ближе всех со всеми ними была Ольга Львовна, наша «тетя Оля».

Кроме того, почти каждый день приходили товарищи старших братьев по школе и подруги Алисы и Джесси. Уютный дом дедушки

и бабушки привлекал мальчиков, и они приходили прямо из гимназии вместе с Херри и Ози. Особенно общительным был Ози, и его школьные друзья стали друзьями всей семьи. Так, одним из товарищей Ози по классу в гимназии К. И. Мая стал Коля Умнов. Будучи еще во втором классе и живя с родителями на даче в Парголове, он пришел к Парландам — влез в окно — 7 июня 1886 г., в день, когда родилась наша мама — Беби. Он сам рассказывал нам об этом в 1925 году. И объяснял, что поэтому «мы и Умновы родственники». Сын богатого купца Коля Умнов очень привязался к семье Парландов и часто приходил к ним вместе с Ози после уроков завтракать к Марии Николаевне.

Здесь он познакомился с сестрой одноклассника Херри по гимназии Артура Макферсона — Эми. Подругой по гимназии Джесси Парланд, дочерью старого друга Андрея Александровича, крупного коммерсанта и очень богатого человека, Давыда Артуровича Макферсона. Настоящего англичанина, вернее, шотландца, так и не принявшего русского подданства. Жена его Алена Петровна, прожив всю жизнь в России, не научилась даже говорить по-русски. А младшая дочь Макферсонов — Эми — была ровесницей Джесси, они родились в один год — Джесси 23 октября, а Эми 15 февраля 1878 г. Тетя Аля говорила, что Эми было пять дней, когда она её увидела, а самой тете Але было тогда 4 года. В 1903 году Николай Иванович Умнов женился на Эми Давыдовне Макферсон. И молодые Умновы стали на всю жизнь верными и самыми близкими друзьями Ози, Джесси, тети Али, а потом нашего папы и его семьи. Их младшая дочь Ирина (Ирина Николаевна Лесникова) была для нас с Верой не только самой близкой подругой, но, по существу, старшей сестрой до последних дней своей жизни. Таким образом, дружба А. А. Парланда и Д. А. Макферсона прошла через жизнь их детей и внуков. И мы с Верой считали детей Ирины Таню и Диму своими племянниками. О трагической судьбе Умновых после революции я постараюсь рассказать, если хватит пороку, дальше^[54].

Кроме Коли Умнова, Ози пригласил приходиться к себе и другого своего товарища Густю Цейдлера, в будущем крупного врача-терапевта, и Ваню Петрашень, ставших самыми близкими друзьями Ози. Впервые Ваня пришел к Парландам в 1890 году, будучи уже в 6-м классе. А с Ози они учились с 1-го класса, и Ваня, по его собственным словам, сразу влюбился в Ози, но долго скрывал свое восхищение им. Подружились они лишь в 6-м классе. Ваня с первого класса был пансионером, т. е. жил в пансионе гимназии К. И. Мая.

Поступил он в нее в августе 1884 года девяти лет. Жил он в пансионе потому, что его родители: отец — инженер Василий Матвеевич и мать Анна Иосифовна жили до 1892 г. в Новой Ладоге, где Василий Матвеевич ведал всем строительством и обстановкой на Ново-Ладожском канале и на островах в южной части Ладожского озера. На этих островах под его руководством и по его проектам строились маяки. В частности, знаменитый маяк на острове Сухо, сыгравший огромную роль в Великой Отечественной войне и в функционировании Дороги жизни между осажденным Ленинградом и Большой землей, был построен Василием Матвеевичем Петрашень.

Ваня только на зимние каникулы ездил домой — на лошадях, зимой в кибитке, запряженной тройкой, весной в тарантасе. За ним обычно приезжал сам отец Василий Матвеевич. Во время каникул в Новой Ладоге была совсем другая жизнь. У Василия Матвеевича была своя лошадь, корова. Ваня дружил с кучером. Рядом был Волхов, а за ним — Ладога. Отец часто брал его с собой, когда ездил на канал, на маяки — в лодке или под парусами. В 13–14 лет Ваня уже умел управлять парусами и ему было позволено ездить на рыбалку с одним старым рыбаком, служившим у Василия Матвеевича. Часто им обоим давалось поручение свезти какой-нибудь груз вниз по Волхову и по каналу в разные поселки на берегу озера (Свирица и др.), а когда строили маяк Сухо на искусственном острове, они возили туда строительные материалы. И Ваня прекрасно научился плавать, грести и управлять парусами.

Оставшись в 9 лет совершенно один, без семьи, в чужой гимназии, он, естественно, скучал и тосковал по домашнему уюту. Хотя и ходил, вернее, ездил на конке, в конце недели в Орловский переулочек к старой приятельнице своих родителей Прасковье Николаевне Юрневой, которая все гимназические годы опекала Ваню — до 1892 года, когда Ваня перешел в 8-й класс, а его родители переехали в Петербург и поселились на 9-й линии Васильевского острова (недалеко от Большого проспекта).

Ози Парланд тоже поступил в майскую гимназию в 1884 году, но подружился они с Ваней по-настоящему только в 6-м классе. Их связывала также любовь к музыке. Освальд рос в музыкальной семье, где музыка благодаря Марии Николаевне звучала почти всегда. Ваня дома музыку не слышал и толком не учился играть на рояле ни дома, ни в гимназии. И будучи уже в 6-м классе потерял всякую надежду овладеть роялем и перешел на корнет-а-пистон, на котором со временем играл хорошо. Ози же дома учили играть на скрипке.

Хотя он, не учась систематически игре на рояле, был и отличным пианистом. Они оба часто выступали на школьных концертах. А дома, у Парландов, куда Ози привел Ваню в 1890 году, часто играли в четыре руки или аккомпанировали друг другу. С этого времени Ваня стал самым близким другом Ози. Небольшого роста, большеголовый, с ясными голубыми глазами — блондин Ваня как-то сразу прижился в семье Парландов.

Пока он был пансионером в гимназии К. И. Мая, ему надо было просить разрешения у директора пойти в гости к кому-нибудь из своих товарищей. Обычно пансионеры только по субботам отпускались домой или к своим опекунам. Когда Ози Парланд в первый раз пригласил к себе Ваню и их общего товарища (тоже пансионера) Скалона, оба мальчика растерялись. Так как почему-то считали, что директор В. А. Кракау не любит Парланда и не отпустит их к нему в дом. Поэтому они сказали, что их пригласил Шпергазе, не сообразив, что Кракау очень дружен с семьей этого ученика. Оказалось, что именно в этот же вечер сам Кракау был у Шпергазе и очень удивился, что там нет Петрашенья и Скалона. Утром на другой день он уличил их в обмане и назвал лгунами. Назревал огромный скандал. Ози Парланд обратился к отцу с просьбой помочь его товарищам выпутаться из беды. Андрей Александрович сразу приехал к В. А. Кракау, сказал, что мальчики, товарищи его сына, Ваня Петрашень и Саша Скалон были у него, что они ему очень понравились, вели себя очень учтиво и что он очень просит отпустить их обоих к себе, так как его сын Освальд очень любит этих своих товарищей. Инцидент был исчерпан. И с тех пор Ваню и Сашу отпускали к Парландам. . . Но интересно, что в тот первый вечер Андрей Александрович почти не видел друзей Ози, так как ехал в театр. И только зашел в комнату своих сыновей за биноклем, который Ози и Херри не положили на место, и видел товарищей Ози только мельком. За чайным столом в столовой мальчиков принимала Мария Николаевна и дочери.

Видимо, за годы, проведенные в пансионе — почти семь лет — Ваня стосковался по семейному уюту и домашнему теплу. Дома, в Новой Ладогe росли родившиеся без него дети: Коля, Вася, Аня и Витя. Мать — Анна Иосифовна целиком была занята ими и хозяйством. А отец Василий Матвеевич, которого Ваня обожал и боготворил в детстве, постепенно с годами стал все больше и больше интересоваться материальными благами жизни. Старался упрочить материальную базу семьи, брал большие строительные подряды. Это было чуждо взглядам Вани, полного идеалистических мечтаний о благе народа,

критически воспринимавшего церковное учение и склонявшегося к идеалам народников. В семье же Парландов было хорошо, тепло, уютно, о деньгах и богатстве не помышляли. Все были веселы, довольны, спорили об искусстве, любили музыку, живопись.

По вечерам, — пишет в своих воспоминаниях И. В. Петрашень, — обычно, после обеда, который кончался около 8 часов вечера, часто Мария Николаевна садилась за рояль, а дети танцевали. Это была, как теперь говорят, послеобеденная зарядка. Когда дети устанут, а то и до этого, Мария Николаевна начинала играть кого-нибудь из классиков. Игра её, сильная, чистая, была удивительно хороша. Она играет, а Андрей Александрович с торжественным, официальным видом смотрит ей в ноты и переворачивает страницы. Точь-в-точь импрессарио. Если бы в это время кто-нибудь громко заговорил или засмеялся — попало бы ему от Андрея Александровича, но случаев таких не бывало, игра Марии Николаевны захватывала, и дети, молчаливые, сидели не шевелясь. К роялю иногда присоединялась скрипка брата Андрея Александровича — дяди Феди и Освальда, виолончель старшего сына Генриха, или Херри, как его называли дома, а также мой корнет-а-пистон. Получались недурные сольные номера, дуэты, трио, но все-таки лучше были соло на рояле. Класс игры Марии Николаевны был классом выше всех остальных.

Конечно, бывал на этих домашних концертах и, вообще, в доме по вечерам и дядя Атя — Альфред Александрович. Тогда велись разговоры об искусстве, архитектуре, живописи. Ничего похожего дома у Вани Петрашень не было, и он тянулся ко всем членам семьи Парландов. Тетя Аля вспоминала, что он в последнем классе, а потом, будучи студентом, приходил почти каждый день, завтракал, болтал с Ози, а потом садился в большое мягкое кресло в столовой у камина, брал книжку или просто так «наблюдал жизнь». К нему подбегали и его дергали малыши — Жоржик и Беби; он отвечал на вопросы Марии Николаевны или беседовал с ней попросту. Старшие девушки занимались своими делами, шили, штопали, читали, помогали по хозяйству, занимались с маленькими. Даже, не стесняясь, после мытья головы, ходили при нем с распущенными волосами, пока они сохли, как бы не замечая Ваню. Но когда его не было в кресле, делалось как-то неуютно. Так все привыкли к нему.

В одном классе с Ози и Ваней учился и Николай Рерих. Но он очень неприятно держался со всеми товарищами, его в классе не любили. И приглашать его в дом у Ози не было никакой охоты. Даже на последнем выпускном вечере в гимназии Николай Рерих демон-

стративно не был. Позднее Жоржик и Миша Семенов приводили к Парландам младшего брата Н. Рериха — Володю.

У Алисы в гимназии были две «задушевные» подруги, тоже часто бывавшие у Парландов: Шура Шишкова, дочь художника-декоратора Марининского театра, жившая в казенном доме Академии художеств*, и Катя Бередникова**, увлекавшаяся мелодекламацией. Все они учились в 8-й женской гимназии помещавшейся на Васильевском острове — на 9-й линии д. 6. Рядом располагалась 4-я мужская гимназия. И, конечно, гимназисты и гимназистки обеих этих гимназий встречались и знакомились. Особенно на ежегодных балах, проводимых в женской гимназии. Вероятно, таким образом тетя Аля и её подруги познакомились с Валерием и Измаилом Семеновыми — сыновьями Петра Петровича Семенова и его второй жены Елизаветы Андреевны. Валерий был примерно ровесником Алисы, Кати и Шуры и очень подружился с ними. А может быть, и ухаживал за ними. Тетя Аля говорила, что они его считали своей «четвертой подругой» и много времени проводили вместе. Валерий особенно ухаживал за Алисой, был с ней откровенен и даже однажды сказал ей, что несмотря на то, что она ему очень нравится, жениться на ней он не собирается и не может, потому что её отец не состоятельный человек, а он хочет жениться на богатой***.

Видимо, в дальнейшем Валерий и Измаил привели к Парландам своего племянника Рафаила Семенова — сына их старшего сводного брата Дмитрия Петровича. Рафаил тоже учился в гимназии К. И. Мая, но был старше на три года Ози и попал в дом Парландов через своих дядюшек. И сразу очень привязался ко всем, подружился на всю жизнь с Ози и с Ваней Петрашень. По моим понятиям, Рафаил Семенов был гораздо тоньше своих преуспевающих дядюшек. Он, так же как и Ваня Петрашень, был в те годы идеалист. Оба мечтали приносить своей деятельностью пользу народу, очень

*Впоследствии А. Шишкова вышла замуж за моряка Верховского, дослужившегося до чина адмирала, и во время революции оба они с двумя дочерьми эмигрировали во Францию. А их сын Сергей погиб в 1920-х гг. в Соловках. [55]

**Екатерина Павловна Бередникова вышла замуж за брата еще одной их одноклассницы Е. Н. Мясоедовой — Митрофана Николаевича Мясоедова, вдовца с шестью детьми, и родила трех дочерей — Екатерину, Наталью и Варвару Митрофановну, живших вместе с Екатериной Павловной в нашей квартире на 8-й линии д. 39, с 1926-го по 1982 г. Это семья Мясоедовых — Хмелевских — Ильиных — Фроловых [56].

***Позднее Валерий Петрович так и сделал — женился на дочери богатого купца — Капитолине Ивановне Кольцовой, завел карету с гербом на дверце и даже каким-то образом стал камергером [57].

увлекались идеями народников. И Рафаил, после окончания Университета, не остался в Петербурге, а стал земским деятелем и служил в Поволжье — в Оренбурге и в Сызрани.

30 декабря 1890 года у Парландов родился последний младший ребенок — Жоржик. И снова в доме появилась забота о маленьком существе, ставшем любимцем всей семьи. Ласковый, очень добрый, очень музыкальный — Жоржик начал рано играть на рояле и всегда внимательно слушал игру матери. Его все любили и баловали, и особенно любил его отец. И маленький Жоржик вместе с Беби всегда выбегали в переднюю встречать папу. И он вместе с ними радовался — брал их на руки, ласкал. После обеда, если не было музыки, читал вслух малышам. То, что именно папа читал вслух, — и не только малышам — было традицией Парландов. И перешло потом в семью Петрашеней и нашу. Именно папа читал вслух детям всех русских классиков, Диккенса и других писателей.

Старшие дети выросли, учились. Алиса и Херри «выезжали в свет, т. е. много танцевали у разных знакомых. Преимущественно, богатых василеостровских коммерсантов — знакомых и друзей Парландов. И тетя Аля рассказывала, что ей бывало немножко не по себе, когда она утром возвращалась домой после бала. Провожал её или Валерий Семенов, или она возвращалась домой с братом Херри. А младшие сестры и Ози допивали в это время свой кофе и торопились в школу. В середине 1890-х годов Алиса, Ози и Ваня Петрашень окончили гимназию. Алиса мечтала стать художницей и поступила в Школу живописи при Обществе поощрения художеств, помещавшемся на Большой Морской — там, где впоследствии находился ЛОСХ — Ленинградское отделение Союза Художников. Ваня пошел в Университет на физико-математический факультет, так как увлекался математикой и астрономией, но после второго курса перешел в Институт инженеров путей сообщения. В тот же Институт поступил и Ози. Несколькими годами раньше их окончил гимназию Мая старший брат Херри (Андрей) — и тоже пошел в Университет, на юридический факультет. Он так был рад, что кончил гимназию, что после последнего экзамена вышел из дверей школы на руках. Он обладал прекрасными манерами, был очень образованный и интересный человек, превосходно танцевал. До сих пор помню, как приятно было вальсировать с дядей Херри, когда тетя Оля у Петрашеней на набережной играла свой любимый вальс из оперы «Фауст» Гуно. В молодости, конечно, Андрей Андреевич пользовался успехом и любил светское общество, огорчая этим, видимо, Марию Никола-

евну (судя по воспоминаниям И. В. Петрашень). Тетя Аля говорила, что будучи студентом, а потом уже работая, он никогда не приходил вовремя к обеду, так как считал, что после службы он должен погулять и подышать. А время обеда и завтрака по английской традиции соблюдалось у Парландов очень строго. Кроме того, Мария Николаевна расстраивалась, что из-за его опозданий приходилось лишний раз затруднять прислугу, разогревая отдельно Херри обед. (Ведь газа и электроплиток тогда не было.)

Не знаю точно, когда Херри решил жениться и сделал предложение какой-то богатой девушке. Они были объявлены женихом и невестой, и обе семьи готовились к свадьбе. Все были как будто бы довольны и рады. Но вдруг Андрею Андреевичу показалось, что он недостаточно любит свою невесту (тетя Аля никогда не говорила нам её имени и фамилии). Он решил, что он обманывает её и себя, что это нечестно с его стороны и что в таком случае свадьбу нужно расстроить. Он бросился к матери, умоляя её помочь ему в этом деле. Не знаю, как он сам объяснился со своей невестой. Так или иначе, их помолвка расстроилась, и Мария Николаевна ездила извиняться к родителям девушки. . . А Андрей Андреевич, тоже расстроенный, остался один. Правда, тетя Аля считала, что, может быть, он и был прав, что при таких отношениях брак был бы несчастливый. И что этот поступок показывает его удивительную честность. Но тем не менее это осложнило жизнь семьи.

В 1897 году 12 декабря отмечалась серебряная свадьба Андрея Александровича и Марии Николаевны — и вся молодежь их семьи готовилась торжественно праздновать это событие. Решили устроить вечером спектакль — нечто вроде оперы в китайском стиле. И назвали представление «Китайщиной». По существу, это была шарада, так как разыгрывалось слово *Félicité*, т. е. счастье. Придумали сюжет, наметили действующих лиц. Как всегда и везде, подготовка к спектаклю и репетиции были самыми интересными и веселыми. Собирались у Парландов, по возможности днем, пока Андрея Александровича не было дома, и сочиняли либретто, подбирали арии, музыку, репетировали.

Сюжет был ясен — у богатого мандарина Чи-фунг-Чанга имеется дочь Фе — красавица, отказывающая всем женихам, так как любит молодого мандарина Си. Но отец сватает её за пожилого, очень знатного мандарина Ли. Но в конце концов соглашается на брак Фе и Си, и все пьют за здоровье молодых чай (*thé*). Для постановки спектакля сделали декорации, изображавшие сад, увешанный бумажными ки-

тайскими фонариками (ставилась опера в гостиной). Костюмы для главных героев заказали и взяли напрокат в костюмерном магазине. А для хора, сопровождавшего весь спектакль, шили костюмы сами — кимоно из ситца и шапочки сделали сами, косы китайцам сплели из черной шерсти даже туфли на высокой войлочной подошве сшили сами девушки Парланды и их подруги. У нас долго хранилось, и мы его надевали как маскарадное, мамино кимоно. Ей было 11 лет. На красном фоне были изображены девушки, стоящие на колесницах, запряженных бабочками. У маленького Жоржика было голубое кимоно и желтая юбочка под ним и шапочка с маленькой косичкой. Беби и Жоржик сидели на полу перед хористами. А хор, как в древне-греческой трагедии, сопровождал и объяснял весь спектакль.

Начинался спектакль кантатой, которую пел хор:

Богат и славен Чи-фунг-чанг
Шелками, серебром и золотом,
Где протекает Ян-цзи-янг,
Живет он в тереме богатом.

Знатней его нет никого,
Пред ним сгибаются все спины.
Сам богдыхан ценил его.
Но спеси нету в мандарине.

Прекрасной дочерью своей
Гордится больше он, ей-ей.

И то сказать, в Китае нет
Красавицы, Фе равной,
Ей завидных женихов
Шлет Япония с Китаем.

Фе гонит их как комаров,
Небрежно веером махая.
Всегда ответ её готов:
Она боится их усов.

Дальше Чи-фунг-чанг (его играл друг Херри и Ози — Артур Макферсон) обращался к дочери (Марусе Парланд):

Слушай, дочь моя родная,
Недоволен тобой я.
От Пекина до Шанхая
Слух донесся до меня,

Что красавица Китая
Всех прелестных женихов
Гонит, веером махая,
Словно скучных комаров.

Поет хор:

Очень жаль, очень жаль,
Это очень, очень жаль.

Чи-фунг-Чанг:

К нам еще один придет,
Хоть не знаешь ты его,
Я хочу, чтоб ты сейчас же
Вышла замуж за него!

Это важный, благородный
И богатый мандарин,
И притом еще дородный,
По фамилии Ли-фун-цин

Хор:

Очень рады, очень рады,
Мы ему ужасно рады!

Фе-Маруся бросается к няне (Алисе) с криком:

Чи-фун-чу! Замуж не хочу! Не хочу!

Потом Фе оборачивается к отцу и спокойно говорит ему:

Отец, я решила и замуж я выйду,
Но прежде исполни желание мое.
Судьба посылает жениха мне другого,
Судьбе повинуется чадо твое.

Загадай им загадку, и тот, кто её отгадает, будет моим мужем!

Хор поет:

Правильно, правильно!
Это очень, очень правильно!

Второе действие: Ночь, сад. Горят только маленькие фонарики.
На сцену выходит Си-Освальд и поет серенаду:

От Пекина до Шанхая
В освещеньи фонарей
Там, где пьют так много чая,
Никого нет Фе милей.

Много чая, много песней
Для прелестных льется дам,
Я же той, что всех прелестней,
Рис и опий свой отдам.

Луны уже нет, только свет фонарей,
О выйди, о выйди, Фе, поскорей!

Появляется Фе и шопотом спрашивает:

— Кто ты?
 — Я — Си!
 — Я — Фе!
 — Люблю!
 — Кого?
 — Тебя!
 — Нельзя!

Она приближается к Ози, который хочет её обнять, прижимает палец к губам и шепчет: «Помни, отгадка будет — чай!» И убегает. . .

Ози и Маруся в этой сцене были удивительно красивы.

Третье действие. На сцене Чи-фунг-чанг и Фе. Входит Си и поет:

Я из Кантона прискакал,
 Сейчас я налегке,
 И всю дорогу промечтал
 Я о прекрасной Фе.

Надел я новый свой халат,
 Коса моя лоснится,
 И так как я ведь не женат,
 Хотелось бы жениться!

Появляется Ли. Его играл приятель Херри — Жерве, видимо, тоже студент-юрист, отличавшийся очень подвижной физиономией и огромным чувством юмора. Он выходил на сцену, пританцовывая, под зонтиком в одной руке и с веером в другой, которым он обмахивался. За ним слуга, согнувшись, нес огромную стопу толстенных больших книг — переплетенные ноты. Ли тоже пел:

Конфуций, я с собой принес
 Трактатов тома три!
 Загадку я сейчас решу,
 Сейчас решу, ты только посмотри!

После этого хор поет кантату:

Перед китайкой молодою
 Мандарина два стоят.
 Оба смело и спокойно
 Прямо в очи ей глядят.

Оба блещут красотой,
 Оба сердцем горячи,
 Оба с длинною косою,
 Оба в платьях из парчи.

Чаю им она дороже
 И как опий им мила.
 Но кого из них, кого же
 Дева сердцем избрала?

Фе прижимается к няньке, и вперед выступает Чи-фунг-чанг. Он кланяется мандаринам и задает им загадку:

В стране чудесной растет древесна,
На вид прелестна, на вкус чудесна.

Ли бросается вперед и быстро говорит: «Это я сам! Я живу в стране чудесной, я на вид прелестный. . . » (не договаривает, потому что все хохочут). Си хлопает его по лбу и говорит: «Да, и лоб, как у древесны!» — и поворачиваясь к Чи-фунг-чангу, восклицает: «Это чай!» Фе бросается к нему, а хор поет:

О мудрый Си, о мудрый Си!
Ты знаешь все, что ни спроси!

Загадку решил ты и Фе получай!
То — чай, то — чай, то — чай!

Си берет Фе за руку, они становятся на колени перед Чи-фунг-чангом. Сзади Ли благословляет их огромным фолиантом Конфуция, и все ликуют.

Спектакль имел колоссальный успех. Андрей Александрович и Мария Николаевна совершенно не ожидали такого сюрприза! И искренне радовались постановке, о репетициях которой смутно догадывались.

Ваня Петрашень не принимал участия в спектакле, но очень много помогал при постановке и сочинении стихов. Его шедевр:

По улицам Пекина
Шел я с милою моею
И под тенью апельсина
Оторвал я косу ей.

вызвал много смеха, но был забракован. Тетя Аля подробно рассказывала нам о подготовке к спектаклю. Вспоминала стихи, которые мы запомнили. Рассказывала, что именно подготовка была самой интересной. Но я, конечно, уже многое забыла.

В память празднования Серебряной свадьбы Андрея Александровича и Марии Николаевны Парланд Альфред Александрович нарисовал картину. На ней изображено:

— Как рано утром дорогих родителей разбудила музыка — играли квартет (что именно, не помню), Ози и дядя Федя на скрипках, Херри на виолончели и Алиса на рояле.

— Затем дядюшки и тетушки: Альфред Александрович, Ольга Александровна, Кюстеры и Рюккеры — старшие родственники со стороны Андрея Александровича и со стороны Марии Николаевны — преподнесли по серебряному набору для чая и для кофе. Один из них — красные эмалевые с позолоченным серебром чайничек, кувшинчик, сахарница и щипчики — достался потом тете Але и хранился в нашей семье. Во время войны мы как-то не сообразили, что его

можно обменять на продукты. Просто забыли о нем. А когда мы с Верой эвакуировались, то, конечно, кто-то из соседей воспользовался им. И вернувшись, мы обнаружили только пустой футляр! Ну, это не относится к серебряной свадьбе Парландов.

Как бабушка Мария Николаевна выдержала этот день, тетя Аля всегда удивлялась. Днем приходили и уходили гости, родственники и знакомые. Их кормили завтраком, поили чаем и шоколадом. Потом Катя Бередникова — подруга тети Али (т. е. Екатерина Павловна Мясоедова) со своей сестрой представили какой-то водевиль с мелодекламацией*. Вечером после торжественного обеда был спектакль «Китайщина». Причем, конечно, Андрей Александрович и Мария Николаевна очень удивились ему и обрадовались. Выяснилось, что они «не подозревали» о подготовке спектакля. После него, конечно, молодежь танцевала. А потом был ужин. На картине, которая висит у дяди Егора (Георгия Ивановича Петрашень), ужин изображен с лакеями во фраках и т. д. Тетя Аля не любила эту картину, считала её неточной, безвкусной. . . Как было на самом деле — не знаю. . .

Но так или иначе — все вместе взятое явилось красивой и торжественной вехой на жизненном пути всей Парландской семьи. . .

Происходило все это в доме 20 по 13-й линии, где Парланды прожили больше двадцати лет. Это был большой двухэтажный деревянный дом, стоявший в саду. Верхний этаж снимали Парланды, в первом этаже, видимо, было две квартиры — в одной жили хозяева дома (на многих фотографиях, снятых в саду, среди детей Парландов фигурирует мальчик — сын хозяина). В другой квартире жило семейство архитектора Логина Шретера, состоявшее (кроме родителей) из двух дочерей и сына. Старшая дочь Элли была дружна с Алисой и Джесси. Впоследствии она вышла замуж за моряка Кубе и уехала сначала в Читу (не понимаю, почему), а потом во Владивосток. И конечно, после революции за границу. Младшая — Тони (Антонина Логиновна) была дружна с Дези и Беби, хотя была старше их. Но именно её Беби очень любила всю жизнь и называла её «Нитка». Она вышла замуж за Юлия Ивановича Бекмана, владельца стекольного завода в селе Плосково на берегу реки Луги в 15 км от станции Преображенская (теперь Толмачево)**.

*В их семье (Берединых-Мясоедовых) страшно любили декламировать и разыгрывать сценки из разных произведений.

**Ю. И. Бекман был страстный любитель энтомолог. Его коллекции насекомых хранятся в Зоологическом Музее, и он сам там работал в 20-е годы после революции. Он умер в 1929 г., а перед войной его вдову и двух сыновей, конечно, выслали из Ленинграда. Старшая его дочь Маргит — гидробиолог после Университета работала на Байкале, и мать поехала к ней, где и умерла.

Сын Шретера «Лунге», как его называли, — Логин Логинович, удивительно красивый юноша, учился в Академии художеств в классе архитектора Леонтия Николаевича Бенуа. Он очень был дружен с Марусей и Дези. И тетя Аля говорила, что обе семьи считали, что они породнятся, так как Лунге женится на одной из девушек Парланд. Но сам он думал иначе и женился на дочери своего шефа Леонтия Николаевича Бенуа — Екатерине Леонтьевне. И стал родоначальником современной династии архитекторов — Шретеров-Бенуа (Логин, Марианна и Михаил)... Конечно же, они учились сперва в гимназии К. И. Мая, а потом — уже в советское время — в 217-й школе. Я хорошо помню Мишу Шретера — первого красавца в школе. Он был, наверное, 1910 или 1911 года рождения. Отца у него не было — он умер, когда Миша был совсем маленьким. В параллельном классе с Мишей учился его двойник, вернее, его сводный брат Лешка Васильев. Они были как близнецы, очень похожи — и были очень дружны. Миша был брюнет, а Лешка — блондин. Их отец — архитектор Логин Логинович Шретер застрелился, когда мальчишкам было около года. Сел на подоконник в своей квартире, в собственном доме своего тестя Л. Н. Бенуа на 3-й линии, сказал: «Алла, я люблю тебя!» — и пустил себе пулю в лоб. Тетя Аля об этом ничего не рассказывала. Но об этом говорила вся 217-я школа, когда Миша и Лешка были в 6-м и 7-м классе. А пока, в конце XIX века Парланды и Шретеры благополучно жили в доме на 13-й линии и младшие дети весело играли в саду.

В конце 1890-х годов, накануне XX века жизнь Парландов постепенно менялась. Старшие дети кончили гимназию и пошли учиться дальше. У них появились новые друзья, новые интересы. Видимо, уже Джесси и Маруся не танцевали на балах, как танцевали Алиса и Херри, и их жизнь была больше наполнена курсами и лекциями. Хотя все свободное время они по-прежнему отдавали дому, посещали выставки, концерты. Подросли Дези и Эми (Беби); они учились в той же женской гимназии на 9-й линии. И у них тоже появились подруги и новые друзья. Но они очень тепло относились к подругам старших сестер — Эмичке Макферсон, подруге Джесси, и сестрам Ельчаниновым, двум очень некрасивым девушкам, учившимся в гимназии с Алисой, дочерям контр-адмирала Ельчанинова, страстно влюбленным в императорскую семью, особенно в императрицу Марию Федоровну. Тетя Аля вспоминала, что любовь Сони и Верочки Ельчаниновых к царским особам, с одной стороны, вызывала улыбки, а с другой — умиляла своей искренностью. Так или иначе, а Софья и Вера Михайловны Ельчаниновы, никогда не бывшие за-

мужем, очень добрые, религиозные и любящие, на всю жизнь (они погибли во время блокады в Ленинграде в 1942 году) остались очень близкими друзьями тети Али и тети Джесси. Вера Михайловна по желанию Беби крестила в 1916 году ее младшую дочку — Верочку. Сама Беби, несмотря на разницу в возрасте, очень любила Веру Ельчанинову. Вообще младшие Парланды — Беби и Жоржик — может быть, потому, что они были самыми младшими в большой семье, привыкли тянуться к более старшим братьям и сестрам и к их друзьям. А более взрослые юноши и девушки их любили. Особенно привязался к Жоржику брат его одноклассника по гимназии Шуры Семенова — Миша Семенов.

Жоржик пошел в гимназию К. И. Мая в 1900 году и попал в один класс с Шурой Семеновым, младшим сыном Дмитрия Петровича, старшего сына знаменитого путешественника П. П. Семенова, получившего в 1906 году к своей фамилии прибавку Тянь-Шанский. Оба мальчика — Жоржик и Шура — пришли почти что в родную школу, так как в Майской гимназии учились их старшие братья и даже отец Шуры — Дмитрий Петрович. Видимо, мальчики, посмотрев друг на друга исподлобья в первом классе, — скоро очень подружились. Этому способствовало еще и то, что они жили почти рядом и им было по пути ходить в школу. Гимназия Мая помещалась на 10-й линии в доме 13 (между Средним и Большим проспектами, ближе к Большому). Парланды жили на 13-й линии в доме 20 — тоже недалеко от Большого. А Семеновы — в собственном деревянном доме с большим садом на 14-й линии, дом 31. В доме Парландов тоже был сад, но не такой большой, как у Семеновых, где они оба часто гоняли на велосипедах. Мальчики ходили из школы вместе, а потом много времени проводили или в саду у Семеновых, или в саду у Парландов.

Третьим их товарищем стал очень ленивый, но необычайно добрый мальчик — Эгон Гейман, Геймаша как его называли в семье Семеновых и товарищи в классе. Коренастый, большеголовый, рыжий Геймаша был очень добродушным, но большим лентяем. Если он не выучил урока или не хотел идти в школу, он шел к Семеновым, где его очень любили, и объяснял матери Шуры Евгении Михайловне, что он не может идти в школу сегодня, так как ему дорогу перебежала черная или даже пестрая кошка. Значит, если его спросят на уроке, то он не сможет правильно ответить и ему дома попадет. Уж лучше он подождет Шуру дома. Или ему навстречу попался священник — это тоже плохая примета! И поэтому он вместо школы решил пойти к Семеновым, где его любят. . . На эту троицу в шко-

ле обратил внимание старший брат Шуры — Миша, учившийся в предпоследнем классе. Он как-то шел с мальчиками домой, а потом стал все ближе и ближе сходить с ними, особенно с Жоржиком — очень впечатлительным, необычайно веселым и в то же время очень скромным мальчиком. Он тоже привязался к Мише и даже раньше, чем Шуру, привел его к себе домой.

Таким образом, в дом Парландов попал второй внук П. П. Семенова, т. е. представитель уже второго поколения своей семьи. Сперва к Парландам через Алису пришел Валерий Семенов, приведший к ним и своего брата Измаила, а потом старшего племянника — Рафаила. А в начале XX в. появились товарищи Жоржика — Миша и Шура Семеновы, братья Рафаила. Связующими звеньями этих встреч были гимназии — сперва женская гимназия, где учились девушки Парланд, находившаяся на 9-й линии рядом с 4-й мужской гимназией, где учились Валерий и Измаил. А потом гимназия Мая, питомцами которой были Рафаил, Миша и Шура Семеновы, их отец, а также все мальчики Парланды.

Кроме того, обе семьи связывала еще и охота. Охотником был Андрей Александрович Парланд. Спортсмен, конькобежец и гребец в молодости, он в более солидном возрасте стал очень увлекающимся охотником. И эта любовь к охоте связала его с сыновьями Петра Петровича Семенова — тоже страстными охотниками: Андреем, Валерием и Вениамином. Мне не совсем понятно, как они могли увлекаться охотой, так как были очень близоруки. В то время, как Андрей Александрович всю жизнь отличался великолепным зрением и в пожилом возрасте был дальнорюким. Так или иначе, они все стали ездить на охоту вместе и для этого арендовали (у кого, не знаю) участок леса и болота под станцией Любань. Наняли сторожа-егеря и выезжали туда охотиться с собаками на несколько дней. Сохранилась небольшая любительская фотография их всех в высоких сапогах и охотничьих куртках на привале, с двумя собаками — сеттером и пойнтером.

Судя по всему, Андрей Александрович был очень метким стрелком. Стены столовой в его квартире (а потом в нашей квартире на 14-й линии и у Петрашней) украшали чучела его трофеев: головы лисиц, чучело черного дятла, рыси, сидящей на большом сосновом суку, рога косули. Рысь была, видимо, его самым большим трофеем. После революции папа передал её в естественный кабинет бывшей гимназии Мая, и она украшала его вплоть до самой блокады. Лисиц Андрей Александрович, видимо, травил много, так как у бабушки Марии Николаевны была лисья шуба (сверху — темно-синяя), кото-

рую я хорошо помню. У Петрашеней в столовой висела голова лисицы, а на рояле у нас в гостиной лежала лисья шкура, выделанная в виде ковра, с головой и открытой пастью. У Маруси и Дези были лисьи муфты. Все это говорит о том, что Андрей Александрович много охотился в начале века, когда уже подросли его младшие дочери. . . Его товарищи по охоте — Валерий и Измаил Семеновы — бывали в его доме. Старший брат — Андрей, хотя и охотился с Андреем Александровичем, был, видимо, очень высокомерен, очень самолюбив и целиком занят наукой, работой в Географическом обществе и в Зоологическом музее и девушками не интересовался. Валерий, как я уже говорила, ухаживал за Алисой, даже считался другом-товарищем ее и ее подруг, но жениться не собирался. Искал богатую невесту. Вениамин уже был женат и имел семью*. А вот Измаила девушки Парланд увлекли всерьез. И он делал предложения руки и сердца сперва Джесси, а потом Марусе. Но получил у обеих отказ. Делал предложение обеим девушкам и Рафаил, очень подружившийся с Ози и Джесси, которая все-таки ему отказала. . .

Подрастающая Дези была очень музыкальна, пела, любила танцевать, была очень хорошенькая, даже красивая, но из-за того, что у нее был только один глаз, была менее хозяйственна, почти не умела шить, но зато увлекалась кулинарией. После окончания гимназии она пошла не на Высшие Бестужевские курсы, как Джесси и Маруся, а на Высшие женские Стебутовские сельскохозяйственные курсы, готовившие деятелей и специалистов по сельскому хозяйству, т. е. по теперешнему, агрономов. Ею увлекались молодые люди и, в том числе, младший брат художника Н. К. Рериха — Володя Рерих, товарищ по классу М. Д. Семенова, очень высокий и не очень складный юноша. Он тоже появился в доме Парландов, и когда он приходил в дом, то Жоржик кричал обычно:

— Дези, Кобыла пришел! Иди в гостиную его занимать!

И именно эта фраза, по мнению папы, и помешала Володе более близко подружиться с Дези.

Жоржик, Шура и Миша Семеновы, Гейман, Володя Рерих вместе с Дези и ее подружками ездили за город на лыжах. В Парголово снимали специально для этого крестьянскую избу и до упаду катались с гор. По вечерам перед сном играли в разные игры: писали коллективные стихотворения, загадывали слова и т. д. В памяти сохранились следующие четверостишья:

*В 1896 г. Вениамин женился на Вере Владимировне Ламанской, дочери филолога акад. В. И. Ламанского.

На узкой кровати
Лежим мы вдвоем,
А Дези в халате
Воюет с клопом.

Бьют полночь куранты,
Скамейка трещит,
У маленькой Анты
Сердечко болит.

Или другое стихотворение, написанное коллективно, когда две строчки пишет один автор, затем заворачивает бумагу, оставляя одну строчку, и передает соседу. Тот, видя только одну строчку, пишет еще две, одну заворачивает и передает дальше. И так получилось:

В старом замке пир веселый,
Звон бокалов, чаш тяжелых,
Крики радостных гостей.

Старый рыцарь в вечер этот
Дочку замуж выдает.
Он придумал новый метод
И гостей к себе зовет.

Дамы, рыцари, аббаты
Притекли со всех сторон.
В залу льется луч заката,
Старый замок озарен.

Бывали они всей компанией на лыжах и на станции Уси-Кирка, навещать в санатории Халила Беби. Она не могла кататься на лыжах, не могла учиться на курсах, после окончания гимназии очень уставала, кашляла, много лежала. У нее открылся туберкулез легких, и она лечилась зимой в знаменитом туберкулезном санатории Халила. Много читала, вела дневник (который погиб, к сожалению, во время блокады) и переписывалась с Жоржиком и, особенно, с Мишей Семеновым. Он после окончания гимназии поступил в Военно-Медицинскую академию, так как хотел быть врачом. В Петербургском университете не было медицинского факультета, как в университетах Москвы, Харькова, Томска, Казани, Юрьева (теперешний Тарту), а уезжать из Петербурга ему не хотелось. В основном, из-за дружбы с Жоржиком и Беби.

А между тем, старшие Парланды — и братья, и сестры — понемногу становились на ноги. Херри окончил юридический факультет Университета, получил должность в Сенате. Ози, став дипломированным инженером путей сообщения, железнодорожником, специалистом по сооружению железнодорожных мостов, уехал в Оренбург, попав на строительство Средне-Азиатской основной магистрали.

Алиса, окончив Школу общества поощрения художеств, стала преподавателем рисования в Выборгском коммерческом училище. Она проучилась 10 лет и говорила нам, что потом не могла себе этого простить — то есть того, что так долго училась и не зарабатывала сама, не помогала дедушке. Бабушка Мария Николаевна* внушала дочерям, что они не должны думать, что их будущее связано только с замужеством. Она считала, что они должны самостоятельно пробивать себе дорогу в жизнь, обеспечивая себя сами. В этом ее поддерживал дядя Альфред Александрович, племянницы которого все (кроме Марты и Мари) были уже самостоятельными и преподавали пение.

Кончила Бестужевские курсы и Джесси с дипломом преподавательницы истории и литературы. Ее беззаветно и тихо, с самого начала знакомства с Парландами, полюбил Ваня Петрашень, по-прежнему в студенческие годы постоянно бывавший у них. Он тоже делал Джесси предложение, но она и ему отказала. Он должен был стать богатым человеком, так как его отец Василий Матвеевич, после переезда из Новой Ладоги в Петербург занявшийся строительством и подрядами, уже разбогател. Имел в Петербурге несколько земельных участков — на Лесном проспекте, на Монетных улицах, на Черной речке, где в собственном деревянном очень комфортабельном доме жила вся семья Петрашней: родители — Василий Матвеевич и Анна Осиповна, сыновья — Иван, Николай, Василий и Виктор и дочка Анночка. У них были собственные лошади, Анна Осиповна любила роскошь, и дом был обставлен шикарно (с позолоченной мебелью). А Ваня, окончив немного позже Ози также Институт инженеров путей сообщения, стал инженером водного транспорта, специалистом по гидротехническим сооружениям (плотины и шлюзы) на внутренних реках, и получив место в Вологде, уехал туда. . .

Но в 1903 году 26 июня в семье Петрашней произошло страшное несчастье — в собственном строящемся доме на Монетной улице на чердаке был зверски убит Василий Матвеевич — своим же рабочим, с целью ограбления. Анна Осиповна с младшими детьми — Аней и Витей — была в это время на курорте в Старой Руссе и приехала в Петербург уже после похорон мужа. . . Где был Иван Васильевич, я точно не знаю. Но он, ставший теперь как бы главой семьи, был страшно подавлен горем. . . Все это потрясло, конечно, и всех Парландов. И вот именно в это время Джесси, по словам тети Али, поняла, как много значил для нее Ваня, поняла, что тоже любит его и

* По воспоминаниям И. В. Петрашень.

постаралась, как могла, помочь ему пережить горе. . .

Почти через год — 30 июня 1904 года — состоялась их свадьба. Первая свадьба в семье Парландов! Джесси, теперь Джесси Андреевна Петрашень, уехала с мужем Иваном Васильевичем в Вологду. Там Иван Васильевич занимал уже видное положение как прекрасный, знающий инженер, а наследство, полученное им после смерти отца*, сделало его богатым человеком. У Петрашней был открытый, веселый дом, свои лошади. В доме постоянно были гости — сослуживцы Ивана Васильевича и их жены. Очень часто и подолгу гостили хорошенькие, веселые сестры хозяйки; приезжали ее братья и их друзья — Ози, Жоржик, Рафаил и Миша Семеновы. И конечно, навещали семью Петрашень и родители Джесси, ставшие через год дедушкой и бабушкой. Старший сын Джесси и Вани — Вася, названный в честь дедушки Василия Матвеевича, родился 16 апреля 1905 г., а дочка Мусенька, названная в честь бабушки М. Н. Парланд, — 6 сентября 1906 г. Тетя Аля вспоминала, что оба ребенка вызывали восхищение тетюшек и были очень забавны. Маленький Вася, показывая тетюшкам книжку с картинками, говорил: «Шипите, тетеньки, шипите!» А когда он не слушался и ему делали замечание, он отвечал: «Не сию, не паяю». Но на строгий голос: «Вася, в угол пойдешь!» спешил ответить: «Сию, сию, паяю, паяю!»

Почти одновременно с Джесси женился тоже в 1904 году Ози. Женился очень неожиданно для своих близких. После окончания Института он работал в провинции — сначала в Оренбурге, где он очень скучал, тяжело заболел и долго лечился, а потом на строительстве железных дорог в Литве и Белоруссии (Вильно-Гродно). Одна из квартир его была на станции Молодечно, где часто гостила Беби, а потом уже после женитьбы он жил в Киеве. Женой его стала петербургская немка — Ида-Мария Сеземан (Мария Эмильевна), ровесница Джесси и видимо, ее подруга по курсам. В семье ее называли Тибо, и так же звали ее все Парланды. Она была очень веселая, живая, общительная, прекрасно ходила на лыжах, плавала. И сестры Ози считали, что она, если они поженятся, целиком войдет в их семью. Они немного грустили, что Эмилька Макферсон, любившая Ози почти с детства, поняла, что он относится к ней как к сестре и вышла замуж, еще раньше Джесси, за друга Ози Николая Ивановича Умнова. А Тибо, когда Ози приезжал домой, вместе с сестрами радовалась его приезду. И в конце концов они поженились. . .

*Он отказался от владения земельными участками в Петербурге и получил свою долю деньгами.

Тибо родилась тоже в Петербурге. Ее отец — Эмиль Герман Сеземан — родился в Петербурге в 1840 г. и был доктором медицины; какое-то время он работал в Императорском Александровском Университете в Гельсингфорсе в качестве доцента анатомии. Мать, тоже Ида-Мария, урожденная Бекман, родилась в 1845 г. в местечке Кри-мунде (под Ригой) в семье пастора. У них было четверо детей, но двое из них умерли в детстве. И когда Парланды познакомились с Сеземанами, то кроме старшей Тибо, в семье был еще младший брат Вильгельм-Вольдемар, родившийся в 1884 г. тоже в Петербурге и учившийся в Katherinschule на Васильевском острове. Он был ровесником Дези и, попав в дом Парландов, очень подружился с ней, Беби и Жоржиком. Звали его в семье Тутти. Так друзьями Парландов стали Тибо и Тутти Сеземан. . .

У стариков Сеземанов было небольшое, видимо, родовое имение под Выборгом^[58]. И уже в начале XX века они постоянно жили там. Молодежь приезжала туда летом и зимой. Особенно часто зимой, по приглашению Тутти, туда ездили Дези и Жоржик со своими друзьями — Шурой Семеновым и Гейманом. Это имение — Тиккала (Tikkala) и его окрестные пейзажи, катание на лыжах удивительно хорошо описаны в неоконченной повести Жоржика под названием Вендала. Стала туда ездить на лето после рождения своего первого сына Энчика, как его называл Ози, и Тибо. . . А Ози работал в Западных областях и очень скучал. К нему постоянно теперь ездили сестры Алиса и Беби, стараясь скрасить его жизнь.

Друг Ози и Вани Петрашень, их одноклассник, а теперь уже врач-терапевт Густя Цейдлер, узнав об их женитьбе, сказал:

— Озька дурак и Ванька — дурак.

А когда через два года женился сам и Ози спросил его, как он чувствует себя после свадьбы, он ответил:

— Привыкаешь к жене, как к собаке! . .

Так в старой семье Парландов стали образовываться новые семьи.

В революцию 1905–1906 гг. в Петербурге была закрыта Военно-Медицинская Академия из-за студенческих волнений. И Миша Семенов поехал продолжать свое медицинское образование в Германию в Гейдельбергский университет, где учился его школьный товарищ Саша Эберт, сын очень богатого петербургского фабриканта — владельца зеркальной фабрики. В Германии М. Д. Семенов провел около двух с половиной лет. В этот период он очень энергично переписывался с Жоржиком и Беби Парланд и понял, что любит не только Жоржика, но и Беби. Любит сильно, по-настоящему. И в конце

1907 года они стали женихом и невестой. Однако, врачи не разрешали еще Беби выйти сразу замуж и предложили подождать три года, чтобы она поправилась. Разлука для них обоих была очень тяжелой, а к тому же у отца Миши — Дмитрия Петровича пошатнулись финансовые дела в связи с постройкой нового большого «доходного дома». И Михаил Дмитриевич вернулся в Россию. Тем более, что дипломы врачей, окончивших курс за границей, в Российской империи не имели значения. И надо было сдавать экзамены заново при каком-нибудь русском медицинском институте. . . Михаил Дмитриевич решил поэтому бросить медицину и сдавать экстерном экзамены на естественном факультете в Петербургском университете. А Саша Эберг остался в Германии. Он окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета. Не знаю, сдавал ли он экзамены по возвращении в Россию, но в 1914 году он уже был на фронте как русский врач-хирург. Михаил Дмитриевич тем временем сдал все экзамены в Университете, и профессор геолог А. А. Иностранцев предложил ему остаться при Университете, но с тем, чтобы он три или четыре года проработал на Камчатке. Однако Михаил Дмитриевич от этого предложения отказался, так как это работа грозила снова разлукой с Беби. А брать ее с собой в такую далекую страну он не решался и предпочел скромное место преподавателя географии в 3-й Петербургской мужской гимназии. Кроме того, его отец Дмитрий Петрович, заведовавший Отделом статистики в Департаменте земледелия, предложил ему работать также и там. И это определило первые научные интересы Михаила Дмитриевича. В начале 1910 г. Миша Семенов и Беби Парланд должны были венчаться.

Но свадьбу пришлось отложить, так как в конце февраля заболел серьезно Андрей Александрович. Он где-то простудился, и у него началось воспаление легких. Крупозное, обоих легких, и очень тяжелое. Тогда не было антибиотиков, воспаление легких лечили компрессами и не сразу его распознавали. Компрессы на всю грудную клетку ставили на 4-6 часов. Это была мучительная процедура и для больного, и для ухаживающих за ним. Надо было обернуть всю грудь (кроме левой стороны, где сердце) мокрым, отжатым полотенцем (пропитанным смесью воды с водкой или просто водой), затем обложить все компрессной бумагой или специальной клеенкой, потом обернуть все теплым шерстяным платком или надеть жилетку, специально сшитую из шерстяной ваты. И затем туго забинтовать бинтами так, чтобы нигде не холодило. . . Для поддержания работы сердца (а оно, кроме самой болезни, уставало и от этих процедур)

применяли в основном камфару, капли из ландыша, дигиталиса, валерианы. . . Старались как можно чаще и лучше кормить. . . Уход в общем был очень тяжкий. За Андреем Александровичем ухаживали в основном Алиса, Беби, братья — Херри, Жоржик и приехавший из Киева Ози, а также жених Беби — Миша Семенов. 25 марта (старого стиля) 1910 г., в день Благовещенья Андрей Александрович скончался в возрасте 64 лет, не дожив до своего 65-летия 7 месяцев. Похоронили его на Смоленском лютеранском кладбище на о. Голодай, в ограде того места (купленного еще его отцом Александром Ивановичем), где покоилась мачеха Альфреда, Ольги и Андрея Александровичей. Так из всех ее приемных детей из жизни первым ушел самый младший — Андрей Александрович. Правда, его сводный брат Федор Александрович умер еще раньше, в 1908 г. и был похоронен в той же ограде. . .

В семье Парландов наступил траур. Маруси на похоронах не было. Где была Дези, я не знаю. Но из Череповца, конечно, приехали Иван Васильевич и Джесси Андреевна Петрашень, а из-под Выборга — Тибо, жена Ози. Бабушка Мария Николаевна была подавлена горем. Из большой семьи дома пока оставались еще Беби, Алиса и братья — Херри и Жоржик. Андрей Александрович служил в Торговой Бирже, принадлежавшей Торговому обществу, но почему-то оно не обеспечивало пенсией или пособием вдов и осиротевших детей своих служащих. Пенсию Марии Николаевне ежемесячно стал выплачивать крупнейший фабрикант — владелец обувной фабрики «Скороход» А. Кирштен, который имел деловые контакты с Андреем Александровичем и, кроме того, был его давнишним другом. . .

Чтобы укрепить финансовое положение дома, Алиса взяла еще вторую работу. Начала преподавать рисование в Художественной школе Императорского Фарфорового завода (теперь Фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова) и три раза в неделю ездила на трамвае и конке на другой конец города. . . Она также была подавлена горем, хотя говорила нам, что ей было стыдно, что несмотря на тяжелую болезнь и смерть отца — у нее на сердце была весна и все внутри пело. Она впервые по-настоящему полюбила и была любима. Видимо, очень большим художником^[59]. Роман их продолжался несколько лет и принес Алисе много радостей и горя. Так как «он» был женат и не мог или не хотел рвать с женой. . . Стопку его перевязанных ленточкой писем, которые берегла всю жизнь Алиса Андреевна, после ее смерти в 1938 году мы с Михаилом Дмитриевичем (ее мужем после смерти Беби) не читая, бросили в печку.

После окончания Школы Общества поощрения художеств по классу художника Сабанеева, несмотря на преподавательскую деятельность, Алиса Андреевна все время работала как художник и завоевала себе некоторую известность. Ее работы, в основном, акварели, неоднократно выставлялись на художественных выставках в Обществе поощрения художеств, в залах Академии художеств и на других выставках. Несколько фотографий ее картин воспроизведены были в журналах (например, в журнале «Нива» за 1913 г.). Ее любимым преподавателем был известный художник Ян Францевич Ционглинский, научивший ее «видеть свет». Именно освещение, мягкость света и воздуха являлись как бы основой пейзажей и натюрмортов Алисы Андреевны. Так мне всегда казалось. В годы учения она очень подружилась с художницей Кларой Федоровной Цейдлер, сестрой друга Ози по гимназии К. И. Мая, тоже учившейся в Школе поощрения художеств. По мотивам своего творчества обе они, конечно, были близки к «мирискусникам». Тем более, что с юности были близко знакомы с семьей Л. Н. Бенуа. Запросто встречались с А. Н. Бенуа, К. А. Сомовым, М. В. Добужинским, Н. К. Рерихом и др. Костя Сомов, с сестрой которого Алиса Парланд была дружна, как-то даже сказал ей на одном вечере: «У нас с Вами, Алисочка, не очень красивые лица, но мы похожи друг на друга благодаря курносеньким носикам». Я не знаю и теперь уже не узнаю никогда, у кого из деятелей «Мира Искусств» раз в две недели, по пятницам собирались художники и их друзья рисовать живую натуру. У нас до войны хранилась фотография этой домашней студии, на которой обнаженную женскую фигуру рисовали почти все деятели «Мира Искусств», а также А. А. Парланд, К. Ф. Цейдлер, другие художники и более скромные любители — М. Д. Семенов, его сестра Вера Дмитриевна, занимавшаяся в студии Д. Н. Кардовского, и др.

Во время летних каникул Алиса Андреевна и Клара Федоровна много ездили по России, как тогда говорили, «на этюды». Они объездили почти всю Вологодскую губернию, базируясь на гостеприимный дом Петрашеней в Вологде (а потом в Череповце), и совершили большое путешествие вместе с художниками Трухановым и Поперечным по рекам Сухоне и Северной Двине. Побывали и рисовали в Великом Устюге, Котласе. По Северной Двине на пароходе плыли до Архангельска. А оттуда морем проплыли на Соловецкие острова. И через Кемь, Повенец, по Онежскому озеру и Свири вернулись уже по Марининской системе в Петербург. Это было трудное, утомительное путешествие, так как Мурманская железная дорога еще только

строилась. Они делали зарисовки старинных деревенских церквей и часовен, изб. Рисовали соборы в Кеми и Соловках, зарисовывали различные типы людей на пароходах, пристанях, паромах. Кроме того, привезли разные старинные вещи. У нас до войны хранились шелковый сарафан, купленный где-то на Северной Двине, кованая ендова, в которой им поднесли на каком-то празднике в деревне пиво, прялка, туеса из бересты, деревянный гребень, чтобы собирать бруснику, вышитые полотенца, старые парчовые душегрейки, кусочки набоек и т. д.

Затем, не знаю, в каком году точно — обеих художниц: Алису Андреевну и Клару Федоровну пригласил на лето в Полтавскую губернию в качестве преподавателей рисования для своих дочерей полтавский богатый помещик Позен (поляк по происхождению). Там они окунулись в быт украинских помещиков, с помещичьим домом, крытым соломой, утопающим в большом фруктовом саду. Горничные и вся прислуга ходили в национальных костюмах: расшитые рубахи, плахты, шаровары. На линейке ездили в Сорочинцы на ярмарку. Научились есть вареную кукурузу, вяленую соленую воблу. Видели обширные поля пшеницы и подсолнухов. И также привезли оттуда не только этюды, зарисовки и картины, но и плахты, глечики и другие вещи.

Кроме того, Алиса Андреевна побывала в эти годы и за границей, в Западной Европе. Путешествию там очень помогли специальные поездки по льготным тарифам, организуемые Министерством народного просвещения для учителей. Не знаю, были ли это групповые поездки или нет (мне кажется, что Алиса Андреевна ездила одна). Во всяком случае, она бывала за границей раз или два, а может быть, и три, так как посетила она Германию, вернее, Баварию, жила долго в Мюнхене. объездила Австро-Венгрию и Румынию. Побывала, конечно, в Вене. Затем по Дунаю проехала в Будапешт, который произвел на нее колоссальное впечатление. И она рассказывала нам, что это, по существу, два города: на нагорном высоком берегу — Буда, а на низком в долине Дуная — Пешт.

По-моему, побывала она и в Бухаресте. А затем много путешествовала по Карпатам: была в Кракове, Дрогобыче, Львове, Ужгороде. И всюду рисовала, делала зарисовки архитектурных памятников и отдельных видов, костюмов, типов лиц и даже отдельных маленьких цветочков. Но самым, пожалуй, интересным была поездка в Копенгаген и Стокгольм. Об этих городах тетя Аля рассказывала

нам много, а главное, она видела на улице в столице Дании датского короля, который спокойно пешочком прогуливался по городу в котелке. Мы, дети, не знали, что так называется шляпа и думали и уверены до сих пор, что датский король надевал на голову медный старинный котелок. Такой, в который тетя Аля набирала в Череповце воду, когда рисовала. . .

Удивительно интересные были у нее зарисовки, нет, даже настоящие большие этюды акварелью, Стокгольма. Дворец, может быть, даже королевский, из такого же камня, как Казанский собор, но более светлый и теплый. Слишком мало все-таки пришлось слушать рассказы тети Али о ее путешествиях. Главным образом, в детстве. А потом она заболела, а нас закрутила жизнь. . . Во всяком случае, ее поездки были очень содержательны, насыщены впечатлениями. А самое главное, что она посетила менее фешенебельные, совсем не курортные места (куда, например, ездила Вера Дмитриевна Семенова) и повидала много интересного. Из всех сестер Парланд по существу только Алиса Андреевна была по-настоящему за границей. Маруся, Дези и Беби там не были. Джесси Андреевна и Иван Васильевич один раз ездили морем из Одессы в Константинополь и на Принцевы острова, причем тетя Джесси говорила, что там ее больше всего поразили цветы вереска.

Осенью 1910 года 19 сентября состоялась свадьба Беби и Миши Семенова. Они поселились в маленькой квартире на 11-й линии на первом этаже, недалеко от Малого проспекта и у них была только одна горничная-кухарка. Но они каждый день ходили обедать на 13-ю линию к бабушке Марии Николаевне. Однажды, возвращаясь домой, они обнаружили, что окно в квартире открыто и из буфета украдены все серебряные ложки и вилки, полученные на свадьбу. Так у нас в доме никогда не было столового серебра. Кроме одной чайной ложечки с надписью «Ату» (Эми) и двух серебряных стаканчиков: папин маленький и мамин побольше. Ложечка пропала во время блокады, а стаканчики сохранились.

На свадьбе были, конечно, все родственники со стороны Парландов и Семеновых. Отсутствовали демонстративно дядюшки Михаила Дмитриевича — Андрей, Валерий и Измаил Петровичи. Они уехали охотиться в Любань и оттуда прислали несколько телеграмм поздравительного содержания: «Пьем здоровье молодых — Андрей, Валерий, Измаил»; «Поздравляем новобрачных — Андрей, Валерий, Измаил»; «Желаем счастья — Андрей, Валерий, Измаил». И еще

несколько в том же роде. Папа хранил их в письменном столе до самой блокады. Когда, уезжая в 1942 году в эвакуацию, мы с Верой разбирали его стол, то нашли их.

Зато дедушка Михаила Дмитриевича — Петр Петрович, 82-летний старик приехал к молодым после того, как они возвратились из свадебного путешествия в Гельсингфорс, поздравить их. А перед свадьбой подарил для новой квартиры буфет красного дерева эпохи Павла I и небольшой тоже красного дерева книжный шкаф. Кроме того, Петр Петрович подарил папе небольшой кабинетный рояль фирмы Беккер, зная, что Миша, несмотря на то, что никогда серьезно не учился, увлекается музыкой и неплохо играет на рояле. Тетя Аля считала, что визит почтенного старца доказывал его исключительно внимательное отношение к внуку и его молодой жене и он этим как бы извинялся за бестактность своих сыновей. Вся же папина семья и жена Петра Петровича — Елизавета Андреевна встретили маму очень хорошо и любили ее. Это ведь была первая свадьба в семье Дмитрия Петровича*.

Омрачил несколько жизнь молодых Семеновых призыв Миши на военную службу. По законам Российской империи старший сын в семье освобождался от воинской повинности. Это был Рафаил. Вторым сыном, Леонид, будучи толстовцем, отказался от воинской службы и сидел за свой отказ год в тюрьме. Третьим сыном был Михаил, и он пошел вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Егерский стрелковый полк (т. е. в пехотный полк). Но как окончивший Университет отбывал воинскую повинность только один год. И насколько я поняла из его рассказов, как житель Петербурга большую часть своей службы жил не в казарме, а дома.

Частично жил у Семеновых и Жоржик. Мотивируя это тем, что дома ему мешают серьезно заниматься перед окончанием Университета. Он кончил гимназию с золотой медалью в 1908 году и поступил в С.-Петербургский университет на юридический факультет. Но после сдачи экзамена по греческому языку в том же году перешел на филологический факультет, где сперва занимался германской, а потом древней литературой. На последнем курсе он увлекся историей философии, особенно, Шопенгауэром. Знание английского, французского и немецкого языков позволяло ему пользоваться под-

*Правда, Рафаил Дмитриевич женился раньше Михаила — в 1909 г. Но свадьба его была в Сызрани, где он служил в Земстве; женой его стала Зинаида Васильевна — фельдшерица Земского медицинского пункта. Ее тоже очень любили родители Рафы и Миши. И у них в 1910 г. родился сын Кирилл, а в 1914 г. — второй сын Вася.

линниками. «Увлекаясь вообще литературой, он всего более любил из русской литературы «Героя нашего времени», а из иностранной — Оскара Уайльда и Гамсуна («Пан» и «Виктория»)»*. Очень высоко ценил Ибсена. Зачетная университетская работа его посвящена была драматическому творчеству А. П. Чехова и называлась «Чехов по его драмам». В ней Жоржик сопоставил драмы Чехова с драмами Ибсена и Гауптмана. Кроме того, он и сам пробовал писать, и его «Неоконченная повесть», отрывки и наброски к ней говорят о незаурядном литературном даровании. Он был также очень хорошим пианистом и страстно любил музыку, постоянно играл на рояле и посещал все концерты. Любил спорт — прекрасно катался на коньках, на лыжах, а летом занимался академической греблей в английском гребном клубе на Крестовском острове. Любил танцевать, увлекался девушками и пользовался у них успехом. . . Об этом говорит сохранявшаяся у нас до блокады открытка, на которой была изображена дама в голубом платье, стоящая на балконе, с подписью: «Джюльетта ждет своего Ромео». Эту открытку, как описано в его повести, он получил на каком-то благотворительном базаре. Лучшими его друзьями по-прежнему были Миша и Шура Семеновы и Эгон Гейман. Одно время даже, на первом курсе, Жоржик, Шура и Геймаша снимали небольшую квартиру на последнем этаже (в мансарде), на углу 8-й линии и Большого проспекта, как это описано в его повести. В ней три приятеля — Боб, Стива и Андик, студенты Университета и Инженерного училища — живут в мансарде, спасаясь, по их словам, от «домашних забот». Тетя Аля и папа считали, что Стива — это сам Жоржик, Андик, видимо, Шура, а Боб — Гейман. Кто из знакомых девушек был прототипом Аси — Анастасии Андреевны, неизвестно. Но когда (спустя полтора года) Беби ждала ребенка, то мальчика решено было назвать Стивой, Степаном. А девочку — Анастасией. Выходит, что я названа в ее честь. . .

Летом 1911 года Жоржик сопровождал Дези в экспедиции Переселенческого управления в Саянах. Это была большая интересная экспедиция; начальником ее был почвовед Николай Васильевич Благовещенский. Дези вернулась домой его фактической гражданской женой. Жоржик, судя по фотографиям, был увлечен природой Сибири. Осенью он готовился к сдаче последних экзаменов в Университете. Для подготовки к ним 22 ноября 1911 года он поехал в Эстляндскую губернию (т. е. в Эстонию), в имение Чудлей, принад-

*Выписка из биографических данных в посмертном издании «Повести» Г. А. Парланда (СПб, 1912 г.).

лежавшее Кириштену, около станции Орро. И там скончался 27 ноября в 12 часов 24 мин., как показали его остановившиеся часы, на охоте, от несчастного случайного выстрела... Не дожив до 21 года месяц и несколько дней...

Это было очень страшно и поразило всю семью гораздо больше, чем смерть Андрея Александровича. Мария Николаевна была совершенно убита и, по словам тети Маруси (как она рассказывала уже после войны), никогда уже не смеялась... За телом Жоржика поехали его самые близкие друзья — Миша Семенов, Шура, Гейман и старшие братья — Херри и Ози. Похоронили его рядом с могилой отца на Смоленском лютеранском кладбище на острове Голодай...

Смерть Жоржика тяжело отозвалась на всей жизни семьи Парландов и молодых Семеновых... У папы в письменном столе в одном из ящиков стояла большая коробка, в которой хранились вырезки из газет, извещающие о смерти и похоронах Георгия Андреевича Парланда, негативы фотографий места его кончины, две веточки от кустарников ольхи и березы, пакетик с землей и окровавленный носовой платок... А рядом пачки связанных писем Жоржика и его рукописи... Мы с Верой нашли это все в начале февраля 1942 года перед эвакуацией из Ленинграда.

Все, кроме рукописей и писем, которые мы передали на сохранение вместе с другими письмами и рукописями папы его дяде Андрею Петровичу Семенову-Тян-Шанскому, мы сожгли. Ведь мы уходили из своего дома в неизвестность и оставлять семейные письма и другие реликвии не хотели в пустой квартире... Позже, после возвращения из эвакуации все материалы Жоржика вместе с письмами других членов семьи Парландов и всеми материалами Михаила Дмитриевича мы передали в ленинградское отделение Архива Академии Наук, где они и хранятся в фонде Михаила Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского.

Папа и тетя Аля говорили нам в детстве, что Жоржик погиб от несчастного случая... Позже, когда мы выросли, папа сказал, что, наверное, это было самоубийство. Что это было именно так, что он сознательно оборвал свою жизнь, нисколько не сомневался и дядя Херри — Андрей Андреевич Парланд. Но почему? Из-за чего? Ни он, ни папа не знали...

Неоконченную повесть Жоржика, отрывки и наброски к ней Михаил Дмитриевич опубликовал за свой счет, тиражом около 40–50 экземпляров. Эта книжка разошлась среди друзей и родных Жоржика. Обязательный экземпляр, наверное, имеется в Публичной биб-

лиотеке^[60]. А в 1929 году Освальд Андреевич писал тете Але, что он нашел книжку своего брата в русской библиотеке в Хельсинки. У нас остался только один экземпляр. . .

Со смертью Жоржика оборвалась прежняя жизнь семьи Парландов. Оставляя бабушку Марию Николаевну (потерявшую в течение одного года горячо любимого мужа и сына) одну — с Херри и Алисой — молодым Семеновым не хотелось. . . Надо было жить всем вместе. Осуществить это помог отец Михаила Дмитриевича — Дмитрий Петрович Семенов-Тянь-Шанский. В начале 1912 года он закончил постройку нового большого 7-этажного доходного дома на 14-й линии, дом 31. И предложил своему сыну Михаилу Дмитриевичу переехать со своей семьей и семьей Марии Николаевны в свой новый дом, предоставив им одну из лучших квартир на 3-м этаже. Эми Андреевна ждала ребенка, и все надеялись, что его появление поможет Марии Николаевне справиться со своим горем. Видимо, в середине 1912 года и совершился переезд семьи Михаила Дмитриевича и Эми Андреевны в новую квартиру, куда одновременно переехали и Мария Николаевна, Алиса Андреевна и Андрей Андреевич Парланды. Началась их совместная, новая жизнь, на которую в 1914 году обрушилась война, а потом в 1917 году революция. Кое-что я уже сама помню из этой жизни и описала ее.

Чтобы закончить историю семьи Парландов, мне остается только очень кратко написать о судьбе Маруси и Дези; о том, почему они не были в Петербурге, когда умирал Андрей Александрович и погиб Жоржик, и как сложилась их жизнь. Так, как я ее себе представляю. Кратко рассказать об их детях. . . Для того, чтобы внуки и правнуки стариков Парландов представляли себе, на какие ветви раскинулись потомки Андрея Александровича и Марьи Николаевны.

Окончив Высшие Бестужевские женские курсы, Маруся — Мария Андреевна получила диплом преподавательницы литературы и истории и поехала работать в Вологду. Там жили Иван Васильевич и Джесси Андреевна Петрашень, и поэтому Марусе казалось, что она не будет первое время одинока. Тем более, что она и раньше бывала в Вологде в гостях у сестры. Однако, очень скоро, уже в 1908 году Ивана Васильевича перевели из Вологды, где он занимался реконструкцией шлюзов на реке Сухоне, в Череповец, так как там находилось управление Мариинской водной системы (теперешний Волго-Балт) и предстояла большая реконструкция всех ее шлюзов.

В Череповце в 1908 году у Джесси родился третий ребенок Алеша, проживший всего около полутора-двух месяцев. А в конце 1909 го-

да — дочка Ася, названная в честь умершей сестры Ивана Васильевича и его матери Анны Осиповны.

Маруся осталась в Вологде одна и работала преподавательницей в женской гимназии. Там она встретилась с преподавателем истории Василием Михайловичем Фидровским. Он был родом с Украины, из семьи потомственных врачей на Полтавщине и был на два года младше Маруси. Они сблизились на работе, подружились, полюбили друг друга и поженились там же, в Вологде в начале 1910 года. Затем они уехали во Владикавказ, где Василий Михайлович, продолжал работать преподавателем. 16 февраля 1912 г. у них во Владикавказе родилась дочка Рита (Маргарита). А затем очень скоро после ее рождения вся семья переехала в Юрьев (теперешний Тарту), где Василий Михайлович стал преподавать в Юрьевском Учительском институте. В марте 1914 г. у них родился сын Лева, а конце 1915 г. — сын Юра. Марья Андреевна Фидровская была по-прежнему очень красива и очень близорука. Еще в Петербурге, молодой девушкой она начала сесть и в ее черных, очень густых волосах появились белые нити. Перед отъездом во Владикавказ, а потом в Юрьев она спрашивала мужа, не начать ли ей красить волосы. Но он отвечал отрицательно, говоря, что ему нравится ее седина и что она все больше становится похожей на маркизу. Когда мы ее знали (а я еще до революции), она была совсем седая — но очень красивая.

Несмотря на различное воспитание и далекую жизнь, Василий Михайлович был радушно принят в семье Парландов. Особенно тепло к нему относилась Алиса Андреевна. А он, как прирожденный педагог, очень любил детей. К нему, в его очень краткие приезды, тянулись племянники. И он думал о них, дарил им книжки. Сохранившуюся до сих пор книжку с надписью он подарил Асе Петрашень, а мои книги, подаренные им, погибли во время блокады.

Дальнейшая судьба Фидровских сложилась сложно и в итоге трагически грустно. Во время Первой мировой войны им пришлось уехать из Юрьева. Учительский институт был эвакуирован в Херсон, и туда весной 1917 г. уехал Василий Михайлович. Но еще до этого, в 1916 г., он перевез семью в Петроград — к бабушке Марии Николаевне и к брату Маруси — Освальду Андреевичу. Затем, наверное, осенью 1917 г., Марья Андреевна с детьми переехала в Череповец. В конце 1920 г., когда на Украине установилась советская власть, Василий Михайлович приехал за семьей и увез жену и детей в Херсон. Но скоро они переехали в Николаев, где был организован Педагогический институт, первым ректором которого назначи-

ли В. М. Фидровского. Он уже был членом ВКП(б), т. е. настоящим идейным коммунистом^[61]. Одновременно он также работал над организацией в Николаеве Музея революции и стал его первым директором. В середине 1930-х годов он переехал в Днепропетровск, где заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в Днепропетровском университете и какое-то время исполнял обязанности его ректора. 3 апреля 1937 г. его арестовали, а через два с половиной месяца расстреляли. Ему было всего 54 года. Одновременно была арестована Марья Андреевна и приговорена к пяти годам заключения. Детей, конечно, также лишили всех прав, и им с трудом пришлось заканчивать свое образование. Самая страшная судьба постигла Риточку — Маргариту Васильевну. Она окончила Днепропетровский медицинский институт и была послана врачом на Урал. Там она вышла замуж, ждала ребенка. Но ее муж, узнав, что она дочь репрессированного, бросил ее. Ребенок не родился, а Рита вернулась на Украину, где стала работать врачом. Но у нее с детства был туберкулез; болезнь обострилась и начался туберкулез позвоночника. Она лежала в 1941 году в больнице в Гайвороне, а потом где-то под Одессой и умерла во время немецкой оккупации, неясно, при каких обстоятельствах. . .

Марья Андреевна, отсидев в Мордовском спецлагере под Потьмой пять лет, в 1942 году была освобождена и жила сперва в семье сестер Петрашень в Елабуге (куда они были эвакуированы в начале 1942 г. из блокированного Ленинграда). В 1957 г. была реабилитирована и получила персональную пенсию 500 рублей (т. е. 50 «хрущевских»). Потом кочевала между семьями своих сыновей и умерла 5 мая 1967 г. 86 лет в семье младшего сына Юрия Васильевича от хронического воспаления легких.

Кочевая жизнь выпала и на долю Деши Парланд — Маргариты Андреевны. Окончив Стебутовские женские сельскохозяйственные курсы, она стала работать в экспедициях Переселенческого управления, организованных Департаментом земледелия для обследования малообжитых районов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. С целью переселения в новые места части населения из Европейской части империи, развития в новых районах сельского хозяйства и промышленности. Эти экспедиции, хорошо организованные, были построены по комплексному методу изучения природных богатств на основе идей В. В. Докучаева. В каждом отряде работали разные специалисты — почвоведы, ботаники, лесники, геологи, климатологи. В их работе участвовали многие профессора и преподаватели Лесного института, Бестужевских и Стебутовских курсов, Горного

института, а также студенты этих институтов. Труды Переселенческого управления и отчеты его экспедиций имели большое научное значение. Некоторые из них, как например, работы будущих академиков В. Л. Комарова о флоре Камчатки, В. Н. Сукачева о горной растительности Забайкалья, профессора Р. И. Аболина об аллассах Якутии — и сейчас считаются классическими.

Из отчетов этих экспедиций я узнала, что Николай Васильевич Благовещенский, муж Дези Андреевны Парланд, был выдающимся почвоведом. Но из-за того, что во время одной из экспедиций он сломал руку и почти потерял ее, так как только через три недели ему была оказана врачебная помощь, он уже не смог быть полевым работником. В то время ведь не было машин, вертолетов и другой современной техники передвижения. Караваны шли с вьючными лошадьми или оленями, часто переходы совершались пешком или на лодках. И с одной рукой, хотя она и не была ампутирована, работать в поле было трудно.

Дези Парланд стала женой Николая Васильевича в Саянской экспедиции в 1910 году. И когда она вернулась в Петербург, то для ее сестер и братьев, а главное, для Марии Николаевны, это было неожиданностью. Тем более, что только что весной умер Андрей Александрович, и еще потому, что брак не был оформлен официально, т. е. они не были венчаны. И тетя Аля говорила, что ей несколько раз пришлось иметь по этому поводу с Николаем Васильевичем серьезные и не очень приятные разговоры. Оказалось, что он был уже до этого женат и развод не был оформлен. И, кроме того, участвовал в каких-то революционных организациях. . . Как все уладилось в конце концов, я не знаю. Так как Дези ждала ребенка, то уже в конце 1911 г. она уехала с Николаем Васильевичем в Красноярск, и там 12 августа 1912 г. у нее родился сын Элий. В детстве его называли Гуля, а потом все стали звать Элкой или Ёлкой. В нашем детстве считалось, что он родился в один день со мной, т. е. 31 января 1913 г. по старому стилю. Видимо, так решили сказать бабушке Марии Николаевне. Я с Гуленькой считались ровесниками, почти близнецами, и наше рождение праздновалось всегда в один день. До тех пор, пока мы не стали студентами.

В 1914 г. Благовещенские вернулись в Петербург, и в мае у тети Дези родилась дочка — Мария. Родилась она у нас дома на папиной кровати. Благовещенские пришли в гости к бабушке, и Дези «нечаянно», как говорил папа, родила дочку. Крестили Майю и Эл-

ку одновременно, тоже у нас на квартире, причем Элке было уже почти два года. По тем временам случай необычайный!

Но у Дези Андреевны было вообще очень специфическое отношение к вероисповеданию. Выходя замуж и венчаясь с русскими православными, все девушки Парланд становились тоже православными и переходили в русское подданство. И всех своих детей крестили в православной церкви. Ведь метрика, выданная при крещении ребенка, являлась единственным его документом. Но Дези Андреевна не любила православной церкви и не хотела, чтобы ее детей крестили в ней. Поэтому, когда родилась 6 февраля 1918 г. ее вторая дочь Маргарита и уже после Октябрьской революции можно было вообще не крестить ребенка, девочку все-таки окрестили в англиканской церкви. В 1923 г. в Череповце родилась еще одна девочка Елена — Нелли, и ее вместе с младшим сыном Георгием — Марком крестили в Новочеркасске в лютеранской церкви. . .

По словам Михаила Дмитриевича, это все была фантазия Дези. А Николай Васильевич, любя ее, ей не возражал. Он был очень хороший человек, но очень вспыльчивый и подчас очень строгий к детям, особенно, к старшему сыну Элке.

Родом он был из Ташкента. По-моему, его отец был священником. И у них была очень большая семья. По своему облику Николай Васильевич был монголоид, но с добрыми голубыми глазами. Одна его сестра жила в Хосте, другая в Москве. Но во время Первой мировой войны, революции и разрухи связь с ними была потеряна, и только в 1932 или 1933 году, уже после смерти Николая Васильевича, у Майи, которая жила у нас, вдруг появились двоюродные братья: капитан I ранга Всеволод Петрович Благовещенский и его брат скрипач Игорь и Федор Михайлович Мауэр — биолог, после войны профессор Среднеазиатского университета в Ташкенте. Но потом Всеволод Петрович был репрессирован и вернулся после войны инвалидом. А Мауэр интереса к двоюродной сестре больше не проявлял.

Где Николай Васильевич работал, приехав в Петроград, я не знаю. Как будто бы на каком-то заводе химиком. Жили Благовещенские как-то временно, на бивуаках, в квартире Освальда Андреевича Парланда на Большом проспекте Васильевского острова, в доме 35, а потом в 1917 г., когда мама с нами уехала весной в Череповец, переехали к бабушке на 14-ю линию д. 31, кв. 5, и прожили там, вероятно, до поздней осени 1918 г., а потом тоже перебрались в Череповец. Николай Васильевич был в это время связан с

какой-то рабочей дружиной, а может, в ней и состоял, и хранил дома оружие. Видимо, именно он летом 1918 г. помог бабушке Евгении Михайловне Семеновой-Тян-Шанской получить пропуск к Урицкому, когда папа — Михаил Дмитриевич был арестован и увезен на барже с другими офицерами царской армии в Кронштадт, откуда никто не возвращался живым. Только чудом, благодаря свиданию бабушки Евгении Михайловны и Николая Васильевича с Урицким, можно объяснить, почему папа остался жив. Дело в том, что в доме Дмитрия Петровича (к тому времени уже покойного — он скончался 1 ноября ст. ст. 1917 г., через неделю после переворота) была конспиративная квартира, где скрывались члены партии большевиков, в том числе и Урицкий. Дмитрий Петрович знал об этом, и благодаря ему полиции о существовании такой квартиры ничего не было известно. Выслушав Евгению Михайловну, Урицкий тут же приказал найти в Кронштадте прапорщика Семенова-Тян-Шанского и доставить его на Дворцовую площадь, где помещалось ЧК. После личного разговора с ним Михаил Дмитриевич был освобожден. А все бывшие с ним офицеры погибли — их просто утопили вместе с баржей. . . *

В Череповце Благовещенские поселились вместе с Фидровскими на Дворянской (впоследствии Пролетарской) улице, в небольшом каменном особняке. У них было две комнаты: в одной они спали и обедали, а в другой на полу и на стеллажах стояли бесконечные приборы, колбы, тигли, воронки, банки и бутылки с реактивами Николая Васильевича. Быт у них был сложный — Дези с одним глазом, Николай Васильевич — с одной рукой, трое детей. И голодные 1919, 1920, 1921 годы. . . Но надо отдать им должное — они никогда не унывали. Дези, распустив свои красивые волнистые волосы и качая ребенка, всегда напевала веселые английские песенки. Николай Васильевич, сняв очки и приблизив глаза к книге, при копилке или очень слабой керосиновой лампе — читал на кончике неубранного стола. Варил из мороженой картошки патуку, делал из нее леденцы и вместе с Дези Андреевной торговал ими в самодельном ларьке на базаре, вместе с Виктором Васильевичем Петрашень, младшим братом Ивана Васильевича. И с увлечением занимался огородом, без которого в то время выжить было нельзя. Кроме картошки, Николай Васильевич выращивал тыквы, кабачки и помидоры. По-моему, он первый в Череповце доказал, что эти южные культуры можно выращивать на севере. Таких огромных кабачков (чемоданов — прямо) и тыкв я никогда раньше, да и потом редко видела. Огороды по-

* См. примечание ^[30] к с. 71.

лучали от работы, а работал Николай Васильевич преподавателем химии в Педагогическом техникуме, первым директором которого был папа — Михаил Дмитриевич. Наверное, в 1920 году Благовещенские получили квартиру (тоже две комнаты — но большие) в здании бывшего Реального училища, в котором помещался Педтехникум, и жизнь их стала более налаженной. Завели кур, кроликов, козла и двух коз. Но молока от них почему-то не было, а крольчихи постоянно съедали своих крольчат.

Более подробно об их жизни я постараюсь написать (если успею) в главе своих воспоминаний, посвященной жизни в Череповце. Так как наша детская жизнь была тесно связана с жизнью детей Благовещенских. Тут же скажу только, что в этой детской жизни Николай Васильевич играл большую роль, особенно в деревне Городище, куда он вместе с семьей и со всеми нами выезжал на лето в 1923 и 1924 гг. Там, на берегу р. Шексны, в лесах и на поёмных лугах он многому научил детей. Научил плавать, грести, не бояться темного леса. Словом, любить природу во всех ее проявлениях. И может быть, под его влиянием Элка, Майя, я, Кирилл стали естественниками. . .

Наверное, в 1926 г. семья Благовещенских переехала в Новочеркасск, а в 1929 г. — в Алма-Ату, где Николай Васильевич работал уже по своей прямой специальности — почвоведом и скончался от сыпного тифа в 1932 г. на полевых работах.

К этому времени Элка учился в Университете и жил у Петрашней. Майя жила у нас в 1930–1931 годах и училась в 8-м классе, отстав от нас с Егором Петрашень на год. Мы весной 1931 г. кончили уже школу. Надо сказать, что при всех своих хороших, своеобразных качествах Дези Андреевна и Николай Васильевич не особенно заботились о том, чтобы дети регулярно занимались в школе. В результате Майя, начавшая учиться вместе со мной и Егором, кончила школу вместе с Верой, т. е. отстала от нас на 3 года. Элка, очень способный, тянулся в Череповце за Кириллом и за Асей Петрашень и шел с учебой в норму. А Дези-младшая почти не училась — не желала ходить в школу, и родители не настаивали. В результате она пошла в первый класс десяти лет. И естественно, что все у нее пошло кувырком.

Когда умер Николай Васильевич, у сестер Дези Андреевны — Алисы и Джесси, которые всю жизнь помогали Благовещенским, естественно встал вопрос о переезде овдовевшей Дези Андреевны с детьми в Ленинград. Но при этом возникала проблема жилья. Им удалось купить на окраине города деревянный домик. Не знаю точно, на какие средства — у Петрашней в то время денег не было (дя-

дя Ваня осенью 1931 г. был арестован и сидел в тюрьме). Работали только что окончившие Университет и Институт водного транспорта старшие Муся и Вася; кончила Институт водного транспорта Ася; подрабатывал еще в школе, в последнем классе, вечерней халтурой (вычислителем в Главной Геофизической Обсерватории) учившийся вместе со мной Егор. У нас тоже было с деньгами очень не густо. Уже болела серьезно тетя Аля. У нее было уже страшное кровотечение из горла, кровохарканье. Папа работал в экспедициях на Дальнем Востоке, Кирилл был агрономом сперва в Новгородской области, потом в Киргизии. И я сразу после школы начала работать — то бесплатно, то сдельно, т. е. временно, в Ботаническом институте — так как в Университет меня не приняли. Мои 123 рубля в месяц являлись иногда большой поддержкой. Поэтому я точно не знаю, на какие средства купили Благовещенские на Охте деревянный домик. Помог в этой покупке Виктор Васильевич Петрашень который на том же дворе приобрел тоже деревянный дом. Вера вспоминает, что у папы был серьезный разговор с Элкой о том, что для покупки дома необходимо продать оставшиеся после смерти Николая Васильевича вещи: его охотничье ружье и платиновый тигель. Элка сперва возражал, говоря, что это память об отце и что в древние времена такие ценные вещи клали покойнику в могилу-курган. На что папа возразил, что нужно думать о детях, оставшихся сиротами. И что класть вещи покойника с ним вместе в могилу — ерунда.

— Вот, я люблю эту кочергу, которой мешаю дрова в печке — значит, ее тоже нужно положить со мной? — говорил он.

В результате вещи продали (но как, я не знаю), дом на Охте купили и Дези Андреевна появилась там с детьми. А мы, по настоянию тети Али, помогать Благовещенским — деньгами, продуктами, шмутками — то есть, чем могли. И так до самой войны... Даже, когда Благовещенские — Дези Андреевна с младшими детьми эвакуировались в 1941 г. из Ленинграда с Майей на барже ВСЕГЕИ, мы отдали им почти весь свой запас крупы (в основном, пшено), считая, что они уезжают «в никуда», а уж Ленинград-то без продовольствия не останется... А вышло наоборот. И у нас от голода умер папа... Но об этом даже вспоминать трудно. Никто ведь не знает, что ожидает человека... Умерла Дези Андреевна в Ленинграде осенью 1959 г. от воспаления легких, когда все ее дети встали на ноги.

Грустно сложилась после Великой Октябрьской революции судьба старшего Парланда — Херри (Андрея Андреевича). После того, как весной 1917 г. мама с нами, детьми, уехала в Череповец, а в

1918 г. ликвидировали квартиру на 14-й линии в связи с переездом туда же Михаила Дмитриевича, я не знаю, где жил дядя Херри и где он работал. Но он посылал регулярно тете Але и даже нам детям регулярно ко всем праздникам поздравительные открытки. А когда мы вернулись в 1924 г. в Ленинград, оказалось, что он женат и живет с женой и двумя ее детьми. Но что с работой у него плохо. Нет постоянной работы, и он перебивается случайными заработками. Он ведь был финский подданный, и потому в Советские учреждения его не брали. Жена его нигде не работала, была «большая барыня» с очень вздорным характером. Дядя Ваня Петрашень говорил, что они, когда женились, друг друга надули: он думал, что она очень богатая дама, а она — что он богатый англичанин. Петрашени и наша семья чем могли помогали ему, но не ей. И у нас дома «она» не бывала.

Тетя Аля передала дяде Херри все оставшиеся вещи дедушки Андрея Александровича — его большой тулуп, в котором он ездил на охоту (в Череповце его носил папа), бурку (тоже для охоты), валенки — красивые большие валенки, белые с узором (вятские, помоему). В них тоже ходил в Череповце папа. Кроме того, конечно, Херри приходил занимать деньги, что было очень трудно, для него — просить и для тети Али — дать, так как их было всегда в обрез. И часто — раза два-три в неделю приходил к нам обедать. И всегда опаздывал к нашему обеду, что сердило тетю Алю, но тем не менее она всегда посылала меня на кухню разогреть дяде Херри обед, если домработницы не было дома. Наверное, с середины 1920-х годов дядя Херри работал внештатным корректором в Издательстве Академии Наук и приходил обычно после работы в Издательстве (на Менделеевской линии) или даже из типографии Академии наук (угол 9-й линии и Большого пр.), беря с собой срочную корректуру — гранки. Он был очень близорук и, сидя в столовой после обеда на углу стола, считывал их, сняв очки. И в общем-то его было очень жалко... Он был одинок и несчастен.

Иногда он приводил с собой по воскресеньям своих пасынка и падчерицу, которых, безусловно, любил; они были старше нас, и дружбы и даже простого знакомства у нас не получилось. Когда он болел, тетя Аля ездила к нему и отвозила какую-нибудь еду. И раз приехала очень расстроенная тем, что он лежит на голом тюфяке без простыни...

По праздникам он приезжал поздравить с Рождеством и на Пасху в старом фраке и в нем казался настоящим, но очень бедным джентльменом... И если у нас или у Петрашени кто-нибудь играл

на рояле танцы (чаще всего, тетя Оля Моль) и мы начинали танцевать, то дядя Херри обязательно вальсировал с каждой племянницей. И это было очень приятно... Дома же его супруга постоянно устраивала ему скандалы. В начале 1938 г. ему как иностранному подданному было предложено уехать из СССР — в Финляндию. Как и на какие деньги купили ему билет и как-то приодели? Я не знаю, не помню. Тетя Аля уже безнадежно лежала, все, что у нас было, давно было снесено в Торгсин, чтобы покупать ей еду. Мы с Верой работали и учились по вечерам. И жить было в общем-то трудно.

Папа провожал его на Финляндском вокзале и прощаясь отдал ему свое обручальное кольцо. Приехав домой, он об этом сказал только нам, скрыв от тети Али... Через несколько дней супруга Андрея Андреевича вдруг явилась к нам, чтобы просить у папы денег. Я очень испугалась; папы не было дома, и я довольно резко ей, что денег у нас нет и что очень её прошу к нам не приезжать, так как мы совершенно друг другу чужие люди... Наверное, я говорила резко... И она больше у нас не появлялась. Тете Але мы тоже об этом не сказали, а папу просили не иметь с ней никакого дела...

Как мы узнали, что Андрей Андреевич умер в 1939 г. в Хельсинки от воспаления легких, я не помню. Но все-таки у него был там брат Освальд Андреевич — Ози, который, конечно, как-то помогал ему... Но как там жил Андрей Андреевич, я не знаю.

Так же смутно я знаю и о жизни в Финляндии Освальда Андреевича. Но кое-что смогу, видимо, восстановить — по рассказам тети Али, по памяти и по его письмам, которые мы получали редко до 1930 г. Видимо, семейная жизнь дяди Ози с самого начала тоже была не из легких. Он был очень талантливый инженер-железнодорожник, и основная его работа протекала вне Петербурга-Петрограда, куда он возвращался наездами. А его жена Мария Эмильевна — Тибо после рождения старшего сына Генриха — Энчика (р. 29 июля 1908 г.) — предпочитала жить не в городе, а в имении своей матери Тиккала под Выборгом. В то время, как Освальд Андреевич работал в Киеве.

Естественно, что при такой ситуации в их семейной жизни возникали сложности. И временами само существование семьи становилось нетвердым. Тетя Аля, сама переживавшая непростую, сложную собственную драму любви, говорила, что она испугалась, когда Ози, приехав из Киева, сказал ей, что он встретил там женщину, которая могла бы дать ему больше счастья и радости... Однако, стараниями любимой сестры Алисы и может быть благодаря чувству отцовского

долга, разрыв между Ози и Тибо не состоялся. 20 апреля 1912 г. у них родился второй сын — Перси Оскар, которого дядя Ози называл Персиком; в 1914 г. — третий сын Ральф, а в 1917 г. — Герман. Во время Первой Мировой войны Освальд Андреевич уже работал в Петрограде и жил на Большом проспекте в доме 35 (между 9-й и 10-й линиями, на последнем 3-м этаже). Жил, насколько я помню, один. Это уж я сама помню, так как меня водили к дяде Ози в гости. Помню его, сидящего в столовой около обеденного стола, и большую детскую, где я играла с Гулей (Элкой) и Майей Благовещенскими. Очень смутно помню (видимо, раньше) и дяди Озиных мальчишек — Энчика и Персика в темно-синих матросских костюмчиках, в коротких штанишках и пестрых полосатых чулках. Значит, они приезжали в Петроград к отцу. Но когда? Я этого не знаю. . .

В конце лета 1918 г. Освальд Андреевич приезжал в Череповец — и тогда мы видели его в последний раз. Осенью того же года папа — Михаил Дмитриевич привез из Череповца в Петроград умирающую от чахотки Беби — Эми Андреевну. Привез к Ози. . . И она умерла 2 января 1919 г. в его квартире. Когда выносили гроб, Ози сел за рояль и играл траурный марш Шопена. . . Это была третья смерть в семье Парландов. После дедушки ушли из жизни самые младшие дети: Жоржик в 1911 г., не дожив до 21 года один месяц, и теперь Беби, 32-х лет. Бабушка Марья Николаевна, к своему счастью, не знала об её смерти, так как уже с осени 1918 г. находилась в психиатрической больнице на Удельной и ничего не понимала. . . Она умерла 19 марта 1919 г., и её похоронили рядом с дедушкой Андреем Александровичем там же на Лютеранском кладбище на о. Голодай, где уже лежали её младшие дети. . . После её смерти Алиса Андреевна уехала в Череповец, чтобы помочь папе пережить горе, по возможности заменить Бебеньку и помочь воспитывать нас.

Еще раньше уехали туда же и Благовещенские. И Освальд Андреевич остался в пустой квартире один. Семья его — жена и дети оказались за рубежом, так как Финляндия после Октябрьской революции получила самостоятельность. И государственная граница между ней и РСФСР прошла по реке Сестре, рядом с Сестрорецком. Нужно было и ему ехать на свою так называемую родину, так как он был финский подданный. И он уехал туда, зная, что никогда не вернется в Россию, которую он любил и хорошо знал. Он уезжал из Петрограда вполне легально как иностранец. И благодаря этому смог отправить багажом в Выборг всю свою обстановку, книги, рояль. . . Словом, ликвидировал в Петрограде всю свою квартиру.

Уехал он, насколько я понимаю, весной 1920 г., так как перед окончательным отъездом, видимо, в связи с выездом за границу, он был в Москве, где застал умирающим своего друга Рафаила Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского и помогал его жене Зинаиде Васильевне его хоронить. Вез вместе с ней на саночках на какое-то кладбище гроб Рафаила... Об этом он из Москвы же написал в Череповец папе и просил его как-то позаботиться о старшем сыне Рафаила — Кирилле, на которого мать не обращает никакого внимания (второй сын — Вася уже умер^[62]). А Кирилл, голодный, оборванный, по существу, брошенный матерью, становится настоящим беспризорником, шатаясь по улицам Москвы. После этого письма Ози папа сделал все, что мог: сперва предложил Зинаиде Васильевне переехать к нему в Череповец, а после её отказа добился, чтобы она отдала ему Кирилла, которого привез к нам в декабре 1920 г. папин сослуживец.

А Освальд Андреевич уехал навсегда... Первые годы он писал тете Але, правда, редко. Но все же она знала, что он поселился с семьей в предместье Хельсинки — Гранкула и работает в городе, мальчики растут и учатся, и Освальд Андреевич старается всеми силами, чтобы они не забыли русский язык и говорит с ними дома только по-русски. С ними жила мать Тибо — бабушка Ида-Мария Сеземанн. Она умерла в 1926 г. После её смерти сама Тибо очень тосковала, так как была очень дружна с матерью. Освальд Андреевич в письмах старался охарактеризовать своих мальчиков и писал о них. Его очень огорчал старший сын Энчик. Окончив школу, он как-то не хотел учиться дальше и работать, писал стихи, начал печататься и попал в компанию молодых обеспеченных и увлекающихся выпивкой юношей. Это очень беспокоило дядю Ози. С одной стороны, — писал он, — Энчик безусловно талантлив и только что изданная книжка его стихов бесспорно хороша, но с другой стороны, его бесшабашный образ жизни вызывает тревогу, а с третьей стороны все же приятно держать в руках книжку Парланда. Правда, было, пожалуй, еще более приятно держать в руках книгу Георгия Андреевича Парланда — Жоржика, которая случайно попала на глаза Освальду Андреевичу в университетской библиотеке в Хельсинки. Сам он в это время очень много работал, участвовал даже в международном конкурсе по строительству большого железнодорожного моста через какой-то пролив. И получил первую премию. А Тибо между тем кисла. У нее стали болеть ноги, обнаружилось что-то вроде тромбофлебита. Она много лежала, хозяйством не интересовалась, и у нее появились даже какие-то психологические нервные сдвиги. Чтобы вырвать Энчика

из неблагоприятной компании, брат Тибо — профессор-филолог Каунасского университета в Литве Василий Эмильевич Сеземанн (Тутти) предложил прислать его в Каунас, в другую страну, в другую обстановку. И в 1928 г. его устроили сотрудником финского посольства в Каунасе. Но и там «он не мог отделаться от своего пристрастия к алкоголю и нашел себе компанию среди местных писателей и поэтов, которые также не отказывались от рюмки» (писал мне недавно его двоюродный брат Г. В. Сеземанн). В 1929 г. он заболел скарлатиной и очень быстро умер...^[63] Похоронили его в Каунасе. Смерть Энчика очень повлияла на психику его матери. И она окончательно и безнадежно заболела. Дома её держать уже было нельзя, и её поместили в специальное лечебное учреждение. Письма от Освальда Андреевича к тете Але перестали приходить. Это было связано не только с тяжелым положением у него дома, но главным образом, с закручиванием страшных гаек НКВД у нас в СССР... Только раз, в 1936 или даже в 1937 году, пришла от дяди Ози открытка. Он писал, что так как его жена Мария Эмильевна безнадежно больна, то по законам он получил разрешение вторично вступить в брак и он женился на двоюродной сестре своей жены — тете Эли, которая все годы болезни Тибо помогала ему нравственно и вела все хозяйство и заботилась о нем и о мальчишках. Это его последнее письмо очень тронуло уже тяжело больную тетю Алю. Ей было приятно, что Ози пишет о своей новой жене и как бы представляет ее заочно своим сестрам. И она радовалась, что наконец-то Ози обрел покой в семейной жизни... Наверное, оно так и было.

О том, как жил Освальд Андреевич перед войной, уже после смерти тети Али, рассказывал его зять Василий Эмильевич Сеземанн, профессор-филолог из Каунаса, брат Тибо — Тутти, как его звали в юности. Он приезжал в Ленинград два раза. Первый раз еще, наверное, в 1939 или в 1940 г. Останавливался в «Астории», и папа ездил к нему. А второй раз — в мае 1941 г. уже перед самой войной, после того, как Литва присоединилась к СССР. Тогда он приезжал к нам домой и рассказывал о дяде Ози. Сам он, окончив Петербургский университет в 1909 г., два года стажировался в Германии, а потом преподавал историю в одной из Петербургских гимназий, добровольцем пошел в 1914 г. на фронт санитаром. А потом читал лекции в Петроградском университете, будучи приват-доцентом. В 1919 г. был избран доцентом Саратовского университета, но в 1923 г. поехал в Финляндию к больной матери, жившей у Ози и застрял там. Перебрался в Литву и там стал профессором. В 1950 г. его аре-

стования и сослал в Сибирь, где он пробыл 5 лет. После возвращения в Вильнюс снова работал в Университете и умер в 1963 г. С его второй женой Вильмой Бруновной мы подружились. А их сын Георгий и прислал мне последние вести об Освальде Андреевиче и его сыновьях и рассказал о своем отце^[64].

Когда умер дядя Ози, я не знаю... Не могу узнать ни от Тани Петрашень, которая бывала в Хельсинки у младшего сына Ози — Германа, профессора строительной механики Тамперского университета, ни от сына В. Э. Сеземанна — Георгия Васильевича, ни от его матери Вильмы Бруновны Сеземанн. Кажется, Освальд Андреевич умер после войны — и тоже от воспаления легких... А Тибо — Мария Эмильевна скончалась в 1942 г. Сыновья Освальда Андреевича, — Оскар — врач-психиатр, Ральф — писатель, и Герман — инженер-строитель — знают русский язык. Оскар и Герман женаты на шведках, и их дети и внуки уже русского не знают. И интересуются ли они родиной Освальда Андреевича, неясно^[65]. Таким образом, его ветка от старого дерева Парланда (по существу — единственного продолжателя рода) ушла в сторону от города на Неве и вернулась за рубеж почти через 200 лет после того, как первый Джон Парланд приехал в Петербург.

В нашей стране остались потомки четырех сестер Парланд — семьи Джесси Андреевны Петрашень, Марьи Андреевны Фидровской, Дези Андреевны Благовещенской и Эми Андреевны Семеновой-Тян-Шанской. От старой семьи Парландов мы, двоюродные братья и сестры, унаследовали дружбу между собой и любовь к своим родителям и их семье и к своим родным семьям. Именно эти традиции старой семьи Парландов передали нам родители. Сохранить их в своих семьях особенно старались Джесси Андреевна и Алиса Андреевна, ставшая второй женой Михаила Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского и воспитавшая меня, Веру и Кирилла (сына Рафаила Дмитриевича). Общим им это было нетрудно, так как Иван и Михаил Дмитриевич сами в юности и молодости вошли в круг семьи Андрея Александровича и Марьи Николаевны Парланд и многое из их заветов, незаметно для себя, впитали и старались передать своим детям. Дети и семья всегда были для них на первом месте. Тетя Аля и тетя Джесси никогда не думали о себе отдельно от своей семьи и детей. Поэтому у них обеих дома всегда было тепло, уютно и весело (даже в самое трудное время). Обе они были центром, около которого грелись и жили папы и дети. Никто из детей никогда не стремился уйти из дома, а наоборот, приводил в дом своих друзей. Они никогда

не жаловались на трудности, ничего не требовали для самих себя, занимались с детьми, читали им вслух, шили, бесконечно штопали, хозяйничали. Алиса Андреевна еще все время работала. Но когда она приходила домой, все время отдавала нам. Иван Васильевич и Михаил Дмитриевич старались как могли все свое свободное время тоже отдавать детям. Михаил Дмитриевич много гулял с детьми, читал нам вслух, водил в музеи, в концерты. Несмотря на то, что работал всегда в двух местах и часто сверхурочно. Обед, как и в семье старых Парландов, в обеих семьях являлся традицией, когда все собирались вместе и рассказывали о своих делах... После обеда также не расходились сразу и хоть полчаса отец читал детям вслух. Сейчас сохранить какие-то нити старых Парландских традиций очень старается в семье своего сына моя сестра Вера и Леночка Ледовская, внучка И. В. и Д. А. Петрашень. Я же написала все это о семье Парландов из любви к своим умершим родителям и также из любви к молодежи. Хотя своих детей у меня нет. Будет ли кто-нибудь читать мои записки, не знаю. Относительно любви к детям и к семье у сестер Парланд: я недавно прочла в каком-то журнале, будто именно англичанки являются на Земном шаре самыми лучшими матерями. Возможно, оно так и есть. Во всяком случае, тетя Аля и тетя Джесси доказали это и как бы завещали нам, что самое главное — это любовь к детям и к семье в целом.

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ АДЛЬФОВИЧЕ И ЕЛИЗАВЕТЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ БУШ

Когда в 1935–1936 годах происходило впервые в СССР присуждение ученых званий, в Ботаническом институте АН СССР и на биофаке Ленинградского университета, сотрудники и ученики Н. А. Буша добродушно смеялись, рассказывая, что он отказался якобы от присуждения ему степени доктора биологических наук, мотивируя свой отказ тем, что не считает себя вправе иметь эту степень, если таковая не будет присуждена и Елизавете Александровне Буш — его жене. Потому что все его труды и вся его научная деятельность неотделимы от научной деятельности Елизаветы Александровны, которая также достойна присуждения ей степени доктора биологических наук, по словам рассказчиков этой истории, Николай Адольфович говорил и подчеркивал, что он и Елизавета Александровна в научном плане так же, как и в жизни, одно целое и что их нельзя разделять.

Тем более нельзя в воспоминаниях разделять Буша и Бушиху, как называли Елизавету Александровну ученики Николая Адольфовича. Особенно в последние годы его жизни, с середины 1930-х годов, когда я их знала и когда оба они имели ученую степень доктора биологических наук и звание профессоров. Высокий, грузный с пышными абсолютно белыми длинными волосами и аккуратно подстриженной белой бородой, Николай Адольфович всюду выделялся приветливым, веселым взглядом и доброжелательной улыбкой. Таким я впервые увидела его на лестнице Гербария БИНа в 1932 году; он тяжело (уже тогда) поднимался наверх, на 4-й этаж в Кавказский гербарий, останавливаясь на каждой площадке. Ему было нелегко подниматься по лестнице, но он всегда приветливо улыбался и здоровался с перегоняющими его или сбегающими вниз по лестнице сотрудниками БИНа. Рядом с ним шла Елизавета Александровна в длинном черном платье, гладко причесанная, с сжатыми губами

и маленькими острыми глазками. Обычно она перегоняла Николая Адольфовича, ни на кого не смотрела и ни с кем не разговаривала. Она не любила БИН и его сотрудников, считая, что настоящие ботаники работали только в Ботаническом музее Академии Наук, где они с Н. А. проработали долгие годы. В 1931 году Музей был слит с Главным Ботаническим садом в единый Ботанический институт (БИН АН СССР). Сотрудники музея перешли работать на территорию сада, а в Гербарий перевезли все гербарные шкафы музея и поставили их между большими гербарными шкафами, вделанными в стены. Всюду стало тесно и особенно в Кавказском гербарии, где было только два рабочих стола для приезжих ботаников и сотрудников БИНа, приходящих посмотреть гербарий или проверять свои сборы. Николай Адольфович был назначен заведующим Кавказским гербарием, но фактической его хозяйкой была Елизавета Александровна. Под ее руководством единственная лаборантка, уже почтенная дама Елизавета Егоровна (к сожалению, я забыла, да и не знала тогда, ее фамилии) занималась соединением коллекций двух гербариев (Ботанического музея и Главного Ботанического сада) в единый Кавказский гербарий БИН АН СССР. Но львиную часть этой работы, также как и проверку почти всех определений, делала всегда сама Елизавета Александровна.

Я работала после окончания школы сперва просто бесплатно у О. А. Кузеновой в Сибирском гербарии, а потом препаратором в Каракалпакской экспедиции СОПСА АН СССР, у начальника ботанического отдела этой экспедиции, ученого секретаря Отдела геоботаники А. С. Порецкого и одновременно училась в заочном Университете. В дневной Университет меня не приняли в 1931 г. из-за социального происхождения. В 1934 г. меня зачислили в штат Отдела геоботаники. О. А. Кузенова и А. С. Порецкий были моими первыми учителями в определении растений. Я определяла самые легкие растения из Каракалпакии и приводила в порядок дагестанские сборы А. С. Порецкого. Проверая их определение, я попала в Кавказский гербарий и познакомилась с Е. А. и Н. А. Буш. Обоих их я очень боялась, особенно Елизавету Александровну, и всегда трепетала, входя в Кавказский гербарий. Когда она подходила ко мне, у меня душа уходила в пятки и я совершенно терялась. Но постепенно я привыкла к ее суровому обращению, а она, видя, что я с интересом работаю, становилась менее строгой.

Иногда в Гербарий заходил сам Николай Адольфович, улыбался своей доброй улыбкой, подходил ближе и смотрел принесенные мною листы и часто просил оставить какое-нибудь растение из сбо-

ров А. С. Порецкого в Дагестане в БИНе, а не отправлять их в Махачкалу; спрашивал, где и как я учусь.

А. С. Порецкий, а затем зав. Отделом геоботаники Ю. Д. Цинзерлинг не препятствовали тому, чтобы я слушала в рабочее время лекции некоторых профессоров в университете. Так я посещала лекции по общей ботанике В. Л. Комарова и прослушала несколько лекций по курсу географии растений Н. А. Буша. Этот курс в Заочном Университете вел любимый ученик Николая Адольфовича — А. И. Лесков, и мне его лекции казались интереснее, чем лекции самого Николая Адольфовича. Позднее, на Кавказе в Юго-Осетии, я как-то призналась Николаю Адольфовичу в том, что его лекции мне не понравились. Он засмеялся сперва, а потом стал спрашивать о том, что мне показалось скучным, и очень внимательно выслушал мои запутанные замечания. Так постепенно я в 1932–1933 годах знакомилась с Бушами. . .

И была очень удивлена, когда весной 1936 года Ю. Д. Цинзерлинг сказал мне, что к нему приходил Николай Адольфович и просил, чтобы летом меня прикомандировали бы к нему на только что организованный Юго-Осетинский Горный луговой стационар БИНа. Я в этот год кончала Университет, все экзамены были уже сданы, а защита дипломных работ заочников была перенесена на осень. Я писала дипломную работу у А. П. Шенникова по обследованию лугов и пастбищ долины реки Свяги, а перед тем работала на стационаре в Хибинах, где вела фенологические и микроклиматические наблюдения по вертикальному горному профилю в центре Хибинского горного массива в долине озера Малый Вудъявр. Вероятно, Николай Адольфович знал об этом.

Кроме меня, Николай Адольфович брал в 1936 году на стационар двух своих студентов, перешедших на 5-й курс — Жоржика (Георгия Павловича) Кварацхелию и Эдит Эдуардовну (Диту) Рут. Оба они были систематиками, а я геоботаником. Сперва Николай Адольфович просил нас троих придти к нему в Гербарий. Он очень приветливо нас встретил, усадил и стал рассказывать об Юго-Осетии и об организованном им в прошлом году Горно-луговом стационаре. Пока в кабинете не было Елизаветы Александровны, он был очень оживлен и добродушен, но после ее прихода как-то ступеялся и инициатива разговора перешла к ней. Правда, она говорила в основном не о научной работе, а скорее о бытовых вопросах, о нашей экипировке и о сроках выезда. Заметив, что билеты всем на Тбилиси

она уже заказала на 6 июня (это было число, когда они всегда, из года в год выезжали на Кавказ).

Елизавета Александровна очень строго предупредила нас о том, что нельзя брать с собой ничего лишнего; сказала, что она и Николай Адольфович не берут с собой даже одеял, а покрываются бурками и спят на них. Но так как у нас бурок нет, то, конечно, можно взять одеяла; что в горах по ночам холодно, что нужны брюки, что ходить в кофточках с короткими рукавами нельзя, так как горцы придерживаются очень строгих нравов, что о продовольствии позаботится она сама и что, главное, мы должны слушаться во всем. Нам с Дитой даже стало немножко страшно. Но когда через несколько дней нас пригласили прийти вечером к ним домой, чтобы поближе познакомиться, страхи наши почти прошли.

Жили Буши на набережной речки Карповки, на Аптекарском острове недалеко от БИНа, в доме 19 в большой отдельной, сохранившейся с дореволюционных времен квартире номер 43. Надо учесть, что почти все ленинградцы жили тогда в больших коммунальных квартирах, поэтому квартира Бушей поразила нас с Дитой. Вероятно, в качестве экономки у них жила какая-то старая дама — дальняя родственница Николая Адольфовича и постоянно жили «гости», так как почти всегда у них останавливались приезжавшие в командировки или в отпуск кавказские ботаники. У них всегда останавливался А. А. Гроссгейм, и я помню, как по утрам из окон Гербария было видно, как все трое шествовали в институт. Большой, массивный, в шубе с бобровым воротником и бобровой шапке Николай Адольфович, очень элегантный и весьма величественный Александр Альфонсович и между ними маленькая худенькая в длинном каком-то старомодном салопе Елизавета Александровна. Видимо, останавливался у них также и Д. И. Сосновский и постоянно бывали молодые кавказские ботаники: И. И. Тумаджанов, А. Г. Долуханов, Анико Харадзе, М. Ф. Сахония и др. Очень долго, около двух лет жили зоолог К. В. Арнольди с женой Верочкой (Верой Алексеевной Поддубной), пока Константин Владимирович был в докторантуре ЗИНа. В 1936 году весной жил Лордкипанидзе. В доме всегда был народ, было шумно, весело; постоянно велись интересные разговоры, обсуждались разные проблемы.

Елизавета Александровна всегда как-то боялась за Николая Адольфовича, что он на Ученом совете выступит невпопад или скажет что-нибудь не так, и поэтому постоянно звонила в Отдел геобо-

таники А.И. Лескову — просила его немедленно придти. И он, уходя из отдела, смеясь, часто говорил: «Опять звонит Елизавета Александровна — просит придти посоветовать, а то Николай Адольфовичне так что-нибудь скажет в Университете или на Ученом Совете». У нее это был просто страх, потому что Николай Адольфович всегда выступал очень веско, просто, а главное, принципиально. Он никогда не мог идти на компромисс, всегда отстаивал свою точку зрения, не допуская никаких отклонений и считая своим долгом ученого и человека говорить правду.

Он был, по существу, очень тонкий и деликатный человек. Очень любил музыку и часто, вместе с Елизаветой Александровной, посещал концерты в Филармонии. Я помню, еще с конца 1920-х годов, когда я была еще школьницей, как мне на вечерних концертах в Филармонии отец показывал величественного, красивого, седого человека, проходящего по главному проходу в сопровождении небольшой, очень скромной дамы, говоря, что это профессор Университета Н. А. Буш с женой. Они бывали на всех концертах классической музыки и сидели обычно в средних рядах Большого зала внизу. Хотя А. А. Корчагин в своих воспоминаниях говорил, что Николай Адольфович часто бывал на хорах и даже, не достав билета, ходил в концерты на входные стоячие места, вместе со своими студентами. Я же помню его и Елизавету Александровну только внизу в Большом зале. Но к концу 1930-х гг. они посещали Филармонию уже значительно реже; вероятно, Николай Адольфович уже плохо себя чувствовал.

Дома оба они были очень гостеприимными и радушными хозяевами, любили гостей и особенно молодежь. Попав к ним на Карповку в первый раз, я поняла, почему бывшие сотрудники Музея, а теперь Отдела геоботаники — А. И. Лесков и Ф. В. Самбук каждую неделю обязательно после работы шли к Бушам, иногда по вызову Елизаветы Александровны, а чаще просто так. Елизавета Александровна сама хорошо и вкусно готовила и очень любила угощать гостей. Обедали и пили чай они, когда были только близкие люди, просто на кухне (что не было принято тогда в Ленинграде).

В большой парадной столовой стол накрывали только по большим праздникам, таким как именины Николая Адольфовича 19 декабря — в «Николин день». Рядом с кухней находился небольшой кабинет Николая Адольфовича, где он за маленьким столиком сразу, печатал «одним пальцем» свои работы. Печатал медленно, обдумывая каждую фразу, говоря, что так ему «виднее». При этом казалось, что ему не мешали разговоры и он иногда даже перетас-

кивал свою машинку на кухню, чтобы быть «ближе» к Елизавете Александровне и принимать участие самому в разговоре, если на кухне был еще кто-нибудь.

У них было очень уютно, но поражали и к этому надо было привыкнуть, часто нецензурные выражения, которые Елизавета Александровна допускала в разговоре, и особенно эпитеты по отношению к Николаю Адольфовичу. А он, казалось, этого не замечал и оставался по-прежнему добродушным, как бы не замечая ее грубости и переводил все в шутку. (Николай Адольфович по существу был очень тонкий и деликатнейший человек и, наверное, язык Елизаветы Александровны его должен был шокировать, но из любви к ней, он не показывал виду, что ему это неприятно.) Хотя этот жаргон отразился на русском языке их любимых кабардино-балкарцев, сопровождавших Бушей многие годы работы на Кавказе и, конечно, работающих потом и на Юго-Осетинском стационаре в Эрмани. Грубый жаргон, на котором говорили Юсуп и Магомет Цаноевы, смущал неоднократно Николая Адольфовича. И в Тбилиси, например, он часто просил нас с Д. Рут увести куда-нибудь Юсупа, так как к нему должен придти И. Н. Кецохели и будет неприятно, если при нем Юсуп станет говорить «по-русски». И тогда мы брали Юсупчика, как называла его Дита, под руки и уходили с ним гулять. Магомет был более сдержанным и понимал, что многие выражения и слова, которые употребляет Лиза, не следует говорить при посторонних... [66]

Когда же мы пробовали объяснить балкарцам, что так в России не говорят, то они резонно отвечали, что так говорит «Лизá», т. е. Елизавета Александровна, и что значит, так надо говорить. Все рабочие Стационара — юго-осетины и балкарцы называли Николая Адольфовича и Елизавету Александровну просто по именам «Николай» и «Лизá». И так звали их все горцы на Кавказе, говорили им всегда «ты» и притом глубоко уважали и любили.

Николай Адольфович относился ко всем удивительно доброжелательно. Недаром в 1936 году его с нетерпением ждали в Эрмани, чтобы прекратить кровавую вражду между двумя родами в селении. И как только мы приехали туда, — через три дня съехались старейшины со всех селений на совет, чтобы под председательством Николая Адольфовича ликвидировать навсегда эту страшную вражду. Слово Николая Адольфовича для жителей горных районов Юго-Осетии было законом — его слушались, любили и уважали. И он удивительно деликатно, с уважением и соблюдением всех обычаев

относился к ним. Он был для юго-осетин настоящим другом, старшим другом, советчиком, товарищем и бесконечно любил всю природу Кавказа. А Елизавета Александровна старалась помочь всем каждодневными заботами и делом.

6 июня 1936 года мы все выехали на Кавказ — все вместе в жестком купированном вагоне. В одном купе внизу Николай Адольфович и Елизавета Александровна, а мы с Дитой на верхних полках, в соседних купе ехали Кварацхелия и Лордкипанидзе. На вокзале Бушей провожали А.И. Лесков с женой, Ф.В. Самбук, О.Ф. Гаазе, З.Н. Смирнова, А.А. Корчагин с женой, О.С. Стрелкова, В.И. Кречетович и др. Было шумно и весело. В Москве мы задержались, кажется, на день или два. Ездили с Елизаветой Александровной на склад СОПСа в Старомонетном переулке, где получали термометры, термографы, гигрометры, палатки, что-то из одежды и обуви. А вечером Елизавета Александровна и Николай Адольфович повезли нас с Дитой в Тимирязевскую Академию к своему другу А.М. Дмитриеву — известному луговеду, профессору Тимирязевской сельско-хозяйственной Академии, у которого в деревянном доме, типа дачи, мы все провели вечер. На вокзале же нас утром встречали, а затем вечером провожали на тбилисский поезд сестры и племянник Елизаветы Александровны*.

Ехать нам предстояло долго — около трех суток — через Махачкалу и Баку, так как железнодорожного сообщения с Тбилиси вдоль черноморского побережья еще не было. На станции Прохладная в этот же поезд, но в соседний общий вагон по заранее купленным Елизаветой Александровной билетам сели старые проводники-рабочие Бушей — Юсуп Цаноев и его племянник Магомет Цаноев. Это были очень приветливые и бесконечно преданные Бушам люди. Юсуп ходил с ними в горы с 1925 года. Он был неграмотный и плохо говорил по-русски. Ему было около 40 лет, Магомету 21–22 года; он окончил семилетку, умея читать и писать по-русски, но плохо; почти каждую зиму приезжая в Ленинград к Бушам (Юсуп был в Ленинграде только один раз). Но оба они выучились говорить по-русски у Елизаветы Александровны — с ее грубым, нецензурным жаргоном. Например, Юсуп мог совершенно спокойно сказать: «Знаешь, Николай, а погода сегодня, похоже, говно», а Магомет всегда исполнявший роль парикмахера в горах, приглашая Николая Адольфовича бриться, го-

*Я не помню точно, как звали сестер Елизаветы Александровной — одна, кажется, Любовь Александровна Эндаурова — врач, а другая — Цуринова и ее сын Г.Г. Цуринов (химик), его сестра с маленькой дочкой Катенькой за руку, ездила с нами в СОПС. Девочка Катенька, внучатая племянница Е.А. — Е.Е. Гогина.

ворил: «Иди, Николай, морду брить». Но иногда они отпускали еще более острые выражения.

В Баку, где поезд стоял довольно долго, приветствовать Николая Адольфовича и Елизавету Александровну приехали: А. А. Гроссгейм, Л. И. Прилишко, Т. С. Гейдеман и кто-то еще. А в Тбилиси встречали все ботаники во главе с Н. Н. Кецохели. Буши поехали в гостиницу, где-то на проспекте Руставели, где им был заказан отдельный номер. Там же устроили и Кварацхелию, Юсупа с Магометом. Нас же, девочек, встречала тетушка Диты, но Елизавета Александровна отпустила нас к ней только после того, как познакомилась с ней и ее мужем, записала адрес и велела на другой день утром явиться к ним в гостиницу.

Николай Адольфович в Тбилиси был очень занят, и в гостинице, куда к нему приходило много народа, и в Ботаническом саду на Коджарском шоссе, где он просматривал гербарий, знакомился с картографическими материалами и работами грузинских коллег. Непосредственная подготовка же к работе Горно-луговой станции началась в Цхинвали (в те времена Сталинири), куда мы приехали по железной дороге через несколько дней. Там нас встречали: председатель ЦИК Юго-Осетии Иван Петрович Джиджоев (которого Буши называли просто — Ваней) и председатель горсовета Георгий Александрович Гаглоев. Они предлагали Николаю Адольфовичу и Елизавете Александровне устроиться в гостинице или у них. Но Буши отказались от их гостеприимства, говоря, что не могут и не хотят разлучаться со своими сотрудниками. И потому всех нас устроили в Доме колхозников, где для экспедиции Н. А. Буша выделили одну большую комнату с простыми ничем не покрытыми топчанами, со скамейками и простым столом. На топчаны Юсуп и Магомет где-то добыли сена, его покрыли серыми солдатскими одеялами, которые выдал комендант. И мы спали на них, покрываясь пальто и бурками.

Юсуп сразу же приступил к исполнению своих обязанностей повара и стал готовить шурпу на летней плите во дворе, сходяв перед тем вместе с Магометом на рынок. Николай Адольфович и Елизавета Александровна были заняты организационными делами в ЦИК Юго-Осетинской автономной республики, в горсовете. И председатель ЦИК И. П. Джиджоев, и председатель горсовета Г. А. Гаглоев оказывали им всяческую помощь.

Николай Адольфович сделал доклад на заседании ЦИК о задачах и планах работ Юго-Осетинского Горно-лугового стационара, второй доклад он делал в Доме культуры для широкой аудитории. Послушать его пришла вся местная интеллигенция; помню привет-

ливую Нину Гетгиеву, заведующую Краеведческим музеем и писателя Чермена, председателя Союза писателей Юго-Осетии. Елизавета Александровна сидела с нами в последнем ряду и громким голосом делала свои замечания, иногда по форме очень грубые. Но мы уже привыкли к ее жаргону.

Из селения Эрмани, где был стационар, приехал еще один рабочий Тузар Тугаев. Он привел несколько лошадей. Юсуп и Лиза́ (с ударением на втором слоге — так все называли здесь Елизавету Александровну) были заняты упаковкой снаряжения и продуктов, а Магомет на метеостанции стажировался по зарядке термометров и гигрометров. Мы же помогали чем могли и собирали незнакомые нам растения.

Верховых лошадей для Николая Адольфовича, Елизавету Александровну и нас троих на все лето выделил ЦИК Автономной области, там же дали еще несколько лошадей под вьюки для каравана по переброске снаряжения в Эрмани. Сопровождать Бушей туда и пригнать обратно лошадей должен был помощник начальника милиции Семен (фамилии не помню). У Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны были свои собственные казацкие седла, на которых они ездили много лет. Еще одно такое же седло у нас было запасное. Всех их везли багажом из Ленинграда. Для меня Елизавета Александровна выбрала на складе Отдела геоботаники БИНа (где хранилось 27 седел) новое офицерское седло, оно не подошло к низенькой, маленькой лошади, выделенной для Стационара, но очень понравилось самому председателю ЦИК — Ване Джиджоеву. Он предложил мне поменяться с ним: он дает мне хорошее казацкое седло под низкорослую горную лошадь, а я взамен ему офицерское под большую лошадь для езды по равнинным и предгорным районам. Мне было все равно, так как я еще ни разу не садилась верхом, а Елизавете Александровне эта сделка понравилась.

Руководитель Юго-Осетии и спустившийся с гор Тузар торопили нас с выездом в Эрмани. Там в селении Среднее Эрмани (рядом со станцией) между двумя семействами уже давно была кровная родовая вражда и последний в одном роду юноша собирался убить последнего представителя мужского рода в другом роду (четырёхлетнего ребенка). Дело оборачивалось очень серьезно, и все просили Николая Адольфовича примирить враждующих. Во все окрестные селения было дано знать, что как только приедет в Эрмани Николай (так называли Николая Адольфовича все горцы) — там должны собраться все старейшины для того, чтобы миром прекратить эту страшную родовую вражду и кровную месть.

Наконец все дела были сделаны и рано утром уже в конце второй декады июня мы двинулись вперед. Николаю Адольфовичу помогли Магомет и Тузар взобраться в седло. Он был очень грузный и ему было тяжело подняться. Одет он был в широкие штаны, заправленные в мягкие кавказские сапоги, привезенные из Кабардино-Балкарии Юсупом, и мягкую свободную куртку — типа толстовки. На голове широкополая войлочная шляпа, которую ему прислала мать Тузара. Через плечо на ремнях фотоаппарат, бинокль, планшетка, в правой руке — плетка-камча. Полевая сумка и свернутая бурка приторочены к седлу. И в этом наряде, верхом на лошади он был удивительно красив, несмотря на явную одутловатость лица, которое по приезде на Кавказ стало немного отекает. В каждом селении по дороге в Эрмани навстречу каравану Бушей встречать Николая и Лизу выходили все жители. Николай Адольфович, помню, в Роках остановил коня и, сидя в седле, расспрашивал всех о том, как пережили зиму? Все ли здоровы и благополучны? Кто умер? У кого родился ребенок? Кто ушел служить в Красную Армию? Кто поехал учиться в Цхинвали? Поражало, что почти всех он называл и помнил по имени. Не только в Эрмани, но и других селениях, в Роках, в Эдисси, в Апели.

Ему было тяжело ехать верхом. Теперь-то я понимаю, что у него было больное сердце и поднималось давление. Он с трудом садился в седло, и рядом с его конем всю дорогу по очереди шел кто-нибудь из рабочих. Елизавета Александровна очень боялась, как бы чего не случилось.

Елизавета Александровна тоже в горах все время ходила в мужском костюме: шаровары, заправленные в мягкие сапоги и длинный до колен казакин из светлого атласного сатина, обтягивающий сверху ее фигуру, застегивающийся, как у терских казаков в начале века, на крючках. На голове обыкновенная ситцевая белая косыночка. Через плечо полевая сумка, планшетка; бурка свернута и приторочена к седлу, в правой руке плетка, Елизавета Александровна великолепно ездил верхом, но на лошади была менее эффектно, чем Николай Адольфович. Так, наверное, в 1909–1910 годах ездил на коне студентка-бестужевка Лиза Эндарова, когда ее встретил в казачьей станице на Северном Кавказе молодой красивый профессор Н. А. Буш. С тех пор прошло около 37 лет, и оба они по-прежнему, даже в стационарных условиях, отказывали себе в каких-либо удобствах.

А мы с Дитой садились на лошадей впервые в жизни и старались храбро не показать свою тревогу. Мы тоже были в шароварах, спус-

кающихся ниже колен, в сандалиях, носках и футболках. На голове у нас были белые войлочные шляпы осетинки, купленные на базаре в Цхинвали, а сзади к седлам были приторочены наши старенькие драповые полупальтишки. Мы по наивности не взяли, кроме старых свитеров, никаких теплых вещей. Пришлось потом писать домой, и нам выслали по паре теплых чулок и шерстяные кофточки, а носки шерстяные связали женщины в Эрмани.

Впереди каравана ехал милиционер Семен, за ним Николай Адольфович, рядом с которым у правого стремени шел Магомет, потом Елизавета Александровна, за ней Дита, я, Жорж Кварацхелия – верхами, а сзади Юсуп, Тузар и еще двое рабочих вели выючных лошадей. Ехали шагом по дороге на Джаву по долине реки Большой Лиахви в селение Роки. Ехали медленно целый день, несколько раз из-за отвалов спускались в русло реки и переходили вброд на другой берег Лиахви, так как дорога на ее правом берегу оказывалась местами размытой или засыпанной обвалами.

Первую остановку делали в Джаве, где обедали в столовой. А на ночлег встали на правом берегу, не доезжая километров 20–25 до Рок в месте, кажется, против селения Анели, на берегу Б.Лиахви, где на склоне ее террасы находится минеральный источник и где Буши привыкли всегда ночевать. Нас с Дитой с лошади сняли Семен и Магомет и смеялись, когда мы повалились на траву, после первой в жизни езды верхом. Удивились мы и вкусу воды в источнике, но Николай Адольфович смеясь сказал нам: «Помните, что на Кавказе все реки — Тереки, все воды — нарзаны, а мужчины — тарзаны». Он сам тоже, конечно, устал, но не подавал виду и просто сиял, вдыхая чудный горный воздух и прислушиваясь к рокоту воды в реке, говорил: «Прислушайтесь хорошенько — этот говор водяных струй, его ни с чем нельзя сравнить — только с прекрасной музыкой». Ночь была теплая и все спали на кошмах на открытом воздухе, не ставя палаток. Мы с Дитой заснули, как убитые, несмотря на массу впечатлений этого дня, когда мы впервые в жизни увидели величие природы Кавказа.

На другой день проехали к селению Роки, где сделали дневку и обедали в какой-то маленькой харчевне. Встречать Николая и Лизу пришло много людей, в том числе и учитель местной школы.

Учитель рассказывал о мечте жителей Роки и всех осетин о возможности прокладки туннеля под Рокским перевалом через Большой хребет для более легкого пути между Южной и Северной Осетией. Николай Адольфович потом объяснял нам, что идея проклад-

ки такого туннеля витает в воздухе уже давно и что он также, как и все жители Юго-Осетии, считает этот вопрос очень важным.

После Роки начался самый трудный участок пути (20 км) через большой, видимо, ледниковый каменник, в местность Эрмани, почти отрезанную из-за отсутствия пути в зимнее время от всей Автономной области. Все мы, кроме Николая Адольфовича, сошли со своих коней, шли пешком и вели их в поводу. А коня Николая Адольфовича вел очень осторожно Магомет. За каменником открывалась очень интересная и красивая местность, где сливались из трех ущелий три небольшие речки — Эрмани-Дон Верхняя, Средняя и Нижняя, образуя начало реки Б. Лиакви. Лесной пояс уже кончился. Последнюю рощу сосны Николай Адольфович указал нам камчой, и на склонах этих ущелий располагались лишь рощи березового криволеся, а выше заросли кавказского рододендрона. Южнее более пологие склоны речки Эрмани-Дон были частично распаханы и покрыты небольшими полями, отгороженными каменными изгородями, а склоны Средне-Эрманского и Нижне-Эрманского ущелий — покрыты субальпийскими лугами. Впереди между Верхне и Средне Эрманскими ущельями возвышался потухший вулкан Фидар-Хох. Все это нам показывал Николай Адольфович — когда мы приехали в селение Среднее Эрмани, где все жители от мала до велика бросились к нему навстречу. Среди них оказался также и старый проводник Бушей Ослам-Мурза, ставший нашим четвертым рабочим.

Но так как уже вечерело, Николай Адольфович не стал останавливаться в селении и наш караван прошел дальше, пересек выше селения речку Эрмани-Дон и поднялся на небольшую террасу левого борта ущелья, где располагался Юго-осетинский Горно-луговой стационар. Вернее, его «усадыба» — лагерь. В 1936 году здесь были поставлены четыре палатки — большая старая (без пола) солдатская палатка — «Большой дворец», как ее называли, — палатка Бушей и три маленьких двухместных: для Юсупа с Магометом, нас с Дитой, Г. П. Кварацхелия и четвертая запасная для гостей. Нашу палатку называли «Дворцом пионеров», потому что Юсуп считал Диту маленькой — «дитишка-кичичик» называл он ее. На «Главной площади» лагеря сделали деревянный стол и скамейки — это была столовая, кабинет Николая Адольфовича, чертежная, разборочная и гостиная — все, что угодно. Центр всей жизни стационара. Все научное оборудование, продукты во вьючных ящиках помещались в большой палатке, где обитали Николай Адольфович и Елизавета Александровна. Рядом около огромного валуна было выбрано место

для костра, вбито несколько колов: для бурдюка с айраном, для разделки бараньих туш, для кастрюль и других хозяйственных надобностей. Это была кухня — царство Юсупа. От этого места спускалась тропинка к реке, по которой ходили за водой.

Жили Буши в большой палатке, где стояли выючные ящики с продуктами и снаряжением. В палатке не было пола, настился просто большой брезент. На нем они спали на кошме, покрываясь бурками, не раздеваясь. У Елизаветы Александровны вместо подушки было под головой седло, у Николая Адольфовича — маленькая кожаная подушечка, с которой он путешествовал по Кавказу более 40 лет. Днем кошмы и бурки сворачивались и Николай Адольфович полу-сидя, полу-лежа отдыхал на них. Особенно в худую погоду ему часто неможилось. Он жаловался, что у него болит спина и жжет под левой лопаткой, «как от горчичников», кашлял. Елизавета Александровна в таких случаях закатывала ему на ночь банки. Днем он практически никуда не отходил от лагеря. Я тогда в 1936 году не понимала и сейчас не понимаю, почему Николай Адольфович и Елизавета Александровна жили в этой палатке три с половиной месяца без всяких удобств.

Мы приходили со своих опытных площадок каждый день докладывали ему о проделанной работе. Он смотрел все записи, проверял правильность отчетов, фенологические журналы, интересовался всем новым, что нам удалось заметить и т. д. Сам же вел только метеорологические наблюдения около лагеря. Иногда ходил через речку Эрмани-Дон — на заложенный Елизаветой Александровной в 1936 году питомник кормовых трав; наблюдая, как мы в свободное от наблюдений время возили камни на санях и быках.

В плохую погоду, сидя в палатках, мы с Дитой чертили фенологические спектры, строили кривые. Все это интересовало Николая Адольфовича и проходило под его контролем. Фенологические и микроклиматические наблюдения мы делали через два дня на третий. Сам же Николай Адольфович при помощи Магомета вел метеонаблюдения на самой нижней метеостановке, около лагеря, где стояли английская будка с термометрами, дождемер и самописцы (гидрограф и термограф) на высоте травостоя и на почве. Другая серия самописцев была установлена на вершине левого борта Средне-Эрманского ущелья и на морене этого же борта, там же, где закладывался питомник. В этих точках раз в неделю вел наблюдения и менял ленты у самописцев Тузар. На наших же с Дитой площадках в разных сообществах субальпийских лугов на одной и той же высоте наблюдения за микроклиматом велись нами

через два дня на третий при помощи психрометров Ассмана, термометров на поверхности и на разной глубине в почве. Выбором всех наблюдаемых площадок и установкой приборов руководила Елизавета Александровна. Она же доставала все приборы и термометры в Ленинграде, Тбилиси и Цхинвали.

Под ее руководством и при ее энергичном участии все мы участвовали в закладке питомника кормовых трав, строительстве вокруг него ограды и строительстве первого каменного дома на левом берегу реки Эрмани-Дон, на морене, недалеко от питомника. Мы возили из русла реки на волах, запряженных в сани, валуны и камни, а наши рабочие Тузар, Магомет и Юсуп — занимались кладкой изгороди и дома. В 1936 году дом не был готов — его окончили только в 1937-м, когда из Цхинвали были привезены рамы и стекла для окон, двери, сложены печи. Тогда в конце лета лагерь был перенесен к дому и сами Николай Адольфович и Елизавета Александровна поселились в нем. А пока в 1936 году все жили в палатках дружно, хорошо и даже весело, так как в лагере постоянно были гости.

Сразу же после нашего приезда в 1936 году, как только в окрестных селениях стало известно о приезде Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны — собрался совет старейшин для примирения враждующих родов и прекращения кровной вражды, о которой я упоминала выше. В лагерь съехались на конях почтенные, старые джигиты в национальных костюмах. Магомет и Тузар принимали коней, стреноживали их и отводили пастись. Юсуп готовил курмалык: айран и шурпу. Николай и Лиза встречали гостей. . . Мы сидели тихо в стороне у входа в свои палатки. Надо было видеть с каким почтением прибывшие гости здоровались с Бушами и как приветливо они встречали всех.

В стороне около костра, у большого камня сидел Гриша, молодой 18-летний парень из селения Среднее Эрмани, главное действующее лицо в кровной вражде. Комсомолец, между прочим. Накануне Николай Адольфович просил всех нас троих: Диту, Жоржика и меня поговорить с Гришей и объяснить ему, что в 1936 году в Советском Союзе, через 19 лет после Великой Октябрьской революции — заниматься кровной враждой абсолютно невозможно и нельзя. Мы долго ходили с ним по берегу реки, сидели на камнях и всячески старались внушить ему необходимость заключения мира. Для этого Тузар и Магомет привели его на совет.

Привели на него также мать последнего мальчика в другом враждующем роду, которого по адагу должен был убить Гриша. Она тоже сидела со своим ребенком в стороне и Юсуп, тихо ступая, поил ее

чаем с сухарями. Вокруг места действия в некотором отдалении от собравшихся лежали и сидели на траве ребята-лапуга из всех трех Эрманских селений. Зрители... За столом сидел Николай и все старейшины; Лиза и Юсуп угощали их сперва чаем, бараниной, айраном. — После чего начались переговоры, на которых первое слово принадлежало Николаю Адольфовичу.

Позвали Гришу; Николай Адольфович и какой-то почтенный старец долго говорили ему о том, что надо прекратить вражду. Да и он сам понимал, что это необходимо. Позвали женщину — она обняла Гришу, он поцеловал ее грудь. Склонился к ней... Примирение состоялось. Николай и Лиза обняли Гришу, его новую приемную мать; Юсуп тихонько вытирал слезы, а мальчишки начали танцевать вместе с «не совсем умным», как говорил Николай Адольфович, пастухом Акимом лезгинку...

Гриша какое-то время после этого работал у нас, а потом его призвали в армию. В этой истории большую роль сыграл авторитет Николая Адольфовича среди местных жителей. Ведь именно его ждали, чтобы положить конец кровавой вражде, к его слову прислушались все... И потом все старейшины благодарили его.

Его и Елизаветы Александровны чуткость и внимательность к нуждам местных жителей проявлялась на каждом шагу. Так вскоре к нему пришел в большом горе наш рабочий Тузар и рассказал, что его родители решили его женить и уже заплатили калым за девушку из села Нижнее Эрмани. А ему эта девушка не нравится, и он очень просит Николая поговорить с его отцом, чтобы разрушить эту свадьбу. Николай Адольфович и Елизавета Александровна долго и много говорили с ним по этому поводу, Николай Адольфович даже решил поехать к отцу Тузара. Однако из этого разговора ничего не вышло, и через несколько дней сыграли свадьбу. Николай Адольфович и Елизавета Александровна были приглашены на свадебный пир как самые почетные гости. И возвратясь с него Николай Адольфович вечером рассказывал нам о том, как много раз ему приходилось бывать на подобных пирах и в Сванетии, и в Кабардино-Балкарии и других местах и о том, какие обычаи существовали там раньше. Нам с Дитой все это было очень интересно.

К Николаю Адольфовичу часто приезжали или приходили из ближайших и из дальних селений и старые почтенные люди, и молодые. Особенно часто, почти каждую неделю, приезжал поговорить обо всем на свете старый учитель, а теперь наблюдатель метеостан-

ции в селении Эдисси — Давид, отец писателя Чермена из Цхинвали. Он хорошо говорил по-русски и они подолгу беседовали с Николаем Адольфовичем. Как-то я поинтересовалась о том, кто же делает наблюдения, когда он сидит у нас в гостях. И он ответил, что метеонаблюдения делает или его жена, или сноха, или внук-школьник. И что он спокоен, и что все сделают как надо.

Когда он уехал, Николай Адольфович за ужином, смеясь, рассказал историю о том, как где-то (не помню где) ему пришлось столкнуться с наблюдателем, который не любил ходить на наблюдения поздно вечером и ночью и для того, чтобы он к нему не придрался, что он не ходит, — выходил на крыльцо с зажженным фонарем «летучая мышь» и махал им. Чтобы далеко было бы видно, что он идет на метеостанцию. Николай Адольфович смеялся, рассказывая этот анекдот. Вообще он обладал большим чувством юмора. И это очень ясно проявлялось в его отношении к некоторым горцам, к которым он относился как к детям. Всегда и во всем держал себя очень серьезно, а главное, доброжелательно и требовал этого и от нас.

В селении Среднее-Эрмани был пастух Аким, не совсем нормальный человек. Теперь сказали бы, что он в какой-то степени «дебил», а Юсуп говорил, что он «джарым-нормал». Аким прекрасно танцевал, считался первым танцором в лезгинке, был очень добродушен и весел. Приходя к нам, он садился около какой-нибудь палатки и смотрел тихо-тихо — просто как мы живем. Его все любили и всегда приветливо встречали и он платил всем тем же и особенно любил Николая Адольфовича. Однажды, когда я делала наблюдения на самой высокой площадке, он спустился с вершины ущелья, где пас овец, на мою верхнюю площадку и сел рядом. Долго смотрел как я записываю все — а потом спросил: «Скажи, Николай тоже грамотный?» Рассказ об этом разговоре очень тронул Николая Адольфовича, и когда через несколько дней Аким пришел к нему и стал меня сватать, Николай Адольфович отнесся к этому очень серьезно. Он позвал меня и сказал — так мол и так — с Акимом надо обращаться бережно и просто обсмеять это дело нельзя. В ближайший выходной день было решено, что по случаю сватовства Акима, мы поедем, именно поедем верхами — на этом настаивал Николай Адольфович, — посмотреть дом Акима и все его хозяйство. Чтобы решить, выходить мне за него замуж или нет. Николай Адольфович просил, чтобы все было бы чинно, вежливо, как полагается. Когда мы все — я, Дита, Жоржик, Магомет, Юсуп — приехали верхом в селение к Акиму, —

он вышел нас встречать и показал свой дом, двор. Хозяйства у него никакого не было, была только одна курица.

— Как же мы жить-то будем, Аким? — спросила я. — Ты об этом подумал?

Вернулись домой в лагерь и все рассказали Николаю Адольфовичу.

— Вот что, Аким, — решил он, — заведи, 10 куриц, чтобы была скотина и тогда я буду просить родителей Станки, чтобы они отдали ее за тебя. Иначе ведь жить нечем будет и ничего не получится.

Аким согласился с этим мнением. И когда через год, в 1937 году мы приехали снова в Эрмани, Тузар, смеясь, сказал:

— А знаете, у Акима уже есть две курицы.

Николай Адольфович очень смеялся этому, а когда Аким пришел к нам в лагерь, похвалил его.

В 1937 году на второй год моей работы в Юго-Осетии произошел другой случай. На стационаре в этот год работали уже трое студентов: Ваня Абрамов, Настя Токунова (впоследствии жена И. И. Абрамова) и Леля Шмидт (потом жена Г. И. Кварацхелия). Леля была очень полная белокурая девушка, и на нее заглядывались проезжавшие и останавливающиеся поболтать с Николаем джигиты.

Однажды у нас обедали двое молодых людей из-за Кельского перевала, с той стороны Главного хребта и очень внимательно смотрели на Лелю. Недели через две-три как-то днем Николай Адольфович подошел к моей палатке и потихоньку вызвал меня. Елизаветы Александровны в это время не было — она уехала с Тузаром по делам в Цхинвали.

— Мне нужна Ваша помощь, Стана, — сказал Николай Адольфович и смеясь добавил:

— Из-за перевала приехали сватать Лельку; вернее, менять ее на кобылу. Надо серьезно отказать и отделаться от них. Пойдемте.

За домом сидели проезжавшие тогда парни, Магомет, Юсуп и недалеко была привязана великолепная молодая лошадь. Я подошла.

— Вот, — сказал Николай Адольфович, — как вы знаете, Лизы сейчас нет, она уехала. А в таком деле, о котором вы приехали со мной говорить, должна также решать и женщина. Вот она нам поможет.

Я села тоже к столу, и Николай Адольфович очень серьезно рассказал мне о том, что ему предлагают менять Лельку на кобылу, так как Лелька очень понравилась — вот этому молодому человеку, и что лошадь, которая стоит рядом, очень хорошая лошадь, стоит

она около 15 000 рублей. И он спрашивает меня, как быть?

— Лошадь нам очень нужна, Николай Адольфович, — сказала я — надо подумать и посмотреть.

И все мы встали, чтобы посмотреть лошадь. Она действительно была хороша. Николай Адольфович ходил вокруг нее, хлопал по крупу, гладил:

— Если бы я был настоящий отец Лельки, я бы, пожалуй, променял ее бы на такую лошадь, — сказал он.

— Да, — подхватила я. — Лошадь хороша — но ведь у Лели есть в Ленинграде отец. . .

— Нам надо ему написать, его спросить, — сказал Николай Адольфович, — захочет ли он променять дочь на кобылу? И потом, как вы думаете — обратился он ко мне — нужна ли будет Лелиному отцу кобыла в Ленинграде?

— Трудно сказать. . . ведь в Ленинграде — трамваи, автобусы — куда он сможет ездить на лошади? Да и держать ее где? Нет ведь конюшен, и опять же сено. . . — отвечала я.

— Видишь, как мне трудно, — сказал Николай Адольфович, обращаясь к парню, — видишь, нужно согласие отца. А ему разве нужна лошадь в Ленинграде? Что он с ней там делать будет. . . Знаешь, мы не можем решать за него; не наша ведь Леля-то.

Магомет и Юсуф, стараясь скрыть улыбки, поняли нашу игру и начали усиленно угощать гостей чаем. . .

Гости начали понимать, что дело не выйдет.

— Ты, Николай, не думай, что мы так не понимаем. Раз ты не можешь, значит, все.

Они попрощались, сели на своих коней и ускакали, держа в поводу кобылу. Николай Адольфович, прихлебывая чай, сказал:

— Очень хорошо отказали, все как следует. А иначе-то ведь нельзя — надо все серьезно делать. . . А теперь надо Лельку успокоить. А то она, наверно, плачет в своей палатке.

Кроме горцев приезжали и другие гости. В 1936 году недели две гостила сестра Елизаветы Александровны — Любовь Александровна Эндаурова — врач из Москвы. Очень полная, веселая и какая-то легкая во всем. Она помогала Елизавете Александровне лечить больных местных жителей. По утрам около лагеря появлялись больные: в основном, женщины с детьми. Они терпеливо сидели в отдалении и ждали, пока Лиза выйдет из палатки, пока мы все умываемся, завтракаем и делаем все дела. Потом они робко подходили к палаткам, Елизавета Александровна выносила специальный чемоданчик с ме-

дикаментами. В основном у пациентов были: нарывы, диатез, парша, желудочные заболевания, небольшие травмы. Медпункт, где работал только фельдшер, находился в Роках, т. е. примерно в 25 км — за каменником. Идти туда было трудно. Елизавета Александровна промывала раны, ставила компрессы на нарывы, мазала, прижигала диатез (золотуху) зеленкой, раствором марганцовки; чистила ребятам гноящиеся уши, промывала глаза и т. д. Одна женщина со страшным нарывом на руке ежедневно приходила на перевязку, и Николай Адольфович называл ее «ручная женщина».

В те дни, когда нам не надо было идти на наблюдения, мы с Дитой помогали Елизавете Александровне и многому научились у нее. Главное, не бояться страшных больных и стараться помочь им. Мы ходили с Елизаветой Александровной в селение. Там лежала на матрасе на земле на солнышке около одного дома умирающая, совершенно высохшая, худая старуха. «Живые мощи», как называла ее Елизавета Александровна, — настоящий дистрофик. Елизавета Александровна обмывала ее, поила из поильника, кормила. Это было до войны, и я еще не видала ни блокадных дистрофиков Ленинграда, ни тяжелораненых в госпиталях во время финской и Великой Отечественной войны. То, что делала Елизавета Александровна, оказалось для нас хорошей школой, так как нам с Дитой пришлось работать во время войны санитарками в госпиталях. Когда эта больная старуха наконец умерла, к нам в лагерь прискакал посланец, приглашавший всех на праздник-курмалык, по случаю ее смерти. Поехала на него, конечно, Лиза в сопровождении Магомета и Юсупа. Не оказать уважения к покойнику, не поехать, по мнению Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны, было неприлично.

Однажды прискакал откуда-то издалека мужчина и привез на руках мальчика, укушенного змеей. Прискакал к Лизе и Николаю за помощью! Мальчику было, наверное, лет шесть-семь; сразу же ему дали выпить разведенного спирту, так как считалось, что это хорошее противоядие против змеиных укусов; он потерял сознание. И тогда ему прижгли ранку каленым железом. Это было страшно. Но Лиза и Николай Адольфович, который сам прижигал рану, делали все это совершенно спокойно и умело. Потом мальчика уложили на кошке в большой палатке Бушей и только на другой день отец увез его домой. Николай Адольфович вечером за ужином говорил, что укус кавказской гадюки гораздо опаснее, чем укус европейской и что прижигание и спирт являются хорошими средствами против их яда. Через неделю благодарный отец привез Николаю Адольфовичу

и Елизавете Александровне «гонорар» за лечение сына — войлочную шляпу, мягкие сапоги и шерстяные носки.

У Бушей были бескорытное стремление помочь людям, простота и уважение по отношению к горцам и удивительная бессребренность по отношению к деньгам. Ведь всю свою зарплату они тратили на нужды Юго-Осетинского Горно-лугового стационара. БИН финансировал стационар очень скромно, а все остальное дополняли из своих денег Буши. Например, они не вычитали с рабочих никаких денег за питание. Хотели также поступать и с нами — студентами. Но мы трое дружно запротестовали против этого. Всем жителям в селениях Эрмани обязательно привозили подарки. Каждому, начиная от почтенного старца до маленького ребенка — что-нибудь нужное, приятное. Покупала все это зимой в Ленинграде всегда сама Елизавета Александровна. Понемногу пришлось войти в финансовые расчеты стационара и взять на себя помощь в составлении авансовых отчетов. При этом Николай Адольфович искренне удивлялся, что надо для отчетов беречь все билеты, багажные квитанции, расписки и т. д. Он говорил, что не привык к такой скупуплезности, что до революции Географическое общество, давая деньги на экспедиции, не требовало такой точности расходов, а на первое место ставились научные результаты работы.

Вспоминая свои ранние экспедиции, он рассказывал, правда, немного и о своей жизни. Так, как-то вечером, когда мы сидели втроем после ужина, а Лиза ушла с Магометом в селение, Николай Адольфович грустно сказал мне и Беталу, что иногда очень жалеет о том, что умер сразу после рождения его сын. . .

— Он был бы теперь, вроде Вас, Бетал и может быть, у меня были бы и внуки теперь. . .

Мы знали, что он рано овдовел и что Елизавета Александровна — его вторая жена, но никогда не спрашивали его об этом. А тут он сам заговорил.

— Моя жена умерла — продолжал он, — когда родился мой сын, и он тоже умер. . . И когда мы поженились с Елизаветой Александровной, я дал себе слово, что никогда не подвергну ее такой же опасности, и поэтому у нас не было детей.

Он говорил тихо и медленно об этом, самом большом своем горе и любви к Елизавете Александровне. Догорал костер и ночь надвигалась со стороны Фидар-Хоха. Бетал, Юсуп, который тихо подсел к нам, и я молчали. Бедный Николай Адольфович, подумалось, наверное, всем. А Николай Адольфович тихо рассказывал, как в

1909 году он приехал в станицу Белореченскую и там встретился со своей студенткой Лизой Эндауровой. Она варила варенье вечером, после маршрута и чем-то неуловимым поразила его. На всю жизнь.

— Она, Лиза, просто хорошая во всем, — подытожил Юсуп. — Давай, Николай, чай еще попьем. Сейчас наши придут из Эрмани, — говорил он, ставя на стол кружки, стараясь по-своему утешить Николая Адольфовича. Разговор прервался.

— Они и мне об этой встрече рассказывали, — говорил мне в Ленинграде А. И. Лесков, когда я рассказывала о летней работе в Эрмани, — и спорили, какое было варенье — абрикосовое или вишневое. С тех пор Елизавета Александровна и стала командовать Николаем Адольфовичем, — добавил он. Командовать или не командовать, но счастливую жизнь Николаю Адольфовичу — Елизавета Александровна дала. Это несомненно.

Бетал скоро после этого вечера уехал и как бы на смену ему в 1936 году приехал из Москвы старший друг Николая Адольфовича — Андрей Михайлович Дмитриев — известный луговед из Тимирязевской академии и из Института Кормов. «Аю-Адам» — называли его наши рабочие, вернее, Юсуп. Он был большой, тучный, но вместе с тем очень подвижный и веселый. Он в первые же дни облазил все наши площадки, посмотрел все типы субальпийских лугов. Побывал на гребнях Средне-Эрманского ущелья, помогал Елизавете Александровне в разбивке грядки в питомнике, помогал даже возить камни для изгороди питомника и нового дома. Но главное, проводил большую часть времени с Николаем Адольфовичем, который, конечно, скучал, когда все уходило из лагеря. Они бесконечно беседовали, а иногда и спорили друг с другом. Во время дождя или в холодную погоду полулежали на кошмах в большой палатке, а в хорошую погоду сидели на скамьях около стола в «столовой». Как мне помнится, Дмитриев, в общем, был в Эрмани недолго — две или три недели.

Осень в 1936 году наступила рано и в середине сентября неожиданно выпал снег. Еще накануне Николай Адольфович, Елизавета Александровна, я и Магомет ездили в гости «на пир» в Эдисси к Давиду. К нему приехали погостить сыновья: Чермен из Сталинири, младший сын из Москвы и старший — секретарь райкома (не помню, откуда). Николай Адольфович был самым почетным гостем и вместе с Елизаветой Александровной сидел во главе стола. Кругом сидели в черкесках почетные гости. За столом, кроме Лизы, не было ни одной женщины, и когда мне тоже предложили сесть, я смутилась. Тем более, что сыновья Давида, тоже почтенные люди, старше

меня, стояли. Они объяснили мне, что при посторонних им не полагается сидеть в присутствии отца и других старейшин, но так как на обеде присутствуют русские гости, то им разрешат тоже сесть.

Это был очень интересный для меня праздник в честь приехавших гостей, хозяина Давида и Николая Адольфовича. После обеда молодые хозяева предложили мне проехать верхами по ущелью, посмотреть старинные башни и развалины укреплений средневековых осетин и по дороге рассказывали историю края, которую я не знала. Вечер был теплый, и когда мы возвращались через каменник, сияла луна, а на другой день выпал снег. Он шел всю ночь, и нам с Дитой казалось, что на палатку падают сухие листья. Когда мы отодвинули полог палатки, — то увидели, что все покрыто снегом, глубиной до 10–15 см. Под снегом гнулись ветки берез, в небольшой рощице-«куладоне», как мы ее называли, за лагерем. Лиза и Юсуп торопили с завтраком и укладкой вещей и всего имущества. Решено было оставить лагерь и перебираться в селение Среднее-Эрмани в дом родителей Тузара. Николай Адольфович похаживал по лагерю в бараньей шапке и бурке. Большая палатка была уже свернута, и мы начали спешно ликвидировать свой «Дворец пионеров», как называли нашу палатку. Все имущество перевозили в селение на санях, запряженных волами, а мы поехали туда верхами.

У нас с Дитой не было никакой обуви, кроме сандалий, а у Бушей — мягких кавказских сапожек. Самое сложное была переправа через речку Эрмани-Дон, в которой мы все лето мылись и полоскались. Сейчас она превращалась на глазах в бурный поток, и Николай Адольфович торопил всех, пока еще можно было через нее переправиться. На той стороне ее мы обогнали сани, на которых везли туши разбившихся в верховьях ущелья быков. Они мирно паслись там, выше наших опытных площадок и, подскользнувшись на снегу, скатились вниз и разбились насмерть. Мясом их потом питались несколько дней жители селения и мы тоже.

Снегопад продолжался два дня; о том, чтобы спускаться вниз в Цхинвали, не могло быть и речи. Каменник, самый тяжелый участок пути, был весь завален снегом, да и по течению Большой Лиахви путь местами тоже, как предполагал Николай Адольфович, должен был быть размытым. Так мы застряли в селении Среднее Эрмани на пять дней. Я волновалась больше всех, — была середина сентября, а в октябре была назначена защита дипломных работ студентов-заочников. У меня дипломная работа «Луга и пастбища долины реки Свяги» была написана, но не перепечатана. Часть ее лежала у

меня в столе в Отделе геоботаники, а часть была дома. И я очень волновалась, что в октябре предстоит защита. Я не знала, что в это время друзья из Отдела, А. И. Лесков и Ю. Д. Цинзерлинг, просмотрели мою работу, попросив сестру принести из дому все, что там нашлось, и Юрий Дмитриевич сам сложил, просмотрел ее и отдал машинистке. В этом сказалось удивительно товарищеское и дружественное отношение даже и к молодым начинающим сотрудникам, которое в те годы отличало Отдел геоботаники БИНа.

Обратный путь из Эрмани в Цхинвали был тяжелым, после снега начались дожди. Когда мы спускались в город, несколько раз приходилось переходить вброд Большую Лиахву, так как дорога местами была размыта. На этот раз все ехали верхом: Магомет в поводу держал лошадь Николая Адольфовича. Торопились и в первый день прошли путь почти до Джавы, Николай Адольфович устал и, так как дождь перестал где-то под Джавой, ночевали в каком-то селении под крышей. В Цхинвали (тогда Сталинири) спустились мокрые, усталые и остановились в том же Доме колхозника. На другой день обрадовались теплу, сухости, а главное, солнцу. На дворе организовали сушку и потом укладку всего имущества. Часть его — самое громоздкое: палатки, инструменты, самописцы, основная кухонная посуда и т. д. была оставлена еще в Эрмани, у Тузара. Здесь в Цхинвали оставляли седла, последнюю посуду и последнюю часть багажа. Я забыла сказать, что в течение всего лета собранный гербарий отправлялся в Ленинград в БИН посылками. Их искусно, по всем правилам, зашивал и обшивал Юсуп, а кто-нибудь из молодых рабочих верхом отвозил их в Роки, где было почтовое отделение.

В 1930-х гг. в наркомате связи еще действовал указ Петра I о том, что все посылки с научными материалами, адресованные в Академию Наук, шли бесплатно. Буши всегда отправляли гербарий сразу, как только высохли все растения, не оставляя сухие листья, боясь чтобы растения не отсырели. Когда мы все вернулись в Ленинград, в Кавказском гербарии нас ожидала уже большая груда посылок.

В Цхинвали мы задержались несколько дней: Николай Адольфович должен был сделать в ЦИКЕ Автономной Области доклад о проделанной работе. А мы должны были подготовить к нему иллюстративный материал: вычертить графики, привести в порядок рисунки и т. д. Еще в Эрмани Елизавета Александровна заставила всех накопать и высушить много растений субальпийских лугов, и из них мы смонтировали как бы «муляжи» строения травостоев лугов. Наклеив и нашив сухие травы на листы плотной бумаги, вычертили

графики хода температур воздуха и почвы на разных склонах ущелья, перерисовали на большие листы бумаги некоторые редкие растения, засоряющие луга. Например, *Veratrum album*, *Nardus stricta* и другие. Всю эту работу мы делали на полу в зале Краеведческого музея, которым заведовала очень милая дама Нина Гетгиева. На докладе Николая Адольфовича присутствовало много народа — не только ответственные работники ЦИКа, но и музея, учителя, работники культуры, даже врачи и т. д. Профессора Н. А. Буша, члена-корреспондента Академии Наук СССР, знали, уважали и любили все осетины, начиная от председателя ЦИК — И. П. Джиджоева. Конечно, все наши рабочие в белых и цветных шелковых рубашках тоже были на докладе и сидели вместе с нами. Мы же с Дитой радовались, что смогли надеть легкие свежие платья. Елизавета Александровна тоже переделалась, в темном платье с белым горошком и высоким кружевным воротничком она сидела во втором или в третьем ряду и все время громким шепотом делала замечания в адрес докладчика. Конечно, в большинстве нецензурные. А Николай Адольфович, красивый, выбритый, подстриженный и как всегда спокойный, в светлом, выглаженным и отпаренном Юсупом костюме, спокойно и неторопливо рассказывал собравшимся о работе стационара, указывая нам висевшие графики и муляжи, говорил о трудностях стационарной работы в горных условиях, показывал фотографии, в том числе и неоконченной постройки лабораторного корпуса, вернее дома, сложенного нами из привезенных с речки камней. Доклад вызвал оживленные прения и обещания со стороны хозяев Автономной Области оказать всяческую помощь. Через день или два мы распрощались с гостеприимными хозяевами и выехали поездом подкидышем на станцию Гори, а оттуда, пересев на другой поезд, в Тбилиси. Там Николай Адольфович тоже делал сообщение о наших работах в институте Ботаники АН Грузии. Но я как-то не запомнила его.

Зима 1936–1937 гг. в Ленинграде была спокойная. Я окончила Университет, защитив в октябре свою дипломную работу, и с 1-го января 1937 года была переведена из лаборантов в научно-технического работника (была в то время такая должность) и за работу на Юго-Осетинской станции, по ходатайству Николая Адольфовича, получила первую денежную премию. Дита готовилась к защите дипломной работы (к сожалению, не помню ее тему по систематике) и помогала обрабатывать наши фенологические и метеорологические материалы. Обе мы определяли в Кавказском гербарии свои летние сборы, а по вечерам частенько забегали на Карповку к Бушам. Особенно тор-

жественно справляли 19 декабря, именины Николая Адольфовича В столовой был накрыт большой, длинный стол. Нас с Дитой тоже пригласили придти к Бушам. Мы сочинили по этому случаю шуточную поэму о нашей жизни в Эрмани в стиле русских былин. В нее были включены все специфические выражения Лизы в обращении с Николаем Адольфовичем и рабочими. Дома нас предупреждали, что нельзя вслух читать такие вещи. И мои, и Дитины домашние пришли в ужас, когда мы по приезде выложили все выражения Елизаветы Александровны, и просили нигде не повторять их. Мы не послушались и ввели их в свою поэму, и когда за праздничным столом я читала ее вслух, она произвела неприятное впечатление. Мы этого не учли. И Николаю Адольфовичу и Елизавете Александровне было явно не по себе. . .

Однако, несмотря на это, отношение Бушей к нам по-прежнему было хорошее, и само собой считалось, что летом 1937 года мы снова поедem в Эрмани. Но после окончания Университета Дита сразу вышла замуж и уехала со своим мужем, военным, на границу. В Эрмани в 1937 году поехали: Жорж Кварацхелия, тоже окончивший Университет, и студенты Николая Адольфовича с 5-го курса: Ваня Абрамов, Настя Токунова и Леля Шмидт.

Выехали на Кавказ, как всегда 6 июня. В Прохладной встретились с Магомедом и Юсупом. Но в Тбилиси не останавливались, а сразу поехали в Эрмани. Лагерь разбили на том же самом месте, что и в прошлом году. И сразу начали наблюдения: я и Надя Токунова вели работу на старых наших фенологических площадках. Она на правом (вместо Диты), я — на левом, как и в 1936 году — бортах Средне-Эрманского ущелья. Ваня Абрамов занимался изучением залежей на морене на другом берегу основного русла Эрмани-Дон, Жорж Кварацхелия под руководством и вместе с Елизаветой Александровной работал над улучшением лугов, по борьбе с сорняками (*Veratrum Lobellianum* и др.). А чем занималась Леля Шмидт, я не помню. Кроме того, все собирали гербарий.

Я еще в предыдущем году заинтересовалась изучением биологии субальпийских растений, раскапывала их под снежными пятнами, смотрела их корни. В 1937 году под влиянием разговоров зимой в Ленинграде с докторантом Отдела геоботаники М. С. Шальтом, я решила заняться изучением распределения подземных органов всех лугов, на которых велись фенологические наблюдения. В свободные от этих наблюдений дни, я рядом со своими площадками зарисовывала, по методике М. С. Шальта, подземные органы растений и их

распределение в почве. Ямы для этой работы мне рыл обычно Магомет. Николай Адольфович был очень заинтересован этой работой. А Елизавета Александровна смотрела на нее несколько скептически. Вообще в это лето мне было труднее работать с ней. То ли потому, что я как-то стала самостоятельнее и увереннее, то ли потому что не было Диты, которую Лиза очень любила. Замужество Диты она восприняла как измену лично ей с Николаем Адольфовичем и общей работе и не могла простить это Дите. То ли еще что? Я не знаю. Но несколько раз летом бывали такие случаи — найдешь что-нибудь интересное или раскопаешь и зарисуешь корни, придешь показываешь все Николаю Адольфовичу. Он с интересом смотрит, расспрашивает, советует, поправляет. Это когда нет Лизы. А к вечеру, когда она приходит, после разговора с ней — он вдруг резко меняет свое мнение и говорит, что этого не может быть, что это растение не растет там, где я его нашла, или что корни на рисунке у меня неверно зарисованы. . . Такие случаи повторялись частенько, и это было неприятно. Явно становилось тяжело работать с Лизой.

В свободное от наблюдений время все участвовали по-прежнему в строительстве дома у подножья морены на правом борте ущелья, недалеко от питомника. Кормовые травы, главным образом, злаки и бобовые, посеянные в прошлый год под руководством Лизы, прекрасно разрослись и питомник радовал всех своим видом. Лиза вместе с Жоржем Кварацхелия занимались изучением биологии чемерицы *Veratrum album*. Я делала им все рисунки — рисовала *Veratrum Lobellianum* и подземные органы белоуса, и в большом виде для выставки, и тушью для печати.

Как всегда приехали гости. Помню, как приехала группа тбилисских ботаников: М. Ф. Сахония, А. Л. Хорадзе, И. И. Тумадженов и еще кто-то. Они гостили недолго, дня три-четыре. Анико Хорадзе жила в моей палатке, и мы с ней по вечерам много говорили не только о растениях, но и о литературе и искусстве, истории Грузии и Осетии. И мне было очень неловко и стыдно, что я мало знаю грузинскую литературу. Анико резко оборвала меня, когда я спросила о влиянии на грузинскую литературу наших русских писателей, сказав, что об этом не стоит говорить, так как по сравнению с грузинами русские всегда были отсталыми, что даже христианство, а с ним и письменность, пришли на Русь значительно позже. . . Что Грузия была культурной, образованной страной в то время, когда еще не было ни Киевской, ни Московской Руси. Анико горячилась, и я замолчала. Но потом, когда гости уехали и мы с Анико расстались

друзьями, я рассказала о наших разговорах Николаю Адольфовичу. Он, как всегда внимательно, выслушал меня, а потом тихо сказал:

— История народов и их взаимоотношения вещи очень сложные; разбираться в них не легко. Особенно нам, не специалистам; никогда не надо, как это делает большинство русских, считать, что мы, русские самые умные и образованные, — это попросту пахнет шовинизмом. Грузия очень древняя, очень высококультурная страна... с очень сложной и интересной историей.

— Да я же не об истории, я о Пушкине хотела спросить... Историю я не знаю, я так и сказала, — не выдержала я.

— Пушкин — это другое дело, — отвечал Николай Адольфович. — С Пушкина надо было и начинать — такого поэта ни у одного другого народа, кроме нас, не было и, наверное, и не будет. Впрочем, ведь и он не чисто русский, а с примесью какой-то негритянской крови. Словом, Арап Петра Великого, — засмеялся Николай Адольфович. Он любил Пушкина и маленький томик его стихов возил с собой, это все мы знали.

Около трех недель пробыл на стационаре в конце лета 1937 года и Ф. В. Самбук — сотрудник Отдела геоботаники, бывший, как и Буши, сотрудник Ботанического музея, специалист по тундровой растительности. Буши очень любили его и были рады его приезду. Он мечтал посмотреть в горах высокогорную растительность. Но ее в окрестностях Эрмани почти не было. Поэтому он ездил один с Магометом и Лизой на высокогорное озеро Кель. Николай Адольфович в этом году не поехал туда, плохо себя чувствовал. Хотя очень любил это озеро, лежащее высоко в горах. В прошлом 1936 году мы все ездили туда. И эта поездка для Николая Адольфовича была тогда как праздник. Он ехал всю дорогу верхом, рядом шел Магомет. На озере Николай Адольфович с восторгом показывал нам высокогорные альпийские ковры, в основном из манжеток. И мне до сих пор кажется, что я чувствую, как хрустят в пальцах плотные сочные их листья и как нога утопает в густом их травостое. Действительно, настоящий ковер. Мы тогда провели на озере целый день. И впечатления от этой экскурсии, о необычайно прозрачной, какой-то голубовато-зеленой воде озера и о манжетковых коврах осталось на всю жизнь. Ведь больше я так высоко в горах в жизни не бывала.

Ф. В. Самбук активно включился в нашу общую жизнь. Он помог достроить дом и перевезти лагерь на другую сторону Эрмани-Дона ближе к нему на другой борт ущелья. В доме было две комнаты, стены сложенные из камней проконопачены каким-то травами и жен-

щины из селения Эрмани, обмазали их глиной. Сложили в одной комнате печку, обогревающую обе комнаты, повесили двери и окна. В одной комнате поселились Буши — из Цхинвали привезли для них походные кровати-сороконожки и матрацы, а в другой была кухня на случай дождя и разборочная. Все же остальные люди жили в палатках. Новое место для лагеря мне лично не нравилось — слишком голое, не было рядом уютной березовой рощи, хуже было мыться на речке. . . Но Елизавета Александровна и Николай Адольфович были довольны. Близко был питомник, и Николай Адольфович мог сам ходить на него, над головой все-таки была крыша и печка на случай холодной погоды. За обедом и ужином шли разговоры о том, что по существу надо бы организовать в недалеком будущем круглогодичные наблюдения, не только метеорологические, но и за развитием растений под снеговым покровом и другие.

Эти идеи особенно энергично поддерживал Самбук. Он интересовался всеми нашими работами, даже выкопал мне последнюю яму для изучения корней, на участке занятом *Festica varta* около небольшого озерка, выше и немного в стороне от моих площадок. Но главное, что он предложил, — это составить карту растительного покрова всех трех Эрманских ущелий и рассматривать ее в дальнейшем как основу для всех работ. Эта мысль очень понравилась Николаю Адольфовичу. У него была старая карта на больших листах миллиметровки по которой я кое-как составила более крупную основу с горизонталями для всех трех ущелий, а также для той стороны морены, где располагались поля и залежи. Собственно это была не настоящая картографическая основа, а скорее схема для плана. Не помню, какой это был масштаб. После этого Николай Адольфович, Елизавета Александровна, Самбук и я наметили легенду, т. е. основные группы (типы) сообществ, которые мы будем наносить на карту. Решили, что основу разрежем, чтобы одновременно проводить съемку, а потом, когда будет готово, склеим. Каждый взял по ущелью: Елизавета Александровна с Лелей и Жоржиком Верхне-Эрманское, включая нижние склоны Фидар-Хоха, Ваня с Настей — (Абрамовы) — залежи на морене, Самбук все Нижне-Эрманское ущелье; я — Средне-Эрманское, в котором велись все наши наблюдения. Эту работу проделали чрезвычайно быстро. По вечерам Николай Адольфович с удовольствием рассматривал наши карты. Казалось, что он, сидя в лагере, наизусть знал закономерности распределения ассоциаций, вернее, групп ассоциаций на склонах и цирках, в зависимости от рельефа, способов использования и т. д. Он делал всегда

точные и справедливые замечания и был в то же время доволен работой. Его радовало, что будет составлена карта растительности окрестностей его любимого стационара. Но увы. . . я точно не знаю, куда девались все материалы по этой карте. В процессе работы было условлено, что обработку ее окончательную проведет в Ленинграде Феодосий Викторович Самбук.

Он уехал от нас в последних числах августа — не через Цхинвали и Тбилиси, а по Военно-Грузинской дороге. Спуститься на нее надо было верхом через перевал к селению Коби. Провожал его Тугзар, возвратившийся обратно с лошадьми. Вероятно, Самбук взял с собой все материалы по карте. По приезде в Ленинград в начале сентября он был арестован — репрессирован, как тогда было принято говорить. И реабилитирован только после смерти, после 1957 года.

Все его материалы и, видимо, наша карта погибли. Был 1937 год, и в стране начались репрессии. Когда мы в это же время спустились в Цхинвали, то узнали, что там сняты с занимаемых постов и репрессированы председатель ЦИК Юго-Осетии И. П. Джиджоев и председатель горсовета Г. А. Галаев. Кроме них были «изъяты» многие их сотрудники, а через несколько дней после нашего отъезда и Чермен, председатель Союза писателей Юго-Осетии. Все эти вести не радовали. . . и Буши поторопились отправить скорее студентов и меня в Тбилиси, откуда мы в тот же вечер выехали в Ленинград. А сами они еще задержались в Цхинвали.

Возвратившись в Ленинград, Буши были поражены вестью о судьбе Самбука, которого любили как сына. Эта осень и зима 1937–1938 гг. были трудные для БИНа — в конце августа во Владивостоке был «изъят» А. С. Порецкий, совмещавший по просьбе В. Л. Комарова работу в Отделе геоботаники с должностью ученого секретаря Дальне-Восточного филиала АН СССР. А глубокой осенью «взяли» и заведующего Отделом геоботаники Ю. Д. Цинзерлинга, занимавшего, кроме того, пост директора БИНа. Через несколько месяцев стало известно, что Юрий Дмитриевич скончался. . . Заведующим Отделом геоботаники был назначен Е. М. Лавренко, а директором БИНа — Б. К. Шишкин.

Говорить об этих потерях и изъятых товарищах в то время было нельзя — но все переживали их гибель. Отразились все эти известия и на состоянии Николая Адольфовича. Он сразу постарел как-то и наполовину утратил свою веселость. Но по-прежнему интересовался обработкой всех материалов по Горно-луговому стационару. Особенно торопил меня. Студенты были заняты окончанием Уни-

верситета и своими дипломными работами. Работа Насти Токуновой по биологии *Festuca varta* очень интересовала Елизавету Александровну и Николая Адольфовича и была подготовлена к печати. Я сделала для нее все рисунки. Сама же продолжила обработку фенологических материалов и оформляла их в виде статьи для журнала «Советская ботаника», и с большим увлечением занималась корнями и подземными органами субальпийских растений и распределением их на своих опытных участках. Очень помогал мне советами в этой работе Михаил Соломонович Шалыт. Рисунки распределения корневых систем и подземных органов, выполненных в двух красках. (Красным цветом я делала подземные органы злаков на всех рисунках и корни *Veratrum Lobellianum* на участке луга, засоренного им.) И они были очень эффектны. Ведь тогда еще мало кто, кроме М. С. Шалыта, занимался изучением распределения подземных органов в растительных сообществах. Такой рисунок с корнем *Veratrum Lobellianum* очень понравился Елизавете Александровне. Под ее руководством делал совместно с ней работу по чемерице Жоржик Квадрацхелия. И она велела мне передать ему все мои материалы по *Veratrum*, в том числе и рисунки. Я отказалась. — После этого был неприятный разговор с Николаем Адольфовичем. Мне было обидно давать свой материал Жоржику.

На семинаре Отдела поставили мой доклад о корневых системах растений субальпийских лугов и постановили, чтобы я написала статью для «Трудов Отдела геоботаники». Николай Адольфович и Елизавета Александровна были на докладе. Она сидела, поджав губы и молчала. А Николай Адольфович, конечно, выступил очень доброжелательно. Но я понимала, что произошел разрыв с Бушами, и была очень расстроена. А. И. Лесков утешал меня, говоря, что с Елизаветой Александровной вообще трудно работать и что, наверное, не нужно было мне ехать в Эрмани второй раз. . .

После этого отношения с Бушами оказались очень натянутыми. Я обрабатывала материал и готовила две статьи: по фенологии в «Советскую ботанику», по подземным органам в «Геоботанику», том V. Приходила к Николаю Адольфовичу и показывала ему все; старалась прийти в кабинет, когда не было там Елизаветы Александровны. С ней старалась не говорить, да и она сама резко изменилась и не замечала меня. Николай Адольфович по прежнему был внимателен, очень интересовался обработкой материалов, давал советы, — но прежней теплоты отношений не было. И не было, конечно, никаких разговоров о поездке летом 1938 года снова на стационар.

В 1938, 1939 и, кажется, 1940 годах на Юго-Осетинском стационаре работали Абрамовы Иван Иванович и Настасья Лавреньтевна (бывшая Настя Токунова).

В 1939 г. была опубликована моя статья «Фенологическое развитие субальпийских лугов Юго-Осетии» («Советская ботаника» № 4), а в 1940 г. сдана в «Геоботанику» большая работа «Корневые системы субальпийских лугов». Этот том «Геоботаники» должен был выйти в печати в 1941 г. Летом, уже во время Великой Отечественной войны пришли в Отдел его чистые листы и сигнальный экземпляр. Но осенью выход этого тома оборвался. При бомбежке в типографии погибли матрицы и клише рисунков. Сигнальный экземпляр сохранился у Б. А. Тихомирова, и только в 1948 году, почти через 10 лет, V том «Геоботаники» увидел свет. Уже после смерти Николая Адольфовича. Цветные клише рисунков погибли, не сохранился и рисунок субальпийского дуга, засоренного чемерицей. Статья по выходе имела совсем другой вид, чем предполагалось до войны.

В 1939 году осенью в Доме ученых торжественно справляли 70-летний юбилей Николая Адольфовича. Накануне сотрудники Отдела геоботаники отправили ему на Карповку корзину цветов и корзину фруктов с бутылками шампанского из магазина Елисеева (Гастроном № 1). На празднование в Дом ученых были приглашены почти все сотрудники Отдела и, в том числе, я. Не помню, было ли торжественное заседание в Белом зале; пожалуй, что нет — был просто банкет днем в большой Дубовой столовой дворца, на котором говорили речи и приветствия и читали адреса. Николай Адольфович — красивый, в сером костюме, приветливо встречал гостей как радушный хозяин. Народу было очень много: его ученики из БИНа, из Университета, сотрудники Гербария, нашего Отдела, ВИРа во главе с Николаем Ивановичем Вавиловым, Сельско-хозяйственного института. Из Москвы приехали Константин Владимирович Арнольди с Верочкой (Верой Алексеевной Поддубной), была масса адресов, телеграмм, цветов. Были, по-моему, и кавказские друзья во главе с А. А. Гроссгеймом. Юбилей прошел торжественно и тепло. Ведь все очень любили Николая Адольфовича и всем было хорошо на его празднике. Несмотря на то, что была война с финнами и вечером Ленинград был затемнен. Вероятно, поэтому юбилей был днем. Ведь только весной 1940 года у нас в городе стало по вечерам опять светло. Но не надолго. . .

Как уезжали Николай Адольфович и Елизавета Александровна на барже летом 1941 года из окруженного фашистами Ленинграда,

я не знаю. Почему они в этот год не выехали на Кавказ, как обычно, 6 июня, — тоже не знаю. Иногда думаю, что если бы они были бы уже к началу Великой Отечественной войны в Юго-Осетии, может быть, Николай Адольфович прожил бы дольше. Весть о смерти Николая Адольфовича во время пути, на Белом озере пришла в БИН уже во время блокады.

Точно не помню, в котором году после войны Елизавета Александровна впервые приехала в Ленинград. Квартира их к этому времени не сохранилась, и она останавливалась в гостинице Астория. На семинаре Отдела геоботаники она делала доклад о том, как работала всю войну на Юго-Осетинском стационаре. Доклад произвел большое впечатление, благодаря мужеству и стойкости Елизаветы Александровны основная работа в Эрмани на питомнике и на лугах продолжалась все военные годы. Кроме того, Елизавета Александровна внедрила в хозяйство местного населения ряд новых культур и, прежде всего, картофель, который до этого в Эрмани не сажали.

После доклада я подошла к ней, и мы по старому крепко обнялись. Я была у нее в Астории и провожала на вокзал. В гостинице, когда я пришла вечером к ней, она даже заплакала. Все прошлые недоразумения между нами были забыты. Мы вспоминали Эрмани, Николая Адольфовича, и она рассказывала о своей жизни в Осетии. Предлагала снова приехать работать к ней. Но я была занята картографическими и другими работами и не могла их бросить.

Но при обсуждении работ Юго-Осетинского Горно-лугового стационара я горячо ратовала за то, чтобы Отдел организовал там комплексные исследования. Туда ездили в разные годы А. П. Шенников и М. С. Яковлев, написавшие статьи о работе стационара. Кроме того, туда ездили В. М. Свешникова и зам. директора БИНа А. М. Шерстнев. Под руководством Елизаветы Александровны работали аспиранты Отдела и в их числе Е. Е. Гогина, внучатая племянница Елизаветы Александровны — аспирантка Отдела геоботаники. Все годы до своей пенсии Елизавета Александровна приезжала в Ленинград (правда, не каждый год), и мы продолжали с ней встречаться.

Когда она скончалась осенью 1960 года в больнице Института Скорой помощи в Ленинграде и ее останки Катя Гогина взяла в Москву кремировать, чтобы захоронить урну, согласно воле Елизаветы Александровны, в Эрмани, — проводить ее тело в больницу из всего БИНа пришли, кроме Кати, Михаил Семенович Яковлев и я. Из всех многочисленных довоенных друзей Бушей — почти никого

к этому времени не осталось. Мы же втроем поместили в «Ботаническом журнале» и некролог Елизаветы Александровны, вспоминая при этом и Николая Адольфовича. Ведь они остались для людей, знавших их, как одно неделимое целое. Они были не только большие ученые, страстные исследователи, беззаветно любившие Кавказ с его замечательной природой, историей и людьми. Но прежде всего они были люди с большой буквы. Всегда стремившиеся помогать всем, не жалевшие ни сил, ни денег, ни всего, что у них было, для пользы дела, работы, для помощи студентам, молодежи, своим товарищам, сотрудникам, рабочим. Оба они отличались большой скромностью и, несмотря на вспышки тяжелого характера Елизаветы Александровны, доброжелательностью по отношению к окружающим. Память о них сохранилась у людей, знавших их, которых, увы, уже осталось немного. И сейчас годы общения и работы с Бушами кажутся мне светлыми и радостными.

ВОСПОМИНАНИЯ О СОТРУДНИКАХ И ЖИЗНИ ОТДЕЛА ГЕОБОТАНИКИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ДО И В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Евгений Михайлович Лавренко появился в отделе Геоботаники БИН в конце 1934 года. Примерно тогда, когда заведующим отдела, после ухода В. Н. Сукачева в университет, стал Юрий Дмитриевич Цинзерлинг. Это время в истории отдела можно считать периодом его расцвета. Коллектив отдела состоял из молодых талантливых сотрудников, в памяти которых еще были живы идеи и заветы основателя Отдела — Николая Ивановича Кузнецова, развиваемые Владимиром Николаевичем Сукачевым и его ближайшим помощником — Юрием Дмитриевичем Цинзерлингом. Несмотря на малочисленный (по теперешним меркам) состав сотрудников, в Отделе велись большие исследовательские и теоретические работы по основным направлениям, начатым еще при Н. И. Кузнецове:

1. Продолжались и расширялись под общим руководством Ю. Д. Цинзерлинга и Е. В. Шифферс картографические работы. Основной картой, в составлении которой участвовало большинство сотрудников, являлась Карта Европейской части Союза в масштабе 1 : 1 000 000 (сперва — в близком к нему) на многих листах.
2. Началось составление обзорных карт растительности более мелкого масштаба всего Союза, тоже под руководством Ю. Д. Цинзерлинга, и отдельных континентов мира под руководством А. П. Ильинского, вошедших в Большой Советский Атлас мира.
3. Разрабатывались основы геоботанического районирования, начатые еще при жизни Н. И. Кузнецова, считавшего, что

ботанико-географическое районирование, основанное на анализе геоботанической карты, должно стать синтезом картографических работ и необходимо для нужд сельского хозяйства.

Недаром Ю. Д. Цинзерлинг, работавший над составлением карты растительности Европейской части Союза в масштабе 1 : 2 500 000 для Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки, предложил начать разработку геоботанического районирования еще до того, как Наркомзем СССР в 1934 году поручил Отделу начать такую работу в связи с организацией сети сортоиспытательных станций.

Разработка основ геоботанического районирования и составление карт требовало уточнения вопросов классификации растительности, и этим вопросам в Отделе уделялось большое внимание, особенно в связи с составлением большой сводки «Растительность СССР».

Особое место в работе Отдела в эти годы занимает составление и выпуск методических пособий для полевых исследований. Они начались по всей стране в целях освоения новых территорий и ресурсов. Поэтому в Отделе очень большое внимание уделяли практическим вопросам, особенно во всех экспедиционных исследованиях, проводимых сотрудниками в больших комплексных академических экспедициях СОПС АН СССР*.

Всем перечисленным выше заботам и планам экспедиций предшествовало обсуждение основных теоретических проблем фитоценологии, проходившие в кабинетах, на рабочих совещаниях, на семинарах и дискуссиях.

Особенностью Отдела в то время явилось то, что в нем не было четких структурных подразделений (кроме чертежной), и все сотрудники участвовали в разработке общих больших тем и картографических работах. Отказаться от какого-нибудь поручения или работы никому просто в голову не приходило: будь то срочное правительственное задание или инвентаризация книг и мебели. В Отделе в это время было 20 научных сотрудников, не считая членов различных экспедиций, фактически тоже являвшимися сотрудниками Отдела. Число их колебалось, и многие из них вошли потом в штат Отдела, кроме того, в Отделе была машинистка, один лаборант (студентка-заочница), два чертежника, служитель и истопница. Ежедневно ведь надо было топить около 15–17 печей и плиту на кухне. Затоплять их приходилось в 5 часов утра, чтобы к приходу сотрудников в помещении было тепло.

*СОПС — Совет по изучению производительных сил, учрежденный при Академии наук в 1930 г.

Душой Отдела была любимая всеми машинистка Ольга Николаевна Буткевич, около которой собирались по утрам приходящие сотрудники и делились с ней своими новостями, радостями и заботами. Так, еще до приезда Евгения Михайловича, А. С. Порецкий рассказывал, что у него в Харькове есть друг — Женя Лавренко, пожалуй, геоботаник, хотя и увлекается флористикой. Он хорошо знает южнорусские степи, а у нас в Отделе такого специалиста нет. Первое время, наверное, в конце 1934 года, по приезде Евгений Михайлович даже жил у Порецких на 1-й линии, и Артемий Сергеевич шутя возмущался, что Анастасия Ивановна, жена Евгения Михайловича, пишет письма на его имя. «Получаю письмо, разрываю конверт, а там сразу “Дорогой Женя” — неудобно ужасно. . . »

Через некоторое время Евгений Михайлович получил в Доме ботаников в БИНе квартиру и к нему приехала Анастасия Ивановна с детьми: Юрой и Татой. Евгений Михайлович держался в Отделе со всеми очень сдержанно. Даже Ольга Николаевна очень мало знала о его семье и о нем самом. Тем более, что Евгений Михайлович много времени проводил в Гербарии и библиотеке. И я сейчас даже не помню, в каком кабинете и с кем рядом он сидел. В Отделе его за глаза звали сперва «ох-ох-охом», а потом уже навсегда «Лавром». Первое прозвище дал ему А. В. Прозоровский, очень веселый и остроумный человек, потому что Евгений Михайлович, проходя по коридору, как-то очень забавно подтягивал ремень и говорил сам себе: «ох-ох-ох», а в отделе почти у всех сотрудников были прозвища, на которые некоторые из них добродушно откликались. Например, С. Я. Соколов — «Сясь» или «Сясик», Л. Е. Родин — «Роден», Юрий Дмитриевич Цинзерлинг назывался «ЮДЦем», А. П. Шенников — «АПШ», Алексей Порфирьевич Ильинский — «АПИ», а иногда «Гусак». Дамы — О. С. Полянская, Л. А. Соколова и А. В. Калинина, сидевшие в одной комнате (в два окна, из которой потом сделали кабинеты Б. А. Тихомирова и Е. М. Лавренко), назывались «мотыльками». А. В. Прозоровский говорил, что это происходит от слова «дама» и потому одно и то же, а получалось это так: дамы — бабы — бабочки — мотыльки. Ольгу Сергеевну Полянскую называли «Пани Полянска» — она хорошо знала польский язык и работала по поручению еще Н. И. Кузнецова в Белоруссии. Она составила карту растительности БССР. Тираж этой карты сразу оказался засекреченным. В. Б. Сочаву называли Кораба — потому что однажды в Ботанический музей, где работали он, А. И. Лесков и Ф. В. Самбук, пришла откуда-то из-за границы заказная бандероль на имя *Victor Coraba*

(так где-то в Германии или Австрии прочитали фамилию *Сочава*), А. С. Порецкий в глаза и за глаза откликнулся на имя «Тёмочка», а Сяся считал, что, кроме того, он «на декабриста похож». Самого Прозоровского все называли «Тошка».

Фантазировал также А. В. Прозоровский, а с ним вместе и А. И. Лесков, в какие маскарадные костюмы было бы хорошо одеть сотрудников. Я считала, что Евгений Михайлович пойдет костюм запорожца в широких шароварах с длинными усами и чубом. Но Анатолий Владимирович предлагал для него костюм католического прелата лилового цвета. В эти годы в Большом Драматическом театре шел спектакль «Дон Карлос» Ф. Шиллера в постановке Александра Бенуа, и все мы видели эту блестящую постановку. Там кардинал появлялся в лиловой рясе. Анатолий Владимирович даже предлагал мне нарисовать к Новому году эскизы всех костюмов. Но мне было некогда (я же училась по вечерам в Университете), и я отказалась. Но «Тошка» считал, что это было бы очень интересно, так же, как представить себе весь Ученый Совет БИНа с хвостами, как у собак.

— Представить себе, — говорил он за столом «Красного Геоботаника» — входит в зал ученого Совета профессор и бережно поддерживает одной рукой пышный, пушистый хвост, как у лисицы или собаки-колли, и кладет его осторожно на спинку кресла. Или вбегает, торопясь, молодой ученый, а хвостик у него маленький, как у фоксика, коротенький и все время виляет.

На такие слова Ольга Николаевна махала руками и умоляла Анатолия Владимировича замолчать.

«Красный Геоботаник» — прототип современных лабораторных чаепитий, возник в Отделе после отмены в 1935 году в стране продовольственных карточек. То есть тогда, когда стало возможным свободно и просто покупать к завтраку харч-марч и не ходить в БИНовскую столовку, где до 1935 года без карточек можно было пообедать, т. е. получить жидкий суп-баланду и пшеничную кашу с каким-то коричневым маслом. К ней вдобавок брали кислую капусту и смешивали с кашей. Получался, по словам Сяся, «силос», который уже можно было есть. В «Красном Геоботанике» все приносили свои завтраки или же кто-нибудь давал деньги авансом, и я бежала на площадь Льва Толстого покупать пирожки, которые потом разогревали в горячей духовке плиты на кухне. Там же около горячей плиты и проходили «Заседания Красного Геоботаника», хозяйкой которого считалась, конечно, Ольга Николаевна. Действительными членами этих собраний были: Ольга Никола-

евна, Ю. Д. Цинзерлинг, А. С. Порецкий, С. Я. Соколов, А. И. Лесков, Л. Е. Родин, А. В. Калинина, Ф. В. Самбук, А. В. Прозоровский, А. М. Семенова, позднее — М. С. Шалыт, Членами-корреспондентами считались А. П. Ильинский и В. П. Малеев. (Оба они жили в Доме ботаников и ходили обедать домой, но, возвращаясь, обязательно заходили на кухню сообщить все БИНовские новости, а иногда даже и международные: так, Ильинский сообщил однажды, что развелся с женой Гамс. Почти ежедневно прибегал к концу заседания «Красного Геоботаника» Б. Н. Городков, Он работал в Гербарии, где имел отдельный кабинет на 2-м этаже (сейчас это кабинет А. Л. Тахтаджяна) и ходил обедать домой (жил он рядом, на Карповке, в доме 19). Но после обеда он обязательно прибегал в Отдел и подарил даже «Красному Геоботанику» туристическую карту Аляски, которая красочно украшала кухню.

А. П. Шенников пил чай отдельно, в полном одиночестве, в своем кабинете, но за кипятком приходил до заседаний «Красного Геоботаника» на кухню. Е. П. Матвеева, жившая в Доме ботаников, убегала в обеденный перерыв домой. У нее был маленький сын Славик. Е. В. Шифферс, Л. А. Соколова, О. С. Полянская ходили в столовую и презирали собрания «Красного Геоботаника», Евгений Михайлович никогда не заходил к нам на кухню и держался со всеми очень сдержанно, особняком, Только перед самой войной он стал понемногу оттаивать, а в начале, до 1937 года, я даже не помню, бывал ли он на ежегодных сборищах всего Отдела у Е. А. Галкиной или Е. В. Шифферс.

Юрий Дмитриевич Цинзерлинг, наоборот, всегда принимал участие в этих вечерах, был очень оживлен и очень любил петь. Он всегда был окружен молодежью — студентами, аспирантами, работавшими под его руководством на Кольском полуострове, в Карелии и Ленинградской области. Его большой угловой кабинет (там, где после войны долго в Геоботанике была чертежная и где постоянно работали А. С. Порецкий и любимый ученик Юрия Дмитриевича: — Костя Солоневич) всегда был полон народу. Иногда даже трудно было представить, как Юрий Дмитриевич ухитряется под весь этот шум работать. Правда, он всегда приходил в Отдел поздно — часов в 11, так как часто очень плохо чувствовал себя*. Приходя в Отдел и узнав у Ольги Николаевны, сидевшей со своей машинкой в зале, зимой в самом теплом месте у самой кафельной печки, все новости Отдела, Юрий Дмитриевич проходил по всем кабинетам,

*У него был активный туберкулез легких, и он каждый год зимой 1 или 2 месяца проводил в санаториях Детского Села (г. Пушкин).

здороваясь со всеми сотрудниками за руку, в том числе на кухне с истопницей Василисой Семеновной и служителем Тимофеусом. После этого занимался в своем кабинете общими делами Отдела и картографическими работами. Во второй половине дня он часто уходил в Гербарий, где определял свои сборы и занимался обработкой родов *Heleocharis* и *Scirpus* для «Флоры СССР». Иногда возвращался вечером в Отдел снова.

Поздно приезжал из Петергофа в Отдел (к 11 часам) и А. И. Лесков, хотя рабочий день начинался в 9.30 и кончался официально в 17.30, так как до войны все служащие и научные сотрудники работали 6 часов. Но обычно почти все сотрудники Отдела, кроме дам, задерживались в Отделе. Зато все заседания: месткома, парткома, ВБО* и других обществ проходили после работы, во внеслужбное время. Только заседания Ученого Совета БИН начинались в 15 часов, и по понедельникам в 10 часов начинались заседания Семинара Отдела геоботаники. Регулярно каждый понедельник. Эти заседания славились на весь город. На них приезжали сотрудники Университета, Почвенного института, ВИРа, Сельхозинститута, Лесотехнической Академии, Института Оленеводства Глав. Сев. Мор. Пути, Торфяного института, Гос. Гидрологического института, двух Педагогических институтов (им. А. И. Герцена и им. М. Н. Покровского). Много бывало и студентов. Почти всегда присутствовал В. Н. Сукачев. Сотрудники выступали с отчетами о проделанных работах, с информацией о прошедших экспедициях, проводились и дискуссии, теоретические доклады.

Председательствовал зав. Отделом Юрий Дмитриевич Цинзерлинг. Вел протокол Ученый секретарь Отдела (до 1935 года — А. С. Порецкий, а потом — А. В. Прозоровский или Л. Е. Родин). Кто-нибудь из них троих (чаще Артемий Сергеевич) сидел рядом с Владимиром Николаевичем (у которого еще не было слухового аппарата) и подробно писал ему на бумаге суть докладов и выступлений. Иногда же Владимир Николаевич вставал со своего места и подходил к выступающему, клал руку ему на плечо (чтобы тот не вставал) и слушал выступления, наклонясь к говорившему, стоя. Начинались все заседания семинара с обзора вышедшей и поступившей в библиотеки БИН и других учреждений литературы по геоботанике. Затем начинался доклад. Выступали сотрудники Отдела.

Приезжали с докладами на семинар Отдела и иногородние геоботаники. Запомнился приезд на дискуссию «Что такое геоботаника?»

* Всесоюзное Ботаническое общество.

из Москвы В. В. Алехина и Г. И. Дохман. Алехин поразил мое впечатление своим барским, холеным видом. С усиками и острой бородкой, галстуком-бабочкой, золотой цепочкой в кармане жилета, каким-то медленным шагом. Он резко отличался своим костюмом, манерами от затрепанных, старых костюмов наших сотрудников и их простого обращения. Он был «барин», московский барин, который приехал свысока посмотреть на тех, кто пытается противоречить ему. Такое у меня создалось впечатление. С ним была Г. И. Дохман — красивая, очень элегантная, голубоглазая блондинка, прекрасно одетая и причесанная. Не чета всем нашим отделческим дамам. Доклада и выступления В. В. Алехина я не помню, но впечатление о его «барстве» осталось на всю жизнь, и не только у меня. Так же оценивал его А. И. Лесков и А. В. Прозоровский.

Зато навсегда запомнился приезд и выступление Л. Г. Раменского. Он делал доклад на семинаре Отдела о своих методах исследования фитоценозов и о своем понимании задач фитоценологии. Весь зал был увешан графиками в 2-х и 3-х измерениях, понять которые с первого взгляда было трудно. Раменский — высокий, по-своему красивый, напоминающий Райнеке-Лиса из старой немецкой сказки, ходил по залу, объяснял графики, обходя слушателей. Доклад вместе с обсуждением длился больше 6 часов, до позднего вечера. В перерыве все пошло в столовую, а в «Красном Геоботанике» я только дополнительно разливала чай. Все были потрясены энергией, эрудицией и жаром, с которым говорил Раменский. И после отъезда Раменского в Отделе было много споров и разговоров о его методике, о его понимании фитоценозов, о его графиках, построенных как бы «в трех измерениях». Его доклад продолжил и дополнял с других позиций положения, выдвигаемые А. П. Шенниковым на дискуссии «Что такое фитоценоз?» и В. Н. Сукачева «Что такое геоботаника?». Я была еще студенткой, и мне было очень трудно разобраться во всех теоретических вопросах, поднимаемых в этих докладах, и я только с благоговением смотрела и слушала своих учителей по университету — Александра Петровича и Владимира Николаевича, и училась не только у них, но и у всех сотрудников Отдела.

Большое впечатление у меня оставили две другие дискуссии: «Основные установки и пути советской экологии» с докладами Б. А. Келлера и Д. Н. Кашкарова и «Принципы геоботанического районирования» с докладами Б. Н. Городкова, С. Я. Соколова, А. П. Шенникова, происходившие в клубе, современном «зеленом домике», где сейчас помещается Лаборатория географии и карто-

графии Отдела. Во время первой дискуссии резким контрастом поразило различие обоих ораторов. Директору БИНа академику Б. Н. Келлеру в середине 1930-х годов было с небольшим 60 лет. По нашим теперешним меркам совсем немного. Но он производил впечатление глубокого опустившегося старика. Седой, в очках, с всклокоченной длинной белой шевелюрой и бородой, он ходил всегда в длинной белой (часто грязной) косоворотке (иногда даже не подпоясанной) и в тоже замызганном, неопределенного цвета, не застегивающемся пиджаке, в обтрепанных, тоже не всегда застегнутых брюках, На шее при этом был намотан длиннющий серый вязаный шарф. Он болтался спереди и сзади. Общее впечатление было очень неопрятное, придурковатое и странное. Оно подтверждалось еще стремлением Бориса Алексеевича «играть под народ». Так, он, выступая на каком-то общем собрании Института, призывал сотрудников ближе подойти к «колхозным массам», писать популярные книги и пропагандировать в них науку такими примерами: «Сапоги мои того, пропускают H_2O », чтобы колхозники сразу выучили бы на таком примере формулу воды и приобщились бы к науке. Он обычно говорил газетными лозунгами и фразами. И у меня в голове не укладывался его современный образ с тем Б. А. Келлером, который вместе с Н. А. Димо опубликовал в 1907 г. книгу «Из области полупустыни». На семинаре, который вел для студентов V курса на кафедре Геоботаники ЛГУ В. Н. Сукачев, эта книга прорабатывалась как образец классической монографии. Я даже спрашивала А. И. Лескова и Ю. Д. Цинзерлинга: «Неужели же это один и тот же Келлер — наш директор и тот, из “Области полупустынь”?»

Рядом с ним в нашем клубе выступал корректный, подтянутый Д. Н. Кашкаров — профессор Университета, недавно приехавший в Ленинград из Ташкента. Он был одним из лучших лекторов в университете и одним их замечательных тогдашних профессоров. Прекрасный оратор, знаток современной всемирной литературы, он затмил своим докладом и высказываниями все выступление Келлера. Тем более, что его книга «Среда и сообщество», выпущенная в 1933 г. медицинским издательством, читалась всеми, не только студентами, как роман. Поэтому интерес у всех к выступлению Д. Н. Кашкарова был очень большим.

Ближе и понятнее для меня была дискуссия, посвященная «Принципам геоботанического районирования», в которой с докладами выступали Б. Н. Городков, С. Я. Соколов, А. П. Шенников, а в обсуждении принимали участие Р. И. Аболин, почвоведы и мой отец — М. Д. Семенов-Тян-Шанский, который работал по совместительству

в Гидрологическом институте над составлением Гидрологического районирования СССР. Вместе с ним принимали участие в этой разработке С. Я. Соколов (заведующий географо-гидрологической группой ГГИ) и А. В. Прозоровский, ставшие потом близкими товарищами и друзьями отца. Все эти работы по геоботаническому, гидрологическому и, позднее, почвенному районированию тесно переплетались между собой, и дискуссии по ним носили комплексный характер и были очень интересными. Позднее отец делал в Отделе специальный доклад, вызвавший интересные прения. А Сясь принес в «Красный Геоботаник» на другой день стихи, начинавшиеся словами:

Вот Семенов докладает,
Как водичка выпадает...

(далее, к сожалению, забыла). Вопросы районирования обсуждались очень часто в рабочем порядке и всегда вызывали оживленные прения.

Интересными и важными были доклады и обсуждения на семинарах Отдела всех статей-монографий, писавшихся для сводки «Растительность СССР». Запомнились, конечно, доклады В. Н. Сукачева о главнейших понятиях учения о растительном покрове и «История растительности СССР во время плейстоцена», Б. Н. Городкова «Растительность Арктики и горных тундр СССР», И. В. Тюрина «Основные закономерности в распределении почв СССР», Л. С. Берга «Климат СССР». Все эти доклады являлись первыми сводками, обобщающими все накопленные знания по тому или иному вопросу и одновременно намечающими проблемы будущих исследований. Они привлекали огромное число не только слушателей, но и участников обсуждения.

Очень часто на Семинары Отдела приходили систематики во главе с Н. А. Бушем: В. И. Кречетович, Е. Г. Бобров, Е. А. Буш и др. Всегда на семинарах Отдела присутствовали сотрудники Института оленеводства: В. Н. Андреев, А. И. Зубков и В. Б. Сочава, красовавшиеся своей морской формой. Особенно кокетничал Виктор Борисович, и надо сказать, что ему очень шел морской китель с золотыми пуговицами и фуражка с «капустой». Тихо сидел за столом представитель Торфяного института А. А. Ниценко. Приходили на семинар и выступали молодые тогда И. П. Герасимов (Кеша Герасимов) и К. К. Марков. Много бывало на заседаниях семинара Отдела сотрудников Почвенного института АН и Почвенного музея. Вообще, деловая дружба между Отделом и почвоведомы была давней и крепкой. Это были давнишние традиции, заложенные еще В. В. Докучаевым,

продолжавшиеся в эпоху Переселенческих экспедиций, когда ботаники и почвоведы работали в поле бок о бок. Сближало Отдел с Почвенным институтом и то, что геоботаники и почвоведы параллельно работали над созданием почвенной и геоботанической карт в масштабе 1 : 1 000 000. Кроме того, почвоведы в эти годы также занимались сводкой накопленных материалов, и большая трехтомная сводка-монография «Почвы СССР» вышла из печати полностью в конце 1930-х годов. Но в начале 1936 года Почвенный институт, вместе со всеми основными учреждениями Академии Наук, был переведен в Москву. И хотя дружба между геоботаниками и почвоводами сохранилась, непосредственные, как бы каждодневные, связи уменьшились. Видимо, перед окончательным переездом туда Картографический отдел Почвенного института какое-то время «жил» в здании Геоботаники. В зале работали картографы-почвоведы. И одна из них — Мария Ивановна Ульянова — старая опытная картографиня, перешла работать к нам в чертежную, возглавляемую А. А. Гербином, и стала членом «Красного Геоботаника».

В клубе в эти годы для всего Института несколько раз выступал по философским вопросам И. И. Презент — профессор ЛГУ. Он читал в 1934–1935 гг. для студентов Биофака специальный курс «Методология биологии». Оратор он был хороший и как клоун жонглировал цитатами, написанными на специальных карточках. Кредо его лекции состояло из основных этапов развития биологии, в которой самую главную роль играли «Дарвин — Тимирязев — Лысенко — и Я», — т. е. он, Презент. В конце курса надо было сдавать экзамен. Курс геоботаников на год старше нашего, на котором учились Н. А. Миняев, Э. Н. Благовещенский, Г. А. и В. М. Катанские и др., сдавал-таки «эту муру». Я ходила на лекции Презента в служебное время, чтобы записать их для своих заочников, и слушала их вместе с основной группой, в которой учились О. В. Заленский, В. М. Свешникова, К. В. Станюкович, М. Г. Николаева, М. Мартыненко и др. В конце года вдруг объявили, что сдавать экзамен Презенту не надо. Все студенты по этому поводу кричали «Ура!!!». В БИНе Презент также искажал все принципы биологии, пропагандировал заслуги начинающего тогда выходить на научную арену Т. Д. Лысенко и себя. Это было начало «лысенковщины». Но методы яровизации семян, предложенные Лысенко, вызывали интерес и споры, из которых выяснялось, что, по существу, в них мало нового и что «протравливание семян» низкими температурами перед посевом применялось уже давно.

Такова была обстановка в отделе и в Институте, когда у нас появился «Лавр» — Евгений Михайлович Лавренко.

В 1935–1936 годах в Союзе происходило присвоение научных званий научным работникам и были введены защиты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Всем старшим научным сотрудникам отдела: А. И. Лескову, А. В. Прозоровскому, О. С. Полянской, Л. А. Соколовой, Ф. В. Самбуку, С. Я. Соколову, Е. В. Шифферс была присвоена ученая степень кандидатов биологических наук без защиты диссертаций. Аспиранты отдела: Е. П. Матвеева и Б. А. Тихомиров защитили свои диссертации позднее, и им тоже была присвоена степень кандидата биологических наук. Профессорам (это звание после Великой Октябрьской революции сохранилось) Б. Н. Городкову, А. П. Шенникову и А. П. Ильинскому была присвоена степень докторов биологических наук без защиты диссертации. А Ю. Д. Цинзерлинг и Е. М. Лавренко получили эту степень за монографии, представленные в 1-й том «Растительности СССР»: «Растительность болот СССР» Юрия Дмитриевича и «История флоры и растительности СССР по данным современного распределения растений» Е. М. Лавренко. Доклад на эту тему на Семинаре отдела был первым большим выступлением в Отделе Евгения Михайловича.

После присуждения ему докторской степени, он постепенно начал входить в жизнь отдела, но был занят, в основном, сводкой, посвященной степям СССР, развитием своих взглядов на историю флоры и растительности и принимал участие в обсуждении работ по районированию. Но все же влияние Евгения Михайловича на жизнь отдела стало заметнее. В это время начались регулярные приезды из Харькова (столица Украины) и из Киева украинских ботаников. Одним из первых появился в Отделе Андрей Сазонович Лазаренко. И хотя он был бриологом, в отделе он оказался своим человеком, так как был дружен не только с Евгением Михайловичем, но и с Порецким. Он даже остановился у Артемия Сергеевича. Последний шутя жаловался в «Красном Геоботанике», что Лазаренко такой длинный, что не помещается на диване, и приходится подставлять под его ноги табуретку. Лазаренко, действительно, был очень высокого роста, и однажды (это было весной и двери на балкон были открыты) кому-то пришлось в голову смерить его рост. Юрий Дмитриевич попросил этим заняться А. А. Гербиха. И вот Александр Александрович стал мерить не только Лазаренко, но и всех сотрудников Отдела, включая, конечно, и самого Юрия Дмитриевича. Все по очереди стано-

вились к косяку балконной двери, и Гербих делал на ней отметки. Под веселый хохот всех присутствующих Андрей Сазонович оказался самым высоким, Евгений Михайлович — вторым по росту, а я — самой маленькой. После этого Лазаренко дали прозвище «Малютка» и пригласили приходить пить чай на кухню. Евгений Михайлович улыбался, но, как всегда, сдержанно.

В это же время появилась в отделе по протекции Евгения Михайловича и Фанни Яковлевна Левина, работавшая в Харькове. Она стала регулярно приезжать в командировки в отдел. А в 1938 г. была, как мне помнится, зачислена в Джебказганскую экспедицию СОПСа.

Весной 1936 года в Институте произошло событие, всколыхнувшее всех сотрудников. По просьбе и ходатайству всего коллектива сняли с директорского поста академика Б. А. Келлера. Это было весной в конце мая, когда в парке цвела сирень, пели соловьи, двери на балкон в отделе были открыты, другой ход заперт, и мы выходили прямо в парк. В клубе в эти дни происходил «Актив», т. е. конференция сотрудников, созванная Месткомом, председателем которого был Б. Н. Городков, парткомом и комитетом комсомола. Видимо, его подготовили давно, так как всем было ясно, что Б. А. Келлер не может быть по своему возрасту и, наверное, склерозу руководителем такого Института. Заседания проходили несколько дней (наверное, три), на них выступали почти все сотрудники. Особенно красочно выступали молодые, только что закончившие аспирантуру и защитившие диссертации: Б. А. Тихомиров, Г. И. Новиков, М. Я. Школьник, палеоботаники (ученики Палибина): Костя Шапоренко и А. Я. Ярмоленко; сотрудники Гербария: В. И. Кречетович, Е. Г. Бобров, П. А. Овчинников, наш Тошка Прозоровский, Л. Е. Родин, Ф. В. Самбук, А. И. Лесков, Юрий Дмитриевич Цинзерлинг — словом — все. Запомнились очень резкие выступления не только против Келлера, но и против бюрократизма его заместителя В. П. Савича и Ученого секретаря Иголкина. Агния Сергеевна Лозинская (Гага) — любимая ученица В. Л. Комарова, назвала Келлера «доктором бюрократических наук», а Иголкина — «кандидатом тех же наук». Резко и очень эмоционально выступала Антонина Георгиевна Борисова и др. В перерывах между прениями на площадке перед клубом играли в волейбол две команды: систематики и геоботаники. Или пели хором с участием Ю. Д. Цинзерлинга песню:

Под родным голубым небосводом
Даже старые хрены в цвету.
Можно быть очень важным ученым
И играть с пионером в лапту.

Как же так? Почему?
Старый «хрен» и в цвету?

В песне были не «хрены», а клены, но слова переделали на ходу. Б. А. Келлер был почетный пионер, и иногда поверх своей косоворотки надевал красный галстук. Он выступал тоже и сказал, что не знал и не понял, что Институт «так вырос — видимо, без его влияния». На другой день мы с Анатолием Владимировичем к началу заседания выпустили «боевой листок» карикатур, на одной из которых был нарисован «папаша Келлер» (как его в шутку звали), а перед ним мальчик, который вырос и перерос своего «папашу»...

Актив проходил бодро, критически, даже иногда весело... И в результате Б. А. Келлера, В. П. Савича и Иголкина сняли с занимаемых постов. Келлер и его «дамы» (жена Эмилия и ее сестра Фрида Лейспи,) уехали в Москву (ведь Борис Алексеевич был одновременно и директором Почвенного института АН). Снятие его в 1936 году с поста директора БИН по просьбе всего коллектива даже в то время было очень необычно, и явилось, по существу, последним либеральным актом. Ведь уже раньше в Академии проходила «чистка сотрудников», уже начались аресты. В 1931 году был арестован и выслан из Ленинграда известный историк академик С. Ф. Платонов. Он сам остался жив, но по его делу («Дело Платонова») были арестованы и попали в концлагеря известные пушкинисты Измайлов, Беляев и др., а некоторые сотрудники Пушкинского Дома (П. И. Зиссерман) были расстреляны^[67].

В начале 1930-х годов из Университета были уволены профессора: Л. С. Берг, В. П. Семенов-Тянь-Шанский, Я. С. Эдельштейн. Правда, в 1931 году последний исполнял еще должность проректора Университета. И когда я, после того, как меня не приняли в Университет «по социальному происхождению», пошла к нему на прием, он мне сказал: «Такие, как вы, в Университете не нужны» (хотя отлично знал всю семью Семеновых-Тянь-Шанских)^[68]. Тогда же студенты-геоботаники — Э. Н. Благовещенский (мой двоюродный брат) и его товарищ Лева Бахтин (погибший на фронте) говорили мне: «Ты — дура, тебе надо публично отказать от своих предков, как это сделала Райка Берг. Она во всеуслышанье на собрании студентов Биофака заявила, что не имеет ничего общего со своим отцом Львом Семеновичем Бергом и отказывается от него». Они говорили мне это шутя, зная, что я никогда на такое не пойду, и одновременно страшно возмущались поступком Райки Берг.

В 1935 году, после убийства 1 декабря 1934 г. С. М. Кирова, на-

чалась массовая высылка в отдаленные районы Казахстана и Сибири целых семей старой интеллигенции. Просто на поселение. Мне пришлось так провожать семью моей школьной подруги. Высылали в 5 дней: ее мать, старую учительницу, внучку декабриста В. П. Ивашева*, невестку с двумя детьми и мою подругу — студентку 3-го курса Университета. Их выслали на озеро Челкар в Казахстане. В течение трех дней нужно было ликвидировать старый деревянный дом на Васильевском острове и собрать их в дорогу. И передать в Пушкинский Дом все реликвии, связанные с декабристами: портреты, письма, цепочку из волос Камиллы ле-Дантю — невесты В. П. Ивашева, поехавшей к нему в ссылку в Петровский завод, и ее железный браслет, выкованный из цепи, и другие вещи. Совсем как у Некрасова:

Я Вам завещаю железный браслет...
Его берегите Вы свято:
В подарок жене его выковал дед
Из собственной цепи когда-то...

Провожать в ссылку весной 1935 года пришлось многих знакомых и друзей. На этом фоне снятие по требованию коллектива с поста директора академика, члена партии являлось просто необыкновенным явлением.

По распоряжению Президиума Академии Наук исполняющим обязанности директора БИН был назначен беспартийный Ю. Д. Цинзерлинг, а его заместителями Гавриил Никанорович Новиков и Марк Яковлевич Школьник, молодые кандидаты наук, оба — члены ВКП(б), окончившие аспирантуру в Отделе экологии у В. Н. Любименко.

После того, как убрали Б. А. Келлера, и директором Института стал наш ЮДЦ, жизнь в отделе изменилась мало. Он продолжал быть зав. отделом и руководителем всех больших работ. Началась подготовка к печати 1-го тома «Растительности СССР», и мне было поручено составлять список упомянутых в тексте растений. Летом же все разъехались в экспедиции. Ф. В. Самбук и Б. А. Тихомиров — на Таймыр. В этой же экспедиции работала по договору К. Н. Игошина. А. И. Лесков какое-то время работал в Северной экспедиции у А. П. Шенникова в Коми АССР, а в конце 1930-х годов на Северо-Западном Кавказе. Он готовил большую монографию по темнохвойным горным лесам и собирал для нее материал, участвуя в работах Северо-Кавказской экспедиции СОПС. В. П. Малеев,

*Внучка декабриста В. П. Ивашева Вера Петровна Фандерфлит, урожд. Ивашева.

переведшийся в отдел из Никитского сада, занимался обработкой кавказских дубов и писал монографию о своей любимой Эвксинской ботанико-географической провинции, охватывающей Малую Азию (не всю, а в основном ее черноморское побережье с Западным Закавказьем и выклинивающуюся на Северо-Западном Кавказе). Я до сих пор не понимаю, почему очень часто и Малеев, и особенно Лесков рассказывали мне о своих работах, хотя я, по правде говоря, очень мало что в них понимала. Делала вид, а им, наверное, просто нужны были слушатели. Александр Иванович, кроме того, увлекался «проработкой классиков». Он говорил, что по вечерам для отдыха он читает работы Д. И. Литвинова, И. П. Бородина, Г. Ф. Морозова, В. В. Докучаева и др. и не может надивиться: какие это были даровитые люди, как много они видели и как важно в своих работах опираться на них. Наверное, именно он привил мне любовь и интерес к нашим классикам.

Примерно в 1935–1936 гг. появились в отделе докторанты: Н. Ф. Комаров и М. С. Шалыт, куратором их был Е. М. Лавренко. Н. Ф. Комаров, небольшого роста, коренастый и очень скромный, приехавший из Воронежа, как-то тихо держался в отделе. Для «Растительности СССР» он писал о сорной растительности. Тема его диссертации была связана со степями Русской равнины, но я как-то не интересовалась. Николай Федорович тихо сидел в зале или в библиотеке, тихо уходил в обеденный перерыв обедать в столовку, никогда не посещал собрания «Красного Геоботаника» и упорно занимался своей диссертацией. Зато М. С. Шалыт с его экспрессией, юмором, обидчивостью и шумом, который его всегда окружал, стал активным членом «Красного Геоботаника». Кроме того, он заполнил весь огромный стол в зале рулонами своих рисунков корней растений и корневых систем в натуральную величину, мыл корни на кухне в большой раковине. Под его влиянием и под его руководством я стала интересоваться подземными органами растений. И на Юго-Осетинском стационаре (где я работала летом 1936 и 1937 гг.) провела наблюдения над распределением подземных органов на субальпийских лугах. М. С. Шалыт консультировал мою работу и рисунки; и когда готовился к печати V том Геоботаники, где шла моя статья о подземных органах субальпийских лугов Юго-Осетии, мы с ним решили рисунки дать в два цвета (как в работах американцев*). Черным цветом обозначить подземные органы двудольных, красным — злаков. Такие цветные клише были готовы в Издатель-

*В работах Т. Е. Weaver and F. E. Clemens.

стве и в последней корректуре тома рисунки были цветные. Это было весной 1941 года. Но началась война, все матрицы и клише в издательстве погибли. И только один экземпляр чистых листов уцелел и пережил блокаду у редактора тома Б. А. Тихомирова. Восстановить цветные рисунки после войны не удалось, и статья вышла с черными рисунками; кроме того, безвозвратно погиб рисунок засоренного чемерицей луга.

Сам же М. С. Шалыт, будучи в докторантуре, разменивался на все стороны: всем во всем помогал, читал лекции в Пединституте им. Покровского на кафедре ботаники у Е. В. Вульфа, был включен в 1938–1939 гг. в состав большой Джекказганской экспедиции СОПС в Центральном Казахстане (под руководством И. В. Ларина и Е. М. Лавренко) и никак не мог до конца оформить свою докторскую диссертацию. Хотя материал у него был собран колоссальный. Кроме того, у него была молодая жена Клавдия Петровна Ханина — химик, устроившаяся работать в Химико-фармацевтический институт, и родилась дочка Таня. Жили они, также как и Комаров с женой и сыном, в аспирантском общежитии на Петрозаводской улице.

Успешно защитили в период 1938–1939 гг. докторские диссертации: В. П. Малеев, С. Я. Соколов и методично кончивший свою диссертацию в срок, никогда ни на что не отвлекавшийся Н. Ф. Комаров. После защиты В. П. Малеев остался в отделе, С. Я. Соколов был переведен на заведование Ботаническим садом, вместо Н. В. Шипчинского, а Н. Ф. Комаров стал заведующим Музеем. Оба они переселились после этого в свои новые владения, но никогда не порывали связь с отделом. Участвовали в работах отдела по сводке «Растительность СССР», по районированию. Сяся из членов «Красного Геоботаника» стал его членом-корреспондентом.

А. В. Прозоровскому оформить защиту докторской диссертации до войны не удалось — всегда было некогда, хотя он и написал для 2-го тома «Растительности СССР» монографию по пустыням, подобной которой не было еще ни в русской, ни в советской литературе. Но Анатолий Владимирович исполнял обязанности Ученого секретаря отдела, был начальником большой экспедиции в Казахстане и в Туркмении, вел в основном (вместе с ЮДЦ, а потом с Лавром) всю научно-организационную работу по районированию и по составлению карты растительности СССР в масштабе 1 : 5 000 000. Был избран в 1938 г. председателем месткома БИН. Во время его месткомовской деятельности, помимо всего прочего, в БИНе организовался неплохой драмкружок. На сцене клуба шли такие пьесы, как

«Квадратура круга» и даже «Платон Кречет»... Но самое главное еще и то, что Тошку Прозоровского заедал «быт».

Все жили в тяжелых условиях. Отдельные «профессорские квартиры» дореволюционного стиля были у А. П. Шенникова в Лесном, на территории Лесотехнической академии, у Б. Н. Городкова в доме 19 на Карповке рядом с квартирой Н. А. Буша, и у А. П. Ильинского в БИНе. Еще А. С. Порецкий жил на 1-й линии Васильевского острова в хорошей квартире с семьей брата (профессора ЛГУ) и сестрами в большой дружной семье. Хозяйство у них было общее, вела его старшая сестра, была домработница, и у Артемия Сергеевича была отдельная большая комната. С. Я. Соколов имел две небольшие комнаты в коммунальной квартире на втором этаже деревянного домика в Лесном, на 2-м Муринском проспекте около Серебряного пруда (Серебки). Жил он со своей семьей (жена и дочка), тещей и «старой графиней» (так называлась няня дочки Тани, она же — домработница). Жена Сергея Яковлевича — Ольга Александровна работала в Абхазской экспедиции, которой руководил Сергей Яковлевич, и одно время сидела в нашем зале. В. П. Малеев имел на троих (жену и сына) две комнаты в БИНовском доме, где коммуналки были в общем небольшие. Лавр получил всем известную квартиру без всяких удобств, которой радовались и он сам, и Анастасия Ивановна, начавшая работать в Университете на кафедре систематики растений. Прозоровский же был несказанно счастлив, когда ему удалось обменять свою маленькую комнатку на комнату около 17–20 м² в квартире, где жила О. С. Полянская, в доме 8 по 19 линии Васильевского острова на первом этаже, на уровне земли. Здесь, наверное, в 1937–1938 гг. родилась у них дочка Люся (второй ребенок), а жена его — химик Лиля (Лидия Львовна) заболела скарлатиной, и ее увезли в Боткинские бараки. Полуторамесячная Люська осталась на руках отца и брата Вовки, которому было около 4–5 лет. Надо сказать, что и до этого Анатолий Владимирович страшно много времени уделял домашним делам. Лиля, например, не умела шить, и Тошка сам кроил с моей помощью на большом столе в зале из своих брюк штанишки Вовке и из чего-то — юбку самой Лиле. А когда же она заболела и у него на руках остались дети, заниматься наукой было трудно. Молочных смесей для малышей в то время не было, не было газа, а в коммунальных кухнях на старой плите гудели примуса (у нас в квартире — 11 штук). Что-нибудь варить ребенку было трудно. Искали в таких случаях кормилицу. К какой-то женщине, имевшей ребенка, надо было 3 раза в день ездить или ходить за

молоком. Иногда Анатолий Владимирович привозил обоих детей в отдел. Ольга Николаевна охала, кормила Вовку конфетами, позволяла ему стоять около ее машинки и смотреть, как она печатает, и даже иногда стучать одну букву. Потом Вовке давали «оборотку», карандаши, и он садился в зале что-нибудь рисовать. А Люська в одеяле, пеленках с мешком запасных бебехов — лежала у меня на столе, около печки в «дамской», т. е. «мотыльковой комнате» и спала. Я перепеленывала ее, сушила у печки подгузники, разогревала в горячей воде ее бутылочки и поила ее кормилицыным молоком или просто водичкой. Топка и Вовка пили чай в «Красном Геоботанике» и, когда первый кончал все свои дела, ехали с Люськой на трамвае к себе домой, где надо было топить печку. Видимо, весной 1937 г. у Вовки обнаружился туберкулез бронхиальных желез. Это страшно взволновало Анатолия Владимировича, он отказался на какой-то срок ездить на полевые работы в Среднюю Азию и решил несколько лет просидеть на стационаре в Борке у А. П. Шенникова, для того, чтобы как можно больше продержат Вовку на свежем воздухе в умеренном климате. Он и Вовка уезжали в Борок ранней весной, а когда летом у Лили бывал отпуск, она ехала туда с Люськой. Анатолий Владимирович на какое-то время возвращался в Ленинград и даже ездил ненадолго в Туркмению.

Топка все делал весело, с порывом, ярко. Одетый в кожаную куртку, брюки-галифе с обмотками на ногах или в высоких туркменских носках, и бутсах, с полевой сумкой через одно плечо, фотоаппаратом и биноклем — через другое, в кожаной кепке — он приходил в отдел прощаться перед отъездом в поле. Ольга Николаевна ахала, всплескивая руками, и говорила: «Тошенька, на кого Вы похожи?» А Анатолий Владимирович, уезжая, говорил о том, что в экспедиции у него, кроме всяких прочих дел, надо еще обязательно получить для работы в НКВД Туркмении или Казахстана (точно не знаю) заключенного профессора-геоморфолога Б. Л. Личкова. Профессор Личков был замечательный человек и крупнейший ученый. Где он работал до ареста, я не знаю. Похоже, что в начале 1930-х годов — в Киеве. Его книга «Климат прошлого Земли», наряду с теорией Вегенера о передвижении материков, волновали молодежь, студентов и высоко ценились специалистами. Я читала ее как роман и очень жалела, что не видела ее автора. Личков сидел, видимо, с начала 1930-х годов (судя по недавно опубликованной его переписке с В. И. Вернадским). Он работал на строительстве каналов Москва-Волга, Беломорском и в Туркмении. Анатолий Владимирович брал его в НКВД «под расписку» на летний сезон, без охраны, и предоставлял Личкову пол-

ную свободы жизнь в своем отряде. При этом, осенью, после полевых работ, Анатолий Владимирович, смеясь, рассказывал в «Красном Геоботанике», что чрезвычайно выгодно иметь в отряде «заключенного»: «Приходишь к начальнику какому-нибудь, — рассказывал он, — вид у меня, сами знаете, какой: кожанка, перевязи — сразу не поймешь — фотоаппарат или наган. Тороплюсь: надо получить продовольствие или железнодорожные билеты. Говорю отрывисто, по деловому, и держу в руках бумагу на бланке НКВД. Держу, но не даю в руки начальнику. Тот только штамп видит и все. Билеты? Сколько? Пожалуйста, в кассе! Горючее? Сколько? Пожалуйста! И продовольствие тоже. Все мои молодцы получают, грузят, выучат и увозят. Очень удобно! (А на волшебном бланке значится, что заключенный из такого-то лагеря НКВД Б. Л. Личков отпущен на такой-то срок на работы в такую-то экспедицию.) Уже после войны, в конце сороковых годов В. Н. Кунин сказал мне как-то: «Приходите ко мне вечером, у меня будет Личков. Вы ведь говорили как-то, что увлекались его работами в молодости». Этот вечер у больного В. Н. Кунина в обществе Б. Л. Личкова запомнился мне тем, что мы все трое тепло вспоминали А. В. Прозоровского.

Так текла жизнь отдела в сезоны 1935–1936 и 1936–1937 гг. На общем фоне Евгений Михайлович был незаметен, то есть не принимал участия в общих разговорах в зале отдела, не смеялся заразительно, как ЮДЦ, когда молодые чертежники Кирка Носов, Ионка Маскиль, А. А. Гербих и я затевали на большом столе в зале в обеденный перерыв «гонку деревянных бычков»:

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
Ой, доска кончается,
Сейчас я упаду...

На чертежных досках, стоящих наклонно на большом столе в зале, наперегонки пускали бычков. Чей придет быстрее? Скоро у всех почти сотрудников появились свои «бычки», и среди них устраивались соревнования: чей бычок пройдет по доске скорее? Бычками увлекались все, в том числе и сам Юрий Дмитриевич. Приходил смотреть на состязание бычков из своего кабинета и А. П. Шенников. Недавно Леонид Ефимович Родин вспоминал, как при этом заразительно смеялся А. П. Шенников, приседая около большого стола в зале и хлопая победившему бычку. Даже Ольге Николаевне подарили бычка, и она его с азартом пускала.

— Ах!, — говорил при этом Сясь, — Ах! Олечка Буткевич — первая красавица Смольного института! Ах! Что по этому поводу сказал

бы Николай Александрович, который так любил танцевать с Вами в первой паре мазурку? Ах!

Ольга Николаевна махала руками на Сяся, говорила:

— Сережа, Вы все выдумываете. Не танцевал он со мной. Нет!

— А с кем же, как не с Вами, мог открывать бал Его Императорское Величество Государь Император? — отвечал Сясь, окончательно вгоняя Ольгу Николаевну в краску.

— Зачем Вы ее дразните, Сергей Яковлевич? — говорил Лесков.

Ольга Николаевна, наша скромная машинистка и удивительной души человек, была дочерью моряка, коменданта (на старости лет) крепости в Усть-Нарве, и, действительно, вместе со своими сестрами Верой Николаевной (машинисткой Гербария) и Наташечкой — бывшей секретаршей Н. И. Кузнецова, умершей в 1935 г. от чахотки, учились, как дочери военного, в Екатерининском институте в Смольном. После его окончания во время Первой мировой войны «барышни» Буткевич, так как «папочка» умер, работали конторщицами в каком-то банке и содержали «мамочку». Брат их, тоже моряк, погиб где-то на фронте. Ольга Николаевна и Вера Николаевна работали машинистками, делопроизводителями и не чуждались никакой работы. Жили они на 6-м этаже в большой коммунальной квартире (конечно) на ул. Скороходова, вместе с мамочкой и сестрой Наташечкой. Наталья Николаевна была секретарем Н. И. Кузнецова, и, когда она умерла в 1935 г., ее похоронили на Серафимовском кладбище рядом с Николаем Ивановичем. В 1920-х годах Ольга Николаевна вышла замуж и уехала с мужем на юг, в Севастополь. Муж ее был военный, командир Красной Армии. Но через год или два, несмотря на полное внешнее благополучие, Ольга Николаевна бросила мужа, развелась с ним и перебралась обратно в Ленинград. При этом до самой войны она трогательно опекала свою свекровь, помогала ей и была дружна с ее другим сыном. Причиной такого резкого разрыва с мужем, по словам Ольги Николаевны, было то, что она случайно узнала, что ее муж не просто военный, а чекист, а потом и НКВДешник. Жить с ним после этого открытия Ольга Николаевна не могла, так как он скрывал от нее правду. Мне она все это рассказывала под большим секретом. А я подумала: «Вот тебе и курочка Буткевич!» Она была очень принципиальный, мужественный и бесконечно во всем честный человек.

Примерно в 1934 или 1935 году в Ленинград приехал на гастроли МХАТ (Московский художественный театр). Спектакли шли в Выборгском и Нарвском Домах культуры, а сами гастроли мхатовцев

вызвали огромный интерес. Чтобы достать билеты, становились в очередь в 4 часа утра, и с Васильевского острова до Выборгского ДК один знакомый молодой человек довез мою сестру Веру на велосипеде. Она получила билеты на «Синюю птицу», «Горячее сердце» Островского и 4 билета на «Дни Турбиных» Булгакова. На них пошли не только мы с ней, но и отец с женой (нашей тетей). «Дни Турбиных» потрясли всех. В Отделе почти все сотрудники видели их; и в «Красном Геоботанике», и в зале было много разговоров об этой пьесе. Ведь впервые белые офицеры были представлены людьми простыми, хорошими, добрыми, честными, а не извергами и врагами. Алексея Турбина играл Хмелев, Елену — Еланская и дублировала Тарасова, Шервинского — Прудкин, Гетмана — Ершов, Лариосика — Яншин. Все они были молоды и играли самозабвенно. Темочка Порецкий и М. С. Шалыт, бывшие в годы гражданской войны на Украине, в Киеве, говорили, что лучше себе представить обстановку того времени, чем дал Булгаков, нельзя. Все правда! Они первые рассказали о романе Булгакова «Белая гвардия» и о его рассказах. До этого времени я не знала такого писателя. У Порецких даже оказалась повесть Булгакова «Роковые яйца». Артемий Сергеевич принес ее в Отдел, а все члены «Красного Геоботаника» по очереди читали эту вещь. Я много раз после этого смотрела в МХАТе и в театре Станиславского и Немировича «Дни Турбиных», но впечатление от первой встречи с этой пьесой, с удивительным составом ее исполнителей осталось в памяти на всю жизнь.

Только Юрий Дмитриевич не ходил на спектакли МХАТа. Всю зиму он плохо себя чувствовал и много болел. По два месяца весной и осенью он обязательно бывал в туберкулезном санатории в Детском Селе (Пушкин) и часто лежал дома. Жил он на 2-м этаже маленького деревянного домика на Геслеровском проспекте (теперешний Чкаловский проспект.). Вокруг дома был небольшой садик, и в окна смотрели клены. Дом этот чудом сохранился после блокады, и его снесли только тогда, когда от площади Льва Толстого пробили Левашовский проспект и на углу его с Чкаловским строили огромный дом какого-то химического объединения. Несколько кленов сохранилось и сейчас на автомобильной площадке этого объединения. Когда Юрий Дмитриевич болел, в нему и домой, и в Детское Село постоянно ездили со всеми бумагами и материалами по карте, районированию и «Растительности СССР» все товарищи. Послали как-то на Геслеровский с каким-то поручением и меня. Туда домой к Юрию Дмитриевичу ходить было страшно. Даже А. С. Порецкий,

навещавший Юрий Дмитриевич чуть ли не каждый день (они очень любили друг друга), жаловался. Дело было в собаке, необычайно злой и свирепой. Овчарка (полуовчарка-полуволк). Совсем забыла, как ее звали. Этого пса. Но Порецкий говорил, например, на «Красном Геоботанике»:

— Прихожу к Юрию Дмитриевичу, вхожу в комнату, а на кровати лежит пес и рычит, а Юрий Дмитриевич рядом, на полу, на коврик.

Это, конечно, была шутка, но все знали, что Юрий Дмитриевич заплатил 300 руб. (по тем временам — колоссальные деньги) за дрессировку, чтобы научить пса спать на полу, а не на кровати.

Хозяйкой и родительницей пса была Катя Галкина (Сясь считал, что писать эти два слова надо в одно — КатяГалкина) — ученица и сотрудница Юрия Дмитриевича по всем его экспедициям. До войны она работала сперва по разным договорам, а потом, после 1936 г., то есть после присвоения кандидатской степени, в Музее. Она обожала собак, и каким-то образом приобрела суку — полуовчарку-полуволчицу. Очень злоую. От этой волчихи у нее было два щенка. Себе она оставила Лыча, а второго подарила Юрию Дмитриевичу. Мать этих щенков пришлось отдать в Зоопарк. Держать ее дома, в отдельной квартире, даже сама КатяГалкина не могла. Оба щенка уродились в бабушку-волчиху (настоящую). Они не лаяли, выли как настоящие волки, ступали тихо, почти бесшумно и моментально кидались на всякого, кто им не нравился.

Я познакомилась с Лычем летом 1934 году в Хибинах, когда Катя Галкина и Юрий Дмитриевич приезжали из Ловозерских тундр на базу экспедиции, базировавшуюся на Горнотундровой станции «Тиэтта» на берегу озера Малый Вудъявр. Это была станция-игрушка по внешнему виду, построенная директором Горнообогатительного комбината «Апатит» В. И. Кондриковым, сподвижником С. М. Кирова, в подарок Академии Наук, вернее, в подарок открывателю хибинских богатств академику А. Е. Ферсману. Деревянный бревенчатый дом одиноко стоял в совершенно безлюдной (тогда!) межгорной котловине, на дне которой располагалась кустарниковая тундра на плоском берегу озера. А кругом, и непосредственно сразу за домом возвышались горы, внизу покрытые еловым лесом, затем выше — березовым криволесьем, а потом наверху — горной тундрой. На базе были прекрасно оборудованные химические лаборатории, метеостанция, научная библиотека, подаренная Ферсманом, холл, в котором по вечерам горел камин и из которого вела лестница на второй этаж. Химики и метеорологи, сотрудники

базы, жили на станции с семьями круглый год. Кроме того, было около 10 комнат для приезжих, с раковинами, горячей и холодной водой. На огромной застекленной утепленной веранде стоял огромный стол, где все вместе обедали. Рядом помещался флигель для обслуживающего персонала, котельная, насосная станция и баня.

Все отряды Кольской экспедиции СОПСа в 1934 году базировались на «Тиэтте». Приезжали и уезжали, а О. С. Полянская — руководитель стационарного геоботанического отряда — жила со своей дочкой Надей на базе постоянно. Я же работала у нее лаборантом, и ежедневно по три раза в день лазала на ближайшую гору Поачвум-Чорр вести микроклиматические наблюдения: в березовом криволестье, ельнике и в низинной тундре. Рассказывать о жизни на этой базе можно много и долго. Необычайно интересные люди проходили через нее в то лето.

Юрий Дмитриевич и Катя Галкина работали в Ловозерских тундрах, но когда Юрию Дмитриевичу было плохо, он приезжал (на подводе) отлеживаться на «Тиэтту». Я, ведавшая кормежкой приезжающих и работающих на станции членов Кольской экспедиции (почвоведы, химики, климатологи, геоморфологи), старалась как можно чаще и лучше кормить Юрия Дмитриевича. Ведь я сама попала на Кольский только потому, что весной 1934 г. у меня что-то зашевелилось нехорошее в правой верхушке легкого. А дома у нас боязнь туберкулеза прошла красной нитью через всю жизнь (мама умерла от него в 1919 г., а в 1929 г. обнаружился процесс у ее сестры, заменившей нам мать и ставшей второй женой отца). Предполагалось раньше, что может быть А. С. Порецкий возьмет меня с собой на Дальний Восток. Но, во-первых, я еще не кончила тогда Университет, а во-вторых, врачи категорически это запретили, а Кольский полуостров со стационарной работой оказался для меня на всю жизнь хорошим санаторием.

Вот там-то в Хибинах я как-то очень близко подошла к Юрию Дмитриевичу, и он, по-видимому, тоже тепло стал ко мне относиться. Когда осенью 1936 года выяснилось, что я, задержавшись из-за непогоды с Бушами в Юго-Осетии, не смогу приехать в Ленинград к сроку защиты дипломов студентов-заочников, Юрий Дмитриевич вызвал по телефону в отдел мою сестру Веру. И, по ее словам, сам вместе с А. И. Лесковым правил и собирал для переплета листы моей дипломной работы «Луга и пастбища долины реки Связи». А когда я все-таки поспела к защите, то на другой день в отделе на столе у меня стояли хризантемы от сотрудников отдела (тогда цветы были

редкостью в Ленинграде). Вадим же Сергеевич Порецкий — член Ученого Совета факультета — подарил мне три хризантемы сразу же после защиты в 133-й аудитории, от имени своего брата Артемия Сергеевича, еще не вернувшегося из Владивостока.

Начиная с 1935 года сам Артемий Сергеевич разрывался между Ленинградом и Владивостоком. По желанию академика В. Л. Комарова — председателя Дальневосточного филиала АН, он был назначен Ученым секретарем филиала, оставаясь одновременно сотрудником Отдела геоботаники. Возвратясь после первой поездки в Уссурийский край, Артемий Сергеевич был в восторге от природы Дальнего Востока и Владивостока, и говорил всем нам, что ничего подобного он в жизни не видел. А до того он ведь много лет работал по заданию Н. И. Кузнецова в Нагорном Дагестане, возглавлял с 1931 по 1933 год Геоботанический отряд Каракалпакской экспедиции СОПС и опубликовал по растительности Кызылкумов большую работу в Трудах Каракалпакской экспедиции. Начал писать интересную работу по горным соснякам внутреннего Дагестана. Но все бросил, так как его захватил Дальний Восток. Он любил научно-организационную работу и, также как и Анатолий Владимирович, мог бы быть впоследствии хорошим директором БИНа. За два с небольшим года пребывания на посту Ученого секретаря Дальневосточного филиала он отредактировал и выпустил 2 тома трудов Филиала, наладил выпуск серии «Доклады филиала» и вывел в «ботанический свет Ленинграда» молодых дальневосточных ботаников: А. П. Саверкина, Т. И. Рябову, Н. Е. Кабанова, Зиночку Лучник, Д. П. Воробьева и самого молодого из них Б. П. Колесникова. Благодаря Артемию Сергеевичу они каждую зиму приезжали обрабатывать свои материалы в Гербарий БИНа и как бы стажироваться в отделе Геоботаники. Вместе с Н. Е. Кабановым Порецкий занялся районированием Уссурийского края. Но вся его деятельность и приезды дальневосточников в Ленинград оборвались осенью 1937 года ^[69].

Первым осенью этого года арестовали Ф. В. Самбука. Он провел август на Юго-Осетинском стационаре у Бушей, которые его очень любили. Наладил составление там крупномасштабной съемки растительного покрова трех ущелий, где работали Буши. Он был своеобразный, умный, музыкальный человек. Дружен он был с А. И. Лесковым, с которым работал в одном кабинете*. Но был упрям, а главное, обманывал всех, скрывая, что у него есть семья,

*Они пришли оба в Отдел Геоботаники из Ботанического музея Академии Наук, где работали под руководством Н. А. Буша.

дети, которых он бросил, женившись на сотруднице флорового отдела О. Ф. Гаазе. Она была старше его, и потом уже я думала, что она, наверное, ему очень помогала, прекрасно зная немецкий, английский и эстонский языки... Буши и я простились с ним 1-го или 2-го августа в Эрмани в Юго-Осетии, а когда мы вернулись в Ленинград около 15 сентября, его уже не было. И о нем не говорили. Человек пропал — и все. В конце года, в декабре, выслали из Ленинграда в Самарканд его жену Ольгу Федоровну Гаазе. Ей повезло, в Средней Азии еще было не так много высланных, и она устроилась преподавателем в Самаркандский университет. Был ли обыск в отделе в его кабинете, и куда девались его материалы — я не знаю.

Я вернулась из Юго-Осетии в 1937 году как из земли обетованной, а в Ленинграде на меня посыпались страшные новости. На Украине, в Днепропетровске еще летом взяли мужа маминой сестры В. М. Фидровского — ректора Днепропетровского университета, члена ЦК Компартии Украины, а в сентябре — и его жену, мою тетью. Ее приговорили к 5 годам концлагеря — почтенную даму, нигде не работавшую. И, как потом выяснилось, она отсидела свой срок в избранном обществе жен ответственных работников. Его же расстреляли, а реабилитировали потом «за отсутствием состава преступления». В соседней с нами квартире увезли в августе молодого инженера В. М. Крушинского а в сентябре пришли за его женой. Меня в 5 утра разбудила наша домработница Соня: «Вставай, Злату увезли, а сейчас берут Мишеньку» (ее сына 2-х лет). Я выбежала на лестницу и увидела, что Мишенька бьется в истерике в руках какой-то женщины, рядом стоит наш дворник, участковый милиционер, и кто-то закрывает дверь пустой квартиры. Я протянула руки, Мишенька потянулся ко мне, и женщина его выпустила. Я стала его утешать, а потом, сама не знаю как, сказала:

— Отдайте его мне. Я вам дам расписку, воспитаю его, усыновлю. Отдайте!

Все стоящие кругом обалдели... Только дворник Тит Тимофеевич поддержал мою просьбу. Я тем временем сунула Мишу на руки Сони и велела ей нести его в дом. НКВДешники ничего не сказали, махнули рукой, выругались и даже выкинули мне из еще не запечатанной квартиры Мишины сапожки, какое-то бельишко и др. Так у меня появился ребенок, случай, по тем временам, совершенно уникальнейший, так как детей арестованных забирали тоже.

Утром отец сказал, что усыновлять ребенка будет он, а не я. Но потом выяснилось, что у Миши есть бабушка, нашли ее телефон,

вызвали ее, сказали все про дочь Злату и отдали ей Мишу. До самой войны ежемесячно бабушка и Миша приходили к нам в определенное число, обедали, и папа давал бабушке 100 рублей. В августе 1941 года бабушка и Миша Крушинский были у нас последний раз. Они собирались эвакуироваться. Отец дал бабушке 500 рублей и просил писать. Миша ведь уже пошел в школу. Но никаких писем мы не получали. Ничего не узнали в последующие годы через справочное бюро в Бугуруслане, куда поступали сведения о всех эвакуированных гражданах (не только ленинградцев). Мы с сестрой решили, что они погибли во время пути, или не успели выехать из города и тоже погибли во время блокады. Отвечать за них было не перед кем.

Но летом 1943 года, будучи в Москве, я получила через БИН из Ленинграда пачку писем, которые пришли на наш адрес в Ленинграде, после того, как мы с сестрой эвакуировались с БИНОм. Среди них было письмо-треугольник со штампом Магадана, адресованное отцу — от матери Мишеньки — Златы, датированное летом 1941 г. Она умоляла в нем позаботиться о сыне, зная, что началась война. Адрес был непонятный, какие-то цифры и шифры. Я пошла на почту и, плача, стала умолять взять у меня по этому адресу телеграмму, в которой сообщала, что отец мой умер, а бабушка с Мишей, видимо, тоже погибли в Ленинграде. Ответа я не получила, хотя сообщила свой московский адрес (института Географии). В 1957 году Злата собственной персоной пришла к нам. Я вернулась с работы и, войдя в комнату и увидев ее, невольно вскрикнула:

— Мы не виноваты, что Миша погиб.

— Он жив, здоров и женат — ответила она, — но у него другая фамилия.

Оказывается, что в 1941 году бабушка с Мишей никуда не уехали. Но погибли от голода осенью бабушка и дедушка. Миша, тоже почти умирающий, лежал в постели рядом с ними, уже мертвыми. И совсем случайно в комнату вошел военный, командир, какой-то дальний родственник Мишиного отца. Его часть проходила через Ленинград. Он просто взял Мишу на руки, завернул в одеяло, сел в свою машину и увез с собой, а потом переправил через Ладогу в тыловой госпиталь своей жене. Так Миша получил родителей и новую фамилию. А Злата отсидела 15 лет не на тяжелых работах в концлагерях, а в разных тюрьмах Дальнего Востока, где женщины вышивали на экспорт русские и украинские узоры. После освобождения она получила минус 25 городов и осталась на поселении в Магадане. Мою телеграмму она получила, и у нее случился инфаркт.

Но она выжила, и теперь ее реабилитировали. Она показала две бумажки: в одной значилось, что ее муж как «враг народа» расстрелян в 1938 г., а во второй — что «он реабилитирован за отсутствием состава преступлений». И все. . .

Ей дали в Ленинграде квартиру, но через два года она умерла.

Следующим, даже не ударом, а вроде обычным фактом, был арест в начале сентября сразу в один день двух моих товарищей по Университету — Мити и Жоржа Бенешевичей, сыновей чл.-корр. АН В. Н. Бенешевича, крупнейшего историка по древнему Востоку и Византии. Я ездила к нему после ареста моих друзей — они были близнецы, и им еще не было 25 лет. А через неделю увезли и самого В. Н. Бенешевича^[70]. А в 1959 г. его вдова показала мне четыре удостоверения о реабилитации «за отсутствием состава преступлений» — самого Владимира Николаевича, двух его сыновей и брата — инженера. И четыре других удостоверения, что все они скончались в 1942 и 1943 г. в разных городах*.

В Гербарии взяли П. Н. Овчинникова, но очень скоро выпустили, что вызвало удивление у многих сотрудников. Такого почти не бывало.

Однажды утром меня вызвал в зал А. И. Лесков и, когда я проходила мимо него, сказал тихо: «Сегодня ночью взяли моего отца. Я сейчас еду к матери». Его отец был священник, старый военный морской священник. Всю мировую войну (это Александр Иванович мне и Ольге Николаевне рассказал потом) он был священником в крепости Свеаборг, защищавшей с моря Хельсинки (тогда Гельсингфорс). А в Ленинграде он служил в кладбищенской церкви на Охтинском кладбище. Александр Иванович его очень любил и просто посерел после его изъятия. Мать Александра Ивановича, конечно, очень скоро выслали. . .

* Летом 1989 г. в «Ленинградской правде» была опубликована статья о том, что под городом, недалеко от станции Левашово, обнаружено захоронение жертв сталинских репрессий 1937–1948 гг. Я написала после этого письмо начальнику Главного Управления КГБ по Ленинграду с просьбой сообщить о судьбе членов семьи В. Н. Бенешевича и 1 ноября 1989 г. по телефону получила ответ, что сам Владимир Николаевич, арестованный 19 сентября 1937 г., был расстрелян 5 января 1938 г. Его сын — Георгий (Жорж), арестованный вместе с братом в конце августа, был приговорен к расстрелу 28 декабря 1937 г. и расстрелян 5 января 1938 г., а его брат Митя был приговорен к расстрелу 1 октября 1937 и расстрелян 6 октября 1937 г. Дядю-инженера расстреляли 2 апреля 1938 г. И всех их, как и всех уничтоженных в эти годы, захоронили на Левашовской пустоши, о которой писала «Лен. правда». Уполномоченный сказал еще, что документ, который получила в 1959 г. вдова Бенешевича, были липой и что только сейчас установлена правда.

А в начале октября меня вызвал как-то в конце рабочего дня в свой директорский кабинет в Гербарии Юрий Дмитриевич и сказал, что во Владивостоке еще в августе арестовали Артемия Сергеевича... Об этом в БИНе еще не известно. Он просил меня сейчас, срочно пойти в кабинет его и Артемия Сергеевича в отделе и, по возможности, уничтожить все бумаги в столе Артемия Сергеевича, прибрать его шкаф и вынести из него все, что мне покажется ценным, то есть книги*. Он просил, чтобы мне помог в этом Костя Солоневич, и что, кроме него, никому пока ни чего не говорить об Артемии Сергеевиче. Я медленно шла через парк под дождем и плакала.

И у Юрия Дмитриевича, и у Артемия Сергеевича в ящиках столов (это были большие, длинные с большими ящиками старые столы) всегда был хаос. Но мы с Костей, дождавшись, когда уйдут чертежники, довольно быстро разобрали все бумаги Артемия Сергеевича и часть их и все письма тут же сожгли. Ценные книги, такие, как «Флора южной России» Шмальгаузена, «Флора Кавказа» Гроссгейма, работы В. Л. Комарова и В. Н. Сукачева я унесла к себе в комнату, а часть их переложила в шкаф Кости. Потом понемногу я передала эти книги Вадиму Сергеевичу Порецкому. Он был очень сдержан, на мои вопросы отвечал односложно и сухо, и только крепко сжимая мне руку, говорил:

— Спасибо... спасибо... — знайте, что друзья познаются в беде.

— Заходить к Вам?

— Пока не надо, после, хотя я знаю, что Вы не боитесь.

И Юрий Дмитриевич, и Вадим Сергеевич — оба ждали, что в отделе, и в квартире Артемия Сергеевича будут обыски. Но этого не случилось. Владивосток был далеко, и семья Порецких в Ленинграде не пострадала.

А. С. Порецкий, как я узнала от его сестры Е. С. Порецкой, после его реабилитации, был приговорен к 15 годам концлагерей и перевезен пароходом из Владивостока в Магадан и дальше на Колыму. Каким-то образом в 1938 или 1939 году Вадим Сергеевич получил от брата письмо, еще из Владивостокской тюрьмы, а потом с Колымы. Артемий Сергеевич писал о доносе, по которому его арестовали и о недозволенных методах допросов. Копии этих писем вместе с другими письмами с и его неоконченными рукописями и бумагами Екатерина Сергеевна (сестра Артемия Сергеевича) передала в начале 1960-х годов в архив БИНа. Все это сохранилось в пустой квартире

* До 1934 г., когда меня оформили в штат Отдела, я почти 2,5 года работала препаратором Каракалпакской экспедиции у Артемия Сергеевича и поэтому была в курсе почти всей его работы.

Порецких во время блокады. Сестры его и Вадим Сергеевич с женой Валентиной Сергеевной (Шешуковой-Порецкой) эвакуировались весной 1942 года через Ладогу вместе с университетом в Елабугу; но при переезде через озеро Вадим Сергеевич умер. Оказывается, перед войной он все время хлопотал о пересмотре дела брата, ездил в Москву, и его хлопоты поддерживали президент АН В. Л. Комаров и В. Н. Сукачев. Весной 1941 г. Вадим Сергеевич получил извещение, что дело Артемий Сергеевича будет пересматриваться во Владивостоке, собирался ехать туда, но... началась война. По справке, которую мне показывала Катя Порецкая, Артемий Сергеевич умер в Магадане 15 февраля 1942 г. в тюремной больнице от воспаления легких. В то время, когда мы с Евгением Михайловичем писали некролог А. С. Порецкого, Агнесса Васильевна Калинина принесла нам стихи, посвященные Артемию Сергеевичу, написанные какой-то женщиной, вернувшейся после 1957 года с Колымы.

А. С. Порецкому

Раскинув все, что прожито, что было,
И поглядев в лицо вещей,
Хочу найти все то, чем дорожила,
Чем я жила, что мне давало силы,
Ведя меня в сумятицу Путей.

Хочу найти — и в поисках ответа
Встречаю вдруг знакомые черты
Того, кто жил, кто не прошел бесследно,
Кем прежде был, кем остаешься Ты.

Вот так, в очках, по книжному сутулясь,
Не измененный годами тюрьмы,
Как прежде вдоль родных приневских улиц,
Ты шел и здесь, в просторах Колымы.

С кайлом в руках, дыханьем грея руки,
Не жалуясь, ты шел сквозь самый ад,
И видел все твой скромный, близорукий,
Внимательный и неподкупный взгляд.

Под смех воров, под окрики конвоя
Ты отступал с дозволенных дорог,
Чтобы сорвать над выступом забоя
Наукой не описанный цветок.

Такой простой, домашний, кабинетный,
Чуть оглушенный грохотом стихий,
Ты собирал с упорством безответным
Свои травинки, листики и мхи.

Ты их сушил, на голом теле пряча,
От грубых рук под рубищем берег.

На том стоял — и не умел иначе.
Мог умереть — но изменить не мог.

Не знаю, где и цел ли твой гербарий,
Получен ли друзьями скромный дар.
Иль на груди у мертвого пошарив,
Его с усмешкой бросил санитар.

Но тот, кто знал, кто, может быть, узнает,
Как жили мы, что значит Колыма,
Поймет, кем был, какая страсть большая
Тебе прожить, не сдавшись, помогла.

Как древний грек, опетый славой вечной,
Чье не умрет бессмертие, — «Не тронь!» —
И ты хранил великий, человеческий,
Не гаснувший под бурями огонь.

И этот свет, не гаснувший под ветром,
Всем низостям, всем тяжестям назло,
Все то, что мне во мраке беспросветном
В глухую полночь выжить помогло.

И в трудный час с собой ведя беседу,
Без лишних слов, без слов и суеты,
Благодарю, идти пытаюсь следом
Таких, как Ты.

В начале 1938 года А. В. Прозоровский рассказал, что взяли мужа старшей сестры Лили — знаменитой в кругах геологов красавицы Маруси Лурье^[71]. Она осталась одна с сыном, но, правда, ее пока еще не уволили с работы во ВСЕГЕИ. В это же время в университете арестовали профессора Р. И. Аболина, заведующего Бюро пустынь в ВИРе — нашего любимого профессора, читавшего нам «Степи и пустыни». Все студенты его очень любили, и недаром с нашего и с предыдущего выпусков кафедры Геоботаники (1935 и 1936 гг.) самые талантливые студенты: Э. Н. Благовещенский, К. В. Станюкович, О. В. Заленский, В. М. Свешникова — все пошли к Роберту Ивановичу в Бюро пустынь. Он был старый член партии, латыш по происхождению, в годы юности вел большую подпольную работу в Риге и по всей Латвии. Ученик, а потом друг В. Н. Сукачева, Роберт Иванович работал в самых разных районах страны и изучал самые разные типы растительности: болота Северо-Запада, леса и алласы Якутии, написал очень яркий и талантливый очерк растительности Жигулей, не говоря уже о его большой монографии вместе с М. М. Советкиной о высокогорных альпийских лугах Тянь-Шаня. В Бюро пустынь у него работал А. Г. Гаель и велись исследования во всех крупных песча-

ных пустынях. К всеобщему удивлению, Аболина вдруг выпустили, и его сотрудники и ученики поехали к нему с огромной корзиной цветов. Поздравить! А через несколько дней Роберта Ивановича взяли вновь, уже навсегда. Семья его почти не пострадала, и дочь Тania (Татьяна Робертовна Годлевская) даже спокойно кончила университет и после войны работала на кафедре И. В. Ларина в Сельскохозяйственном институте в Пушкине.

Арест Роберта Ивановича подкосил кафедру Геоботаники университета, и тогда-то В. Н. Сукачев и предложил Е. М. Лавренко взять курс «Степи и пустыни». Ведь другого специалиста по степям в Ленинграде не было. Я никогда не слушала лекций Евгения Михайловича, но думаю, что он читал их более методично, более сухо, очень добросовестно, но менее эмоционально, чем Аболин. Роберт Иванович был прекрасный оратор и читал свой курс вдохновенно и с большим жаром.

Наступил 1938 год. В отделе и в БИНе шла полным ходом подготовка к конференции «История флоры и растительности», намеченной на начало 1939 г. Основными организаторами, кроме Юрия Дмитриевича, были Б. А. Тихомиров, И. М. Крапенинников, М. М. Ильин, Костя Шапоренко и А. Я. Ярмоленко. Юрий Дмитриевич торопился закончить работы по монтировке для Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки рельефной карты растительности СССР в масштабе 1 : 2 500 000. Ее оформляли в музее Г. В. Аркадьев и молодая художница Берута Карловна. Но... Беруту тоже взяли.

В Отделе одновременно шла работа над составлением и подготовкой к печати первой сводной карты растительности всего Союза в масштабе 1 : 5 000 000, тоже под руководством Юрия Дмитриевича и началась работа над текстом к ней. Уже готовы были все рукописи для 2-го тома «Растительности СССР». Но Юрий Дмитриевич — руководитель всех этих работ чувствовал себя очень плохо: кашлял, уставал, рвался уйти с директорского поста и должен был вот-вот ехать, как обычно, в санаторий, в Пушкине. Но вместо этого, его, кажется, в ноябре 1938 года тоже арестовали.

Очень скоро, по распоряжению Президиума АН СССР, директором Института был назначен Б. К. Шишкин, а Е. М. Лавренко стал заведующим отделом Геоботаники и ответственным руководителем всех начатых при Юрии Дмитриевиче работ. . . Имя Юрия Дмитриевича отныне не должно было упоминаться. Он умер в начале 1939 г. в тюремной больнице. Когда об этом стало известно, все как-то даже облегченно вздохнули. Очень страшно было представить себе больного, слабого, всеми любимого Юрия Дмитриевича в тюрьме. . .

Больше в Отделе уже не было веселых сборищ, не было шума в зале, когда на чертежной доске шел, качаясь, бычок самого Юрия Дмитриевича, во время обеденного перерыва.

Евгению Михайловичу нужен был отдельный кабинет, и все в отделе стало меняться. Чертежники заняли прочно угловой кабинет Юрия Дмитриевича и Артемия Сергеевича. Косте Солоневичу отдали комнату Лескова и Самбука для размещения специальной спорово-пыльцевой лаборатории; Лесков и Прозоровский перешли в «дамскую комнату» с выходом на юг в парк. Дамы рассосались как-то, я даже не помню, куда они переселились. Я попала в кабинет А. П. Ильинского и В. П. Малеева (бывший кабинет Сукачева, потом из него сделали кабинет Сочавы — Юннатова и комнату Т. И. Исаченко и др.). У меня дома медленно умирала летом 1938 года от туберкулеза наша вторая мама — тетя Аля. Отец читал лекции в Институтах им. Покровского и Герцена и защитил кандидатскую диссертацию, признанную как докторская. Но Институт им. Герцена не имел права на докторские защиты, и отец остался кандидатом до войны. После смерти жены у него зимой случился небольшой инсульт. Его привезли из Герценовского института прямо с лекции, и он около полутора месяцев лежал дома, а потом его отправили в санаторий Дома Ученых в Петергофе.

Научная жизнь отдела шла по проложенному пути. Евгений Михайлович получил прекрасный, дружный, очень талантливый коллектив и целую серию почти законченных больших работ. Но он по-прежнему держался со всеми вежливо, по деловому, но на расстоянии, и не ходил, как Юрий Дмитриевич, здороваться со всеми. Только однажды как-то он догнал меня в парке по дороге в библиотеку, предложил сесть на скамейку и «поговорить». Я удивилась и смутилась. Но он завел вдруг разговор о воспитании детей — девочек, и объяснил, что обращается ко мне потому, что знает от Ольги Николаевны, что у меня есть много младших сестер.

— Двоюродных, Евгений Михайлович.

— Все равно, — ответил он и рассказал, что его смущает его дочь Тата. Она ничем не интересуется серьезным, играет в куклы, пропадает в саду с другими детьми, и он не знает, как с ней быть?

— А сколько ей лет?

— Тринадцать.

— Это ничего, пусть играет, я тоже играла в куклы очень долго, но нужно, чтобы она читала бы побольше; чтобы Вы сами по вечерам читали вслух классиков, чтобы брали ее с собой на концерты в

Филармонию. Вы ведь ходите всегда один — ляпнула я, — водите ее в музей.

— Вас родители водили? Читали Вам? — спросил Лавр.

— А как же, — ответила я.

Он вдруг встал быстро со скамейки, поблагодарил, крепко пожал руку и зашагал мимо альпийских горок. Это был в моей жизни первый разговор с Евгением Михайловичем, очень меня удививший.

Все годы до войны ежегодно осенью Ольга Николаевна и я проводили под руководством А. И. Лескова инвентаризацию имущества отдела: считали столы, стулья, шкафы, и перебирали и тоже считали все экспедиционное снаряжение. Официально ответственным за все имущество отдела считался А. И. Лесков, но практически им ведали мы с Ольгой Николаевной. Весной выдавали отъезжающим в экспедиции снаряжение, осенью принимали обратно. Хранилось все в трех кладовках. Самое сложное было хранить, чтобы не съела моль, суконки, в которых сушились растения, и войлочные потники от седел. В отделе было 27 седел: половина английских офицерских и половина солдатских. Их приобрел на деньги Северной Печорской экспедиции А. А. Корчагин для того, чтобы не сдавать оставшуюся, неизрасходованную по экспедиции сумму. Тогда еще не было четкой градации расходования денег (внештатная зарплата, снаряжение, проезды). А были деньги — и все! Важно было только не сдавать обратно остаток. Обычно эти деньги тратились на оплату сотрудников и лаборантов экспедиции, перепечатку и т. д. Почему А. А. вдруг купил седла, не знаю. Их никто не брал в экспедицию, и мы с Ольгой Николаевной только честно считали, чтобы сошлось количество уздечек, стремян, потников, переметных сумок. Только одно офицерское седло взяла для меня в 1936 г. на Юго-Осетинский стационар Е. А. Буш. А остальные 26 седел сдали летом 1941 г. в фонд Красной Армии. Но возни с ними было много.

Еще хуже обстояло дело с лабораторным химическим оборудованием, которое выписывалось на отдел. Так, кто-то просил выписать прибор Робинзона для промывки мелких фракций почвы. Один прибор, состоящий из набора стеклянных сосудов, трубок стеклянных и резиновых, воронок и т. д. В тот момент, когда из отдела шла заявка в бухгалтерию, обязанности зав. отделом, за отсутствием Евгения Михайловича, уехавшего в Москву, исполнял А. П. Ильинский. Он был необычно интересный и широкий человек. Увидев, что прибор заказан один, он размахнулся и приписал к единице еще пятерку, получилось 15 приборов. Для чего они и как выглядят — Алексей

Порфирьевич сам не знал. Сам потом говорил. И вот через какое-то время в отдел привезли несколько больших плетеных корзин, наполненных химическим стеклом. Это были «Робинзоны». Как они выглядят собранные, никто не знал. Для чего они? Кому они нужны? — тоже оставалось загадкой. Но они легли на баланс отдела, и мы с Ольгой Николаевной за них отвечали. Согласно накладной записали в инвентарную книгу «15 приборов Робинзона» и мучились с их хранением. Каждый год отмечали, что все они целы. Но постепенно стаканы, мензурки и чашки начали растаскиваться. Основным потребителем их был Константин Илларионович Солоневич, оборудовавший лабораторию пылецевого анализа. Всякая стеклянная посуда ему была нужна. В большие стеклянные банки я и новая служительница Нюра (вместо уволенного за пьянство Тимофеуса) ставили в зале летом букеты сирени и другие цветы.

Помимо инвентаризации оборудования, мебели и книг в библиотеке отдела, проходившей раз в год, я в течение всего года выдавала всем бумагу, скрепки, папки, карандаши, чернила и т.п. и отвечала уже сама за все это. Времени на это уходило очень много, и постепенно я тихонечко поручала это дело Нюре, отдавая ей ключи от кладовки. Только спирт хранился в шкафу, в кладовке, ключ от которой был у Ольги Николаевны.

В 1939 году был объявлен врагом народа и снят Нарком НКВД — Н. И. Ежов, появился термин «ежовщина», и наркомом стал Л. П. Берия. Массовые аресты временно поутихли, но никто из арестованных при Ежове, а потом при Берии освобожден не был. . . О некоторых стало известно, что они высланы и сидят в концлагерях, а о других так ничего и не было известно. Люди пропали, будто бы их и не бывало, и упоминать их имена и ссылаться на их работы не рекомендовалось. Поэтому и Конференция по истории флоры и растительности в январе 1939 года, проходившая в клубе БИН, прошла без упоминания о Ю. Д. Цинзерлинге. На ней среди приезжих блистали своими докладами о ледниковом периоде И. П. Герасимов (Кеша) и К. К. Марков. Их выступления, начиная с университетских времен, когда они оба были аспирантами, вызывали живейший интерес у слушателей. Приехал на это совещание из Киева и друг Е. М. Лавренко — Юрий Дмитриевич Клеопов. Он делал доклад о кверцентальной флоре в подзоле широколиственных лесов. Но я его как-то не поняла. Позднее, уже в Москве Евгений Михайлович как-то рассказал мне, какой интересный человек был Клеопов. Он интересовался не только наукой, но был увлечен ли-

тературой, любил и понимал музыку и очень увлекался дамами. Во время приезда на Конференцию по истории флоры и растительности он рассказал Евгению Михайловичу о своей встрече (кажется, в поезде) с какой-то удивительно интересной женщиной-ленинградкой. Чтобы ее заинтриговать, Клеопов стал писать и посылать ей письма через своих друзей из разных мест Союза. А Евгения Михайловича просил регулярно посылать ей на квартиру цветы (их можно было заказывать в цветочных магазинах). «И Вы посылали?» — вырвалось у меня. «Конечно» — ответил Лавр, и вдруг замолчал. Разговор был в конце войны, когда уже было известно о смерти Клеопова в оккупированном немцами Киеве, и об отъезде в Германию с немцами И. Д. Десятовой-Шостенко, один раз тоже появившейся в БИНЕ в конце 1930-х годов. Во время этого разговора невольно вспомнились начинающиеся по инициативе Евгения Михайловича контакты между сотрудниками отдела и геоботаниками Украины, оборванные концом 1930-х годов и войной.

Весной 1939 года СОПС АН организовал большую экспедицию (комплексную) по изучению эрозионных процессов на Русской равнине. Во главе ее стоял почвовед-эрозионист С. С. Соболев, а руководителями отдельных разделов были геоботаники — Е. М. Лавренко, Н. Ф. Комаров, геоморфологи — И. П. Герасимов и К. К. Марков, почвоведы — С. С. Соболев, Е. Н. Иванова, Н. Н. Розов. Они объезжали на машине всю Европейскую равнину в пределах лесостепи и степи и руководили работой отдельных комплексных отрядов, работающих на специальных выбранных ключах. Так, я попала в Приволжский отряд, изучающий процессы эрозии и оврагообразования на Приволжской возвышенности, Г. Н. Благовещенский, ученик Ю. Д. Цинзерлинга и товарищ Кости Солоневича, все годы работавший в Отделе геоботанике в разных экспедициях по договору, был наконец зачислен в штат Отдела как геоботаник Средне-Русского отряда равнинной экспедиции. В состав этих отрядов входили: почвовед (начальник), геоботаник, геоморфолог, экономист. Они должны были детально обследовать территорию определенного, сильно эродированного колхоза или совхоза. Дать его описание и составить научно-обоснованную схему противоэрозионных мероприятий.

В 1939 г. Приволжский отряд работал в Среднем Поволжье, в Сенгеевском районе Куйбышевской области, то есть в лесостепи на правом берегу Волги в селении Бентяжка. Начальником его был почвовед А. И. Никитина, геоморфологом — А. С. Кесь, геоботанический отряд возглавлял П. К. Красильников, я была его помощником, эко-

номистом был Б. В. Гусак. Кроме того, конечно, были помощники и у почвоведа, и у геоморфолога. Так впервые я столкнулась с прекрасным комплексом при полевых работах и прошла хорошую школу рядом с почвоводами и геоморфологами. Мы, в общем, работали самостоятельно, но уже в поле все согласовывали друг с другом. А. С. Кесь и я давали совместные описания всех эрозионных форм рельефа. Большие начальники приезжали к нам один или два раза. Приезд Е. М. Лавренко как-то не оставил в памяти его особого интереса к сильно измененной растительности и ее антропогенной дигрессии. Он плохо себя чувствовал, сидел на диете и как-то не интересовался процессами смыва и размыва, которыми увлекались И. П. Герасимов и С. С. Соболев. Зато Н. Ф. Комаров оказался очень внимательным и во многом помог нам. Маршрутный отряд начальников был обеспечен автотранспортом, а мы работали на подводах. У каждого из нас была закреплена из колхоза лошадь с подводой и мальчишкой-кучером — «Ванькой».

П. К. Красильников интересовался, в основном, изучением корней древесных растений, вел их раскопки и зарисовывал корни. Я же занималась пастбищной дегрессией на приовражных полосах, и процессами восстановления растительности на овражных склонах вместе с А. С. Кесь.

По возвращении с поля, перед ужином, все обязательно купались в Волге, а иногда, по вечерам катались на лодках. Величавая река, еще не перекрытая плотинами, производила огромное впечатление.

В конце августа, в Бентяжке мы узнали о внезапной дружбе нашего Союза с гитлеровской Германией и, что называется, «закачались»... Когда мы вернулись в Ленинград и в Москву, уже началось движение Красной Армии на Запад для освобождения Западной Украины, Белоруссии, Польши... А поздней осенью вспыхнула Финская война и Ленинград стал прифронтовым городом.

Из Отдела на фронт ушел Костя Солоневич. Город был заполнен ранеными. Госпитали развертывались всюду: в больницах, клиниках, школах. Остро встала необходимость помощи в уходе за ранеными. В БИНе под руководством Е. В. Шифферс и Л. А. Соколовой была организована бригада дружинниц для помощи госпиталю. Подшефным госпиталем явилась Стоматологическая клиника Первого Медицинского Института, на базе которой развернулся Челюстно-лицевой госпиталь (все ранения лица и головы). Кроме Евгении Владимировны и Лидии Алексеевны, в госпитале по ночам дежурили я и помощница Г. Н. Благовещенского — Таня Марева. Дежурили через ночь

или вечер. Так как город был затемнен и на осадном положении, то ночное дежурство начиналось с 10 часов вечера и продолжалось до 8 часов утра. Совмещать это с работой и двумя командировками в Москву было трудно. Поэтому в конце зимы А. В. Прозоровский уговорил меня взять путевку и поехать на 12 дней в дом отдыха «Широкое» на Валдае, недалеко от станции Окуловка. Дни, проведенные там с катаньем на лыжах, показались сказкой. Перед тем сам Анатолий Владимирович тоже провел там 12 дней — катался на лыжах, приехал в восторге от лыж, самого дома и заснеженного леса. Это пребывание в доме отдыха было единственным в его жизни.

За эту зиму 1939–1940 гг. мы с Агнесой Васильевной, зачисленные в неотрывную аспирантуру, сдали кандидатские экзамены по английскому языку и философии, причем экзамен по философии состоял из трехразовой сдачи: история философии, диалектический материализм и ленинизм. Надо было думать о теме диссертации. Само собой выходило, что раз я работала в противоэрозионной экспедиции, то кандидатская тема должна быть связана с этой работой. Руководителем ее, естественно, стал Н. Ф. Комаров.

Была зачислена еще в 1937 году в аспирантуру к А. П. Шенникову и В. М. Понятовская. Но, вероятно, она числилась по университету, так как философию в АН она не слушала. Она очень скоро по окончании университета вышла замуж за М. Я. Школьника и работала в Борке у Александра Петровича. Должно быть в 1940 году там стала работать и Агнесса Васильевна, после окончания работ и сдачи отчетов по большой Ойротско-Алтайской экспедиции СОПСа, в которой от отдела работали, кроме нее, Л. А. Соколова, Е. П. Матвеева, Н. Ф. Комаров. Но в 1940 году Елизавета Петровна переключилась на летние работы в Равнинную экспедицию. У нее был маленький ребенок, и ее устраивали стационарные исследования под Москвой, тоже, конечно, комплексные, в сел. Мячково на реке Пахре, на базе Института географии. Весной этого же года там проводили снеговую съемку и вели наблюдения над таянием снега сотрудники Приволжского отряда этой экспедиции, в том числе и я. Руководил этой работой Г. Д. Рихтер. Я же, в основном, занималась изучением подснежного состояния растений, что интересовало Н. Ф. Комарова и Г. Д. Рихтера. Так понемногу я входила в круг работ, связанных с Институтом географии. Летом 1940 года наш отряд работал между Сталинградом и Камышиным, на границе степной и сухостепной зон, и я уже сама была начальником геоботанического отряда. Помощником у меня была очень милая дама — Александра Александровна

Бодиско. Не помню, приезжал ли к нам на хутор Варькино на речке Балыклейке Е. М. Лавренко. По моему, он в 1940 г. был в Казахстане, где работали И. В. Ларин, Л. Е. Родин, М. С. Шалыт и Ф. Я. Левина, в большой, тоже СОПСовской Джебгазганской экспедиции. Но зато много времени у нас проводил Н. Ф. Комаров.

Жизнь в отделе в этот последний перед войной год текла в общем тихо, но по-прежнему напряженно. Вышла из печати карта растительности СССР в масштабе 1 : 5 000 000 и текст к ней. Это было большое и радостное событие. Впервые на этой карте красочная легенда была переработана заново. Она стала основой для красочного оформления всех последующих карт растительности. Над ней много работали А. В. Прозоровский, Е. В. Шифферс, Е. М. Лавренко и А. А. Гербих. Чертежная под руководством последнего была сильная и дружная. Особенно ценным работником оказалась Мария Ивановна Ульянова, перешедшая к нам из Почвенного института после его перевода в Москву. Она была одна из первых женщин-картографов в России. И проработала 25 лет в Генеральном штабе царской, а затем Красной Армии. Пожилая, по сравнению со всеми, очень веселая, она как-то хорошо вошла в коллектив Отдела. И когда с ней случилось несчастье — она загорелась и получила страшные ожоги, все члены «Красного Геоботаника» очень волновались. Придя как-то утром на работу еще до 9 часов, она прошла на кухню, где зимой работала Ольга Николаевна, и стала спиной к печке, чтобы согреться. К тому времени плиту в кухне сняли и вместо нее поставили большую круглую железную печку. Обычно к 9 часам все печки в Отделе были уже вытоплены. Но в этот день печка на кухне еще не истопилась. А Мария Ивановна прижалась к ней спиной и не сразу заметила, что у нее загорелся подол халата (до войны почти все мы работали в халатах). А когда заметила, страшно испугалась и заметалась по кухне. Пламя разгоралось все больше. Обе они с Ольгой Николаевной не знали, что делать? Их крики услышала вошедшая в отдел Е. А. Галкина (вход в отдел был со стороны кухни). Она бросилась к Марии Ивановне, повалила ее на пол, схватила лежавший какой-то старый брезент и начала заворачивать в него Марию Ивановну. Пламя удалось потушить. Но у Марии Ивановны обгорела вся нижняя часть спины, ее срочно увезла вызванная скорая помощь в больницу Эрисмана. И там она пролежала около двух месяцев — на животе с оголенной спиной под специальным каркасом с кварцевыми лампами. Естественно, что все дамы отдела ходили ее кормить в обеденный перерыв и после работы. Это была вторая

травма среди сотрудников, если считать, что первой во время Финской войны было ранение Кости Солоневича. Он — единственный из всех сотрудников — попал тогда на фронт.

Помню, как во время ночных дежурств в госпитале было страшно спускаться в вестибюль клиники, когда привозили прямо с фронта раненых. Наклоняясь над носилками при приеме раненых, каждый раз думалось: «А вдруг это кто-то свой?» Ведь челюстно-лицевые раны были такие страшные! Костю ранило в руку и оторвало на правой руке два пальца. Он лежал в каком-то госпитале на Васильевском, и как только оттуда позвонили в отдел, мы с А. И. Лесковым поехали к нему. А потом мне пришлось по его просьбе ехать к Надежде. Это было в конце 1939 — начале 1940 г. Наверное, в это время приезжал в отдел Николай Иванович Вавилов. Что явилось причиной его приезда, я не помню, но Е. М. Лавренко и А. В. Прозоровский показывали ему нашу Карту растительности 1 : 5 000 000. И, как всегда, когда появлялся где-нибудь Вавилов, казалось, что в комнате становилось светлее, ярче, как будто бы все озарялось солнцем. Так он был приветлив со всеми, так светились его глаза, и он сразу входил в курс всех дел и всем интересовался. Ему подарили экземпляр карты с автографами всех авторов. И он остался этим очень доволен, посмотрел некоторые листы «Кузнецовской» карты растительности в масштабе 1 : 1 000 000, подготовленные в последнее время к печати, интересовался, когда выйдет из печати 2-й том «Растительности СССР». Казалось, что он знает и его интересуют все геоботанические работы. А когда в начале осени 1940 года пронеслась весть об его аресте, все закачались и приуныли. Даже Н. И. Вавилов! . .

Весной 1941 года в мае выяснилось, что я не могу ехать в поле из-за необходимости срочно вырезать аппендикс. Приволжский отряд Эрозионной экспедиции должен был в этом году работать в Чувашии, на берегу Волги, между Чебоксарами и Горьким. В начале мая я еще ездила в Москву, получила все снаряжение и оставила его у А. С. Кесь. Почвоведом у нас в этом году должна была быть Н. И. Базилевич. Мы заранее согласовали все планы работ, но моя поездка сорвалась. И вместо меня поехал В. Н. Васильев (из Гербария). Почему именно он, я не знаю. Отряд выехал самоходом из Москвы в конце мая. Одновременно, а может быть еще раньше из Отдела уехали в Борок В. М. Понятовская и А. В. Калинина с детьми. Они обе работали у А. П. Шенникова: Валентина Михайловна — на экспериментальном участке, Калинина — по изучению изменений растительности под влиянием подтопления. Когда обсу-

дался вопрос о том, что я не еду, Евгений Михайлович высказал сомнение, хватит ли у меня материала для диссертации только по двум годам работы? Но Н. Ф. Комаров считал, что хватит, так как знал, что в 1940 г. мы с А. С. Кесь очень много ездили по Приволжской возвышенности вверх вдоль Волги, в бассейне Иловли и охватили маршрутами республику Немцев Поволжья и юг Саратовской области. Тем не менее, было решено, что в августе я поеду одна на Калачовскую возвышенность и посмотрю овраги и меловые обнажения на левобережье Дона.

Началась война, и все планы рухнули. . . В день начала войны — 22 июня моя сестра Вера должна была выехать из Симферополя в Ленинград. Она была месяц в санатории на берегу моря, так как после окончания института иностранных языков у нее открылся туберкулез мезентериальных желез; ей дали временную инвалидность.

Я всю зиму «халтурила», то есть рисовала, чтобы заработать деньги на ее лечение. В основном, для палеоботаников ВСЕГЕИ отпечатки папоротников и хвощей. Путевка у сестры кончалась 22 июня утром, билет на поезд был куплен заранее, и партия отдыхающих благополучно прибыла в Симферополь, ничего не зная о нападении немцев. К счастью, их все-таки посадили в поезд, который вышел из Севастополя последним, и она благополучно приехала в Москву, откуда выехала в Ленинград только благодаря жене Л. Е. Родина — Елене Петровне, которая тоже возвращалась из Крыма и как врач подлежала мобилизации и имела льготы при получении билетов. Они встретились на вокзале в Москве. То, что сестра была в Крыму в первый день войны, очень тревожило отца, тем более, что и я-то была еще на больничном.

В отделе очень скоро в июле был мобилизован Л. Е. Родин и, конечно, его жена — как врач. Когда через какое-то время Леонид Ефимович отправлялся на фронт из казарм, расположенных на проспекте Карла Маркса, то провожать его пошла только одна я. Елена Петровна была сама на казарменном положении и не могла пойти. А он позвонил в отдел и просил кого-нибудь приехать проститься. Мы все собрали какой-то небольшой харч, и я поехала, вернее, пешком перешла Гренадерский мост. Около казарм толпились женщины — матери, жены, невесты. Бойцы строились, но когда они пошли, то женщины кинулись к ним, и каждая пошла рядом со своим близким. Мы с Леонидом Ефимовичем шли, обнявшись, стараясь подбодрить друг друга. . . до Финляндского вокзала, куда уже женщин не пустили. . .

Следующим из отдела ушел Б. А. Тихомиров. На другой день войны Е. П. Матвеева проводила по партмобилизации своего мужа Васю (Он не был на фронте, а был заброшен в тыл, на свою родину — Псковскую область, где и погиб, возглавляя подпольное сопротивление). В первые дни войны были мобилизованы оба зам. директора БИН — М. Я. Школьник и Г. Н. Новиков. О первом скоро пришли сведения, что он, вместе с эстонским полком, в котором был политруком, то ли попал в плен, то ли пропал без вести. Гаврюша Новиков осенью оказался на пятачке Невская Дубровка и там был смертельно ранен. Где и как погибли палеоботаники А. Я. Ярмоленко, Костя Шапоренко и другие биновцы — я не знаю.

Заместителями директора Института стали В. С. Соколов и А. В. Прозоровский.

Я вышла на работу после операции 25 июня, и меня поэтому ни разу не послали на рытье окопов и другие тяжелые работы, и я не могла идти добровольцем на мобилизационный пункт, как сразу же пошла Марианна Николаева. Но я сразу же, конечно, пошла в госпиталь. В тот же самый челюстно-лицевой на базе стоматологической клиники проф. Львова (крупнейшего челюстно-лицевого хирурга) в 1-м медицинском институте. Снова, как и во время Финской войны, бригаду дружинниц возглавляли Е. В. Шифферс и Л. А. Соколова. На этот раз приходилось дежурить не только ночью, но и днем. Я привлекла к этой работе сестру Веру, и мы дежурили с ней по очереди: она — днем, я сменяла ее ночью.

Когда перед нашим госпиталем на территории больницы Эрисмана упала огромная бомба и не разорвалась (это хорошо описано у В. Инбер в «Ленинградском дневнике») и началась срочная эвакуация раненых из палат в бомбоубежище, я столкнулась там с Федором Первухиным из Отдела сырья. Мы очень обрадовались друг другу и обнялись. Он был ранен в руку и после демобилизации вернулся в БИН.

После ночного дежурства я шла в 9 часов в БИН — ехать домой не имело смысла. Парк БИНа в это лето был роскошный. Помимо пионов, перед оранжереями были высажены розы. Не помню, когда в Ленинград из Гамбурга пришел пароход и привез для Главного Ботанического сада в Москве коллекцию роз. Их не успели передать в Москву, и они роскошно цвели у нас. Утром их срезали и продавали в киоске у входа. Я покупала их, когда шла из госпиталя. Мне казалось, что запах их заглушит запах гноя на моей одежде. В отделе я ложилась на диван в кабинете Ев-

гения Михайловича и спала до 11 часов, когда он приходил в отдел. С его стороны было большой любезностью позволять мне поспать после дежурства у него в кабинете.

В отделе тоже начались дежурства. Днем и ночью дежурили по двое. С чердака А. И. Лесков, Костя Солоневич и другие мужчины убрали весь горючий материал, содрали обшивку со стен, убрали лишние балки. Впервые увидели листовичные балки, пропитанные каким-то составом, обернутые войлоком и завернутые в пропитанную тоже чем-то кожу. Древесина у балок была чистая, сверкала, и все любовались ею. В конце парка около Гренадерского моста был выкопан и устроен дзот. Но, по моему, орудий и бойцов там не было. Появилась в отделе закрытая военная тематика. Ею занимались Е. П. Матвеева, А. И. Лесков, Е. А. Галкина. Последняя — и в Музее, и в отделе вместе с Г. В. Аркадьевым налаживала и испытывала способы консервации листовых древесных пород для маскировки крыш и разных объектов. А. В. Прозоровский и А. И. Лесков торопились писать свои диссертации. А. И. Лесков не подлежал мобилизации и вообще был негоден к военной службе из-за глаз. Он был очень близорук и ничего не видел без очков. А почему был освобожден от военной службы Тошка — я не знаю.

Семья Е. М. Лавренко — Анастасия Ивановна с Юрой и Татой еще в июне, до войны уехали в заповедник «Лес на Ворскле», где Анастасия Ивановна вела практику со студентами. Евгений Михайлович жил в своей квартире один. Но очень скоро, уже в конце июля, он предложил Лесковым переехать из Петергофа в Ленинград и поселиться у него. Оставаться там уже было нельзя. Семья Александра Ивановича состояла из неработающей жены и двух сыновей 15 и 13 лет. Жена у Александра Ивановича была странная — медицинская сестра, она никогда не работала, даже не пошла во время войны в госпиталь. Таким образом, у него было три иждивенческих карточки и одна карточка служащего. Рабочие карточки получали только доктора наук. В самые страшные дни блокады — осенью 1941 г. — иждивенцы получали 100 грамм хлеба, служащие — 125, а рабочие — 200. Осенью многие ленинградцы ездили в пригороды: в Новую Деревню, в Парголово собирать на огородах остатки ботвы капусты, свеклы и других овощей — «хряпу», и выкапывали остатки картошки. Я ездила как-то в Парголово вместе с Александром Ивановичем и его сыновьями. Но его жена никуда не ездила, она предпочитала сидеть дома, нить и читать старую поваренную книгу Молоховца. Узнав ближе жену А. И. Лескова, не только я, но и Ольга Николаев-

на (и как потом выяснилось, и Е. П. Матвеева) поняли, что, собственно, он был с ней несчастлив. Очень мягкий, прекрасно образованный и в то же время очень непрактичный, Александр Иванович нуждался, конечно, в большой заботе и, наверное, в дружбе. Поражало, как он всегда был плохо одет. У него, по моему, был только один серый обтрепанный костюм. Непонятно было, почему его жена не работает. Дети уже большие, а она сидит дома. Я была с отцом у него как-то до войны в Петергофе. И тогда уже их дом показался неудобным. А во время войны, когда мы с ним ночью дежурили в отделе, он вдруг разоткровенничался, сказал, как ему тяжело. Он был очень хорошим человеком и очень широким — образованным и интересным ученым. Мы с ним как-то очень подружились осенью 1941 года.

В Старой Деревне за Серафимовским кладбищем разбился самолет (наш), груженный продуктами. Около него я с двоюродным братом однажды собрала остатки пшена, конечно, вместе с землей. Его надо было долго промывать, чтобы получить крупу. Зато в БИНовской столовой можно было в августе-сентябре и даже еще в октябре получить обед без выреза талонов в карточке. Какую-то жидкую кашу и суп. Одно время там были чечевичные супы, и мы с Анатолием Владимировичем приносили домой такой суп в двухлитровых бидонах. Но уже с конца сентября порции настолько уменьшились, что приходилось ограничиваться поллитровыми баночками.

Анатолию Владимировичу тоже было трудно — двое детей и двое стариков — родители Лили, старики Лурье. Они всю жизнь жили в Павловске, но в конце июля Тошка привез их к себе на 19-ю линию. И они все шестером жили в одной комнате. . .

До начала сентября, до бомбежки Бадаевских складов, бомбежек и обстрелов в городе не было. Только раз или два немецкий самолет на бреющем полете пролетел над Кировским и Невским проспектами и обстреливал все из пулемета. Я шла как-то из библиотеки в Отдел, и в парке около лесенки услышала гудки воздушной тревоги и почти одновременно над парком пронесся самолет. Очень поздно объявили тревогу. Я прижалась к стволу большого дуба, и пули пулеметной очереди падали на дорожку против меня. Я даже нагнулась и подняла два патрона, они были еще теплые. Придя в отдел, я показала их Лескову и Гербиху, и они сразу даже не поверили, что пули пролетели так близко от меня, и стали меня ругать.

О том, как наш фронт продвигался к городу, лучшую информацию давал госпиталь. Сначала привозили раненых из-под Струг Красных и Кингисеппа, из-под Луги. И вдруг — из-под Гатчины

и Павловска. Но страшно стало тогда, когда в госпитале бился и плакал огромный краснофлотец, без ноги и с разбитой челюстью. Плакал от бессилия и злости, что не удержали Лигово. А в начале сентября стало известно в отделе, что меня уволили с 19 числа. Почему? За что? Просто так.

Я заплакала и пошла к Евгению Михайловичу. Он молчал, как-то неловко развел руками, и я поняла, что он меня не защищал. Топка Прозоровский и А. И. Лесков кипели. Очень возмущился мой отец. Он целые дни проводил в Институте им. Покровского на кафедре географии. Еще читал курс студентам, был в бригаде МП-ВО. . . А дома писал большую работу о ландшафтообразующем процессе на территории Русской равнины. Хотел оформить работу как докторскую диссертацию. Торопился. Мое увольнение ни с того ни с сего его поразило. Он поехал к академику Л. А. Орбели, вице-президенту, руководителю Ленинградских учреждений АН СССР. И повез ему показать благодарность Президента АН В. Л. Комарова за мою работу как начальника Приволжского геоботанического отряда Русской Эрозионной экспедиции, полученную еще летом. Академик Л. А. Орбели связался в присутствии отца по телефону с Б. К. Шишкиным — директором БИН. Тот ответил, что я уволена как несправившаяся с работой. Но Орбели, ссылаясь на то, что у меня сданы все аспирантские экзамены, что перед ним лежит благодарность за работу самого Президента, стал настаивать на моем восстановлении. И в конце концов меня восстановили только как аспирантку, без зарплаты, но с получением карточек. Б. К. Шишкин был явно недоволен вмешательством вице-президента, и всю жизнь у нас с ним были потом очень натянутые отношения.

А я, между тем, благодаря протекции А. А. Заварзина, ректора 1-го Медицинского института (товарища отца по гимназии К. И. Мая), устроилась лаборантом на кафедру фармакологии в Педиатрическом институте к проф. Владимиру Моисеевичу Карасику, впоследствии академику АМН. Удивительно хорошему человеку и большому, интересному ученому. Он сказал, что всегда мечтал иметь на кафедре ботаника, и что, если бы не блокада, мы развернули бы большую работу. А пока в институте практически лекций уже нет, студенты были или на оборонных работах, или работали в госпиталях. На кафедре было два ассистента, а доцент кандидат биологических наук Кира Мещерская (как потом выяснилось, жена Д. М. Штейнберга) ушла в армию. Кроме меня, были еще две лаборантки. А пока Владимир Моисеевич предложил мне срочно писать

диссертацию и кончать ее тут же у него в кабинете. На кафедре, в общем, все жили дружно. Дружно съели двух кошек и одну собаку из кафедрального вивария. Все, конечно, несли это мясо домой.

Когда в октябре в лабораторный корпус Педиатрического института упала бомба, это сразу же стадо известно в БИНе (было видно с вышки над Музеем, где расположился наблюдательный пост, на котором дежурили сотрудники). Мы из помещения кафедры выбежали на лестницу. Бомба упала рядом со зданием — вылетели все окна и была повреждена соседняя лаборатория. Фармакологи же отделились легким испугом. Я же после окончания тревоги сразу помчалась через Гренадерский мост домой в БИН. Я всегда забегала в отдел повидать своих и сказать, что я жива.

Один раз, во время обстрела пришлось ползти по Гренадерскому мосту. А когда бомба упала в парк БИНа рядом с пальмовой оранжереей, и я пришла туда через полтора часа, было очень страшно. Все стекла в оранжерее вылетели, мороз был -15° , и сквозь скелеты перекрытий оранжереи видны были погибшие пальмы. Я пришла в Ботанический сад к С. Я. Соколову, он сидел в своем кабинете и плакал. Просто сидел и плакал.

В середине или начале октября улетели на Большую Землю директор БИНа Б. К. Шишкин и, по-моему, В. П. Савич с женой. Директором БИНа, вернее и. о. директора был назначен А. В. Прозоровский, а В. С. Соколов и Г. В. Аркадьев — его заместителями. Анатолий Владимирович в это время уже кончил свою работу и первый блестяще защитил в блокадном городе докторскую диссертацию. Это требовало колоссальных усилий, и жизнерадостный Тошка начал сдавать. У него начали отекать ноги, стало трудно ходить. Возвращаясь из БИНа, он часто заходил к нам на 8-ю линию отдохнуть перед броском на 19-ю. Садился около печурки, грел руки и выпивал чашечку кофе (в начале блокады Вера где-то достала настоящий кофе, и он поддерживал какое-то время всех нас, а из кофейной гущи на вазелине пекли что-то вроде котлет).

Анатолий Владимирович интересовался работой отца и как-то после защиты сказал мне:

— Слушай, давай кончай срочно свою работу и защищай. . . Пока я еще директор!

Его поддержал отец, сказав, что он не будет защищать свою диссертацию (а уже было известно, что его защита назначена в Университете на 9 декабря), если я тоже не буду защищать кандидатскую. . . Я пошла к В. М. Карасику и сказала ему, что мне придется уйти с

кафедры, хотя бы в отпуск, так как ходить ежедневно пешком на Выборгскую сторону я уже не могу, и что мне надо срочно защищаться. Я написала об этом заявление, в котором просила дать мне отпуск без сохранения содержания, так как, наверное, после защиты я уже не вернусь в Педиатрический институт. Мы пошли с Владимиром Моисеевичем к директору института Лине Ароновне Менделевой. Это была замечательная женщина, и встречу с ней я никогда не забуду! Друг Н. К. Крупской, старый большевик, член партии, Лина Ароновна в 1919 или 1920 году организовала в Петрограде первый в стране Педиатрический институт и была его бессменным директором.

Она подписала мое заявление с указанием «сохранить зарплату».

— Лина Ароновна, — робко возразила я, — но ведь я вряд ли вернусь к Вам.

— Девочка, — ответила она, — Вы сами не понимаете, что Вы говорите! Как я могу не сохранить Вам зарплату, когда Вы в блокадном городе написали и будете защищать кандидатскую диссертацию! Это же подвиг!.. Я не могу иначе.

Благодаря ей в клиниках Института было тепло, его давал поставленный на землю старый паровоз, который топили, и от его котлов шло тепло в родильное отделение, малышам, самым маленьким и другим детям. Лина Ароновна пробыла в Ленинграде всю блокаду, ... а в 1949 г. была репрессирована в связи с «ленинградским делом».

С В. М. Карасиком мы радостно встретились после войны, наверное в 1946 году, когда я пришла как-то провести его и кафедру. Мы очень обрадовались друг другу, и долго еще я иногда заходила к нему поговорить о его и моих делах. Рассказать, как живу, и послушать его. Он во время эвакуации весной 1942 года с частью Педиатрического института попал в Кисловодск, также как и В. Б. Сочава, оказавшийся там с Пединститутом им. Герцена. Оба они ушли из Кисловодска пешком через перевал Главного Кавказского хребта в Грузию, когда к Минеральным Водам подходили немцы. Сочава потом оказался в Кыштыме, а Карасик — где-то в Средней Азии. Но еще до окончания войны он вернулся в Ленинград. Семья Виктора Борисовича пережила оккупацию в Кисловодске, а семья Карасика эвакуировалась из Ленинграда в самом начале блокады.

А в БИНе выяснилось, что мне надо сдавать спецэкзамен. Анатолий Владимирович срочно назначил комиссию по его приему: Е. М. Лавренко, С. Я. Соколов, В. П. Малеев. Когда все мы собра-

лись, Сясь сказал, обращаясь к Лавренко:

— Ведь все мы очень хорошо знаем Анастасию Михайловну, чего ее спрашивать? Давайте экзаменационный лист, поставим 5 и все.

Его поддержал Малеев.

— Нет, — сказал Евгений Михайлович, как-то жестко блеснув под очками глазами, — нет, надо все делать, как положено.

— Ну, так и спрашивайте ее сами, — огрызнулся Сясь.

Я не помню, какие вопросы задавал мне Евгений Михайлович. Что-то по диссертации, то есть по роли растительности в борьбе с эрозией почв. Владимир Петрович спросил что-то про Кавказ... Сясь молчал, но в результате мне поставили 5. Этот случай показал еще раз твердую принципиальность Евгения Михайловича, не считавшего возможным что-то сделать «не так».

Скоро, в начале декабря, наверное, на самолете были эвакуированы Е. М. Лавренко и В. П. Малеев с семьей. Перед тем я как-то встретила Евгения Михайловича на площади Льва Толстого. Он медленно, весь в инее шел к БИНу.

— Здравствуйте, откуда Вы?

— Ходил в Дом Ученых обедать — за три моря киселя хлебать...

Теперь вот иду домой, — ответил он.

Это была последняя наша встреча в блокадном городе. Они с Малеевым улетели из Ленинграда на станцию Подборовье по Савеловской железной дороги, где на другой день скончался В. П. Малеев. Евгений Михайлович, видимо, уже поездом вместе с вдовой и сыном Малеева поехали в Свердловск. Перед тем или чуть-чуть позднее на той же станции, также после перелета из Ленинграда скончался Д. Н. Кашкаров.

В самом конце ноября А. В. Прозоровский зашел к нам в последний раз. Дотащился из БИНа. Он нес в маленькой пол-литровой банке две порции какой-то каши. Это была гуща от супа и второе — немного больше половины баночки. Он сказал, что придет домой и ляжет, и больше пока в БИН не пойдет, там вместо него будет и.о. директора его заместитель В. С. Соколов (он и его жена А. Ф. Бельденкова перешли в БИН из ВИРа в 1940 году после ареста Н. И. Вавилова).

Анатолий Владимирович сказал, что защита докторской диссертации А. И. Лескова назначена на 9 декабря. В этот же день в университете защищал докторскую и мой отец. Оппонентами его были: С. В. Калесник, С. Я. Соколов и С. Н. Недригайлов (профессор Лесотехнической Академии). Моя защита была назначена на 26 декабря.

На защите Александра Ивановича я не была и не помню сейчас, кто были его оппоненты. Чтобы немножко поддержать отца перед защитой, пришлось убить нашу премированную собаку Нору. Всю осень на нее получали в Обществе кровного собаководства (каждый месяц) ошметки мяса. Кроме того, в конце августа удалось купить бочонок соленых кишок. Но, конечно, Нора от всех этих запасов и своего пайка получала крошки. В день папиной защиты у нас был шикарный обед — суп из морской капусты (сухой!), заливное из Норы и тушеная хряпа. Поздравить Михаила Дмитриевича пришли Недригайлов (он жил на Большом проспекте Васильевского острова, недалеко от 8-й линии) и Л. П. Потапов. — директор Этнографического музея, давнишний друг отца. Его только что демобилизовали, а всю осень он был на передовой. Иногда вырывался в город и несколько раз ночевал у нас, так как его семья была эвакуирована. У отца была идея, что после его и моей защиты надо эвакуироваться в тыл. Потапов поддерживал эту идею и советовал ехать на Алтай в Барнаул, на его родину, говоря, что там в Пед. институте и отец, и я можем устроиться. Конечно, отец понемногу сдавал. Главное, что пока он писал свою работу, а потом помогал мне — правил рукопись, считывал списки растений, — он был занят и не думал о трудностях быта. Кое-что в смысле харча у нас еще было: хряпа, норкино мясо. Но его угнетало общее положение города. В конце декабря старым, известным профессорам из Смольного прислали коробку (большую) папирос и полкило мяса. Это была большая нравственная поддержка для отца: значит, его еще помнят и знают. Он страшно переживал все наши отступления и радовался всем небольшим победам. Главное же, все время была надежда, что прогонят немцев из-под Ленинграда, как отогнали от Москвы. Но держаться с каждым днем становилось труднее.

26-го утром я побрела пешком в БИН на свою защиту. На Тучковом мосту навстречу мне шла закутанная так же, как и я, женщина, что-то радостно вскрикивая, подошла и поцеловала меня. «Хлеба прибавили! Знаешь?» Свершилось! Значит, заработала Ладожская трасса: прибавили хлеба рабочим до 250 г, а служащим, вместо 125 г, — 200 грамм!

Оппонентами у меня была Е. В. Шифферс и Б. А. Федченко. Последний, конечно, не был на заседании Совета: он давно уже лежал у себя дома. И несколько раз я заходила к нему за отзывом. Но все-таки диссертацию он прочел по-честному. Защита про-

ходила в библиотеке. Вместе со мной в этот день было еще две защиты: докторская — Каракулина (из Спорового отдела) и кандидатская — С. С. Ненюкова (из Гербария). Оба они очень скоро, в начале 1942 г. скончались.

Как прошли эти три защиты, я не помню. Сразу же после окончания заседания Совета я пошла в отдел, который уже с октября помещался в помещении Ботсада, в тех комнатах, где сейчас работают сотрудники Группы лекарственных растений. Пришла, увидела Костю Солоневича и А. И. Лескова и заплакала почувствовала, что сил у меня нет. И робко попросила у кого-нибудь кусочек хлеба. Конечно, никто не мог мне ничего дать. Только Леночка Шингарева^[72], договорная сотрудница Л. Е. Родина из Каракумской экспедиции, вдруг дала мне хлебную карточку и сказала, чтобы я пошла в столовую и получила бы по ней завтрашнюю порцию хлеба. У нее был в это время грудной ребенок, то есть она имела две хлебные карточки и могла мне уступить одну порцию, с тем, чтобы я ей вернула этот хлеб завтра. Я съела его весь сразу и после этого поплелась домой. Шла пешком, с пустым бидоном, который взяла из дому, чтобы по дороге у Тучкова моста набрать в проруби воды. А когда пришла домой, то, не отвечая еще на вопросы сестры и отца о том, как прошла защита, сказала только:

— Я съела завтрашнюю порцию хлеба. Простите меня. . .

Но дома был все-таки праздник — горела печурка, было тепло. На столе стояла горячая еда — та же хряпа и немного каши и оладьи из дуранды. Отец был чисто выбрит и весел, а Вера и ее подруга Нина Панаева (она пришла к нам за несколько дней до этого с тем, что у нее на улице Каляева разбомбило дом, и она осталась у нас) старались меня обласкать. Главное же, у всех было приподнятое настроение оттого, что прибавили хлеба! Значит, заработала трасса через Ладогу.

Каждый вечер к нам приходил дядя отца, профессор ЗИНа Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шанский, живший этажом ниже в этом же доме, в квартире своего знаменитого отца Петра Петровича. Между его квартирой во втором этаже и нашей на третьем была железная лестница, соединявшая две квартиры. Андрей Петрович был почти слепой, ходил ощупью, не мог читать, но писал. Писал в дни блокады стихи. Он только что перед войной перевел всего Горация. И его перевод стихов знаменитого римлянина считался одним из лучших. Сейчас Андрей Петрович писал дистихи, тоже античным

размером, посвященные войне и блокаде. Папа тоже писал стихи, посвященные блокаде и надежде на скорую победу. Оба они ни на минуту не сомневались в ней.

Так все мы и встретили Новый, 1942 год. Андрей Петрович принес даже бутылку шампанского. Он жил один со своей старой домоправительницей Марфой Ефимовной, которая смотрела за ним и берегла его всю жизнь как ребенка. Она даже испекла какое-то подобие пирога величиной с блюдечко, а он в начале войны потребовал, чтобы она свела его в ЗАГС оформить их брак. Этим актом он обещивал ей пенсию после своей смерти и оставил ей все, что имел.

Накануне Нового года в нашей квартире умер другой папин дядя, брат Андрея Петровича — Измаил Петрович. Он уже несколько дней лежал вместе со своей женой, у которой еще летом случился инсульт. И за обоими ухаживала сестра Вера. Так Смерть незаметно вошла в дом. . . И ее появление повлияло на Михаила Дмитриевича. Выехать из города во что бы то ни стало! — заняло все его мысли. По его просьбе я пошла в Смольный, где хорошо знали отца по его общественной работе во Дворце пионеров и по организационной работе с детьми. Точно не помню, кто из секретарей принял меня и даже велел принести мне стакан крепкого горячего чая с кусочком сахара. И обещал организовать вылет из Ленинграда самолетом. И действительно, в начале января там же в Смольном мне выдали билеты на самолет в конце января на отца и его семью. . . На какое-то время отец ожил. Но потом вдруг наступило *это*, как в «Войне и мир» с умирающим князем Андреем Болконским. Когда уже ничего нельзя сделать, чтобы вернуть человека к жизни. . . Я снова пошла в Смольный вернуть билеты на самолет и просить дать путевку в стационар. 19 января 1942 года Вера и Нина утром свезли отца на саночках в стационар в «Асторию». Я же должна была в этот день отмечать у себя в БИНЕ и в Пединституте им. Покровского продуктовые карточки (полагалось их отмечать в середине месяца). Он умер около 8 часов вечера, тихо заснул, чисто вымытый в чистой постели. А мы сидели с Верой около него до самого последнего момента. В одной палате с ним лежали С. В. Калесник и Б. В. Томашевский (известный пушкинист). На другой день его тело, завернутое в солдатское одеяло на тех же саночках мы привезли домой и положили на кухне. Там лежал еще дядя отца и через несколько дней положили рядом его двоюродного брата Таву, инженера металлургического завода. Похоронить их всех, вернее свезти на кладбище помог завхоз полуликвидированного перед войной Географического музея, т. Пан-

кратов. Михаил Дмитриевич работал в этом музее, помещавшемся в конце Красной улицы во дворце графа Бобринского. Панкратов помог нам осенью в начале блокады тем, что привез телегу дров, а теперь, после того, как мы с Верой были у него и все рассказали, а он заплакал, узнав о смерти Михаила Дмитриевича, приехал на той же еще лошади и отвез тела отца, его дяди Измаила Петровича и его сына Святослава Измайловича на братское кладбище на Голодае. У нас не было хлеба платить за рытье отдельных могил. В день папиной смерти выяснилось, что в семье двоюродных сестер украли шесть хлебных карточек, и мы отдали им оставшуюся карточку Михаила Дмитриевича.

В БИНе, когда я пошла рассказать обо всем, выяснилось, что уже около двух недель лежит и не встает в темной квартире Евгения Михайловича А. И. Лесков, и что в ближайшее время намечена эвакуация наземным путем по «Дороге жизни» основной части сотрудников БИНа. Меня тоже стали уговаривать эвакуироваться и А. И. Лесков, и С. Я. Соколов. Этого же хотел перед смертью и Михаил Дмитриевич. В то же время В. С. Соколов, возглавлявший остающуюся в Ленинграде часть института, предлагал мне остаться в Ленинграде, говоря, что он сразу же зачислит меня на должность старшего научного сотрудника (раз уж я кандидат!). Но мы с сестрой и Ниной решили ехать со всеми вместе. Подготовка к эвакуации заняла последние дни января и первую неделю февраля. Мне пришлось быть связной в этой подготовке, и я ходила из БИНа и к Прозоровским, и к Солоневичам. Анатолий Владимирович вез с собой, помимо своей семьи, еще стариков Лурье, родителей Лили. Он сам почти все время лежал и ходить ему было трудно. Но все-таки в начале февраля вся его семья переехала в БИН. Эвакуация была назначена на 8 февраля. Накануне я еще ходила на Мойку к Солоневичам, предупредить их. Бедный Костя распух и еле ходил, а у Надежды Григорьевны на руках был еще еле живой сын Илья и дочь Наташа. Забыла сказать, что перед всем этим, в начале января, сгорел дом, в котором жили «курочки Буткевич» — Ольга и Вера Николаевны. У них погибло почти все имущество, в том числе одежда. Все старались помочь им, а главное — одеть. Они тоже переехали на житье в БИН. Эвакуироваться они не хотели. Я собрала в большой узел одежду: белье, какие-то свои платья, Верин халат и свою юбку, сшитую из папиного старого пальто. И тащила все это на руках в БИН для Ольги Николаевны. На Пушкинской улице впереди меня шла лошадь, запряженная в сани, и я положи-

ла свой узел на них. Идти стало легче. Но вдруг возница оглянулся, увидел меня, выругался и меня хлестнул по лицу вожжами, и погнал лошадь. Узел упал на землю, щека у меня горела от удара, и я поплелась дальше с этим узлом. Ехали из отдела на Большую Землю: А. П. Ильинскийс двумя дочерьми, А. И. Лесков с женой и двумя сыновьями, Е. В. Шифферс с дочерью, К. И. Солоневич с женой и детьми, Л. А. Соколова, А. А. Гербих с женой и сыном, Семенова-Тян-Шанская с двумя сестрами (Нина Панаева — Верина подруга, оставшаяся с декабря месяца у нас, была записана тоже моей сестрой), Таня Марева с сыном, затем С. Я. Соколов вывозил с собой тещу, вдову брата, убитого на фронте, и старую домработницу — «графиню», Г. В. Аркадьев с женой и сыном, Ф. С. Первухин (он был ранен и поэтому демобилизован) с женой, тещей и дочерью, С. В. Юзепчук вывозил свою бывшую жену Тамару и сына, К. А. Рассадина ехала с мужем и двумя мальчиками, Н. Ф. Комаров с женой, сыном и грудным ребенком, Е. Г. Бобров стремился попасть на Волгу, так как там где-то были эвакуированы его дети и жена — Л. А. Куприянова. Ехала также с ребенком и стариком отцом Клавдия Спиридоновна — вдова Г. Н. Новикова, Л. И. Савич-Любицкая. Из Гербария — С. Г. Горшкова, О. Э. Кнорринг и др. С этим же эшелонам ехали сотрудники ЗИН, Института физиологии им. Павлова, института Востоковедения и других учреждений Академии Наук. Накануне отъезда не пришел в БИН включенный в списки эвакуировавшихся сотрудник Отдела Я. Я. Васильев, он замерз на пути в БИН из Лесного, куда ходил к себе домой на квартиру. Г. В. Аркадьев, как зам. директора Института, возглавлял эшелон, а Ф. С. Первухин являлся политруком и его помощником. Благодаря им сотрудники Академических учреждений ехали, по тем временам, очень хорошо. Во время пути отдел Геоботаники потерял К. И. Солоневича, умершего в Борисовой Гриве, не проезжая Ладогу, а на другом ее берегу в Жихарево — А. И. Лескова; в селении Гаврилов-Ям Ярославской области, куда были привезены на отдых сотрудники Академии Наук умерли Н. Ф. Комаров и старший сын Лескова. Во время переезда на озере скончался грудной ребенок Н. Ф. Комарова на руках его жены. На станции Свеча умер отставший от эшелона сам Анатолий Владимирович Прозоровский, а где-то за Уралом — старики Лурье. Лиля с двумя детьми поехала дальше в Иркутск к сестре Марусе, ставшей женой С. В. Обручева. Прозоровский с семьей отстал от нашего эшелона, потому что с территории БИНа уезжал с последним рейсом машины, возившей людей и вещи

на Финляндский вокзал. Анатолий Владимирович считал, что он как директор института должен покинуть институт последним. Вещи же его семьи уехали на вокзал с предпоследним рейсом машины, и мы их погрузили в вагон. Отправление поезда было назначено на какое-то время, и машина с Прозоровским должна была вот-вот подойти. Но неожиданно начался варварский обстрел Выборгского района, и поезд с эвакуировавшимися был выведен раньше назначенного срока за пределы города. Обстрел и бомбежка были настолько сильными, что эвакуация людей была прервана на несколько дней. Приехавшие на вокзал к пустому перрону Прозоровские без вещей лежали эти дни на полу на вокзале. А потом им пришлось ехать одним — без друзей и товарищей. Сил у Анатолия Владимировича хватило на десять дней. В течение трех месяцев, начиная с декабря 1941 до середины марта 1942 года, отдел потерял четырех докторов (В. П. Малеева, А. И. Лескова, А. В. Прозоровского и Н. Ф. Комарова), двух кандидатов (Я. Я. Васильева и К. И. Солоневича), то есть самых своих талантливых сотрудников. Восполнить эту потерю никогда не удалось. Так закончился определенный период жизни отдела Геоботаники до Войны и в первые ее месяцы.

ПРИМЕЧАНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

^[1]К с. 7. Историю семьи своего отца, семьи Семеновых-Тян-Шанских Анастасия Михайловна считала и лучше известной, и лучше документированной. Она была в целом права — о ней написано очень много, начиная с воспоминаний самого Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. В следующем поколении замечательные воспоминания оставил его сын Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский. (Долгое время эти мемуары оставались в рукописи; лишь в 1980-е гг., еще при жизни Анастасии Михайловны, они были перепечатаны нами на машинке, но полное их издание стало возможно лишь в постсоветское время.) Старший брат Вениамина Петровича, Дмитрий Петрович, родной дед Анастасии Михайловны, успел написать только небольшие воспоминания о гимназии К. Мая — в настоящее время они переизданы в книге Н. В. Благово «Школа на Васильевском острове». Написанные в эмиграции воспоминания четвертого сына Петра Петровича Валерия остаются в рукописи (Бахметьевский фонд в Колумбийском университете в Нью-Йорке) и пока доступны лишь частично. В поколении внуков Петра Петровича интересные воспоминания оставила младшая сестра Михаила Дмитриевича Вера Дмитриевна Семенова-Тян-Шанская (в настоящее время они опубликованы лишь частично, к сожалению, с неудачными и во многих случаях прямо неверными комментариями). Воспоминания ее братьев Николая и Александра (впоследствии епископа Александра Зилонского) рассеяны в эмигрантских журналах. Владыке Александру принадлежат, в частности, написанные перед II Мировой войной воспоминания о его брате Леониде «История одной жизни», недавно переизданные и в России. Творчеству и истории жизни Леонида Семенова было посвящено несколько исследований, начиная еще с советского времени. Полное издание его литературного наследия, включая книгу его исповедальной прозы «Грешный грешным», сохранившуюся в архиве Михаила Дмитриевича, затянулось на несколько десятилетий. Подготовленная выдающимся филологом профессором В. С. Баевским книга вышла в 2007 г. в серии «Литературные памятники».

Вместе с тем очень многое в истории семьи до самого последнего времени оставалось неизученным — самые полные, драматические и непосредственные свидетельства сохранились в письмах. Работа с эпистолярным архивом семьи, которую больше десяти лет ведут авторы настоящей публикации, еще далеко не закончена — но уже можно сказать, что речь идет о документах «первого ряда», важных не только для семейной истории, но и для «большой истории» страны.

Для удобства читателей приведем здесь список основных публикаций, связанных с семьей Семеновых:

Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского. Т. I. Детство и юность (1827–1855). Издание семьи. Петроград. 1917.

П. П. Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. Сб. статей по поводу 100-летия со дня его рождения, составленный по поручению совета РГО под ред. А. А. Достоевского. Издание Государственного Русского Географического Общества. Л.: 1928.

Из переписки П. П. Семенова-Тян-Шанского. Публикация А. Ю. Заднепровской и М. А. Семенова-Тян-Шанского // Ежегодник Руко-

писного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 гг. СПб.: 2010. С. 316–331.

Д. П. Семенов. Школьные годы // *Благово Н. В.* Школа на Васильевском острове. Историческая хроника. Ч. 1. СПб., 2005. С. 107–146.

В. П. Семенов-Тянь-Шанский. То, что прошло. М.: «Новый хронограф». 2009. Т. 1, 2.

Л. Д. Семенов. Стихотворения. Проза. Сост. В. С. Баевский. Серия «Литературные памятники». М.: Наука. 2007.

А. Д. Семенов-Тянь-Шанский. История одной жизни (публ. В. С. Баевского) // «В рассеянии сущие...». Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 15–16 февр. 2005). Сб. докл. Отв. ред. И. Ю. Белякова. / М.: Дом-музей Марины Цветаевой. 2006. С. 308–373.

Михаил Семенов. Детство. Повесть (публ. В. С. Баевского) // *Л. Д. Семенов.* Стихотворения. Проза. С. 347–389.

Михаил Семенов. Жажда. Главы из романа (публ. В. С. Баевского) // *Л. Д. Семенов.* Стихотворения. Проза. С. 390–438.

Михаил Семенов. Жажда. Главы из романа (публ. М. А. Семенова-Тянь-Шанского) // Звезда. 2006, № 11. С. 79–105.

«Мы мечтали послужить человечеству для его счастья и мира.» Из воспоминаний художницы В. Д. Семеновой-Тянь-Шанской-Болдыревой. (публ. В. В. Коньковой*) // Люди и судьбы на рубеже веков. Воспоминания, дневники, письма. 1895–1925. / СПб.: Лики России. 2000.

«Письма — больше, чем воспоминания...» Из переписки семьи Семеновых-Тянь-Шанских и сестер А. П. и В. П. Шнейдер. Подготовка текста, вступительные статьи и комментарии А. Ю. Заднепровской и М. А. Семенова-Тянь-Шанского. М.: «Новый хронограф». 2012.

[2] К с. 10. «Письмо трехсот», которое составили друзья и коллеги Анастасии Михайловны по БИНу В. Я. Александров и Д. Б. Лебедев (вместе с генетиком Ю. М. Оленовым), впервые было полностью напечатано только через 50 лет, в 2005 г. в «Вестнике Всероссийского общества генетиков и селекционеров» (т. 9, 2005. С. 12–33). В предисловии к этой публикации И. К. Захаров и В. К. Шумный справедливо пишут:

Каждая подпись, поставленная под письмом, которое свидетельствует об ошибочной позиции власти, вне зависимости от официального ранга ученого и занимаемой им должности для того времени была сопряжена с большой опасностью подвергнуться осуждению и гонениям со стороны партийных и государственных структур и является свидетельством личной

*Как уже отмечено, комментарии к этой публикации содержат многочисленные грубые ошибки.

ответственности за судьбу науки, за престиж советского государства, гражданского мужества.

Подпись Анастасия Михайловны в этом письме — 19-я по счету.

[3] *К с. 19.* Неоконченный роман Михаила Дмитриевича «Жажда» был задуман как история семьи на фоне мировой войны и революции. Главы, посвященные началу войны и Восточно-прусской операции, опубликованы в журнале «Звезда» в 2006 г. См. выше примечание [36].

[4] *К с. 19.* Поездку Беби в прифронтовой госпиталь описал Михаил Дмитриевич в своем неоконченном романе, и Анастасия Михайловна запомнила именно эту романизованную версию. В действительности в Белосток ездила не Беби, а старший брат Михаила Дмитриевича Рафаил вместе с Освальдом Парландом. Некоторые детали этой истории позволяют уточнить запись Рафаила (1918):

Брат Михаил два раза был контужен — первый раз в начале сентября 1914 г. в Восточной Пруссии при отступлении ген. Рененкампа. Он тогда был в 26-м Сибирском стрелковом полку и успел отличиться — настолько, что многие говорили, что он должен быть представлен к Георгию. Но при отступлении был контужен разорвавшимся вблизи него снарядом. Насолько близко снаряд разорвался, что к нему солдаты солдаты подбежали и говорили:

— Ваше благородие, прапорщика Семенова (т. е. его самого) разорвало!

Он успокоил их — и в то время еще владел собой, но затем контузия выразилась в некотором умопомешательстве, он потерял совершенно память, не помнил даже имена своих родных, дочери, жены и мучился этим, кроме того, у него проявилась истерия и он рыдал без конца. Он был эвакуирован в Белосток и попал в госпиталь Владимирский, где был заведующим хозяйством Е. Ф. Кареницкий, родной дядя моей жены, который и сообщил мне о том, что мой брат у них в госпитале в тяжелом болезненном душевном состоянии (открыткой). Я тогда поехал в Белосток вместе с Озей, братом Мишиной жены. Между прочим, проезжая Гродно, вдали — верстах в семи — мы видели над Неманом разрывы снарядов — там заканчивалась в тот день благополучно отраженная атака немцев, намеревавшихся форсировать переправу через Неман. На этой станции в наш поезд погрузили двух раненых из местных жителей. Рассказывали, что ночью накануне была очень сильная канонада и боялись прорыва, а теперь наши отразили и сами за Неман переправились, чтобы гнать немцев.

Мишу в Белостоке мы застали уже пришедшим в себя, и нам разрешили его взять к себе. Предполагали его уже выписать, но был вопрос, куда: на фронт ли? Но это все

признавали неподходящим, ибо душевное расстройство могло очень легко вновь повториться. Нежелательна была и его эвакуация в тыловую запасную часть его сибирского полка, квартировавшего, насколько помню, в Ачинске. Поэтому я отправился в штаб только что тогда назначенного главнокомандующим Северо-Западным фронтом уже прославившегося под Львовом ген. Рузского. . .

Запись Рафаила (на полях переписанного им предсмертного дневника его брата Леонида, убитого в декабре 1917 г.) не окончена, но из контекста можно понять, что ген. Рузский разрешил Михаилу Дмитриевичу поехать на лечение в Петроград и перевестись в его старый лейб-гвардейский Егерский полк. Н. В. Рузский был назначен командующим Северо-Западным фронтом еще в сентябре 1914 г., таким образом, поездка Рафаила и Освальда датируется не 1915-м годом, а октябрём или ноябрём 1914 г.

[5] *К с. 20.* Миссию германского Красного Креста возглавляла баронесса М. фон Вальслебен. В 1919 г. она опубликовала книгу о своем путешествии: *Die deutsche Schwester in Sibirien; Aufzeichnungen von einer Reise durch die sibirischen Gefangenenlager vom Ural bis Wladiwostok, von Schwester Magdalene von Walsleben (Freifrau von Steinaecker).* / Berlin: Furche Verlag, 1919. [Немецкие сестры милосердия в Сибири. Заметки о путешествии по сибирским лагерям военнопленных от Урала до Владивостока.] См. также: *Т. Я. Иконникова.* Военнопленные I Мировой войны на Дальнем Востоке России (1914–1918). Хабаровск: 2004. С. 107–110. От Датского Красного Креста в поездке участвовал Зигфрид Маейр.

[6] *К с. 20.* Михаил Дмитриевич снова попал на Дальний Восток уже в начале 1930-х гг., когда он в течение двух полевых сезонов возглавлял Бурейнскую и затем Амгунь-Селемджинскую экспедиции.

[7] *К с. 21.* Речь идет о жандармском ротмистре в Хабаровске В. П. Бабыче. В рапорте-доносе, сохранившемся в ГАРФ, он писал, что прапорщик Семенов-Тян-Шанский „совершенно не был проинструктирован в Петрограде о шпионской деятельности делегации” и, будучи „человеком определенно левых убеждений, <...> совершенно не интересовался связями Вальслебен в местах остановок.” В день именин прапорщика Семенова-Тян-Шанского „Маейр подарил ему в знак памяти простое кожаное портмоне. Когда он затем в своем отделении вагона стал его рассматривать, то обнаружил там 100 рублей. Чтобы выйти из этого положения, прапорщик в первом же лагере военнопленных передал в присутствии германской делегации такую же сумму русским военным властям на улучшение быта германских военнопленных.” (*ГАРФ. Ф. 02 ДП. ОО. Оп. 1915. Д. 335. Л. 38–39. Цит. по кн. Т. Я. Иконниковой.*)

[8] *К с. 21.* Неточность. Михаил Дмитриевич был переведен в Егерский полк еще в начале 1915 г., сразу после выздоровления. Летом 1915 г. он служил в запасном батальоне Егерского полка в Красном Селе. Вплоть до

поздней осени 1915 г. Михаил Дмитриевич был в Сибири с Миссией немецкого Красного Креста. Зимой и весной 1916 г. он продолжал служить в запасном батальоне. Но видимо, служба в этом «безопасном батальоне», как его называли в полку, в то время, когда на фронте решалась судьба России, его не удовлетворяла. Он подал рапорт и всего через месяц с небольшим после рождения дочери Веры, в мае 1916 г. был отправлен на фронт. Летом и осенью 1916 г. Егерский полк участвовал в наступлении русской армии и понес большие потери. В сражении у деревень Свинюхи и Корытницы («Четвертое Ковельское сражение») полк потерял почти 1000 человек убитыми и ранеными. (В этом сражении Михаил Дмитриевич по случайной причине не участвовал — он получил отпуск и как раз в начале сентября 1916 г. ненадолго приехал в Петроград.) После этого неудачного наступления фронт стабилизировался. Михаил Дмитриевич оставался в окопах на передовой вплоть до начала февраля 1917 г.

^[9] К с. 21. Мария Эмильевна Парланд, урожд. Сеземан, с сыновьями Оскаром, Генри, Ральфом и Германом постоянно жила в имении своих родителей Тиккала Выборгской губ.

^[10] К с. 24. После революции, еще при жизни бабушки Евгении Михайловны, вдовы Дмитрия Петровича, ее квартиру в реквизированном доме начали «уплотнять». Ее старшая дочь Вера Дмитриевна Семенова-Тянь-Шанская вспоминает:

Вскоре в квартиру к маме въехал «партиец». Он занял большую комнату матери, где стояла мебель, рояль, буфет, а в квартире были еще две пустовавшие комнаты. Он «благородно» предложил матери поделить всё в комнате пополам, забрал лучшие сервизы из буфета, старинные чашки на двадцать персон тоже поделил пополам. На старинный Виртовский рояль, на котором училась еще мать, а затем и мы все, он поставил буржуйку. Он даже ничем не прикрыл деку красного дерева под буржуйкой и прожег её насквозь! В диаметре эта дыра над струнами достигала 50 сантиметров. Бедной матери приходилось из своей комнаты проходить мимо этого изуродованного друга всей своей жизни. Все это было так мучительно, что мать, наконец, согласилась переехать к нам, вещи же составили в одну комнату и опечатали печатью из Смольного, как вещи военнослужащего брата Александра.

Все, что было в комнате «партийного», исчезло, а вскоре исчез и он. Лишь оставленный им изуродованный рояль перевезли к швейцару Дмитрию. Что можно было, всё менялось, продавалось за бесценок. Все отцовское — шубы, платье отдалось в обмен, да и раздалось швейцару, дворникам за некоторые услуги.

После смерти Евгении Михайловны от голода весной 1920 г. от квартиры не осталось ничего.

[11] *К с. 24.* Осенью 1917 г., после известия о покушении на старшего брата Рафаила (см. об этом ниже примечание ^[25] к с. 61), Ариадна поехала к нему в деревню. Там она пережила гибель второго брата Леонида. Там же встретила молодого латышского агронома Павла Миттула, за которого вскоре вышла замуж. В 1918–1920 гг. Миттул служил в национализированных помещичьих имениях в Смоленской губернии, обращенных советской властью в совхозы. В конце 1918 г. Ариадна Дмитриевна родила дочь Елену, а через полтора года умерла от скоротечной чахотки. Миттул уехал вместе с осиротевшей дочерью в Латвию. После присоединения Латвии к СССР, в конце 1940 г. он был арестован, депортирован в Сибирь и умер в лагере в Норильске. После войны Анастасия Михайловна тщетно искала, с помощью коллег — латышских ботаников, сведения о его судьбе и о судьбе его дочери, своей двоюродной сестры. Она думала, что все они погибли. О судьбе Елены Митулис и ее отца стало известно лишь в постсоветское время, с появлением Интернета. В конце немецкой оккупации Елене удалось бежать морем в Швецию вместе с мужем и новорожденной дочерью. В 1948 г. они переехали в США, где Елена умерла в 2005 г. В США живут ее дети и внуки.

[12] *К с. 24.* А. Д. Семенов-Тянь-Шанский после окончания университета и ускоренных военных курсов при Пажемском корпусе служил некоторое время в запасном батальоне Егерского полка в чине поручика. На фронт он был отправлен уже после февральской революции, весной 1917 г., и пережил неудачное для русской армии июньское наступление 1917 г.

[13] *К с. 25.* Вера Дмитриевна Семенова-Тянь-Шанская (1883–1984), художница. Во время войны она работала медсестрой в Царскосельском госпитале. В молодости она была очень болезненной и долго лечилась от костного туберкулеза. Она пережила блокаду (ее второй муж Алексей Николаевич Болдырев умер в 1942 г.) — и в итоге осталась единственной и последней уцелевшей в своем поколении. В конце 1960-х годов смогла увидеться со своими младшими братьями во Франции. В 1970-е гг. по ее инициативе в Гремячке был создан народный музей, куда она передала свою библиотеку и обстановку. Умерла в Доме ветеранов науки Академии наук в возрасте 101 года.

[14] *К с. 27.* В 1915 г. Рафаил Дмитриевич со всей своей семьей уехал из Петрограда в семеновское имение Гремячку. После смерти Петра Петровича его дети и внуки решили сохранить Гремячку и превратить ее в образцовое хозяйство. Рафаилу было поручено управление имением. Квартиру в доме Дмитрия Петровича, в которой жил Рафаил с семьей, занял писатель А. М. Ремизов.

[15] *К с. 26.* Леонид Дмитриевич Семенов-Тянь-Шанский (1880–1917) — знаковая и трагическая фигура эпохи. Талантливый поэт, автор книги стихотворений, сочувственно встреченной критикой, он пережил начиная с 1905 г. мучительную эволюцию, которая привела его к полному разрыву с миром литературы и с родным ему интеллигентным кругом. В 1907 г.,

пройдя двухлетний иску́с революции, аресты, тюрьму, полицейские избиения, он пешком пришел в Ясную Поляну. Близость с Толстым, искренне полюбившим Леонида, окрасила три следующие года его жизни. Все это время Леонид работал батраком в деревне. В 1911 г., уже после смерти Толстого, он был вновь арестован за отказ от воинской повинности, провел около полутора лет в тюрьме и в психиатрической больнице, куда был помещен для освидетельствования. Накануне войны он отселился на предоставленный ему родными земельный участок, продолжая жить крестьянским трудом. В 1916 г. возвратился к православию. В Петроград он приехал в ноябре 1916 г. после посещения Оптиной пустыни. В ноябре 1916 г. Эми Андреевна писала мужу на фронт:

В Леониде произошла большая перемена, он стал гораздо больше как все люди, больше интересуется, мягче ко всем относится, и сам он как будто довольнее, а главное, радостнее. А так он стал совсем православным, ходит в церковь и т. д. Говорит, что выше православия по духу ничего нет, такое громадное впечатление произвели на него старцы в Оптиной пустыни. Даже мне он подарил книжку жития какого-то святого, должно быть, и меня хочет обратить на праведный путь. Все это очень удивительно, и я с Шурой никак не можем понять, как произошла в нем эта перемена, но только сам он от этой перемены безусловно стал счастливее. Я спросила его, что может быть, он сам пойдет потом в монахи, и он ответил: «Может быть». Леонид и монахи, как это не вязалось с ним раньше. Правда?

Он очень подружился со Станочкой и повидимому полюбил ее. Он, очевидно, задался целью покорить Стану и приложил для этого некоторое усилие. Мама и Аля говорят, что он был поразительно мил с ней. Сначала он начал рассказывать что-то про лошадей и про свое хозяйство, не обращая на Стасю никакого внимания, потом предложил ей какой-то вопрос и в конце концов добился того, что она пошла к нему на колени, принесла и показала свою Лялю и вообще подружилась с ним. А он очень заинтересовался ее куклой, смотрел, какое у нее платье, и т. д.

Год спустя, через месяц после октябрьского переворота, Леонид был убит на своем хуторе. Убийцами были распропагандированные хулиганы из местной крестьянской молодежи, на которых в это время опирались только что пришедшие к власти большевики.

^[16] К с. 26. Очень точное наблюдение — Николай Дмитриевич Семенов-Тянь-Шанский служил во время войны в сухопутном батальоне лейб-гвардии Морского экипажа и носил пехотную форму.

^[17] К с. 26. Неточность. Леонид приезжал в конце 1916 г., уже после рождения Верочки. Михаил Дмитриевич в конце 1915 — начале 1916 г. был а

Петрограде. В мае 1916 г. он уехал на фронт.

[18] *К с. 28.* Елизавета Андреевна (1842–1915), вдова деда Михаила Дмитриевича, П. П. Семенова-Тян-Шанского.

[19] *К с. 29.* В. М. Фидровский был преподавателем в Педагогическом институте в Юрьеве, который был эвакуирован в Херсон.

[20] *К с. 42.* Деревянный «директорский дом» в Ботаническом саду был построен в 1820-е гг. архитектором И. И. Шарлеманем. Сгорел в начале 1980-х гг., в настоящее время восстановлен.

[21] *К с. 46.* В действительности, Эми Андреевна не ездила в Белосток (см. выше примечание [4]). Летом 1915 г. после выписки из госпиталя Михаил Дмитриевич находился в учебном лагере Егерского полка в Красном Селе; очевидно, Эми Андреевна осталась рядом с ним в Петрограде, а Стана вместе с няней уехала на все лето в Череповец к Петрашьям.

[22] *К с. 50.* Как рассказывала Анастасия Михайловна, позднее этот «Сушка» Комаровский был в качестве молодого лейтенанта строительных войск на строительстве Беломорского канала. Дядя Ваня Петрашень тоже его строил, но в качестве заключенного. После завершения строительства, когда Сталин и Киров проехали по каналу на пароходе, Ивана Васильевича, в порядке награды, выпустили, а «Сушку» Комаровского наградили орденом. Он до конца жизни остался связан со строительными войсками — и окончил её важным генералом, а после его смерти (кажется, в конце 1970-х годов) Высшее училище инженерных войск Министерства Обороны получило имя генерала Комаровского. У меня всегда было ощущение, что и другие его великие заслуги (в частности, военного времени) были тоже класса Беломорканала... А вот и справка из Интернета:

Комаровский Александр Николаевич (1906–1973), один из руководителей ГУЛАГа, генерал армии (1972), доктор технических наук (1956), Герой Социалистического Труда (1949), лауреат Сталинской премии (1951). Образование получил в Московском институте инженеров транспорта (1928). В 1939 вступил в ВКП(б). В 1930-х гг. был одним из руководителей строительства канала Москва-Волга, где широко использовался рабский труд заключенных. Затем нач. и главный инженер эксплуатации канала, с 1939 зам. наркома Морского флота СССР, затем наркома по строительству СССР. Во время Великой Отечественной войны нач. управления по строительству оборонительных сооружений Главного управления оборонительных работ НКВД СССР, командующий 5-й саперной армией и зам. нач. Главного управления оборонительных работ Наркомата обороны. С 1944 по 21.11.1951 нач. Главпромстроя НКВД СССР, с 21.11.1951 нач. Главспецнефтьстроя МВД СССР. 9.7.1953 Комаровский вновь возглавил Главпромстрой — одну из самых мощных строительных организаций ГУЛАГа. одновременно он стал членом коллегии МВД СССР. Специалист по использованию труда заключенных и по безжа-

лостной их эксплуатации. На подведомственных Комаровскому предприятиях смертность была крайне высока. После смерти Сталина Комаровский, как «специалист высокого класса», сохранил за собой руководство Главпромстроем. 16.3.1953 управление передано в ведение 1-го Главного управления при Совете министров СССР, а затем в Министерство среднего машиностроения. 16.3.1954 Главпромстрой, во главе все с тем же Комаровским, вернулся в МВД СССР, а 14.03.1955 окончательно перешел в Министерство среднего машиностроения СССР. С дек. 1963 зам. министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. В 1968 получил Ленинскую премию. С 1970 депутат Верховного Совета СССР, автор мемуаров «Записки строителя» (1972).

(См. *Залесский К.А.* Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000)

Народ должен знать своих героев.

[23] *К с. 52.* Оттилия Губертовна («Буба Тиля») дожила до конца 1930-гг. Она была немецкая подданная и умерла в особой немецкой богадельне, существовавшей где-то в Лесном на средства Немецкого правительства. Вера и Анастасия Михайловна как-то навещали её там, причем в богадельне на почетном месте висел портрет Гитлера — в качестве рейхсканцлера.

[24] *К с. 57.* Цейдлер Клара Федоровна (1870–1952), художница, преподаватель. После революции в эмиграции в Эстонии, в 1941 г. после присоединения Эстонии к СССР уехала в Германию, а затем в Швецию.

[25] *К с. 61.* Положение в деревне, где жил в старом семеновском имении Рафаил, начало быстро ухудшаться сразу после февральской революции. В апреле 1917 г. Рафаил писал в пасхальной открытке дяде Андрею Петровичу Семенову-Тян-Шанскому:

Прости, что этот раз я не послал своих приветствий вовремя. Не до того было — слишком грустные впечатления переживали мы и Светлый праздник встретили в тяжелом настроении. Неизвестно, что и как кончится, — повсюду здесь ненависть и вражда, требования максимальные. Я имел мечту здесь устроиться и посвятить свою жизнь местной жизни и на новых началах сохранить гремячский уют, — но кажется, не придется, придется, кажется, быть лишь последним свидетелем и присутствовать при ликвидации всего.

В сентябре 1917 г. Рафаил и Леонид были избиты и арестованы во время сельского схода и чудом избежали самосуда. В октябре 1917 г. выстрелом в окно в своем доме Рафаил Дмитриевич был ранен в голову и опять чудом избежал гибели. После покушения он вместе с семьей был вынужден бежать из Гремячки в соседний уездный город Данков. Через неделю после октябрьского переворота в Петрограде от сердечного приступа умер

Дмитрий Петрович. 5 декабря в своем имении, в нескольких верстах от Гремячки, был зверски убит двоюродный брат Петра Петровича Павел Михайлович Семенов. О его убийстве написал за несколько дней до его собственной гибели Леонид в письме к Андрею Петровичу:

В 9 часов вечера человек восемь, самых отчаянных хулиганов — пьяных пошли «громить» дом Павла Михайловича. Стали камнями кидать в окна. Четыре солдата и прислуга — сейчас же бежали, оставив Павла Михайловича и Марью Ивановну одних. Марья Ивановна забилась в чулан. Павел Михайлович ее три раза перекрестил, поцеловал и знаками объяснил, что идет умирать. Одежда в тулуп, в валенки, в шапку и сел на лесенку, которая ведет у них на второй этаж. — Громили разбили все окна, приставили лестницы — влезли в верхний этаж. Павел Михайлович пошел туда — и кажется — встретил их словами: братцы, не трогайте меня, я все равно завтра уеду. По одной версии. По другой, он будто бы стрелял из револьвера и ранил одного — и тот его убил обухом топора. Но это мало вероятно. И где его убили, наверху или внизу, тоже неизвестно. Только убили ужасно. Вся голова его обезображена. Били, конечно, и после первого — я надеюсь, смертельного удара. Череп глубоко проломлен в нескольких местах. Уже мертвого, его вытащили наружу — и потом оттащили в первые холодные сенцы, — где лежал он еще и вчера брошенный прямо на полу в дверях до «следствия»!

Тут же с Павла Михайловича убийцы стащили тулуп, сапоги, одежду, вытащили из кармана деньги около 1500 рублей, по свидетельству Марьи Ивановны, и книжку из сберегательной кассы. При этом была уже вся деревня и мужики, и бабы, которые сбежались на шум. Некоторые плакали. Бабы будто бы заступились за Марью Ивановну и увели ее на деревню. Туда принесли ей кое-что. Но она без денег, без всего. В доме все растащили. Даже варенье тут же в доме поели... Вообще некоторые подробности цинизма, зверства, бесчувствия — в народе — ужасны!

Но всего не опишешь...

Вечером 13 декабря 1917 г. у своего дома выстрелом в голову был убит Леонид. О его гибели Рафаил писал Андрею Петровичу:

В этот день Лёля был в Гремячке и оттуда возвращался с Софьей Ереминой к себе под вечер, около 8 часов вечера. Подъезжая к дому своему — они увидели разбитые в нем окна и каких-то людей в нем, по словам С. Ереминой, она и Лёля — бросились бежать в противоположную от дома сторону к лесу, и в овраге за ними погнался человек с ружьем и выстрелил

в Лёлю, попав в затылок. Соня Еремина с трудом пешком, поморозив пальцы, добралась до Гремячки.

В январе 1918 г. Рафаил был вынужден бежать из Данкова, что было связано с реальной опасностью со стороны новой власти — председателем Данковского Уездного Совета был тот же В. И. Чванкин, который в сентябре 1917 г. грозил ему «Варфоломеевской ночью». В Данкове действия Чванкина привели в январе 1918 г. к народному восстанию, подавленному присланными из Москвы красновардейцами. Чванкин постепенно сконцентрировал в своих руках всю власть в уезде и развернул в нем массовый красный террор. Вопрос о том, куда ехать, оставался неясен. В июле 1918 г. Рафаил писал Андрею Петровичу:

Выселяясь из Данкова, я был полон активности, рвался и на юг, рвался и на юго-запад — и еще больше в Сибирь. Ничего не удалось осуществить, и у меня не хватило решимости довести свои устремления до конца.

В Томском архиве сибирского географа, старого ученика П. П. Семенова-Тян-Шанского Г. Н. Потанина сохранилось письмо Рафаила, в котором он просит о разрешении приехать. В итоге, в силу стечения обстоятельств, Рафаил оказался в Москве. Семья смогла выбраться из Данкова и присоединиться к нему в апреле 1918 г. В марте 1918 г. там же в окрестностях Данкова была расстреляна Наталия Яковлевна Грот (дочь Я. К. Грота и сестры Петра Петровича Натальи Петровны) и еще несколько окрестных помещиков. В те же дни усадебный дом в Гремячке, перешедший в полное владение местных крестьян, был подожжен и сгорел дотла.

[26] *К с. 61.* Хутор Леонида при его убийстве был разгромлен, а рукописи буквально расстреляны. Соня и сестра Леонида Ариадна смогли собрать то, что уцелело, буквально по листику и скопировать его последние записи. Они сохранились у вдовы Рафаила Зинаиды Васильевны, и в 1920 г. она переслала их Михаилу Дмитриевичу. Предсмертный дневник Леонида в настоящее время опубликован (см. выше примечание [36]). Цитированные выше письма впервые полностью опубликованы в 2012 г. в подготовленной нами книге «Письма больше, чем воспоминания».

[27] *К с. 62.* Речь идет об американской писательнице и художнице Люси Фитч-Перкинс (1865–1937) и ее книгах «Маленькие голландцы» (1911), «Маленькие японцы» (1912), «Маленькие эскимосы» (1914).

[28] *К с. 70.* Михаил Дмитриевич оставался в Петрограде, главным образом, из-за отсутствия в то время работы в Череповце. Вопрос о том, что делать дальше, постоянно обсуждался в его переписке в женой зимой и весной 1918 г. В Череповец Михаил Дмитриевич приехал только в сентябре, после ареста, едва не закончившегося его гибелью, и последующего освобождения. Дату его ареста — 22 августа 1918 г. — удалось точно восстановить при анализе переписки А. П. Семенова-Тян-Шанского. Рафаил после ранения и бегства из Данкова с конца января 1918 г. обосновался в

Москве; в апреле его жена с детьми тоже сумела выбраться из Данкова и приехала к нему в Москву. Николай Дмитриевич еще весной 1916 г., после двух лет, проведенных на фронте в составе Сухопутного батальона лейб-гвардии Морского экипажа, был зачислен в команду крейсера «Варяг», поднятого японцами после его героической гибели в 1904 г. и около 10 лет ходившего под японским флагом. Он был продан японцами России и летом и осенью 1916 г. совершил длинный и тяжелый переход из Владивостока в Мурманск. «Варяг» пришел в Мурманск в ноябре 1916 г.; по пути он получил повреждения и был отправлен обратно в Англию для ремонта. В Англии его застала февральская революция; в результате начавшегося брожения команда крейсера была распущена, а офицеры командированы Временным правительством в Америку. В начале 1918 г. Николай Дмитриевич вернулся в Англию, где его достигли вести о смерти отца и об убийстве брата Леонида. Александр Дмитриевич в 1918–1919 гг. жил с матерью в Петрограде; перенес сыпной тиф. В Красную армию он был мобилизован в начале 1920 или в самом конце 1919 г. и направлен в Смоленск.

[29] *К с. 70.* Судя по письмам Михаила Дмитриевича, дело было иначе. В ноябре–декабре 1917 г. о национализации в практическом плане еще не было речи (хотя большевики её провозгласили как программную установку с самого начала). Михаил Дмитриевич в это время служил в Министерстве земледелия и участвовал в забастовке государственных служащих после Октябрьского переворота; забастовка продолжалась несколько месяцев и привела только к тому, что бастующие остались без работы и без денег. В то же время (ноябрь–декабрь) в доме бастовали дворники, так что он чуть ли не разносил сам дрова жильцам (те, вероятно, плохо представляли, что происходит, и хотели «за свои деньги» обычного обслуживания — и одновременно горячо протестовали против повышения квартирной платы). В декабре в письмах обсуждается идея быстро продать дом — и даже вроде бы есть покупатель. В январе положение ухудшается. («Пробуем шутить, — пишет Михаил Дмитриевич — согда садимся за стол, говорим: Лошадь подана!»). В конце января Советская власть обладалывает домовладельцев неподъемным налогом, невыплата которого автоматически влечет конфискацию. Михаил Дмитриевич лаконически сообщает об этом в письме в Череповец от 30 января:

Второе, почему я не писал, это осложнение с домом, который от нас отобрали за то, что мы не заплатили единовременного налога в 32 000.

[30] *К с. 71.* В истории ареста Михаила Дмитриевича не так просто отделить легенду от фактов. Один из ключевых вопросов, на который удастся ответить точно, это датировка событий. Обычно считается, что массовые расстрелы офицеров начались после объявления «красного террора» в начале сентября 1918 г. как ответ на убийство Урицкого (30 августа)

и покушение на Ленина. Но в таком случае Урицкий никак не мог принимать Евгению Михайловну и беседовать с Михаилом Дмитриевичем. Совершенно легендарной выглядит и история об Урицком, скрывавшемся на конспиративной квартире в доме Дмитрия Петровича. В предреволюционные годы (дом был построен в 1912 г.) Урицкого не было в Петербурге — он находился в эмиграции и вернулся в Россию только летом 1917 г. Тем не менее, в обеих историях есть рациональное зерно. Одновременно с Михаилом Дмитриевичем был арестован его троюродный брат Юрий Десятовский (Саблер). Как и Михаил Дмитриевич, он был вывезен на барже в Кронштадт — и там расстрелян или утоплен. Арест их позволяет точно датировать письмо его брата Сергея (1921), сохранившееся в архиве А. П. Семенова-Тян-Шанского:

Дорогой Андрюша, полученные вчера папою и мною твои две открытки пробудили во мне два воспоминания: одна напомнила мне весну 1883 г., когда мы часто ходили гулять в садик при Бирже, где нас приводили в восторг размещенные в клетках заморские звери, вторая вызвала в моей памяти образ незабвенного брата моего Юрика: на ней представлен мост, где в последний раз он был увиден в Петрограде: 9/22 августа 1918 г. Валя, идя на службу, встретил его там, шедшего в партии к пароходной пристани.

Речь идет о Николаевском мосте, где с конвоем арестованных встретился Валерий Петрович Семенов-Тян-Шанский. Пристань находилась у 8-й–9-й линии. В. Д. Семенова-Тян-Шанская вспоминает:

Всех арестованных привели на пристань против трамвайной линии, где их стали погружать на баржи, чтобы везти в Кронштадт. Множество народа, родных, знакомых собралось на пристани. Прибежали и мы с сестрой жены Михаила, но в толпе было невозможно разглядеть своих. Обезумевшие от горя, все смотрели на удаляющиеся баржи, на которых густой толпой стояли обреченные.

Воспоминания Валерия Петровича (Бахметьевский архив, США) содержат ключевое свидетельство: Михаил Дмитриевич уцелел потому, что в Кронштадте за него неожиданно вступились, очевидно, услышав его фамилию, матросы, служившие во время войны под командованием его брата Н. Д. Семенова-Тян-Шанского. В результате он не был немедленно казнен, как остальные, — и, возможно, действительно, доставлен обратно в Петроград к Урицкому, на ту пору еще живому. Гибель Урицкого, о которой Михаил Дмитриевич услышал буквально сразу после освобождения, вероятно, повлияла на его «хорошее отношение» к нему. Существенно, что массовые казни начались *не после, а до* объявления «красного террора».

Валерий Петрович Семенов-Тян-Шанский был в свою очередь арестован в начале сентября, т. е. уже после начала «красного террора». Одно-

временно с ним были арестованы несколько его сослуживцев по Сенату, в том числе его свояк Ф. И. Хрущов, Ю. В. Колбасьев и В. В. Бауер. Все они были расстреляны без суда на вторую ночь после ареста. Валерий Петрович, после нескольких недель заключения в Дерябинских казармах в Гавани, был освобожден.

Легенда о конспиративной квартире в доме Дмитрия Петровича, как представляется, попала в историю об аресте Михаила Дмитриевича уже задним числом. Источником ее является разговор Михаила Дмитриевича с Д. Б. Рязановым, видным коммунистом, создателем и первым директором Института марксизма-ленинизма. В. Д. Семенова-Тян-Шанская пишет:

Однажды в доме, где одна квартира была снята большевиками, отца вызвал дворник и сказал, что пришла с обыском полиция. Отец, верный себе, не допуская возможности какого-нибудь насилия, так горячо принял «защитников власти», грозя, что он поедет к министру внутренних дел и разоблачит их незаконное действие, что агенты ушли, а конспираторы благополучно продолжали собираться. Об этом рассказал моему брату Михаилу в 1925 году его начальник в статистическом управлении партиец Рязанов, позже во время культа личности пострадавший и погибший. Рязанов сказал, что партия обязана отцу за данную возможность им работать и что, в случае чего, ему — брату моему — всегда поможет партия.

Ясно, что если Михаил Дмитриевич в 1925 г. услышал об этом от Рязанова как о новости, эта история совершенно не связана с его разговором с Урицким в ЧК. Наконец, следует отметить, что о роли Н. В. Благовещенского в этой истории Анастасия Михайловна говорит лишь предположительно — точно она этого не знала.

[31] В семье Семеновых на фронте был также брат Михаила Дмитриевича Николай, военный моряк, воевавший в морской пехоте, в сухопутном батальоне гвардейского Морского экипажа. Третий и самый младший из братьев Александр попал на фронт только в 1917 г.

[32] К с. 76. Мебель привезли из Петрограда на барже по Мариинской системе благодаря помощи Ивана Васильевича Петрашень.

[33] К с. 87. Повесть «Детство» написана зимой и весной 1918 г. в Петрограде. На первый взгляд, это как будто ничем не замутненная идиллия; чтобы лучше оценить ее светлый и немного печальный тон, следует помнить, что писалась она сразу после смерти отца, убийства брата, тяжелого ранения другого, посреди нарастающей разрухи и крушения всего старого быта. Это своеобразное зачатие мрака. В конце апреля 1918 г. Михаил Дмитриевич писал жене в Череповец:

В понедельник я был очень обрадован, мне сообщили из «Воли Народа», что мое «Детство» принято туда и проходит с большим успехом. Пригласили вчера посетить их. Я посетил,

но меня постигло разочарование, часть редакции, как минимум Лебедев и Колосов, настроены очень против, считая, что отрывки неизвестного автора нельзя печатать и что вообще все они совершенно не злободневны! Точно писатель должен быть всегда злободневным и точно не довольно в литературе злободневности. Окончательного ответа я еще не получил. Но повидимому дело не выгорит. Писателю теперь весьма туго. Но интересного я слышал много. Павловский, редактор «Воли Народа», говорит:

— Если бы над этими главами стояло «Толстой», вы бы напечатали.

Лебедев:

— Тогда другое дело.

— Отчего же нельзя новому таланту у нас начать, какая слава нам, если мы откроем его, — ведь вы согласны, что это близко к тому.

Лебедев:

— Вещь хорошая, но что будет дальше, неизвестно, это раз, — а во-вторых, и нового Толстого я бы не принял, пускай его принимают другие.

Павловский:

— Но именно его признают, Гишпиус говорит, превосходно, Ремизов — лучше трудно иметь, я читал три раза и все, кто слушал, в восхищении.

Лебедев:

— А все-таки оно несвоевременно.

Очевидно, своевременны кровь, убийство, ругань большевизма и дележ земли — вот как заправляют нашей литературой. Точно искусство должно быть на поводах у политики!

«Детство» впервые напечатано в 2007 г. в приложении к фундаментальному изданию стихотворений и прозы Леонида Семенова (см. выше примечание ^[36]).

^[34] К с. 90. Анастасия Михайловна оказалась права. Согласно новонайденным документам, А. А. Парланд умер от голода 15 сентября 1919 г.

^[35] К с. 91. В армии Юденича Герман Цейдлер не служил; но в 1921 г., уже поселившись в Финляндии, он очень много сделал для оказания гуманитарной и медицинской помощи беженцам из Кронштадта после подавления Кронштадтского восстания.

^[36] К с. 96. Еще один обыск был в мае 1920 г., причем у Михаила Дмитриевича забрали и не вернули всю переписку.

^[37] К с. 101. Рафаил умер 28 ноября 1919 г. от голодной дизентерии. Уже примерно через две недели Михаилу Дмитриевичу удалось организовать переезд в Череповец его старшего сына Кирилла. Младший, 6-летний Вася остался в Москве с матерью; он умер через несколько месяцев. 28 марта

1920 г. Михаил Дмитриевич писал дяде Андрею Петровичу в Петроград:

Зина, Рафина вдова, сообщила о смерти Васи, — очень обидно и грустно, но при нынешних обстоятельствах почему-то невольно говоришь: Слава Богу. Очень радуюсь тому, что мне удалось Кириюшу увезти из Москвы, может быть, его удастся сохранить.

[38] *К с. 102.* В феврале 1920 г. Михаил Дмитриевич писал дяде Андрею Петровичу в Петроград:

Как я живу — да вот, постепенно замерзаю, у меня в Бюро застывают чернила — а все-таки кое-как работаем.

Что касается семьи, то как тебе известно, Кирилл был болен сыпным тифом — и до сих пор еще не оправился как следует. Мои детишки, слава Богу, здоровы — конечно, я очень благодарен Алисе Андреевне, которая так самоотверженно заменила им мать, — но увы, никто никогда не заменит матери. А главное, мои детишки никогда не произнесут одного удивительного по глубине слова — это мама, и когда подумаешь, какое это теплое слово, как оно наполняет и сознание, и сердце, то делается бесконечно грустно и готов упрекать судьбу за ее непомерную жестокость. Особенно это бывает тяжело, когда Станочка начинает тосковать, забьется в угол, уставится в одну точку и на вопрос, что с тобой, отвечает — я хочу — маму.

А Кириюша иногда оживает и начинает вспоминать старое, как ранили его папу, как убили дядю Лёлю, как хорошо было в Гремячке. Тогда становится страшно, думаешь, какое понятие о жизни у этих маленьких людей и что выйдет из них, когда в их душах такой тяжелый, недетский груз. . .

[39] *К с. 107.* Фактически получилось так, что после возвращения Михаила Дмитриевича с фронта семья снова оказалась надолго разделенной — он провел в Череповце несколько месяцев осенью 1917 г. после возвращения из армии, а потом надолго уехал в Петроград после смерти отца и оставался там вплоть до сентября 1918 г. А уже в конце октября 1918 г. началась терминальная фаза болезни Эми Андреевны.

[40] *К с. 134.* Интересное упоминание о Джоне Парланде есть в мемуарах графа Ф. В. Ростопчина о конце царствования Екатерины II. В ноябре 1796 г. при известии о постигшем императрицу ударе Ростопчин поспешил к великому князю Александру Павловичу, но того не было дома и Ростопчин говорил с его камердинером Парлантом (sic), который и передал ему последние новости о состоянии императрицы и о великом князе (в то время Александру было неполных 19 лет). С другой стороны, в одном из поздних писем 1820-х годов, цитированных в биографии Александра I, составленной вел. кн. Николаем Михайловичем, Александр, жалуясь на возраста-

ющую глухоту, пишет: «I am deaf as a woodblock, как говорит Парланд». По одному из свидетельств, Александр вспомнил о своем старом слуге и во время своей последней болезни в Таганроге. Последними словами умирающего, пытавшегося шутить и на смертном одре, были: «Мое состояние точно как у Парланда, который привык говорить: „Держусь на страже, но ничего не вижу и не слышу”». Таким образом, Джон Парланд оставался при Александре в течение всей его жизни. Александр Павлович с юности отлично владел английским, что в начале XIX в. было редкостью и признаком исключительно широкого образования. Интересно, что Ростопчин, очевидно, воспринимал фамилию Парланд на французский лад. По утверждению Германа Парланда, фамилия Парланд в действительности шотландская и представляет собой искаженное McFarland или McParland.

^[41]К с. 134. Жена Джона Парланда Елизавета (Elisabeth Anne, b. Forrester, 1776–1834), родилась в приходе Hackney в графстве Middlesex. Интересное упоминание о чете Парландов содержится в письмах Ричарда Уолкдена (1798–1880), уроженца Линкольншира, поставлявшего английских лошадей для конюшен императора Александра I и приехавшего в Петербург в 1825 г. Он пишет о любезном приеме, оказанном ему Парландами, к тому времени уж перешедшими в русское подданство, причем Джон помог Уолкдену купить небольшой дом в Царском Селе. В письме, написанном весной 1825 г., Уолкден пишет:

... Mr and Mrs Parland have been great friends to us, they have taken a country house for us, a few miles from Petersburg where the court always resides during the summer months and they are still further doing us the kindness to furnish our house for us, because as I am ignorant of the language and the system of cheating and bargaining is carried to a much greater extent than even in France, you can imagine the extreme difficulty I would have found in completing so many purchases. . .

Елизавета Парланд проявила особенную заботу о беременной жене Уолкдена; их новорожденная дочь была названа Elisabeth Anne в честь Миссис Парланд,

without whose kindness and care, both mother and child perhaps would have died.

См. <http://walkdenfamily.wikispaces.com>

В семье Парландов было два сына и четыре дочери (не считая умерших в младенчестве). Александр Иванович Парланд (1806–1887)* был старшим. Второй сын Иван Иванович Парланд (John Peter, 1809–1870) умер в Англии. Старшая дочь Elizabeth Louisa Parland родилась в 1807 г. Вторая дочь Frances Percy Parland (р. 1811) была замужем за английским предпринимателем Бердом. Источники упоминают также Mary

*По другим данным, которые кажутся менее вероятными, А. И. Парланд родился в 1799 г.

Ann Parland (р. 1813, в замужестве Морган) и Emily Constantia Parland (р. 1819).

^[42] *К с. 134.* По-видимому, именно к Ивану Ивановичу Парланду относится история, приведенная на сайте «Прогулки по Петербургу»:

При постройке железной дороги на Царское Село (1837) вокзал предполагали строить на набережной Фонтанки, на углу Введенского канала. Но владевший этим земельным участком некий Парланд запросил огромную сумму, и лишь поэтому современный Витебский вокзал стоит не на набережной Фонтанки, а на Загородном проспекте.

^[43] *К с. 135.* Этот портрет, вместе с портретом второй жены А. И. Парланда Эрнестины, находился в семье его внучки Марии Федоровны Вагнер; после ее смерти ее дочь Т. Н. Заднепровская отдала эти портреты Петраше-

ням.
^[44] *К с. 135.* Александр Иванович был женат трижды, о чем Анастасия Михайловна не знала. См. ниже примечание ^[47].

^[45] *К с. 135.* Упоминание о Марии Хельман и ее матери Амалии Хельман (рожд. Бальсер) обнаружилось в любопытных записках ее родственника англичанина Н. Крона (1888), предки которого обосновались в Петербурге при Екатерине и владели там пивоварнями. Крон пишет:

Дочь третьего брата моей бабушки Иоганна Бальсера, звали Амалией. Она вышла замуж за промышленника по имени Хеллман. У нее была только одна дочь Мария. Мария Хеллман была очень хорошенькой, но, к ее несчастью, у нее был очень грубый муж, англичанин по имени Александр Парланд. Она умерла молодой, оставив двух сыновей и дочь. Дочь ее звали Ольгой, она вышла замуж за немецкого предпринимателя Моля в Неаполе. У них уже было пятеро детей, когда ее муж застрелился вследствие коммерческих неудач. Это несчастье поставило ее вместе с детьми в ужасное положение. Ее бабушка Амалия Хеллман отправилась из Петербурга в Неаполь, и ее небольшое состояние было использовано для спасения ее внучки и правнуков. Они все вместе вернулись в Петербург, за исключением одной из девочек, которая осталась на несколько лет у их друзей в Штутгарте. Ольга давала уроки музыки и английского, и это позволило семье продержаться. Бабушка смотрела за хозяйством. Так прошло 10 или 15 лет. Понемногу дочери подросли и смогли помочь матери, так что прабабушка наконец смогла немного отдохнуть. Ее правнуки уже были в состоянии взять на свои плечи все домашние дела. Я очень восхищался этой живой и энергичной старой леди, когда я посетил Петербург. Третья из ее правнучек вышла замуж за промышленника Шписа, и весной 1888 г. у них уже было двое детей, так что Миссис Хеллман стала

пра-прабабушкой. Я повез ее в санях при -15° по Реомюру, так как она настаивала на том, чтобы повидать ее старшую праправнучку в день его рождения. Она хотел привезти девочке подарок! Вскоре, 26 апреля, она умерла после короткой болезни, в день своего рождения, когда ей исполнилось 88 лет. Ее правнучка пишет мне, что старая леди сохраняла ясность ума и продолжала радоваться жизни вплоть до самой смерти.

[46] *К с. 136.* Вюртембергский род фон Молей (von Mohl) оставил заметный след в истории — к нему принадлежало несколько видных немецких дипломатов и ученых (в их числе ботаник Гуго фон Моль, один из создателей, вместе со знаменитыми Шлейденом и Шванном, клеточной теории). Рассказ об их родстве с французским родом графов де ла Моле (de la Môle) мне кажется легендой — появление *h* в фамилии лингвистически трудно объяснимо.

[47] *К с. 136.* В семье почему-то считали Эрнестину дочерью пастора. По уточненным сведениям, ее отец Friedrich Heinrich von Scholvin (Федор Андреевич, 1789–1850), из остзейских немцев, был врачом, он окончил Дерптский университет и умер в Ревеле.

[48] *К с. 136.* После смерти второй жены А. А. Парланд женился в третий раз. По данным Erik-Amburger Datenbank (Ausländer in vorrevolutionären Russland), он умер в 1887 г. (Впрочем, Erik-Amburger Datenbank дает сомнительную дату его рождения (1799) и не дает никаких данных о его потомстве, так что доверять ему безоговорочно нельзя.) Его третья жена Elisabeth Höri (Елизавета Ивановна) родилась в 1836 г. и умерла в 1897 г. Как сообщает «Весь Петербург на 1897 г.», в 1896 г. она жила в Гатчине (Багговутская ул., 28). Вероятно, дети А. А. Парланда не одобрили этого брака, и это объясняет молчание Алисы Андреевны.

[49] *К с. 137.* Речь идет о Николо-Георгиевской церкви в с. Смогири Кардымовского района Смоленской области, построенной в 1884 г. по завещанию генерал-лейтенанта Ф. С. Ракеева (1798–1879). Церковь уцелела в советское время и была восстановлена в 2000–2005 гг. Любопытно заметить, что в 1837 г. Ф. С. Ракеев, в чине жандармского полковника, сопровождал тело А. С. Пушкина в Святогорский монастырь, а в 1862 г. он же арестовывал Н. Г. Чернышевского.

[50] *К с. 140.* Эту историю Анастасия Михайловна излагает неточно. С началом Второй мировой войны Вальтер Шпис был интернирован на Суматре как немецкий подданный; в начале 1942 г., после вступления в войну Японии (вскоре захватившей голландскую Ост-Индию), интернированные немецкие уроженцы были отправлены на корабле на Цейлон. У берегов Цейлона 19 января 1942 г. голландский корабль был торпедирован японцами. Команда не имела инструкций, что делать с немцами, и не выпустила их из трюма. Все они погибли. Таким образом, Вальтер Шпис действительно погиб в море, но Ольга Львовна не могла уже об этом узнать. Видимо, слух о его гибели распространился уже позднее.

Картины Вальтера Шписа и его дом на Суматре сохранились и относятся к местным достопримечательностям.

[51] *К с. 152.* После высылки Н. Э. Вальдгауэр в Астрахань в 1935 г. академик И. П. Павлов лично обратился с письмом к Молотову с просьбой о ее освобождении. Это обращение не имело успеха.

[52] *К с. 152.* Судьба Эдит Оскаровны сложилась еще более драматично. После возвращения в Ленинград она поступила в 1941 г. в Педиатрический медицинский институт, провела первую зиму в блокадном Ленинграде, а затем была эвакуирована через Ладогу весной 1942 г. в Ессентуки, где была арестована и сослана в Казахстан. В конце 1942 г. чудом выбралась из своей ссылки с «чистым» паспортом и переехала к Брокам, друзьям родителей, сосланным в Джамбул. В 1943 г. после смерти Артура Александровича Брока вместе с его дочерью Маргаритой Артуровной переехала в Томск, а в 1946 г. вернулась в Ленинград.

[53] *К с. 156.* См.: *И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого*. СПб: Изд-во Музея-института семьи Рерихов, 2011 г. С. 138–142.

[54] *К с. 161.* Этот рассказ Анастасия Михайловна написать не успела. Во время НЭПа Николай Иванович Умноф, служивший в каком-то учреждении бухгалтером, был ложно обвинен в растрате, оказался в тюрьме, в конце концов был освобожден, но сразу после этого умер. О его смерти Анастасия Михайловна написала в сохранившемся письме к тете Але (осень 1929 г.), смерть его все переживали очень тяжело.

[55] *К с. 165.* Эту историю пока не удастся уточнить. Наиболее известен адмирал В. Н. Верховский (1837–1917), но это явно не он. (Впрочем, сын В. Н. Верховского тоже попал на Соловки, откуда ему удалось выбраться благодаря помощи Е. П. Пешковой.) Возможно, речь идет о флота генерал-майоре Петре Верховском (1867–1940), похороненном на кладбище Сент-Женевьев-де Буа.

[56] Екатерина Павловна умерла в 1954 г. Одно время в квартире жил и ее брат Николай Павлович Бередников († 1959). Варвара Митрофановна, выйдя замуж, переехала в квартиру своего мужа А. В. Фролова в доме Бенуа на 3-й линии.

[57] *К с. 165.* Валерий Петрович Семенов-Тянь-Шанский был крупным юристом, специалистом по земельному праву; состоял при 2 департаменте Сената (перед революцией в должности товарища обер-прокурора), член Совета министра юстиции (1916), член Главного земельного комитета (1917), по поручению Временного правительства разработал план земельной реформы в России. Жена Валерия Петровича Капитолина Ивановна Кольцова — племянница знаменитого певца И. А. Мельникова, старого друга семьи Семеновых. В 1918 г. Валерий Петрович был арестован во время «красного террора» и чудом уцелел; с 1920 г. жил в эмиграции в Финляндии. Ему принадлежит одна из первых работ о ГУЛАГе «Что такое концентрационный лагерь», основанная, как он писал, «главным образом, на свидетельских показаниях тех вполне достоверных свидетелей, которые

лично прошли через „концлагерь” и волею счастливой судьбы вырвались» («Журнал Содружества». Выборг. 1935, № 3)

[58] *К с. 180.* Семья Сеземанов ведет свою историю в Финляндии еще с середины XVII в., когда в Выборг, после окончания Тридцатилетней войны, переселился любекский купец, ратман Ханс Давид Сеземан.

[59] *К с. 182.* Речь идет о М. В. Добужинском.

[60] *К с. 189.* См.: *Парланд, Георгий Андреевич (1890–1911)*. [Сочинения]. — Санкт-Петербург: Тип. М-ва путей сообщ., 1912. 199 с., 4 л. ил., портр. Эта книга, действительно, есть в Публичной библиотеке.

[61] *К с. 191.* По рассказу Веры Михайловны Семеновой-Тян-Шанской, перед революцией Василий Михайлович был членом партии с.-д. (меньшевиков); во время Гражданской войны на Украине он был арестован белыми и какое-то время провел в тюрьме, после чего вступил в партию большевиков. При этом он объяснял свое решение тем, что в тюрьме познакомился с арестованными большевиками, которые были все отъявленными негодьями и мерзавцами; Василий Михайлович полагал, что в правящей партии должны быть порядочные люди. (Об этом он говорил с Алисой Андреевной в Череповце в начале 1920-х гг.) Другой знаменательный разговор имел место в 1925–1926 гг.

— Василий Михайлович, — спрашивала Алиса Андреевна, — кто такой этот Сталин? . .

— Ах, Алисочка, — отвечал Василий Михайлович, — я знаю только одно — Владимир Ильич предупреждал ни в коем случае не давать ему власти.

Вера Михайловна запомнила этот разговор и рассказывала о нем после опубликования «Письма к съезду».

[62] *К с. 200.* Семилетний Вася остался с матерью в Москве и умер от менингита через несколько месяцев, в марте 1920 г.

[63] *К с. 201.* Написанный по-шведски роман Генри Парланда «Вдребезги» (Sönder) оставался малоизвестным до конца века. В 1995 г. был опубликован финский перевод, за ним последовали переводы на основные европейские языки (в том числе на русский), диссертации, исследования. Роман сделался бестселлером, а его автор признан классиком литературы.

[64] *К с. 310.* Драматическая история жизни В. Э. Сеземана во время немецкой оккупации и затем во время пыточного следствия и шестилетнего заключения в лагере под Тайшетом подробно описана в Интернете. См. <http://www.kolos.lt/ru/sovremenniki/177-filosof-kotoryj-ne-nauchilsya-mudrosti>

[65] *К с. 202.* Анастасия Михайловна оказалась неправа — после падения «железного занавеса» русская и финская ветви семьи стали снова сближаться. Последний из старых Парландов Герман многократно приезжал в Петербург и в Выборг. На русском языке появилось издание романа и стихотворений Генри Парланда, поэтика которого во многом была связана с современным ему русским авангардом. Правнучка Освальда журналистка Милена Парланд вышла замуж за русского Андрея Шербакова,

специалиста по информатике. Их дружная семья снова стала двуязычной и активно занимается историей английской, русской, шведской и финской ветвей семьи.

[66] *К с. 209.* «Демократический словарь» Елизаветы Александровны связан, может быть, с ее происхождением. Ее отец А. М. Эндауров (1850–1918), из дворян Пошехонского уезда Ярославской губернии, был одним из ранних народников, участвовал в кружке «чайковцев», в 1870-е гг. занимался революционной пропагандой, подвергался арестам; во второй половине жизни отошел от активной революционной деятельности и был директором Мальцевского хрустального завода в Брянском уезде.

[67] *К с. 249.* Статистик и пушкинист Петр Иванович Зиссерман (1888–1931) перед войной учился на экономическом отделении Петербургского Политехнического института (не окончил), затем служил в лейб-гвардии Егерском полку. Короткое время служил в армии Колчака, в 1920 г. работал статистиком в Енисейском Губземотделе, участвовал во Всероссийской переписи Красной армии и Флота по Восточно-Сибирскому военному округу; как бывший белый офицер арестован и выслан в Череповец, где работал в Губстатбюро под руководством М. Д. Семенова-Тян-Шанского. Переехав в Петроград, в 1923–1924 гг. служил статистиком в Северо-Западном Областземотделе. В октябре 1926 г. принят в штат Пушкинского Дома, где работал по июль 1930 г. научным сотрудником II разряда. Несколько его работ опубликовано в эти годы в сб. «Пушкин и его современники». Петр Иванович был в 1920-е гг. близким другом Михаила Дмитриевича. Через полгода после начала «дела Пушкинского Дома», 18 июля 1930 г. после обыска в своей квартире был арестован. Как бывшего офицера, его обвинили в участии в несуществующей «военной организации». 19 сентября уволен из Пушкинского Дома. Расстрелян в мае 1931 г. Гибель П. И. Зиссермана стала страшным ударом для всей семьи Семеновых, в том числе для 18-летней Станы.

[68] *К с. 249.* Геолог и географ Я. С. Эдельштейн, профессор ЛГУ с 1925, директор Географо-экономического института, был одним из основателей отечественной геоморфологии. По работе в Географическом обществе в предреволюционные годы он был хорошо знаком еще с П. П. Семеновым-Тян-Шанским. Жизнь его завершилась трагически — в 1949 г., в разгар борьбы с космополитизмом, он был арестован, обвинен в шпионаже и приговорен к 25 годам лагерей. Умер в тюремной больнице в 1952 г.

[69] *К с. 260.* В 1938 г. 27-летний Б. П. Колесников направил в партийную организацию Дальневосточного Филиала АН заявление «О вредительской деятельности А. С. Порецкого», приобщенное к делу. Участвовал он и составлении «акта научной экспертизы», подписанного 7 мая 1938 года оставшимися на свободе научными сотрудниками Филиала АН и использованного в следственном деле. Как один из ключевых «свидетелей», чьи показания и доносы легли в основу обвинительного заключения, Б. П. Колесников был вызван в 1954 г. на переследствие при начале реа-

билитации. Следователь Н. Н. Краснов, участвовавший в 1954 г. в расследовании дел, писал о профессоре Колесникове: «Он клялся, что покрывил душой и погубил хороших людей, которые верили ему. Об этом никто не знает. В суд его не вызывали, по ночам эти люди часто снятся ему. Я ответил, что я не судья, что материалы с его признанием будут доложены в прокуратуру и к нему, возможно, будут приняты административные меры за ложный донос. Ушёл он в глубоком транс. Я почему-то был уверен, что после всего пережитого им во время нашей беседы он покончит жизнь самоубийством. Но, увы, Колесников вскоре уехал на Конгресс мира».

Разгром Дальневосточного Филиала АН был масштабным — вместе с А. С. Порецким были арестованы В. О. Мохнач, К. Т. Метёлкин, П. А. Тихомолов, Б. В. Витгефт, И. П. Богович, В. И. Рубенау, А. Т. Булдовский, Л. В. Гернет, И. Н. Савич, М. Н. Арсеньева. Маргарита Николаевна Арсеньева, вдова Владимира Клавдиевича Арсеньева, была расстреляна; дочь Арсеньевых Наташа в 17 лет попала в лагерь. Были расстреляны Л. В. Гернет, И. П. Богович, Б. В. Витгефт и И. Н. Савич. Метёлкин, Порецкий, Рубенау погибли в тюрьмах и ссылках. В 1939 г. после нескольких волн арестов Дальневосточный филиал АН был закрыт.

Один из субъективно наиболее тяжелых моментов этой истории состоит в том, что Анастасия Михайловна в поздние годы жизни дружила с Б. П. Колесниковым (в то время уже профессором, членом-корреспондентом Академии наук), с которым она вместе состояла в Комиссии по охране природы. Они переписывались, он бывал у нас дома. После его смерти Анастасия Михайловна хлопотала о передаче его архива в Архив АН в Ленинграде. Конечно, то обстоятельство, что он был как бы учеником Артемия Сергеевича, служило в ее глазах как бы дополнительной рекомендацией. О его роли в деле А. С. Порецкого она ничего не знала.

[70] К с. 263. Владимир Николаевич Бенешевич (1874–1938) был арестован еще в 1922 г. по делу митрополита Вениамина, годом раньше ГПУ отстранило его от преподавания в Петроградском университете. В 1922 г. опубликовал «Скорбную летопись» — мартиролог ученых-гуманитариев, не переживших годы гражданской войны (в том числе убитых большевиками). В 1924 г. вновь арестован, но освобожден по заступничеству польского президента. (Вера Михайловна связывала это с тем, что Бенешевич был женат на дочери знаменитого эллиниста Ф. Ф. Зелинского, к тому времени уехавшего в Варшаву и занимавшего видное положение в польских академических кругах.) В том же году избран чл.-корреспондентом АН. В 1927 как секретарь Византийской комиссии АН СССР командирован в Германию, Францию и Италию. Как выдающийся исследователь христианской культуры удостоен аудиенции Папы Римского в Ватикане; Патриархом Иерусалимским награжден орденом Гроба Господня. Осенью 1928 г. баллотировался в действ. чл. АН СССР, но отвергнут отборочной комиссией историков. В ночь на 25 нояб. 1928 г. снова арестован и об-

винен в шпионаже в пользу Ватикана; в июне 1929 г. приговорен ОСО при Коллегии ОГПУ к 3 годам ИТЛ и отправлен на Соловки. В феврале 1930 г., в разгар «дела Академии Наук» вновь арестован на Соловках и привезен обратно в Ленинград. После содержания в карцере, запугивания расстрелом, арестов близких написал под диктовку «признание» о своих «переговорах» с Папой, который якобы обещал поддержку «заговору» российских академиков в обмен на переход православных в унию. По сценарию следователей, в правительстве, якобы сформированном заговорщиками, Бенешевичу отводилась роль «министра исповеданий». В августе 1931 г. постановлением Коллегии ОГПУ приговорен по ст. 58–11 к 5 годам ИТЛ. По март 1933 г. находился в УхтПечЛаге. После освобождения (досрочно, по ходатайству В. Д. Бонч-Бруевича) работал в Публичной библиотеке. Несмотря на всю шаткость своего положения, хлопотал о помощи со стороны АН бедствующим коллегам. В 1937 г. В. Н. Бенешевич вновь подвергся газетной травле в связи с публикацией в Германии подготовленной им рукописи Иоанна Схоластика. Он был уволен с работы и исключен из АН. Аресту В. Н. Бенешевича в октябре 1937 г. предшествовал обыск в его квартире, причем следователи имели ордер на арест одного из его сыновей-близнецов, но увели обоих. . . Арест братьев Бенешевичей был особенно тяжелым ударом для Веры Михайловны — Митя был в нее влюблен, но они не успели объясниться. . . Вдова В. Н. Бенешевича ничего не знала о судьбе мужа и сыновей вплоть до начала реабилитации в середине 1950-х гг. и продолжала надеяться на их возвращение. В конце 1950-х гг. Анастасия Михайловна познакомилась со старым соловчанином Авениром Петровичем Обновленским, сидевшим в лагере вместе с В. Н. Бенешевичем. Это было первое известие о его судьбе, но оно относилось к его предыдущему аресту. . . Правды о судьбе В. Н. Бенешевича и его сыновей пришлось дожидаться еще 30 лет. (См.: Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917–1991). Сост. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. — СПб.: Петербургское Востоковедение. 2003.)

[71] *К с. 266.* Муж Марьи Львовны Лурье геолог и петрограф Соломон Давидович Цирель-Сприңсон (1900–1988) арестован в 1936 г. и повторно (в лагере) в 1938 г., в заключении на Колыме до 1942 г., вновь арестован в 1949 г. в Ленинграде, приговорен к 10 годам ИТЛ, освобожден и реабилитирован в 1956 г. О нем см. в кн: Анна Ахматова. Материалы юбилейной выставки НИКА. С.-Петербург 2009.

[72] *К с. 285.* Елена Андреевна Шингарева (1906–2003) — дочь знаменитого русского политика и государственного деятеля А. И. Шингарева, члена Государственной Думы II–IV созывов (1907–1917), министра земледелия в первом составе Временного правительства, убитого большевиками в 1918 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аболин Роберт Иванович (1886–1939), геоботаник, почвовед, географ, профессор кафедры геоботаники биолого-почвенного факультета Ленинградского университета. 18 декабря 1937 г. арестован. 17 января 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорен к расстрелу, 192, 244, 266, 267
- Абрамов Иван Иванович (1912–1990), ботанико-географ, бриолог, доцент кафедры ботанической географии геофака ЛГУ 220, 228, 231, 234
- Александрова Екатерина, двоюродная сестра Елены Константиновны Фандерфлит, 131
- Алексей, денщик М. Д. Семенова-Тян-Шанского, 19, 20
- Алехин Василий Васильевич (1882–1946), геоботаник, флорист, профессор, организатор и заведующий кафедрой геоботаники МГУ 243
- Андреев Владимир Николаевич (1907–1987), геоботаник, исследователь Арктики, сотрудник Института оленеводства, профессор 245
- Анисья Андреевна Трайденкова, няня в семье М. Д. Семенова-Тян-Шанского 13, 19, 22, 23, 26, 31, 39, 44, 47, 49, 57–59, 61–65, 69, 76, 77, 81–83, 85, 86, 93–97, 100, 102, 106, 108
- Анна Карповна, няня в семье Д. П. и Е. М. Семеновых-Тян-Шанских, 25
- Аркадьев Георгий Владимирович (1899–?), главный художник Ботанического музея 267, 278, 281, 288
- Арнольди Константин Владимирович (1901–1982), энтомолог, доктор биологических наук 207, 234
- Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930), географ, исследователь Дальнего Востока, писатель 312
- Арсеньева Маргарита Николаевна (1892–1938), жена В. К. Арсеньева, научный сотрудник Дальневосточного филиала АН, расстреляна в 1938 г. 312
- Артемьев Иван Николаевич, учитель химии 123
- Ахматова Анна, поэт 87
- Бабыч Валентин Павлович, р. 1884, жандармский ротмистр в Хабаровске 293
- Базилевич Наталья Ивановна (1910–1997), географ-почвовед, специалист в области биологии почв и биопродуктивности, доктор с.-х. наук 275
- Барсукова Нина Александровна, р. 1914, одноклассница А. М. Семеновы-Тян-Шанской, 126, 131
- Бауер Василий Васильевич, товарищ обер-прокурора I деп. Прав. Сената, сослуживец Вал. П. Семенова-Тян-Шанского, расстрелян в сентябре 1918 г. 303
- Бахтин Лев, студент, геоботаник, погиб на фронте 249
- Башмаков, комиссар 96
- Беджызаты Чермен (1898–1937), осетинский советский писатель, репрессирован 212, 224, 232
- Бекман (рожд. Шретер) Антонина Логиновна (Нитка), жена Ю. И. Бекмана 172
- Бекман Юлий Иванович (1880–1929), энтомолог, владелец имения Плоское 172

- Беляев Михаил Дмитриевич (1884–1955), пушкинист, теоретик музейного дела, организатор и заведующий Литературным музеем Пушкинского Дома, создатель Музея-квартиры А. С. Пушкина. В 1929 г. был репрессирован по академическому делу и сослан на Соловки, освобожден по ходатайству М. В. Нестерова 249
- Бенешевич Владимир Николаевич (1874–1938), чл.-корр. АН, византист, археограф и историк канонического права. Расстрелян 27 янв. 1938 г., 263, 312
- Бенешевич Георгий Владимирович (1911–1938), сын В. Н. Бенешевича, научный сотрудник Радиевого института, расстрелян, 263, 313
- Бенешевич Дмитрий Владимирович (1911–1937), его брат-близнец, научный сотрудник Радиевого института, расстрелян, 263, 313
- Бенешевич Дмитрий Николаевич (1877–1938), брат В. Н. Бенешевича, геолог, преподаватель Горного института, арестован в 1930 г. по «делу Академии Наук», постановлением Коллегии ОГПУ осужден в августе 1931 г. на 5 лет ссылки. Вновь арестован в 1937 г., расстрелян 263, 313
- Бенешевич Людмила Фаддеевна (1888–1967), рожд. Зелинская, жена В. Н. Бенешевича, библиотекарь 5-го отделения Публ. Библиотеки, арестована в апреле 1930 г., приговорена к 5 годам ИТЛ, освобождена условно-досрочно в 1934 г., после ареста и гибели мужа и сыновей работала библиотекарем, ассистентом кафедры иностранных языков. Сохранила научный архив В. Н. Бенешевича и передала его в Архив АН 263
- Бенешевичи 263
- Бенуа 137, 138
- Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник график, живописец, театральный художник, издатель, мемуарист 137, 139, 183, 240
- Бенуа Леонтий Николаевич, (1856–1928), академик архитектуры 137, 138, 173, 183
- Бенуа Николай Леонтьевич, (1813–1898), академик архитектуры 137
- Бередицкие, см. Мясоедовы
- Берг Лев Семенович (1876–1950), зоолог, географ, президент Географического общества (1940), академик (1946) 245, 249
- Берг Раиса Львовна (1913–2006), его дочь, генетик, профессор, в эмиграции с 1974 г.* 249
- Берута Карловна, художница Ботанического музея, репрессирована в 1937 г. 267
- Благовещенская (Парланд) Маргарита (Дези) Андреевна (1884–1959), жена Н. В. Благовещенского 21, 22, 29, 70, 71, 80, 87, 89, 93, 146, 153, 154, 157–160, 172, 173, 176, 180, 182, 185, 187, 189, 191–196, 202
- Благовещенская Елена (Недли) Николаевна, биолог 152, 153, 157, 193
- Благовещенская Мария (Майя) Николаевна (1915–2006), геолог 21, 22, 29, 31, 70, 113–115, 140, 142, 146, 147, 192, 193, 195, 196, 199
- Благовещенская Маргарита (Дези) Николаевна (1918–1985) 70, 80, 93, 113, 115, 193, 195
- Благовещенские 76, 93, 112, 115, 143, 153, 192–196, 199
- Благовещенский Всеволод Петрович, капитан I ранга, дворянский брат Благовещенских 193
- Благовещенский Георгий (Марк) Николаевич, специалист по водному транспорту 193, 271
- Благовещенский Игорь Петрович,

* См. ее книгу: *Суховой. Воспоминания генетика*. М. «Памятники исторической мысли», 2003 г.

- скрипач, двоюродный брат Благовещенских 193
- Благовещенский Николай Васильевич, † 1932, химик, почвовед, умер от сыпного тифа во время экспедиции в Средней Азии 29, 70, 71, 187, 192–196
- Благовещенский Элий Николаевич (1912–1967), биолог-почвовед, доктор географических наук, сотрудник Репетекского заповедника 13, 21, 22, 29, 31, 70, 93, 94, 113, 146, 192, 193, 195, 196, 199, 246, 249, 266
- Бобриков Николай Иванович (1839–1904), русский военный и государственный деятель, генерал-губернатор Финляндии 137
- Бобров Евгений Григорьевич (1902–1983), ботаник, флорист, сотрудник Гербария, доктор биологических наук 245, 248, 288
- Богович Игнатий Павлович (1905–1938), научный сотрудник Дальневосточного филиала Академии Наук, расстрелян 312
- Бодиско Александра Александровна (1891–1941), ботаник, умерла во время блокады 274
- Болдырев Алексей Николаевич (1884–1942), муж В. Д. Семеновой-Тян-Шанской, юрист, библиофил, умер во время блокады 295
- Борисова Антонина Георгиевна (1903–1970), ботаник, профессор, специалист по флоре пустыни и засушливых экосистем Центральной Азии 248
- Бородин Иван Парфеньевич (1847–1930), ботаник, популяризатор науки, зачинатель российского природоохранного движения, академик (1902) 251
- Боч Марина Сергеевна (1931–1998), геоботаник, ботологед, профессор 11
- Брок Артур Александрович (1867–1943), филолог-классик, профессор 152
- Бруни Николай Александрович (1856–1935), художник 138
- Булдовский Александр Теофилович (1887–1937), заведующий гидробиологическим отделом в Дальневосточном филиале Академии наук, расстрелян 312
- Буткевич Вера Николаевна, сестра О. Н. Буткевич, машинистка 256, 287
- Буткевич Наталия Николаевна, секретарь Н. И. Кузнецова 256
- Буткевич Ольга Николаевна, машинистка Отдела геоботаники 239–241, 254–256, 269, 270, 274, 279, 287
- Буш Елизавета Александровна, рожд. Эндаурова (1886–1960), жена Н. А. Буша, ботаник, доктор наук, профессор 9, 204, 205, 245, 269
- Буш Николай Адольфович (1869–1941) профессор, ботаник-географ, флорист, чл.-корр. РАН (1920) 9, 204, 205, 245, 253
- Буши 259–261
- Вавилов Николай Иванович (1887–1943), член-корр. АН (1923), академик (1929), президент Географического общества, арестован 6 авг. 1940 г., умер в Саратовской тюрьме от голода 23 янв. 1943 г. 234, 275, 283
- Вагнер (рожд. Парланд) Мария Федоровна, (1890–1964), преподаватель, библиотекарь, жена Н. П. Вагнера. После ареста мужа выслана в Башкирию, где прожила в ссылке до 1946 г. 143, 147
- Вагнер Николай Петрович (1890–1938), выпускник гимназии К. Мая, окончил курсы гардемаринов и Физический факультет Университета, гидрограф, сотрудник Гидрографического института, арестован НКВД в ноябре 1937 г., расстрелян 8 янв. 1938 г. 147
- Валуев Александр Михайлович, начальник работ по шлюзованию Шексны, статский советник 51
- Валуев Павел Александрович, его сын, производитель работ на переустройстве

- Северо-Двинской системы 51
- Валуевы 96
- Вальдгауэр (рожд. Рюккер) Нина Эрнстовна, (1892–1938) жена О. Ф. Вальд гауэра, преподаватель иностранных языков. Арестована через два месяца после смерти мужа в марте 1935 г., выслана вместе с дочерью в Астрахань, повторно арестована в 1938 г. и расстреляна 23, 89, 149, 151, 152
- Вальдгауэр Оскар Фердинандович, (1883–1935) профессор, специалист по античной культуре, окончил Мюнхенский университет, сотрудник Эрмитажа с 1904 г., с 1913 г. хранитель Отделения древностей, с 1918 г. — заведующий, с 1926 г. — заместитель директора Эрмитажа, с мая 1927 по февраль 1928 г. — директор* 89, 151, 152
- Вальслебен Магдалена фон, баронесса, руководительница германской миссии Красного Креста, направленной в сибирские лагеря военнопленных в 1915 г. 293
- Ванька, сын няни Анисьи, 22, 83, 85
- Василиса Семеновна, истошница в Отделе геоботаники, 242
- Васильев Виктор Николаевич (1890–?), сотрудник Гербария, профессор 275
- Васильев Я. Я., сотрудник Отдела геоботаники, умер в феврале 1942 г. 288
- Васильев Леша 173
- Васнецов В. М., художник, 138
- Вегенер Альфред Лотар (1880–1930), немецкий геолог 254
- Вельцина Варвара, † 1943, первая жена В. И. Петрашеня 104
- Вернадский Владимир Иванович (1863–1945), академик 254
- Верховская (Шишкова) Александра Михайловна (Шура), жена адмирала Верховского, подруга Алисы Андреевны Парланд 23, 91, 165
- Верховский Сергей, его сын, погиб в 1920-х гг. на Соловках 23, 165
- Видеман Карл Германович (1850–1918), доктор медицины, директор родильного дома 27
- Виноградов Веньямин Александрович, † ок. 1970, учитель физики в 217-й школе 124
- Витгефт Борис Владимирович (1900–1938), геолог, сотрудник Дальневосточного филиала АН, расстрелян в 1938 г. 312
- Волошин Максимилан Александрович (1877–1932), поэт 87
- Воробьев Дмитрий Петрович (1906–?), ботаник, работал на Дальнем Востоке, участник Курильской комплексной экспедиции (1946) 260
- Вульф Евгений Владимирович (1885–1941), ботаник, флорист и биогеограф, работал в Никитском ботаническом саду, с 1934 г. профессор Ленинградского педагогического института им. Покровского, погиб во время блокады 252
- Гаазе Ольга Федоровна (1898–?), ботаник, бриолог, жена Ф. В. Самбука 210, 261
- Габлер Эрика Николаевна (1893–1942), преподавательница немецкого языка в 217-й школе, умерла во время блокады 124
- Гаель Александр Гаврилович (1900–1990), геоботаник и почвовед. Исследовал пески Дона, Прииртышья, Приаралья, после ареста Р. И. Аболина заведовал Бюро освоения пустынь ВИРа. Арестован в авг. 1941 г. за прочтение (при рытье окопов под Ленинградом) фашистской листовки. В сентябре вывезен через Ладогу в Мариинскую тюрьму, где находился до июня 1942 г.

*См.: *Е. В. Мавлеев*. Вальдгауэр. Издательство Государственного Эрмитажа. СПб.: 2005

- В 1942–1946 гг. в лагере в Томске (изготовление мин на военном заводе), с 1955 — на биофаке МГУ. Профессор, доктор с.-х. наук 266
- Галаев Г. А., председатель горсовета в Цхинвали, репрессирован в 1937 г. 232
- Галкина Екатерина Алексеевна (1897–?), ботаник, болотовед, кандидат биологических наук 241, 258, 259, 274, 278
- Гальская Марья Николаевна 51, 52
- Гальская Муся 51, 52
- Гальская Настя 51
- Гальские, семья помещиков в Череповце 33, 51, 52, 59, 65
- Гамален, семья 68, 107–113, 115
- Гамалей Владимир Алексеевич, инженер 50, 105–108, 110
- Гамалей Екатерина Владимировна (1916–1970), его дочь, ученица 217-й школы, картограф 50, 107, 109, 111, 113, 115, 120, 129, 130
- Гамалей Надежда Владимировна, †1986, ее сестра, ученица 217-й школы, врач-терапевт 109, 111, 113, 115
- Гамалей (рожд. Пузыревская) Надежда Нестеровна, жена В. А. Гамалея 50, 105, 107–113, 115, 116, 118
- Гамалей Наталья Владимировна (1914–1954), дочь В. А. Гамалея, ученица 217-й школы, специалист по астрофотометрии кандидат физ.-мат. наук 50, 107, 111–115, 125, 126, 128–131
- Гамалей, гетман, 109
- Гамалей Ольга Александровна, мать В. А. Гамалея 109
- Гамалей Ольга Владимировна (1912–1975), дочь В. А. Гамалея, ученица 217-й школы, инженер, гидротехник 50, 107, 109, 111, 114
- Гамс Хельмут (1893–1976), австрийский ботаник, геоботаник, палеоботаник и миколог 241
- Гейдеман Татьяна Сергеевна (1903–1995) ботаник, работала в Молдавии, директор Кишиневского Ботанического сада 211
- Гейман Эгон Феликсович, Гейман (1889–1915), товарищ Г. А. Парланда и А. Д. Семенова-Тян-Шанского по майской школе, во время I Мировой войны в Действующей армии, ранен при взятии Львова, умер в госпитале от ран 7, 174, 176, 180, 187, 188
- Герасимов Евгений, реставратор, сотрудник Эрмитажа 141
- Герасимов Иннокентий Петрович (1905–1985), географ, академик, директор Института географии АН (1951–1985) 62, 245, 270, 271, 272
- Гербих Александр Александрович, сотрудник Отдела геоботаники, картограф 246, 247, 248, 255, 274, 279, 288
- Гернет Любовь Владимировна (1900–1938), секретарь-переводчик в редакционном издательстве отдела ДВ филиала Академии Наук, расстреляна 312
- Гетгиева Нина, заведующая Краеведческим музеем в Сталинири (Цхинвали) 212, 227
- Гиляров Меркурий Сергеевич (1912–1985), зоолог, энтомолог, основоположник почвенной зоологии, академик (1974) 11
- Гишпиус Зинаида (1869–1945), поэтаесса 87, 304
- Годлевская (Аболина) Татьяна Робертовна, дочь Р. И. Аболина, сотрудник Сельскохозяйственного института в г. Пушкине 267
- Городков Борис Николаевич (1890–1953), геоботаник и географ, исследователь Севера 241, 243–245, 247, 253
- Горшкова Антонина Александровна (1926–1992), ученица А. М. Семеновой-Тян-Шанской, ботаник и эколог, докт. биол. наук, исследователь степей 11
- Горшкова София Геннадиевна (1889–1972), сотрудница Гербария 288
- Гроссгейм Александр Альфонсович (1888–1948), ботаник, академик, в 1929–1946 гг. профессор Азербайджанского университета 207, 211, 234, 264

- Грот Наталья Петровна, урожд. Семенова (1825–1899), старшая сестра П. П. Семенова-Тянь-Шанского 300
- Грот Наталия Яковлевна, ее дочь (1860–1918, расстреляна) 6, 300
- Грот Яков Карлович, (1812–1893), академик (1858), вице-президент Имп. Академии Наук (1889–1893) 300
- Гульбина Марья Александровна, учительница природоведения в 217-й школе 125–128
- Гусак Б. В., участник комплексной экспедиции по изучению эрозионных процессов на Русской равнине (1939) 272
- Дамперова Зинаида Дмитриевна (1908–1990), литературовед 62
- Дамперова Ирина Дмитриевна 62
- Дамперова Ольга Андреевна 62
- Данилова Женья, ученица 217-й школы, председатель школьного ученического совета (ШУС) 122, 130
- Десятова-Шостенко Наталья Алексеевна (1889–1968), украинский геоботаник, флорист, систематик, во время оккупации Киева работала в Институте сельскохозяйственной ботаники, в 1944 г. уехала на Запад, умерла в Париже 271
- Десятовский (Саблер) Сергей Владимирович (1877–1937), секретарь Русского географического общества, арестован в Петрограде в 1918 г., перевезен в Москву и направлен в трудовую, в которой находился на тяжелых работах до весны 1920 г., работал референтом и техническим переводчиком в Москве и в Челябинске (на строительстве тракторного завода), расстрелян в Бутово в октябре 1937 г. 302
- Десятовский (Саблер) Юрий Владимирович (1876–1918), дипломат, расстрелян в авг. 1918 г. 6, 302
- Джиджоев Иван Петрович, председатель ЦИК Южной Осетии, репрессирован и погиб в 1937 г. 211, 212, 227, 232
- Димо Николай Александрович (1873–1959), почвовед, один из основателей Среднеазиатского университета в Ташкенте в 1918 г. Арестован органами ОГПУ в декабре 1930 г. по „делу Туркестанской ирригации“. Под следствием до июля 1931 года. Коллегией ОГПУ осуждён к расстрелу, заменённому 10 годами принудительных работ. Освобождён в феврале 1932 г. С 1945 года — в Молдавии (заведовал кафедрами почвоведения в Сельскохозяйственном институте и университете, был директором Почвенного института) 244
- Дмитриев Андрей Михайлович (1878–1946), ботаник, луговед, профессор Московской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева 210, 224
- Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957), художник, с 1924 г. в эмиграции 183, 310
- Долуханов Армен Георгиевич (1900–?), грузинский ботаник 207
- Докучаев Василий Васильевич (1846–1903), почвовед, профессор Петербургского университета 182, 235, 240
- Дохман Генриетта Исаковна (1897–1975), геоботаник, доктор биологических наук, профессор 243
- Дыренков Станислав Алексеевич (1937–1988), ботаник, специалист в области лесоведения и экологии 11
- Ельчанинов Михаил Иванович (1842–1900), контр-адмирал, в чине капитана 1 ранга командовал крейсером «Адмирал Корнилов» (1891–1894) 173
- Ельчанинова Вера Михайловна, подруга Э. А. Семеновой-Тянь-Шанской, крестная мать ее дочери Веры 91, 173, 174
- Ельчанинова Софья Михайловна 173

- Еремина Софья Григорьевна (Соня), крестьянка, в 1917 г. невеста Л. Д. Семенова-Тян-Шанского 61, 300
- Ефимова Марфа Ефимовна (1869–1943), домоправительница А. П. Семенова-Тян-Шанского, умерла во время блокады 286
- Жерве, университетский приятель Андрея Андреевича Парланда 170
- Заварзин Алексей Алексеевич (1886–1945), гистолог, академик АН СССР (1943) и АМН СССР (1944), генерал-майор медицинской службы (1944) 280
- Заднепровская Александра Юрьевна (Саша), этнограф, музейный работник 135, 147
- Заднепровская Татьяна Николаевна, рожд. Вагнер (1926–2001), библиограф 147
- Заднепровский Юрий Александрович (1924–1999), археолог, доктор ист. наук 147
- Заленский Олег Вячеславович (1915–1983), профессор, зав. лаборатории экологии и физиологии фотосинтеза БИН 246, 266
- Звездкин, доктор 69, 80, 81
- Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944), эллинист, профессор Петербургского университета (1885–1921), с 1921 г. в эмиграции в Польше 312
- Зиссерман Петр Иванович (1888–1931), статистик, пушкинист. Расстрелян в мае 1931 г. 249, 311
- Зубков Александр Иванович, ботаник, сотрудник Института Оленеводства, участник арктических экспедиций 245
- Иванова Евгения Николаевна (1889–1973), почвовед, доктор сельскохозяйственных наук 271
- Ивашев Василий Петрович (1797–1840), декабрист 124, 250
- Ивашева (рожд. Ле Дантю) Камилла (1808–1840), жена декабриста В. П. Ивашева 124, 250
- Ивашева Наташа, племянница В. П. Фандерфлит 129
- Иголкин, ученый секретарь БИН 248, 249
- Игошина Капитолина Николаевна (1894–1975), ботаник, исследователь флоры Урала и Прикамья 250
- Измайлов Николай Васильевич (1893–1981), литературовед, пушкинист. В 1929 году арестован по «делу Академии наук», в 1931 году получил пять лет лагерей 249
- Ильин Модест Михайлович (1889–1967), ботаник, сотрудник Ботанического ин-та АН СССР, проф. Ленинградского университета 267
- Ильина (рожд. Мясоедова) Наталья Митрофановна, машинистка 165
- Ильинский Алексей Порфирьевич (1888–1945), геоботаник и биоценолог, доктор биологических наук (1934), профессор Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена 237, 239, 241, 247, 253, 269, 288
- Ильины, семья 165
- Инбер Вера (1890–1972), советская поэтесса 277
- Иностранцев Александр Александрович (1843–1919), геолог, палеонтолог, профессор, основатель кафедры геологии СПб университета, чл.-корр. АН (1901) 181
- Иогансон Валентина Ефимовна (1912–1987?), гидролог, сотрудница Института географии 62
- Иогансон, семья 62
- Кабанов Николай Евгеньевич (1905–1992), дальневосточный ботаник и лесовод, доктор биологических наук, профессор 260
- Калесник Станислав Викентьевич (1901–1977), физико-географ и гляциолог, доктор географических наук, профессор, академик (1968), президент Географического общества (1964–1977) 283, 286

- Калинина Агнесса Васильевна, ботаник, сотрудница отдела геоботаники 239, 241, 265, 273, 275
- Калинович Борис Юлианович (1887–1949), инженер путей сообщения, гидротехник, профессор 51
- Каракулин Борис Палладиевич (1888–1942), миколог, умер во время блокады 285
- Карасик Владимир Моисеевич (1894–1964), фармаколог, акад. АМН СССР (1964) 280–282
- Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), художник 183
- Кареницкий Е. Ф., дядя З. В. Семеновой-Тянь-Шанской 292
- Катанская Валерия Михайловна (1910–?), ботаник, специалист по водной растительности 246
- Катанская Галина Анатольевна (1910–?), ботаник, биохимик 246
- Карпинский Александр Иванович (1872–?), врач-невропатолог 19, 20
- Кашкаров Даниил Николаевич (1878–1941), зоолог, один из основателей отечественной школы экологов, профессор кафедры зоологии позвоночных ЛГУ 243, 244, 283
- Кварацхелия Георгий Павлович, ботаник, студент Н. А. Буша 206, 210, 211, 214, 217, 219, 228, 229, 233
- Келлер Борис Александрович (1874–1945), ботаник, почвовед, академик АН СССР (1931) 243, 244, 248–250
- Келлер Эмилия, его жена 249
- Кениги, семья 138
- Кесь Александра Семеновна (1910–1993), геоморфолог, палеогеограф, сотрудник Географического института АН, доктор географических наук, подруга А. М. Семеновой-Тянь-Шанской 10, 60, 271, 272, 275, 276
- Кецховели Николай Николаевич (1897–1982), ботаник, академик АН Грузии (1941) 209, 211
- Кириштен, семья 138
- Кириштен Эмиль, владелец фабрики «Скорород» 182
- Клеопов Юрий Дмитриевич (1902–1942), геоботаник, основатель отдела геоботаники в Институте ботаники на Украине 270, 271
- Кнорринг Ольга Эвертовна (1887–1978), ботаник, систематик, жена почвовода С. С. Неуструева (1874–1928) 288
- Кобозев Николай Сергеевич, ученик Вен. П. Семенова-Тянь-Шанского, сотрудник Географо-экономического института, геоморфолог, учитель географии в 217-й школе 123
- Козлянинов В. М., инженер в Череповце 96
- Колбасьев Юрий Викторович, действительный статский советник, служил в Судебном департаменте Сената, расстрелян в сентябре 1918 г. 303
- Колесников Борис Павлович (1911–1980), ботаник, профессор, чл.-корр. АН (1970). В 1938 г., работая в Дальневосточном филиале АН, направил в партийную организацию ДВФАН заявление «О вредительской деятельности А. Порецкого», приобщенное к делу; участвовал в составлении «акта научной экспертизы», подписанного 7 мая 1938 года оставшимися на свободе научными сотрудниками Дальневосточного филиала АН и усугубившего положение арестованных 260, 311, 312
- Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945), ботаник и географ, вице-президент (1930–1936) и президент (1936–1945) Академии наук СССР 192, 206, 232, 248, 260, 265, 280
- Комаров Николай Федорович, доктор биологических наук, зав. Ботаническим музеем 251, 252, 271, 273, 274, 276, 288
- Комаровская Вера Васильевна, жена инженера Комаров-

- ского 50
- Комаровские 50
- Комаровский Александр Николаевич (1906–1973), генерал 50, 59, 65, 297, 298
- Кондриков Василий Иванович, директор Горно-обогатительного комбината «Апатит», арестован 16 марта 1937 г., расстрелян 25 августа 1938 г. 258
- Коношлев Борис Алексеевич, (1890–1942), 1-й муж В. Д. Семеновой-Тянь-Шанской, во время I мировой войны поручик бронедивизиона, умер во время блокады 25
- Корчагин Александр Александрович (1900–1977), ботаник, географ 208, 210, 269
- Костецкий Павел Валентинович, предприниматель 34
- Костылева Татьяна Евтихievна преподаватель математики в 217-й школе 132
- Кракау Василий Александрович (1857–1935), выпускник и 2-й директор гимназии К. Мая в 1890–1906 гг. 163
- Красильников Павел Константинович (р. 1909), ботаник, лесовод 271, 272
- Краснов Веньямин Аполлонович (1887–1941), директор школы № 217, преподаватель литературы, подвергнут травле и изгнан из школы в 1929 г., умер во время блокады 122, 124, 132
- Крашенинников Ипполит Михайлович (1884–1947), ботаник и географ, доктор биологических наук (1934), профессор (1939), заслуженный деятель науки РСФСР (1947) 267
- Кречетович Виталий Иванович (1901–1942), ботаник, сотрудник Гербария 210, 245, 248
- Крушинская Злата Николаевна (1905–1957), жена В. М. Крушинского, домохозяйка, беловейка. Арестована 8 октября 1937 г., приговорена ОС НКВД СССР 2 ноября 1937 г. как ЧСИР к 8 годам ИТЛ. В заключении в Томском лагере ЧСИР. 13.11.1939 прибыла в Магадан, 12.04.1945 освобождена по отбытии срока 261, 262
- Крушинский Виктор Михайлович (1905–1937), инженер, начальник инструментального цеха завода ГОМЗ им. ОГПУ. Арестован 24 июля 1937 г., расстрелян 20 сентября 1937 г. 262
- Крушинский Миша, сын Крушинских 261, 262
- Кузенова О. А., ботаник, сотрудник Гербария 205
- Кузнецов Николай Иванович (1864–1932), ботаник, член-корреспондент АН (1903), 237, 239, 256, 260
- Кунин Владимир Николаевич (1906–1976), гидрогеолог, член-корреспондент АН (1969) 255
- Куприянова Людмила Андреевна (1914–1987), палинолог и систематик, доктор биологических наук, жена Е. Г. Боброва 288
- Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957), историк Петербурга, химик-технолог, профессор Технологического института и Института истории искусств 139
- Кюстер, семья 90, 149, 150, 151, 171
- Кюстер Анна Николаевна, сестра М. Н. Парланд 16
- Кюстер Вильгельм Николаевич, дядя Вилли (1862–1923?), брат М. Н. Парланд 23, 90, 149, 150, 160
- Кюстер Василий, его сын 150
- Кюстер Вера, его дочь, вышла замуж и уехала в Японию 90, 150
- Кюстер Иосиф (1765–1826), прадед М. Н. Парланд 150
- Кюстер Николай, сын В. Н. Кюстера 150
- Кюстер Лили Николаевна, сестра М. Н. Парланд 149, 150
- Кюстер Николай Васильевич (1826–1870), отец М. Н. Парланд 149, 150
- Кюстер Тамара Васильевна, дочь В. Н. Кюстера, в замужестве Петрова 90
- Кюстер Шарлотта (1769–1856), прабабушка М. Н. Парланд 150, 151
- Кюстеры 89

- Лавренко Евгений Михайлович (1900–1987), геоботаник, академик (1968) 232, 237, 239–241, 247, 248, 251–253, 255, 265, 267–272, 274–276, 278, 280, 282, 283
- Лавренко Татьяна, его дочь 239, 268, 278
- Лавренко Юрий, его сын 239, 278
- Лаврова (рожд. Семенова-Тян-Шанская) Евгения Михайловна, историк 58, 147
- Лазаренко Андрей Созонтович (1901–1979), бриолог 247, 248
- Ламанский Владимир Иванович (1833–1914), славист, историк, академик 176
- Ламанская Вера Владимировна (1876–1940), его дочь, жена Вен. П. Семенова-Тян-Шанского 167
- Ларин Иван Васильевич (1889–1972), ботаник, специалист по луговедению, доктор биологических наук (1935), профессор (1930), герой Социалистического Труда (1966) 252, 267, 274
- Левина Фанни Яковлевна (1898–1975), сотрудник Отдела геоботаники, автор книги «Геоботаника в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР» (1972) 248, 274
- Ледовская (Зайцева) Елена Матвеевна (р. 1937), дочь А. И. Петрашень, канд. физ.-мат. наук 203
- Лейсле Фрида, сестра жены акад. Б. А. Келлера, ботаник 249
- Лемешев Сергей Яковлевич (1902–1977), певец 144
- Лентовская (Милотина) Марья Ивановна, дочь И. А. Милотина, помещица 34, 40
- Лесков Александр Иванович (1902–1942), ботаник, доктор биологических наук 206, 208, 210, 224, 226, 233, 239, 241–244, 247, 248, 250, 251, 256, 259, 260, 263, 268, 269, 275, 278–280, 283–285, 287–289
- Лесков, о. Иоанн Степанович (1872–1938), его отец, в 1913–1917 гг. настоятель Александро-Невского крепостного собора в Свeаборге, после революции служил в приходских церквях в окрестностях Ленинграда, арестован в марте 1938 г., расстрелян 12 марта 263
- Лескова Анна Алексеевна, его жена, после гибели о. Иоанна выслана в Рыбинск, в 1946 г. вернулась в Ленинград, умерла в 1956 г. 263
- Лесников Дмитрий Николаевич, сын И. Н. Лесниковой 161
- Лесникова (Умнова) Ирина Николаевна, дочь Н. И. Умнова 23, 29, 123, 130, 161
- Лесникова Татьяна Николаевна, дочь И. Н. Лесниковой 161
- Липовский Александр Лаврентьевич (1867–1942), педагог, общественный деятель, историк, филолог, библиограф, в 1906–1920 гг. директор гимназии К. Мая 122
- Литвинов Дмитрий Иванович (1854–1929), ботаник, флорист и ботанико-географ 251
- Личков Борис Леонидович (1888–1966), геолог. Арестован в 1934 г., до 1940 г. находился в лагерях, работал инженер-геологом на гидротехнических объектах (строительство каналов Мариинская система, канал Москва-Волга), подведомственных НКВД и имел возможность иногда публиковать научные статьи. Благодаря вмешательству В. И. Вернадского получил возможность вести научную и преподавательскую работу в Средней Азии, в 1942 г. защитил докторскую диссертацию. С 1945 г. до конца жизни жил в Ленинграде, был профессором Ленинградского университета, заведующим кафедрой геоморфологии 254, 255
- Лозина-Лозинская Агния Сергеевна, ботаник, сотрудница Ботанического института 248

- Лурье, родители М. Л. Лурье 279, 287, 288
- Лурье Мария Львовна (1907–1997), геолог, в первом браке жена С. Д. Цирель-Спринсона, во втором – жена С. В. Обручева, геолога, чл.-корреспондента АН 266, 288, 313
- Лучник Зинаида Ивановна (1909–1994), ботаник-садовод* 260
- Лыжин Борис Павлович, † 1917, полковник, врач 26, 29, 30
- Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) 246
- Любименко Владимир Николаевич (1873–1937) ботаник, эколог, чл.-корр. АН (1922) 250
- Ляпин Евгений Сергеевич (1914–2005), математик, профессор 113
- Май Карл Иванович (1820–1895), педагог, создатель и директор гимназии 6, 17, 91, 119, 121, 122, 156, 166, 174, 175
- Мак-Фарланд 306
- Макферсон Алена Петровна, жена Д. Макферсона 164
- Макферсон Артур Давыдович, ученик гимназии К. Мая, одноклассник О. А. Парланда 161, 168
- Макферсон Давыд Артурович 155, 161
- Макферсон Нора Давыдовна, его дочь 91
- Макферсон Эми Давыдовна (в замуж. Умнова), 91, 161, 173, 179
- Макферсоны, семья 91, 138
- Малеев Владимир Петрович (1894–1941), ботаник, исследователь флоры Крыма и Кавказа 241, 250–253, 282, 283, 289
- Мальшева Валя, одноклассница А. М. Семеновой-Тянь-Шанской 130
- Марков Константин Константинович (1905–1980) физико-географ, геоморфолог, палеогеограф, академик (1970) 245, 270, 271
- Маршлякович, военный врач 79–81
- Маскиль Иона Файтелевич, научно-технический сотрудник БИН 255
- Масловская Зинаида Дмитриевна (1867–1942), переводчица, писательница, подруга Алисы Андр. Парланд, перед революцией заведовала Ольгинским детским приютом трудолюбия† позже приютом Общества попечения о бедных и больных детях. После 1918 г. приют несколько лет неофициально работал в ее квартире на 11-й линии, 14. Умерла во время блокады 89, 90
- Матвеева Елизавета Петровна, ботаник, доктор биологических наук 241, 247, 273, 277–279
- Мауэр Федор Михайлович (1897–1963), ученый в области семеноводства, селекции, генетики и систематики хлопка, доктор биологических наук (1955), профессор Среднеазиатского университета в Ташкенте, двоюродный брат М. Н. Благовещенской 193
- Медведев Миша, одноклассник А. М. Семеновой-Тянь-Шанской 131
- Менделева Лина (Юлия) Ароновна (1883–1959) основатель и директор Педиатрического института в Ленинграде, арестована в 1949 г. по «Ленинградскому делу», освобождена в 1955 г. 282
- Метелкин Константин Тимофеевич (1905–1951), научн. сотр. Дальневосточного филиала АН, арестован в 1937 г., осужден на

*См. о ней: Декоративное садоводство Сибири: проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения З. И. Лучник (Барнаул, 18–21 августа 2010 г.)

†З. Д. Масловская с 1904 г. была председателем правления Попечительного общества о приюте, а Алиса Андр. Парланд — товарищем председателя.

- 10 лет ИТЛ, освобожден, повторно арестован в 1949 г., умер в заключении 312
- Мещерская Кира, канд. биол. наук, сотрудник 1-го Мед. института, жена зоолога Д. М. Штейнберга 280
- Милютин Василий Иванович, сын И. А. Милютина, умер в Череповце в конце 1930-х гг. в полном одиночестве и нищете 38, 40, 51, 105
- Милютин Иван Андреевич (1829–1907), промышленник, купец, просветитель, благотворитель; Череповецкий городской голова (1861–1907) 38
- Милютина Елизавета Васильевна, жена В. И. Милютина 51, 66, 67
- Милютины 38, 68, 100, 101, 106
- Миняев Николай Александрович (1909–1995), геоботаник, профессор Ленинградского университета 246
- Моль Александра Львовна, дочь Лео фон Моля 140
- Моль Елена Львовна, дочь Лео фон Моля 91, 140
- фон Моль Лео, вюртембергский дипломат 91, 136, 140
- Моль Марта Львовна, дочь Лео фон Моля 90, 178
- Моль Марья Львовна, дочь Лео фон Моля 139–143, 146
- Моль (Парланд) Ольга Александровна, жена Лео фон Моля, (1841–1919) 23, 90, 91, 135–137, 139, 142, 148, 171, 182
- Моль Ольга Львовна, тетя Оля (1860–1942), дочь Лео фон Моля, преподаватель музыки и пения, умерла во время блокады в марте 1942 г. 31, 90, 91, 136, 138–147, 160, 166, 198
- Моор (рожд. Кюстер) Анна Николаевна (1861–1926), сводная сестра М. Н. Парланд 23, 149, 150
- Моор Андрей Андреевич, ее муж, потомственный почетный гражданин 149
- Моор Эльза, ее приемная дочь 149
- Морозов Георгий Федорович (1867–1920), лесовод, ботаник, почвовед и географ 251
- Мохнач Владимир Онуфриевич (1907?–1991), биохимик, в 1937 г. директор Дальневосточного филиала Института химии АН СССР. В 1938 г. осужден выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда сроком на 15 лет с поражением в правах на 5 лет, доставлен на Колыму в сентябре 1938 г. Освобожден из заключения в 1956 г. 312
- Муромский Борис Александрович, учитель химии в 217-й школе 123
- Мясоедов Митрофан Николаевич (1870–1921), одноклассник Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского, окончил СПб университет, служил в налоговом управлении 165
- Мясоедова (Бередикиова) Екатерина Павловна, его жена, гимназическая подружка А. А. Парланд, 165, 172
- Мясоедовы 104, 165
- Наливкин Василий Дмитриевич (1915–2000), одноклассник А. М. Семеновой-Тян-Шанской, геолог, чл.-корр. АН СССР (1968), лауреат Ленинской премии (1964) 127
- Наливкин Дмитрий Васильевич (1889–1982), геолог, академик (1946) 127, 128
- Насонов Арсений Николаевич (1897–1965), историк, археограф, источниковед, историко-географ, доктор исторических наук (1944). Сын зоолога Н. В. Насонова. В 1920-е годы преподаватель истории в 217-й школе 122
- Ненюков Степан Степанович (1906–1942), ботаник, систематик, умер во время блокады 285
- Недригайлов Сергей Николаевич (1882–?), лесовод, профессор Лесного института 283, 284
- Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник 138
- Никифоровская Татьяна Васильевна (1915–?), одноклассница А. М. Семеновой-Тян-Шанской, дочь В. М. Никифоровского,

- докт. геогр. наук, по мужу Кириллова 130, 131
- Никифоровский Василий Митрофанович (1891–1942), учитель литературы в 217-й школе, первый директор Пушкинского заповедника (1922–1924) 131
- Николаева Марианна Георгиевна (1914–2005), ботаник-карполог 246, 277
- Ниценко Андрей Александрович (1910–1970), ботаник, болотовед, сотрудник Торфяного института 245
- Новиков Гавриил Никанорович, ботаник, заместитель директора БИН, убит на фронте в Невской Дубровке осенью 1941 г.* 248, 250, 277
- Новикова Клавдия Спиридоновна, вдова Г. Н. Новикова 288
- Обновленский Авенир Петрович (1885–1980), юрист по образованию, до 1917 г. служил в Св. Синоде. В 1920-е гг. руководитель религиозно-философского кружка в Ленинграде. Арестован в 1928 г. по делу «Братства прп. Серафима Саровского», приговорен к 3 годам заключения в лагерь. Отбывал срок на Соловках. В начале 1931 г. освобожден и отправлен в ссылку на 3 года в Усть-Цыльму. Вновь выслан в провинцию в 1938 г., в 1954 г. вернулся в Ленинград 313
- Обручев Сергей Владимирович Обручев (1891–1965), геолог, член-корреспондент АН СССР 288
- Овчинников Павел Николаевич (1903–1979), ботаник, Герой Социалистического Труда (1969). С 1931 по 1941 работал в Ботаническом институте АН СССР 248, 263
- Озол Ростислав Васильевич (1899–1974), выпускник гимназии К. Мая, преподаватель физкультуры 217-й школы 123, 124, 126, 129, 130
- Оль Андрей Андреевич (1883–1958), архитектор 139
- Орбели Леон Абгарович (1882–1958), физиолог, академик, вице-президент Академии наук СССР, генерал-полковник медицинской службы 280
- Ослам-Мурза, рабочий в Югосетинском Горно-луговом стационаре 215
- Оттилия Губертовна, компаньонка А. И. Петрашень 52–54, 59
- Павлова Вера Ивановна (1890–1964), дочь академика И. П. Павлова 152
- Палибин Иван Владимирович (1872–1949), ботаник, доктор биологических наук (1934), заслуженный деятель науки, с 1895 работал в Петербургском ботаническом саду (позднее БИН), где организовал сектор палеоботаники (1932) 248
- Панаева Нина Платоновна (р. 1915), филолог, однокурсница и подруга В. М. Семеновой-Тянь-Шанской 146, 285–288
- Парланд Александр Иванович (1808–1887), сын Джона Парланда, купец, негодник, в первом браке женат на Марии Каролине Хельман, во втором браке – на Элизабет Хёри (1836–1897) 133–136, 138, 147, 148, 153, 154, 182, 307, 308
- Парланд Алиса Андреевна (тетя Аля) (1874–1938), художница, преподаватель, 2-я жена М. Д. Семенова-Тянь-Шанского 13, 16–18, 21–23, 26, 30, 31, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 57–60, 68–70, 73, 82, 85, 88–97, 109, 118, 135, 145, 153, 171, 189, 197, 198, 200, 201
- Парланд Альфред Александрович, дядя Атя (1842–1919), академик архитектуры,

*См. о нем: *Бобров Е. Г.* Гавриил Никанорович Новиков (Некролог)//Советская ботаника. 1945. Т. 13, № 3. С. 68–69.

- умер от голода 23, 24, 90, 91, 135–144, 147, 148, 160, 164, 171, 178
- Парланд Андрей (Генрих) Александрович (1845–1910), биржевой маклер 7, 8, 17, 27, 29, 83, 88, 91, 92, 97, 99–104, 106, 108, 109, 111–113, 115–117, 133–136, 138–141, 143–145, 148–161, 163–167, 169, 171–176, 178—190, 192, 195–199, 201–203, 259, 268, 305, 310
- Парланд Андрей Андреевич, Генрих, Наггу (1873–1942?), старший сын А. А. Парланда, окончил юридический факультет Петербургского университета; в послереволюционные годы бедствовал, работал внештатным корреспондентом в Издательстве Академии наук; в 1938 г. уехал в Финляндию 7, 13, 18, 70, 82, 92, 121, 152–154, 156–159, 161, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 173, 177, 182, 188, 189, 196–198
- Парланд Генри, Энчик (1908–1930), сын О. А. Парланда, поэт, писатель-модернист, автор романа «Вдребезги» 21, 72, 199–201
- Парланд Георгий Андреевич (Жоржик) (1890–1911) окончил майскую школу, студент Филологического факультета Петербургского Университета, автор неоконченной автобиографической повести 7, 8, 17, 19, 46, 75, 82, 139, 153, 154, 157–160, 164–166, 168, 174–177, 179, 180, 182, 186–189, 199, 200
смерть 188
- Парланд Герман (р. 1917), сын О. А. Парланда, инженер, профессор политехнического университета в Тампере 22, 72, 199, 202, 306
- Парланд Джон (1758–1842), воспитатель и камердинер цесаревича Александра Павловича 133, 134, 141, 145, 154, 202, 306
- Парланд Елизавета (1776–1834), урожд. Форрестер его жена 306
- Парланд Иван Александрович, Джон, † 1889, мл. сын А. И. Парланда от второго брака, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище 136
- Парланд Иван Иванович (1809–1870), младший брат А. И. Парланда 134, 307
- Парланд Ида Александровна, † 1890, дочь А. И. Парланда от второго брака, похоронена на Смоленском лютеранском кладбище 136
- Парланд (рожд. Кюстер) Мария Николаевна (1850–1919), жена А. А. Парланда, 7, 14–16, 18, 26–28, 31, 52, 54, 57, 59, 68, 70, 75, 82, 89–91, 106, 108, 139, 148–153, 156–164, 166, 167, 171, 172, 175, 178, 179, 182, 185, 188, 189, 190, 192, 199, 202
- Парланд (рожд. Сеземан) Мария (Ида-Мария) Эмильевна (Тибо) (1878–1942), жена О. А. Парланда 72, 179, 180, 182, 198–200, 202
- Парланд Освальд Андреевич (1876–1956), окончил гимназию Мая, инженер, с 1920 г. жил в Финляндии 7, 19, 21, 22, 29, 46, 57, 70, 72, 81, 82, 91, 92, 101, 107, 145, 154, 156–159, 161–166, 169–171, 176–180, 182, 183, 188–190, 193, 198–202, 292
- Парланд Перси Оскар (1912–1997), Персик, сын О. А. Парланда, врач-психиатр и писатель 21, 72, 180, 199, 202
- Парланд (рожд. Грибкова) Прасковья Михайловна (1863–1942), жена Ф. А. Парланда, умерла в 1942 г. во время блокады 90, 143, 147
- Парланд Ральф (1914–1995), сын О. А. Парланда, финский писатель, писал по шведски 21, 72, 199, 202
- Парланд Федор Александрович (Фридрих Вильям, Вильгельм) (1851–1908), сын А. И. Парланда от второго брака, скрипач, артист оркестров Санкт-Петербургских Импера-

- горских театров 7, 90, 136, 143, 147, 156, 164, 171, 182
- Парланд Федор Федорович (1895–1942) сын Ф. А. Парланда, окончил юридический факультет, затем Павловское военное училище, после революции работал бухгалтером, умер во время блокады 90, 143, 147
- Парланд Эрнестина (рожд. von Scholven, 1827–1869), вторая жена А. И. Парланда (1850), родила трех детей — сыновей Фридриха и Джона и дочь Иду. Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище. Сохранилось надгробие по рисунку архитектора А. А. Парланда 135, 136, 182
- Парланды 46, 75, 82, 90, 91, 93, 97, 133, 135, 138, 139, 148, 152, 153, 155–158, 160, 161, 163–168, 172–176, 178–180, 182, 185, 188–190, 199, 202, 203
- Первухин Федор Спиридонович, сотрудник БИН 277, 288
- Петрашени, семья* 39, 40, 46, 47, 50, 52, 57, 61, 63, 68, 73, 76, 80, 83, 92, 100, 101, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117–119, 141, 143, 145, 149, 150, 166, 175, 176, 178, 179, 183, 189, 191, 195, 197
- Петрашень Алеша 81, 189
- Петрашень Андриуша 43–45, 47–49, 51–53, 55, 57, 59, 61–69, 72, 73, 81, 106–108
- Петрашень Анна Ивановна, Ася (1909–1992), канд наук, доцент Военной Академии тыла и транспорта 44–47, 49, 51–55, 57, 59, 61–69, 72–77, 81, 104, 106, 107, 113–115, 190, 195, 196
- Петрашень Анна Иосифовна (Осиповна) (рожд. Богумила Новак, 1857–1920), мать И. В. Петрашень 52–54, 59, 68, 80, 106, 162, 163, 178, 190
- Петрашень Анна Васильевна, Аня (1890–1907), младшая сестра И. В. Петрашени 52, 53, 178
- Петрашень Василий Васильевич (1888–1932), брат И. В. Петрашени 178
- Петрашень Василий Иванович (1905–1995), старший сын И. В. Петрашени, доктор технических наук, профессор, 39, 40, 45–47, 49–51, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 68, 69, 72, 73, 81, 84, 91, 96, 100, 109, 110, 114, 118, 143, 145, 179, 196
- Петрашень Василий Матвеевич (1847–1903), инженер путей сообщения, отец И. В. Петрашени 162, 163, 178, 179
- Петрашень Виктор Васильевич (1892–1971), инженер-механик, брат И. В. Петрашени 178, 194, 196
- Петрашень Георгий Иванович, Егор, (1914–2004), математик, доктор наук, профессор, в 1957–1976 г. директор ЛОМИ АН СССР 19, 44–46, 49, 57, 62, 65–67, 69, 72, 97, 106, 107, 112–115, 119, 121, 124, 125, 129, 131, 135, 172, 195, 196
- Петрашень (Парланд) Джесси Андреевна (1878–1942), жена И. В. Петрашени 8, 19, 44–48, 51–56, 59, 60, 63, 65, 66, 69, 80, 84, 87, 93, 97, 105, 108–111, 113, 154, 155, 157–161, 172–174, 176, 178, 179, 182, 185, 189, 195, 202, 203
- Петрашень Иван Васильевич, дядя Вania (1875–1937), инженер-гидротехник, с 1912 по 1916 г. руководил работами по совершенствованию шлюзов реки Шексны, в 1916 г. возглавил проектирование и работы на Северо-Двинском водном пути, с 1924 г. — в Ленинграде, зам. начальника Северо-Западного управления внутренних водных путей. В 1930 г. арестован по обвинению во вредительстве (ст. 58.7) и

*См. о них: И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого. Публ. Е. М. Ледовской. СПб.: Изд-во Музея-института семьи Рерихов, 2011.

- отправлен на строительство Белоорско-Балтийского канала, досрочно освобожден в 1932 г. 8, 19, 38, 39, 40, 45–52, 54, 57, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 81, 82, 91, 105, 106, 108–111, 115, 155, 156, 161–165, 166, 171, 178–180, 182, 185, 189, 190, 196, 197, 202, 203, 297
- Петрашень Иван Иванович, Ваня (1920–1945), мл. сын И. В. Петрашени, врач 15, 112, 113, 115
- Петрашень Мария Ивановна (Муся) (1906–1977), профессор Ленинградского университета, математик, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 58, 59, 61–63, 65, 67–69, 72, 73, 75, 84, 106, 113, 114, 118, 141, 179, 196
- Петрашень Николай Васильевич (1883–1942), брат И. В. Петрашени, окончил гимназию К. Мая, бренд-майор 75, 178
- Петрашень Татьяна Ивановна (1918–2003), архитектор, художник 15, 66, 67, 69, 80, 108, 112, 113, 115, 145, 148, 202
- Петров Борис, капитан II ранга 90, 150
- Петров Николай Николаевич (1876–1964), врач-онколог, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (1963) 79
- Петрова (Кюстер) Тамара Васильевна, жена Б. Петрова 150
- Петрова Тая, дочь Б. Петрова 150
- Петровская Анна Васильевна, преподавательница немецкого языка 124
- Пехтерев Лев Николаевич, сын Н. Ф. Пехтеревой, инженер-железнодорожник 147
- Пехтерев Николай Николаевич, инженер путей сообщения 90
- Пехтерева (рожд. Парланд) Нина Федоровна (1891–1942), жена инженера Н. Н. Пехтерева, умерла во время блокады, 90, 143, 147
- Печковский Николай Константинович (1896–1966), певец, драматический тенор 144
- Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк, академик (1920), один из основных обвиняемых по «делу Академии наук», арестован в январе 1930 г., умер в ссылке 249
- Поддубная-Арнольди Вера Алексеевна (1903–1984), эмбриолог, доктор биологических наук 207, 234
- Половинкина Марья Иринарховна, учительница обществоведения 132
- Полянская Ольга Сергеевна (1892–?), геоботаник 239, 241, 247, 253, 259
- Понятовская Валентина Михайловна, ботаник, сотрудник БИН 273, 275
- Порецкая Екатерина Сергеевна (1902–1987), научный сотрудник кафедры исторической геологии геологического факультета ЛГУ 264, 265
- Порецкий Артемий Сергеевич (1901–1942), ботаник, в начале 1930-х гг. ученый секретарь Ботанического института, с 1937 года назначен учёным секретарём Дальневосточного отделения Академии Наук, арестован в 1937 г., погиб в заключении 10, 205, 232, 239–242, 247, 253, 257–260, 264, 265, 311, 312
смерть, 265
- Порецкий Вадим Сергеевич (1893–1942), биолог, специалист по диатомовым водорослям, доктор биологических наук, профессор, лауреат Сталинской премии (1951, посм.), умер при эвакуации из Ленинграда 260, 264, 265
- Потапов Леонид Павлович (1905–2000), этнограф, доктор наук, директор Музея антропологии и этнографии 284
- Презент Исаак (Исай) Израилевич (1902–1969), идеолог лысенковщины, в 1943–1951 гг. — профессор ЛГУ; в 1948–1951 гг. — зав. кафедрой и декан биолого-почвенного факультета МГУ; в 1951–1955 гг. — ст.

- научн. сотр. ВАСХНИЛ 246
- Прилипко Леонид Иванович (1907–1987), ботаник, профессор, исследователь флоры Кавказа 211
- Прозоровская (Лурье) Лидия (Лидия) Львовна (1909–1996), жена А. В. Прозоровского, химик, 253, 288
- Прозоровские 287, 289
- Прозоровский Анатолий Владимирович (1908–1942) 10, 239–243, 245, 247, 248, 252–255, 260, 266, 268, 273–275, 277–282, 283, 287–289
- Прозоровский Владимир Анатольевич (1932–2007), его сын, профессор, геолог 253, 254
- Прошкина-Лавренко Анастасия Ивановна (1892–1977), жена Е. М. Лавренко, альголог 239, 253, 278
- Пузыревская (Советова) Елизавета Сергеевна, мать Н. Н. Гамалей 110
- Пузыревская Нина Нестеровна, дочь Н. П. Пузыревского 110, 111, 114
- Пузыревская Татьяна Нестеровна, дочь Н. П. Пузыревского, сестра Н. Н. Гамалей 110
- Пузыревский Нестор Платонович (1861–1934), инженер-гидротехник, профессор Института инженеров водного транспорта, 109, 110, 114, 118
- Раменский Леонтий Григорьевич (1884–1953), ботаник, эколог растений, географ, доктор биологических наук 243
- Рассадина Ксения Александровна (1903–1987), ботаник, лихенолог 288
- Рейман Лиза 31, 90, 140
- Рекис Женя, дочка соседей в Череповце 92, 97
- Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель, с 1921 г. в эмиграции. В 1917–1920 гг. жил в Петрограде в доме Д. П. Семенова-Тян-Шанского; к этому времени относится его общение и переписка с М. Д. Семеновым-Тян-Шанским 87
- Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918), генерал, командующий 1-й армией Северо-Западного фронта во время Восточно-Прусской операции, расстрелян большевиками 292
- Рерих Владимир Константинович (1882–1951), младший брат художника Н. К. Рериха, одноклассник М. Д. Семенова-Тян-Шанского по гимназии К. Мая, биолог-почвовед, агроном, во время Гражданской войны в Белой армии, затем в Харбине 8, 165, 176
- Рерих Николай Константинович (1874–1947), художник, выпускник гимназии К. Мая, одноклассник И. В. Петрашеня и Осв. А. Парланда 8, 164, 183
- Рихтер Гавриил Дмитриевич (1899–1980), географ, исследователь Арктики, профессор, заслуженный деятель науки 273
- Родин Леонид Ефимович (1907–1990), ботаник, географ, геоботаник, доктор биологических наук (1958), профессор 239, 241, 242, 248, 255, 274, 276, 285
- Родина Елена Петровна, его жена, врач 276
- Розов Николай Николаевич, почвовед, награжден медалью им. В. В. Докучаева (1975) 271
- Рубенау Валентин Иванович (1896–?), гл. бухгалтер Дальневосточного филиала АН, в 1938 г. приговорен к 15 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 312
- Рузский, Николай Владимирович (1854–1918), генерал-адъютант, с 3 сентября 1914 года — главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, убит большевиками во время казней заложников 293
- Руг Эдит Эдуардовна, однокурсница А. М. Семеновы-Тян-Шанской 206, 207, 209–211, 213–219, 222, 225, 227–229

- Рюккер Нина Эрнестовна, см. Вальдгауэр Н. Э.
- Рюккер Рудольф Эрнестович (1890–1919), военный врач, погиб от сыпного тифа, похоронен в Пензе 23, 89, 90, 149, 151
- Рюккер (рожд. Кюстер) Шарлотта Николаевна (1857–1932), сестра М. Н. Парланд 16, 23, 90, 149–151
- Рюккер Эрнест 151
- Рюккеры 90, 151
- Рябова Татьяна Ивановна (1906–?), ботаник, работала на Дальнем Востоке и в Таджикистане 260
- Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), художник 138
- Рязанов Давид Борисович (Гольдендах, 1870–1938), коммунист, основатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса, академик (1929, исключен в 1931), в 1931 г. арестован, снят со всех постов и выслан в Саратов, в 1938 г. расстрелян 303
- Сабанеев Евгений Александрович (1847–1913), художник, преподаватель и директор рисовальной школы Императорского общества поощрения художеств 183
- Саверкин Александр Петрович, ботаник, работал на Дальнем Востоке и в Таджикистане 260
- Савич Всеволод Павлович (1885–1972), профессор-миколог, ученый секретарь Главного Ботанического сада 248, 249, 281
- Савич Ирина Николаевна (1890–1938), ботаник, научный сотрудник Дальневосточного филиала АН, расстреляна 312
- Савич-Любичкая Лидия Ивановна (1886–1982), ботаник, бриолог 288
- Самбук Феодосий Викторович (1900–1937), ботаник, сотрудник Ботанического института, арестован 17 сентября 1937 г. Расстрелян в Ленинграде 10 ноября 1937 г. 208, 210, 230–232, 239, 241, 247, 248, 250, 260
- Самсонова (Петрашень) Мария Георгиевна, дочь Г. И. Петрашень, биолог, доктор наук 152
- Саша (Голубева Александра), кухарка Петрашеней 47, 54–56, 65, 67, 68, 77, 102
- Свешникова Валентина Михайловна (1912–?), ботаник, физиолог растений 235, 246, 266
- Сеземан Василий (Вильгельм-Вольдемар) Эмильевич, Тутти (1884–1963), философ, профессор Каунасского и Вильнюсского университетов, арестован в 1950 г., в заключении до 1956 г. 180, 201, 310
- Сеземан (рожд. Ковригина) Вильма Бруновна, его жена 202
- Сеземан Георгий Васильевич (р. 1945), его сын, геолог 202
- Сеземан Ида-Мария (1845–1926), мать М. Э. Парланд, дочь пастора Карла Бекмана 180, 200
- Сеземан Ханс Давид, любекский купец 310
- Сеземан Эмиль Герман (1840–1907), отец М. Э. Парланд, врач, патологоанатом 180
- Сеземаны 180
- Семенов Павел Михайлович (1849–1917), двоюродный брат П. П. Семенова-Тян-Шанского, помещик, владелец имения «Алмазовка», убит при разгроме своего дома 6, 299
- Семенова Мария Ивановна (рожд. Цемш), † 1918, его жена 299
- Семенов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич, Шура (1890–1979), впоследствии епископ Зилонский (1971), окончил гимназию К. Мая, затем Петербургский университет (1914), во время I мировой войны в военном училище при Пажеском корпусе, потом в лейб-гв. Егерском полку, с весны 1917 г. на фронте, поручик, в 1919–20 гг. мобилизован в Красную армию, с 1921 г. в эмиграции в Финляндии, затем во Франции, рукоположен священни-

- ком в 1943 г., настоятель Знаменской церкви в Париже, похоронен в крипте церкви на русском кладбище в Сен-Женевьев дю Буа 7, 24, 25, 70, 174–176, 180, 187, 188
- Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866–1942), энтомолог, профессор, президент Русского Энтомологического общества, умер в марте 1942 г. от дистрофии 7, 78, 119, 153, 176, 185, 188, 285, 286
- Семенов-Тянь-Шанский Валерий Петрович (1871–1968), юрист, с 1920 г. в эмиграции в Финляндии 8, 153, 165, 166, 175, 176, 185, 302
- Семенов-Тянь-Шанский Вася (1912–1920), мл. сын Р. Д. Семенова-Тянь-Шанского, умер от менингита 25, 101, 186, 200
- Семенов-Тянь-Шанский Вениамин Петрович (1870–1942), географ, профессор, основатель Географического музея, умер 8 февраля 1942 г. от дистрофии, женат на Вере Владимировне Ламанской (1876–1940) 153, 175, 176, 249
- Семенов-Тянь-Шанский Дмитрий Петрович (1852–1917), окончил гимназию К. Мая, статистик, действ. статский советник, служил в Министерстве земледелия, чл. Петербургской городской думы. Умер 1 ноября 1917 г. от сердечного приступа 5, 6, 19, 24, 61, 70, 71, 106, 165, 174, 181, 186, 189, 194, 299
- Семенов-Тянь-Шанский Измаил Петрович (1874–1942), метеоролог, в 1920-е годы заведовал метеостанцией в своем бывшем имении Петровка в Тамбовской обл., выселен в порядке раскулачивания в 1930 г., работал в Гл. геофизической обсерватории им. Воейкова, умер 3 янв. 1942 г. от дистрофии, женат на Надежде Владимировне Орловой (1879–1942) 25, 115, 153, 165, 175, 176, 185, 286, 287
- Семенов-Тянь-Шанский Кирилл Михайлович, внук Веры Михайловны, физик 58, 85, 147
- Семенов-Тянь-Шанский Кирилл Рафаилович (1910–1942), агроном, во время войны командир стрелкового взвода, убит на фронте 8, 25, 27, 76, 101–105, 111, 113–115, 117, 118, 129, 186, 195, 196, 200, 202, 305
- Семенов-Тянь-Шанский Леонид Дмитриевич (1880–1917), поэт-символист, позже толстолец, убит 13 дек. 1917 г. 6, 25, 26, 61, 70, 75, 103, 186, 299, 300, 305
- Семенов-Тянь-Шанский Михаил Дмитриевич (1882–1942), во время I мировой войны на фронте в 26-м Сибирском стрелковом, затем в Лейб-гв. Егерском полку, с 1918 по 1924 г. жил с семьей в Череповце, географ, статистик, доктор географ. наук (1941), умер 19 янв. 1942 г. от дистрофии, женат на Эми Андреевне Парланд (1888–1919), после ее смерти женился на ее старшей сестре, художнице Алисе Андреевне Парланд (1874–1938) 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 26, 35, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19–22, 24, 26, 27, 30, 31, 46, 58–60, 68, 70, 71, 73–77, 79–88, 93–96, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 120, 122, 139, 141, 143, 145, 146, 153, 165, 174–177, 179–183, 185–189, 193–199, 202, 203, 244, 245, 261, 262, 268, 279–281, 283–287, 293, 311
- смерть, 88, 286
- Семенов-Тянь-Шанский Михаил Арсеньевич, р. 1948, математик, доктор наук 58, 85, 133, 147
- Семенов-Тянь-Шанский Николай Дмитриевич (1888–1974), лейтенант флота. Учился в гимназии К. Мая, затем в Морском кадетском корпусе. Перед войной служил на крейсере «Рюрик» (1910), на императорских яхтах «Штандарт» (1912) и «Поляр-

- ная звезда» (1913), крейсере «Олег» (1913 и 1914). Во время I мировой войны на фронте в Сухопутном батальоне лейб-гвардии Морского экипажа, позже на крейсере «Варяг». Награжден орденом св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость», орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. В 1919–1920 гг. в Архангельске в составе Северной армии генерала Миллера. После эвакуации из Архангельска (в феврале 1920 г.) жил в Англии, позже переехал во Францию 6, 25, 26, 70, 75
- Семенов-Тянь-Шанский Олег Измайлович (1906–1990), зоолог, один из организаторов Лапландского заповедника, доктор биологических наук 25
- Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович (1827–1914), географ, статистик и государственный деятель, сенатор, член Государственного Совета (1898), вице-председатель Русского Географического общества 5, 6, 61, 119, 186
- Семенов-Тянь-Шанский Рафаил Дмитриевич (1879–1919), статистик, земский деятель, умер от голода и дизентерии, женат на Зинаиде Васильевне Складневской († после 1960 г.) 6, 25, 60, 61, 70, 75, 76, 101, 103, 165, 166, 175, 176, 179, 186, 200, 202, 292, 300, 305
- Семенов-Тянь-Шанский Святослав Измайлович (Тава) (1909–1942), инженер, умер во время блокады 25, 286
- Семенов-Тянь-Шанский Юрий Измайлович (1910–1989), инженер 25
- Семенова-Тянь-Шанская Вера Васильевна, вдова Кирилла Рафаиловича Семенова-Тянь-Шанского 105
- Семенова-Тянь-Шанская (Кольцова) Капитолина Ивановна (1871–1961), жена Вал.П. Семенова-Тянь-Шанского 165, 309
- Семенова-Тянь-Шанская (Ламанская) Вера Владимировна (1876–1940), жена Вен.П. Семенова-Тянь-Шанского 176
- Семенова-Тянь-Шанская Ариадна Дмитриевна (1885–1920), в первом браке Филатьева (1914), разошлась с мужем в том же году, в начале 1918 г. вышла замуж за Павла Яковлевича Миттула (Paulis Mitulis, 1892–1942, умер в лагере в Норильске), умерла 9 июня 1920 г. от скоротечной чахотки 6, 24, 25
- Семенова-Тянь-Шанская Вера Дмитриевна (1883–1984), в замужестве Коноплева (1916), разошлась с мужем в 1920 г., в последнем браке Болдырева, художница, училась в студии Д. Н. Кардовского, окончила Зубовский Институт истории искусств. В 1970-е гг. по ее инициативе в Гремячке был создан народный музей, куда она передала свою библиотеку и обстановку 6, 25, 70, 76, 183, 185, 291, 302, 303
- Семенова-Тянь-Шанская Вера Михайловна (1916–1992), младшая дочь М. Д. Семенова-Тянь-Шанского, преподаватель английского языка 6, 8, 15, 20, 22, 26–28, 30, 31, 39, 44–47, 49, 51, 53–58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 73–79, 81–86, 88–90, 92–95, 97–100, 102, 105–108, 110, 111, 113, 115–117, 120, 141, 144–146, 157, 161, 172, 174, 186, 188, 195, 196, 198, 202, 203, 257, 259, 276, 277, 281, 285–288, 298, 310
- Семенова-Тянь-Шанская (Заблочкая-Десятовская) Евгения Михайловна, (1854–1920), жена Д. П. Семенова-Тянь-Шанского (1878 г.) 6, 24, 25, 27, 71, 76, 96, 174, 194
- Семенова-Тянь-Шанская (Заблочкая-Десятовская) Елиза-

- вета Андреевна (1842–1915) 2-я жена П. П. Семенова-Тян-Шанского (1863) 28, 165, 186
- Семенова-Тян-Шанская Зинаида Васильевна, урожд. Скляревская (ум. после 1960 г.), жена Р. Д. Семенова-Тян-Шанского 101, 103, 186, 200
- Семенова-Тян-Шанская Ольга Измайловна (1911–1970), издательский работник и переводчик, мастер спорта по шахматам, чемпионка СССР в 1934 и 1936 годах 25
- Семенова-Тян-Шанская Эми (Любовь) Андреевна, Беби (1886–1919), жена М. Д. Семенова-Тян-Шанского 2, 4, 9, 11, 14, 16–19, 6, 8, 13, 16, 18, 21–23, 26, 27, 30, 31, 39, 45, 46, 48, 49, 55, 58–62, 64–66, 68, 69, 71, 73–77, 80–83, 85, 88, 94, 108, 135, 145, 147, 153, 154, 157–161, 164, 166, 168, 172–174, 177, 179–182, 185, 187, 189, 199, 202
- смерть 82
- Семеновы 69, 75, 112, 174, 185, 188, 189, 249
- Скалон Александр Васильевич (1874–1942), одноклассник И. В. Петрашени и Осв. А. Парланда по гимназии К. Мая, художник и художественный критик, умер во время блокады 163
- Сливинский Владимир Ричардович (1894–1949), певец, солист Мариинского и Большого театров 144
- Соболев Сергей Степанович (1904–1980), почвовед, профессор, академик ВАСХНИЛ (1964), директор Почвенного института им. В. В. Докучаева (1971–1975) 271, 272
- Советов Сергей Александрович, ученый-агроном в Департаменте земледелия 110 71
- Соколов Владимир Сергеевич (1905–1978), ботаник, директор БИН во время блокады 277, 281, 283
- Соколов Сергей Яковлевич (1897–1971), геоботаник, лесовод, географ, профессор 239–241, 243–245, 247, 252, 253, 281–283, 287, 288
- Соколова Лидия Алексеевна (1893–1976), ботаник, ботанико-географ 239, 241, 247, 272, 273, 277, 288
- Соколова Ольга Александровна, жена С. Я. Соколова 253
- Солоневич Константин Илларионович 241, 264, 268, 270–272, 275, 278, 285, 287, 288, 289
- Солоневич Надежда Григорьевна (1907–1987), его жена, геоботаник 275, 287
- Солоневичи 287
- Сомов Константин Андреевич (1869–1939), художник, один из основателей общества «Мир искусства», в эмиграции во Франции с 1923 г. 183
- Сосновский Дмитрий Иванович (1886–1953), ботаник, систематик и ботанико-географ, исследователь флоры Кавказа 207
- Сочава Андрей Викторович, врач 153
- Сочава Виктор Борисович (1905–1978), геоботаник и географ, академик АН СССР 153, 239, 240, 245, 282
- Спасокукоцкая Елена Ивановна, врач в клинике Цейдлера 79
- Спасокукоцкий Сергей Иванович (1870–1943), хирург, академик АН СССР 79
- Станюкович Кирилл Владимирович (1911–1986), геоботаник, географ, доктор биологических наук, профессор, писатель 246, 266
- Старосельский Арсений Владимирович (1904–1953), муж В. М. Семеновой-Тян-Шанской, журналист 11
- Степан, денщик М. Д. Семенова-Тян-Шанского 18
- Степанов Лев Леонидович (1913–1996), ученик 217 школы, одноклассник А. М. Семеновой-Тян-Шанской 125, 131
- Стрелков Александр Георгиевич, врач в Череповце 84
- Стрелков Александр Александрович (1903–1977), гидробиолог. С 1930 по 1948

- гг. — сотрудник кафедры зоологии Пединститута им. Герцена, сначала ассистент, затем заведующий кафедрой. Защитил докторскую диссертацию в 1939 году. В 1948 году уволен, как несогласный с идеями Т. Д. Лысенко. С 1944 года — сотрудник лаборатории противостологии Зоологического института АН СССР, с 1954 года и до кончины в 1977 г. — заведующий лабораторией 84
- Стрелков Павел Георгиевич, 84
- Стрелков Петр Георгиевич, 84
- Стрелкова Маруся 84
- Стрелкова Ольга Степановна (1903–1995), ботаник, жена А. А. Стрелкова, в 1948 г. уволена из Пединститута им. Герцена за несогласие с «мичуринской биологией» 210
- Стрелковы 84
- Ступишин Павел Петрович, сотрудник Губстатбюро в Череповце 101
- Ступишины 102
- Сукачев Владимир Николаевич (1880–1967), геоботаник, лесовод, географ, академик (1943) 192, 237, 242, 243, 245, 265, 267
- Тахтаджян Армен Леонович (1910–2009), ботаник, биолог-эволюционист, академик (1972) 241
- Тимофеус, служитель в Отделе геоботаники БИН 242, 270
- Тит Тимофеевич, дворник 261
- Тихомиров Борис Анатольевич (1909–1976), ботаник, профессор, исследователь флоры и растительности Арктики и Субарктики 234, 239, 247, 248, 250, 252, 267, 277
- Тихомолов Петр Александрович (1901–?), научный сотрудник Дальневосточного филиала Академии наук, химик, арестован в 1937 г., осужден на 10 лет ИТЛ 312
- Токунова Анастасия Лаврентьевна (1915–?) в замужестве Абрамова, ботаник, бриолог* 220, 228, 231, 233, 234
- Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед, текстолог 286
- Тугаев Тузар, рабочий на Горнолуговом стационаре в Эрмани 212–214, 217, 218, 220, 226
- Тумаджанов И. И. (1910–1990), грузинский ботаник, профессор, заслуженный деятель науки Груз. ССР 207, 229
- Тюрин Иван Владимирович (1892–1962), почвовед, академик АН СССР (1953) 245
- Ульянова Мария Ивановна, картограф 246, 274
- Умнов Алеша 29, 30
- Умнов Борис Иванович (1886–1961), выпускник, позже учитель в Майской школе 123
- Умнов Кирилл 29
- Умнов Николай Иванович †1929, окончил Майскую гимназию 91, 161, 179, 309
- Умнов Юра 29
- Умнова (Макферсон) Эми Давыдовна, жена Н. И. Умнова 29, 91, 161
- Умновы 29, 161
- Урицкий Моисей Соломонович (1973–1918), председатель Петроградской ЧК, убит 30 августа 1918 г. 71, 301, 302
- Успенская Виктория Ивановна, жена Д. И. Успенского 42
- Успенская Катюша 42
- Успенские 73
- Успенский Дмитрий Иванович, инженер 42, 51, 66
- Фандерфлит Вера Петровна (1875–1966), педагог, завуч 217-й школы 124, 130, 131
- Фандерфлит Елена Константиновна (1914–1996), ее дочь, одноклассница А. М. Семенов-Тянь-Шанской, геолог, палеонтолог 124, 126, 130, 131
- Федорович Борис Александрович (1902–1981), географ и

* См. о ней: *Афонина, О. М.* Анастасия Лаврентьевна Абрамова (к 90-летию со дня рождения) // Ботан. журн. 2005. Т. 90, № 12.

- геоморфолог, доктор географических наук, профессор (1956) 10
- Федченко Борис Алексеевич (1872–1947), ботаник-систематик, гляциолог, путешественник, сын географа А. П. Федченко 284
- Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), минералог, академик (1919) 258
- Фидровская Маргарита, Рита, дочь В. М. Фидровского 29, 60, 157, 190, 191
- Фидровская (Парланд) Мария Андреевна, Маруся (1881–1968), жена В. М. Фидровского, 29, 60, 63, 80, 87, 153, 154, 157–160, 168–170, 173, 176, 182, 185, 188–191, 202
- Фидровские 76, 93, 190, 194
- Фидровский Василий Михайлович (1883–1937), из семьи врача, в 1907 г. окончил историко-филологический фак. ун-та Св. Владимира (Киев). До 1918 г. работал в Юрьевском педагогическом институте, эвакуирован в Херсон, работал в местном педагогическом ин-те, став позднее его ректором. С 1920 г. — ректор Николаевского института народного образования, с 1929 г. ректор Днепропетровского ин-та социального воспитания. Член РКП(б) с 1920 г. Арестован и расстрелян в июле 1937 г. 29, 60, 190, 297, 310
- Фидровский Лев Васильевич, сын В. М. Фидровского 29, 60, 190
- Фидровский Юрий Васильевич, сын В. М. Фидровского 29, 60, 190, 191
- Фролов Владимир Александрович (1874–1942), художник-мозаичист, по эскизам В. М. Васнецова, М. В. Нестерова и др. выполнил мозаичное убранство храма Спаса-на-Крови 138
- Фролов Александр Владимирович (1917–1971), его сын, инженер 165
- Фролова (рожд. Мясоедова) Варвара Митрофановна, жена А. В. Фролова, врач 165
- Фроловы 165
- Ханина Клавдия Петровна, † ок. 1987, жена М. С. Шалыта 252
- Харадзе Анна Лукьяновна (Анико) (1905–1976), грузинский ботаник, зав. отделом систематики в Институте ботаники Академии наук Грузинской ССР 207, 229
- Хельман Мария Каролина, первая жена А. И. Парланда, † ок. 1848 135, 147, 307
- Хельман Амалия, рожд. Бальсер, (1800–1888), ее мать 136, 307, 308
- Хильда Ивановна, бонна 48
- Хмелевская (Мясоедова) Екатерина Митрофановна (1909–1986), литературовед, сотрудник Пушкинского Дома 165
- Хмелевские 165
- Хрущов Федор Иванович, † 1918, обер-секретарь I деп. Сената, расстрелян ЧК в сентябре 1918 г. 303
- Цаноев Магомет 209–211, 213–217, 219–224, 226, 228–230
- Цаноев Юсуп 209–212, 214, 217–223, 225, 226, 228
- Цейдлер Герман Федорович (1861–1940), окончил гимназию К. Мая, хирург, с 1920 г. жил в Финляндии 57, 79, 82, 91, 304
- Цейдлер Густав Федорович (1874–1959), окончил гимназию К. Мая, терапевт. В 1919 г. переехал в Выборг, умер в Хельсинки 57, 81, 91, 161, 180
- Цейдлер Клара Федоровна (1870–1952), художница, педагог, с 1919 г. в эмиграции 57, 91, 183, 184
- Цейдлеры 91
- Цинзерлинг Юрий Дмитриевич (1894–1939), геоботаник, систематик, ботанико-географ, умер в тюрьме 10, 206, 226, 232, 237–239, 241, 242, 244, 247, 248, 250, 255, 257–259, 264, 270
- смерть 267
- Ционглинский Ян Францевич (1858–1912), художник, профессор Рисовальной

- школы при Императорском обществе поощрения художеств 183
- Цирель-Спрингсон Соломон Давидович (1900–1988), геолог, петрограф, 1-й муж М. Л. Лурье 266, 313
- Цуханов Борис, одноклассник А. М. Семенов-Тян-Шанской 131
- Чванкин Владимир Иванович, в 1917–1918 гг. председатель Данковского уездного совета, большевик, инициатор и организатор красного террора в Данковском уезде 300
- Чечулин Александр Сергеевич (1903– ок. 1960), сын С. Д. Чечулина, хирург, в 1929–1934 гг. — судовой врач на ледоколах «Красин», «Малыгин», «Ленин» и на пароходах Северного морского пути. В 1932 году — участник спасения экипажа лед. «Челюскин», в 1938 — эвакуации экспедиции Папанина с дрейфующей станции «Северный полюс-1». Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. В 1954–1958 гг. заведующий кафедрой ЛенГИДУВ 78
- Чечулин Николай Дмитриевич (1863–1927), историк, археограф, коллекционер, чл.-корр. АН (1921), брат С. Д. Чечулина 78, 79
- Чечулин Сергей Дмитриевич (1866–1936), земский врач в Череповце 47, 78, 79, 81, 104
- Чечулина Лидия Сергеевна, дочь С. Д. Чечулина 78
- Чечулина (Спасокукоцкая) Марья Ивановна (1866–1956), жена С. Д. Чечулина 78, 79, 104, 105
- Чечулина Ольга Сергеевна, дочь С. Д. Чечулина 47
- Чечулины 78, 79, 104
- Шалыт Михаил Соломонович (1904–1968), ботаник, эколог 228, 233, 241, 251, 252, 257, 274
- Шапоренко Константин Константинович, палеоботаник 248, 267, 277
- Шевелева Вероника Сергеевна (1914–1985), одноклассница А. М. Семенов-Тян-Шанской, ст. научный сотрудник Института физиологии, доктор биологических наук 131
- Шенников Александр Петрович (1888–1962), ботаник, чл.-корр. АН СССР (1946) 206, 235, 239, 241, 243, 244, 247, 250, 253, 255, 273
- Шешукова-Порецкая Валентина Сергеевна (1899–1990), ботаник-альголог, жена В. С. Порецкого 265
- Шингарева Елена Андреевна (1906–2003), в замужестве Нечаева, ботаник, ст. научный сотрудник Ботанического института 285, 313
- Шипчинский Николай Валерианович (1886–1955), ботаник, директор Ботанического музея (1933–1934) и Ботанического сада (1934–1938 и 1942–1948) 252
- Шифферс Евгения Владимировна (1892–1968), геоботаник, доктор биологических наук (1951), исследователь растительности Северного Кавказа 237, 241, 247, 272, 274, 277, 284, 288
- Шишкин Борис Константинович (1886–1963), ботаник-систематик, флорист, чл.-корр. АН 232, 267, 280, 281
- Школьник Марк Яковлевич, р. 1907, ботаник, физиолог растений 248, 250, 273, 277
- Шмидт Елена, в замужестве Кварацхелия 220, 221, 228, 231
- Шпергазе Леон (Лев) Иванович (1874–1927), ученик майской гимназии, инженер, директор «Русского акционерного общества Л. М. Эриксон и Ко» 163
- Шпис Бруно, 139
- Шпис Вальтер (1895–1942), немецкий художник, погиб при депортации из Индонезии 140
- Шпис Дези (1905–2000), немецкая танцовщица и балетмейстер 139

- Шпис Ирина 139
- Шпис Лео (1899–1965), немецкий композитор, член Немецкой академии искусств в Берлине, лауреат Национальной премии ГДР (1956) 139
- Шпис Марта 139
- Шпис, коммерсант 139
- Шрертер (Бенуа) Екатерина Леонтьевна (1883–1970), жена архитектора Л. Л. Шрертера 173
- Шрертер Логин Логинович, Лунге (1878–1911), архитектор 172, 173
- Шрертер Логин Логинович мл. (1908–1988), архитектор 173
- Шрертер Михаил Логинович (1910–1976), его брат 129, 173
- Шрертер Элли, дочь архитектора Л. Л. Шрертера 172
- Шрертеры, 173
- Эберт Александр Иванович (1883–1938), одноклассник и друг М. Д. Семенова-Тян-Шанского, вместе с ним учился в Гейдельбергском университете, во время I Мировой войны хирург на фронте, в последние годы жизни работал хирургом Областной поликлиники водников в Ленинграде. Арестован 15 февраля 1938 г. Расстрелян 9 апреля 1938 г. 180, 181
- Эберты 138
- Эдельштейн Яков Самойлович (1869–1952), геолог и географ, профессор ЛГУ с 1925, директор Географо-экономического института. В 1949 г. награжден орденом Ленина и вскоре после этого судим в Мингео СССР „судом чести“ за „космополитизм“. В марте 1949 г. арестован по «красноярскому делу»*, осужден ОСО при МГБ СССР по ст. 58, п. 1-а, 7, 10, 11 на 25 лет ИТЛ. Умер в тюремной
- больнице в Ленинграде в янв. 1952 г. 249, 311
- Эндаурова Любовь Александровна, врач, сестра Е. А. Буш 210, 221
- Юзепчук Сергей Васильевич (1893–1959), ботаник, систематик, профессор 288
- Юзепчук Тамара Леонидовна (1905–2001), художник Института антропологии и этнографии АН с 1944 по 1983 г. 288
- Юренева Прасковья Николаевна, учительница в семье Петрашневой 162
- Юстус, муж Лизы Рейман, 141
- Яковкин Андрей Георгиевич, сын Э. О. Яковкиной, экономист 151
- Яковкин Юрий Александрович (1900–1978), химик, профессор Технологического ин-та, сотрудник ГИПХ 151
- Яковкина Нина Георгиевна, дочь Э. О. Яковкиной, филолог 151
- Яковкина (рожд. Вальдгауэр) Эдит Оскаровна, (р. 1923 г.), дочь О. Ф. Вальдгауэра, врач-педиатр 89, 149, 151, 152, 309
- Яковлев Михаил Семенович (1902–?), ботаник, физиолог растений, профессор, заместитель директора БИН 235
- Якубова Вера Сергеевна, одноклассница А. М. Семенов-Тян-Шанской 132
- Ярмоленко Александр Викторович (1905–1944), палеоботаник, погиб на Ленинградском фронте 248, 267, 277

* Н. Ю. Годлевская, И. В. Крейтер.
«Красноярское дело» геологов // Репрессированная наука. Выпуск 2. / СПб.: Наука, 1994. С. 158–166.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Ю. Заднепровская и М. А. Семенов-Тянь-Шанский

Анастасия Михайловна Семенова-Тянь-Шанская и ее «Записки» ... 5

До революции в ПЕТРОГРАДЕ..... 13

В ЧЕРЕПОВЦЕ (1917–1924 годы) 33

Город 33

Лентовское 39

Спокойная жизнь на Красной даче 46

Тревожные осень 1917 и зима 1918 года 60

Последнее лето в Лентовском 68

Без мамы 74

Приезд тети Али 88

На новой квартире 98

Семья Гамалей 105

Переезд в Ленинград, 217 школа 115

СЕМЬЯ ПАРЛАНДОВ..... 133

Наши (мамины и тети Алины) Парланды 148

Воспоминания о Николае Адольфовиче

и Елизавете Александровне Буш 204

Воспоминания о сотрудниках и жизни

Отдела геоботаники Ботанического института

до и в начале войны 237

Примечания и дополнения (*М. А. Семенов-Тянь-Шанский*) 290

Указатель имен 314

Повествовательный источник

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ

Записки о пережитом

Верстка и оригинал-макет *Михаил Семенов-Тян-Шанский*

Обложка *NN*

Налоговая льгота —

Общероссийский классификатор

продукции ОК-005-93, том 2;

953000 — книги, брошюры

Подписано к печати 15. X. 2012

Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Печ. л. 21,25.

Тираж 300 экз. Заказ № 5.

Издательство ООО «Анатолия»

Контактный телефон в СПб.: (812) 323-65-86, 328-47-43

E-mail: print@anatolya.spb.ru

Информация об издательстве в Интернете:

www.anatolya.ru

Отпечатано в типографии ООО «Анатолия»
199178, Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 39

1888 978-5-7452-0048-9



9785745200489